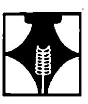
А.С.
ХОМЯКОВ

◆

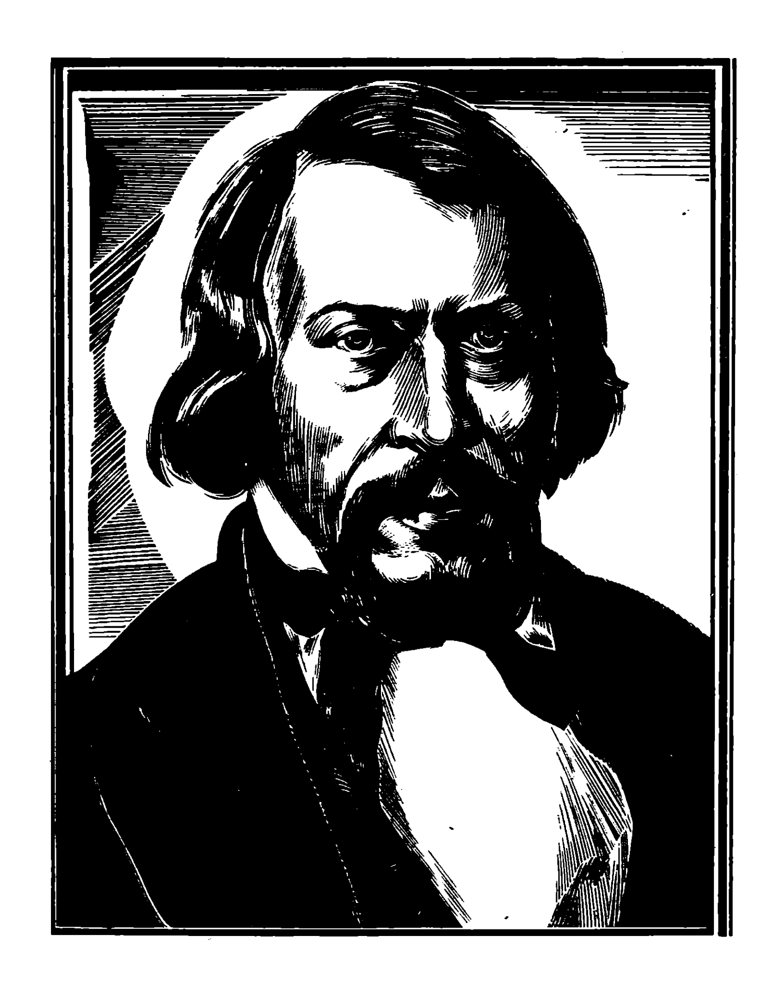
О СТАРОМ
И НОВОМ

А.С. ХОМЯКОВ ◆ О СТАРОМ И НОВОМ

БИБЛИОТЕКА
«ЛЮБИТЕЛЯМ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ»



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

А. С.
ХОМЯКОВ

О СТАРОМ И НОВОМ

Статьи и очерки

Москва
«Современник»
1988

ББК 83.3Р1
Х76

Под общей редакцией *Г. М. Фридлендера*

Составление, вступительная статья
и комментарии *Б. Ф. Егорова*

Рецензенты *Г. М. Фридлендер, Н. Н. Скатов, С. Е. Шаталов*

Х $\frac{4603010101-143}{М\ 106(03)-88}$ КБ—42—23—87

ББК 83.3Р1

ISBN 5—270—00316—3

ОТ РЕДАКТОРА

Рост нашей культуры, вызванное им обогащение и расширение историко-культурных интересов читателя позволили советской критике и историко-литературной науке в последние годы обратиться к подлинно глубокому, исторически точному, творческому осмыслению важных, но в то же время сложных, противоречивых явлений нашей отечественной культуры, к числу которых относится и русское славянофильство.

А. С. Хомяков — один из основоположников классического славянофильства 40 — 60-х годов XIX века, видный участник литературного движения той эпохи.

Философско-исторические, публицистические и литературно-критические взгляды Хомякова и его единомышленников-славянофилов середины XIX века сформировались в пору «предательской бенкендорфовщины» (выражение В. О. Ключевского), в годы николаевской реакции. Официальной уваровской триединой формуле самодержавия, православия и народности А. С. Хомяков, И. В. Киреевский и их друзья противопоставили свою, иную формулу народности. В отличие от П. Я. Чаадаева, который в начале 30-х гг., выдвинув перед русской общественной мыслью задачу выработать общий философско-исторический взгляд на русскую историю, одновременно отказался признать внутреннее единство и связь ее событий, славянофилы попытались осмыслить своеобразие русского исторического процесса, начиная с древнейшей поры, не как результат случайности, отклонения от исторических путей развития других народов, но как проявление определенной исторической закономерности, которую они стремились уяснить с философско-исторической точки зрения.

Славянофилы — публицисты и критики выдвинули перед русской общественной мыслью и сделали в своих сочинениях предметом широкого обсуждения ряд важнейших социальных и общественно-исторических проблем, из которых некоторые не потеряли своей актуальности и в современном

мире. Они поставили вопросы о народе как движущей силе истории, о необходимости переоценки допетровской Руси, о значении крестьянской общины, самоуправления, земства, обычая (в отличие от писаного закона), то есть о различии между национально-народной и официально-самодержавной Россией; о том, что философия не может быть системой «отвлеченного» знания, а должна быть направлена в конечном счете на воспитание человека и совершенствование общества. Они привлекли внимание к опасности для человечества одностороннего развития рассудка и анализа, призвали поставить научный и технический прогресс на службу человеку, а не превращать его в самоцель и т. д. и т. п. Однако они не смогли дать на поставленные вопросы верных ответов, ибо полагали (подобно другим представителям тогдашней романтической философско-исторической мысли в России и на Западе), что историческая жизнь определяется развитием, столкновением и борьбой нравственно-религиозных идей. Отсюда сведение славянофильскими мыслителями, в том числе Хомяковым, социальных, моральных и национальных вопросов к религиозным, как к вопросам, играющим, согласно их представлениям, решающую роль в истории России и человечества.

Мысль славянофилов сложилась под заметным влиянием тогдашней критики философии Гегеля и его школы. Для Гегеля субъектом истории была «идея» человечества, а венцом исторического развития он считал свою эпоху. Славянофилов же мучила проблема будущего, в центре их внимания находились личность человека и его нравственный мир, они настойчиво искали путей преобразования жизни. Славянофилы, скептически относясь к гегелевскому культу отвлеченного теоретического познания, отрицая возможность познать мир силой одного отвлеченного рассудка, апеллируют к нравственному чувству и внутреннему опыту человека. Само разделение познавательных и нравственных начал в человеке представляется им следствием деформации личности, проявлением отрицательного воздействия на нее буржуазной цивилизации, разрушающей целостность «живой жизни».

Отвлеченное противопоставление Востока и Запада, основанное на догматической, внеисторической идеализации «чистоты» и «цельности» нравственных идеалов «восточного» православия в противовес рационалистическому, «раздробляющему», рассудочному характеру западного христианства, было ахиллесовой пятой их учения. Оно сообщало сочинениям славянофилов, при всей одаренности последних, тот отвлеченный, догматический характер, который принципиально отличает эти сочинения от произведений таких великих революционных умов той же эпохи, как Белинский и Герцен, стремившихся осмыслить вопросы русской общественной жизни в демократическом, трезво-реалистическом духе.

Однако, если бы сочинения славянофилов сводились только к утверждению идеала патриархальной демократии под сенью самодержавной власти и к догматическому повторению мысли о различии принципов восточного и западного христианства, сочинения эти имели бы, в лучшем случае, сугубо

специальный, исторический интерес. К счастью, дело обстоит иначе. Хомяков и другие мыслители-славянофилы не были людьми, далекими от живых проблем политической, общественной и идейно-литературной борьбы своего времени, и принимали в ней деятельное участие. Свидетели национального возрождения западного и южного славянства, начальной фазы национально-освободительной борьбы славян, они защищали в своих статьях идею исторической общности судеб и интересов русского и других славянских народов, горячо верили в их великое историческое будущее. Причем то, что борьба южных и западных славянских народов за освобождение против иноземного ига длительное время облекалась в формы борьбы против господствующей церкви, велась под религиозным знаменем, в известной мере питало религиозные чувства славянофилов и составляло объективную социально-историческую предпосылку их заблуждений.

Живя в эпоху бурного нарастания в России борьбы крестьянства против крепостного права, славянофилы выступили в качестве противников крепостничества (хотя, как и другие представители образованного дворянского меньшинства, возлагали свои надежды на мирную отмену крепостной зависимости «сверху», законодательным путем). Славянофилы дали также толчок широкому развитию народознания, стремились способствовать всемерному, разностороннему изучению русской национальной культуры в ее прошлом и настоящем. Им принадлежит значительная заслуга и как ранним русским критикам буржуазного общественного строя и буржуазной культуры, хотя критику эту они облекали в характерную для них форму патриархально-религиозной, утопической идеализации старины. А в полемике славянофилов с их идейными противниками и антагонистами — представителями как официальной, консервативной, так и революционно-демократической мысли — сама жизнь, властно вторгавшаяся в эту полемику, нередко заставляла славянофилов вступать в конфликт не только с официальной политикой и идеологией самодержавия, но и с консервативно-утопическими чертами своих собственных философско-религиозных концепций, становиться порою на стихийно-демократическую точку зрения. И хотя славянофилы испытывали страх перед революцией, их любовь к России, независимость, горячая преданность своим идеям, присущее им высокое чувство чести и человеческого достоинства резко отделяли их от верноподданнически настроенной части дворянства, озабоченной сохранением и расширением любой ценой своих сословно-классовых привилегий и всегда готовой пожертвовать ради этого национальными, общенародными интересами.

«Демократическая и славянофильская идеологии, формировавшиеся, как известно, в условиях николаевской реакции, восприняли патриотическую традицию декабризма, трансформировав ее в двух идейно различных направлениях, ориентированных в одном случае — на будущее, в другом — на прошлое»,— справедливо пишет о месте славянофильства в истории русской общественной мысли XIX века современный исследователь, подчеркивая, что «и в раннем русском либерализме, и в раннем русском

славянофильстве существовали достаточно глубокие демократические составные, которые заслуживают своего выявления, своего осмысления и объяснения...»[1]

Все это делает весьма важным для современного читателя изучение, наряду с другими пластами отечественной культуры и литературы, также наследия славянофилов, изучение, основанное на принципах ленинского историзма, чуждое в равной мере как предвзятого, нигилистического отношения к славянофильской мысли XIX века, так и столь же предвзятой, некритической ее идеализации. Способствовать расширению такого изучения — задача, поставленная перед собой составителем и редактором настоящей книги.

Г. Фридлендер

---

[1] Кузнецов Ф. Истина истории // Москва. 1981. № 1. С. 198, 200.

А. С. ХОМЯКОВ — ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК И ПУБЛИЦИСТ

Трудно найти сферу, где бы не приложил свои знания и способности А. С. Хомяков. Социолог, публицист, эстетик и критик (литературный и частично художественный), философ, автор многотомных «Записок о всемирной истории»; экономист, разрабатывавший планы уничтожения крепостничества; практик-помещик, усовершенствовавший сельскохозяйственное производство, винокурение и сахароварение; изобретатель новой паровой машины, получивший патент в Англии, и дальнобойного ружья; врач-гомеопат и врач, использующий средства народной медицины для успешной борьбы с холерой; одаренный художник, портретист и иконописец; полиглот-лингвист; известный в свое время поэт и драматург.

Здесь перечислены занятия, которым Хомяков предавался в течение длительных периодов и даже в течение всей жизни. А если бы к ним добавить временные увлечения: успешные поиски в Тульской губернии полезных ископаемых, проекты улучшения благосостояния жителей Алеутских островов, создание хитроумных артиллерийских снарядов в период Крымской войны и т. д.,— то можно исписать не одну страницу.

Была ли такая разносторонность Хомякова признаком барского дилетантства? Вряд ли. Слишком много сил и таланта вкладывал он в свои занятия, и слишком много создавал он полезного в разных областях, чтобы счесть это дилетантством. А если бы автор изобрел за всю свою жизнь *одну* ценную машину или ружье, то это ведь не назвали бы дилетантством? Так почему же уничижительно аттестовать *множество* открытий и разработок?

Разносторонность Хомякова была принципиальной, обосновывалась им теоретически. Он верил в разнообразие интересов человека, в идеал гармонической универсальности творческой натуры, в то, что широта кругозора лишь будет способствовать углубленным занятиям в отдельных сферах. В статье «Об общественном воспитании в России» Хомяков подробно раз-

вил мысль о необходимости разностороннего, воистину университетского образования юношества. Однако многие специальные области занятий и открытия Хомякова ныне забыты. В памяти потомства этот многогранно талантливый человек остался как вождь славянофильства, и в этом есть свой исторический смысл: именно деятельность публициста и литературного критика, идейного вдохновителя славянофильства было главным в жизни зрелого Хомякова. Это его наследие содержит ценное ядро, представляющее интерес и сегодня.

1

Алексей Степанович Хомяков родился 1 (13) мая 1804 года в Москве, в родовитой дворянской семье. Его отец, страстный игрок, проиграл в карты почти все огромное состояние, после чего мать будущего поэта, женщина властная и гордая, отстранила мужа от управления хозяйством и благодаря своей энергии и уму восстановила относительное материальное благополучие. Именно мать явилась ранним воспитателем сына, она привила ему на всю жизнь чрезвычайно строгие, почти аскетические, нравственные правила и глубокую религиозность.

Родовитое барство окружало Хомякова с юных лет. Среди знакомых семьи и самого Алексея были министры, губернаторы, генералы, обер-прокуроры Синода, как, впрочем, и декабристы, и ученые, и журналисты, и писатели — ведь дворяне были разные! Соседи по имениям Хомяковых в Тульской, Рязанской, Смоленской губерниях были тоже весьма именитые или незаурядные: Муравьевы, Раевские, Елагины, Уваровы, графы Панины... Со многими из них у Хомяковых были и родственные связи: бабушка Хомякова по отцу, например, была родственницей графа Паскевича и Грибоедова.

Отдаленные или близкие родственные отношения связывали между собой также и весь круг будущих славянофилов: Хомяков женился на сестре Н. М. Языкова, а мать его происходила из рода Киреевских; И. В. Киреевский женился на своей троюродной сестре, а его единоутробный брат В. А. Елагин — на своей же дальней родственнице. «Младшие» славянофилы Д. А. Валуев и В. А. Панов были родственниками Языковых... Укорененность в гуще родственных и вообще «семейственных» отношений культурной дворянской среды накладывала свой неповторимый отпечаток на быт и мировоззрение будущих славянофилов. В то же время их народолюбие, презрение к вельможеству и бюрократизму, чувство независимости и самостоятельности отталкивали Хомякова и его единомышленников от многих именитых родственников и знакомых, особенно от близких к высшим петербургским сферам...

Во время наполеоновского нашествия сгорел московский дом Хомяковых; семья жила некоторое время в деревне, а в начале 1815 года переехала в Петербург. Преподавателем русской словесности у юного Алексея

Хомякова и его брата Федора был известный писатель А. А. Жандр, друг Грибоедова, внушавший, вероятно, своим ученикам общественные и литературные идеи круга Грибоедова и Катенина (патриотизм, самобытность искусства, народность, следование национальным традициям в идеологии и в быту).

В 1817 году семья возвратилась в Москву. Братья Хомяковы брали частные уроки у профессоров университета, что позволило впоследствии Алексею поступить на математическое отделение и получить степень кандидата наук[1]. Молодые Хомяковы подружились в Москве с братьями Веневитиновыми — Дмитрием и Алексеем, из которых первый стал видным литератором 20-х годов, одним из главных деятелей философско-эстетического кружка «любомудров» (Хомяков тоже станет близок к кружку, он хорошо знал и других его участников: князя В. Ф. Одоевского, С. П. Шевырева, В. П. Титова). А пока юные Алексей Хомяков и Дмитрий Веневитинов соревновались в стихотворстве, в переводах из Вергилия и Горация. Веневитинов мечтал о создании оригинальной русской философии, он горячо обсуждал эту проблему с друзьями. В 1819 году пятнадцатилетний Хомяков переводит «Германию» Тацита. Отрывок из перевода был опубликован в «Трудах Общества любителей российской словесности при Московском университете» (1821. Ч. 19.). Это первое произведение Хомякова, появившееся в печати. Вступительная заметка юного автора к публикации насыщена идеями тираноборчества, патриотизма, гражданской доблести.

В 1821 году вспыхнуло греческое восстание против турецкого ига. Бывший гувернер братьев Хомяковых Арбе, продолжавший посещать их дом, оказался связанным с повстанцами. Семнадцатилетний Алексей, вдохновленный пламенными речами учителя, достал с его помощью фальшивый паспорт, накопил немного денег, купил большой нож — и однажды вечером покинул отчий кров, чтобы тайком пробраться в Грецию. В доме была поднята тревога, устроена погоня, и беглец был пойман не слишком далеко от Москвы. Вероятно, эти события оказали глубокое воздействие на сознание юноши: на всю жизнь он останется проповедником освобождения греков, как и южных славян, от иноземного гнета, но одновременно будет решительным противником личной «партизанщины», не связанной с общенародным движением.

В это время, даже, возможно, несколько раньше начала греческого восстания, Хомяков задумывает большую поэму «Вадим», из которой до нас дошли две с половиной части, «песни» (вероятно, это все, что было создано автором).

Отечественная война 1812 года и преддекабристские вольнолюбивые настроения вызвали интерес писателей начала 20-х годов к теме новгородской вольницы, особенно к образу легендарного Вадима, который после известной

---

[1] См.: Лясковский В. Алексей Степанович Хомяков. М., 1897. С. 10.

трагедии Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский» (1789) стал символом борца с тиранией. А. С. Пушкин в южной ссылке осенью 1821 года начинает работу над поэмой и трагедией о Вадиме. К. Ф. Рылеев пишет думу «Вадим». Тема Новгорода — вечевой республики — звучит в стихотворениях В. Ф. Раевского, К. Ф. Рылеева, В. К. Кюхельбекера.

Среди этих вариаций популярной темы поэма Хомякова стоит особняком. В соответствии с духом времени в ней переплелись романтическая идея сильной личности (итоги исторических событий, исход битвы зависит от вождя) и вольнолюбие, но необычны были антивоенные мотивы. Они вносили двойственность в оценку событий: победа в кровавой битве и прославляется, и приобретает трагическую окраску, ибо ей сопутствуют сцены скорби и плача по погибшим.

В дальнейшем автор попытается снять противоречия гармонией славянофильского идеала. Во всех сферах мышления и чувств Хомяков сконструирует иллюзорные принципы гармонической цельности (жизнь будет жестоко ломать эти конструкции, но тем упорнее автор станет держаться за них). Кажется, военные конфликты невозможно включить в эту идеальную гармонию. Но, основываясь на известном ему опыте истории, Хомяков, при всем отвращении к войне, вынужден был принимать ее (впрочем, только оборонительную) как необходимую, государственно и божественно освященную. И тогда автор будет проповедовать милосердие к побежденным. Оно станет и жизненным принципом («Я был в атаке, но хотя два раза замахнулся, но не решился рубить бегущих, чему теперь очень рад»[1]), и идейно-поэтическим:

А если вас много, убьете ли вы
Того, кто охвачен цепями,
Кто, стоптанный в прахе, молящей главы
Не смеет поднять перед вами?
...Убьете ль? о стыд и позор!

Эти строки взяты из стихотворения, озаглавленного «Rittersprucһ — Richterspruch» (1839?); буквально заглавие переводится как «Приговор рыцаря является приговором судьи», но Хомяков придал ему другой смысл: истинный судебный приговор должен быть рыцарским. Культ рыцарства, рыцарская этика своеобразно соединится с другими чертами хомяковской идеологии. Сила и мужественность всегда будут для Хомякова положительными ценностями, но обязательно в сочетании с благородством и милосердием.

В 1822 году отец отвез Алексея в Астраханский кирасирский полк; так началась его не воображаемая, а реальная военная жизнь. Весной следующего года Хомяков переводится в лейб-гвардии Конный полк (который

[1] Из письма Хомякова к матери от 15 июня 1829 г. с русско-турецкого фронта // Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1900. Т. 8. С. 5. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте: первая цифра указывает том, вторая — страницу.

примет 14 декабря 1825 года участие в восстании) и около двух лет живет в Петербурге. Здесь он завязывает литературные знакомства, главным образом в декабристских кругах. Первые стихотворения молодого поэта увидели свет в альманахах Рылеева и Бестужева «Полярная звезда».

С Рылеевым и его окружением Хомякова объединяло серьезное отношение к жизни, презрение к светской суете, пафос патриотизма, свободы, человеческого достоинства. Но после «Вадима», уже в преддекабрьскую пору, мы не найдем в стихах Хомякова ни одного намека на темы активного протеста, волновавшие Рылеева, Кюхельбекера, В. Ф. Раевского. Убежденный противник любых насильственных изменений, Хомяков не понял громадной общественно-политической перспективы декабристского движения. Дочь Хомякова Мария Алексеевна оставила следующую запись: «Алексей Степанович во время службы своей в Петербурге был знаком с гвардейской молодежью, из которой вышли почти все декабристы, и он сам говорил, что, вероятно, попал бы под следствие, если бы не был случайно в эту зиму в Париже, где занимался живописью. В собраниях у Рылеева он бывал очень часто и горячо опровергал политические мнения его и А. И. Одоевского, настаивая, что всякий военный бунт сам по себе безнравственен»[1]. О том же более подробно писал в своих воспоминаниях неустановленный однополчанин Хомякова: «Рылеев являлся в этом обществе оракулом. Его проповеди слушались с жадностью и доверием. Тема была одна — необходимость конституции и переворота посредством войска. События в Испании, подвиги Риего составляли предмет разговоров. Посреди этих людей нередко являлся молодой офицер, необыкновенно живого ума. Он никак не хотел согласиться с мнениями, господствовавшими в этом обществе, и постоянно твердил, что из всех революций самая беззаконная есть революция военная. Однажды, поздним осенним вечером, по этому предмету у него был жаркий спор с Рылеевым. Смысл слов молодого офицера был таков: «Вы хотите военной революции. Но что такое войско? Это собрание людей, которых народ вооружил на свой счет и которым он поручил защищать себя. Какая же тут будет правда, если эти люди, в противность своему назначению, станут распоряжаться народом по произволу и сделаются выше его?» Рассерженный Рылеев убежал с вечера домой. Кн<язю> Одоевскому этот противник революции надоедал, уверяя его, что он вовсе не либерал и только хочет заменить единодержавие тиранством вооруженного меньшинства. Человек этот — А. С. Хомяков»[2].

Политические разногласия Хомякова с кругом Рылеева отдаляли его и от поэтических идей декабристов. К тому же в середине 1825 года Хомяков покидает Петербург почти на два года, отпросившись в бессрочный отпуск за границу. Некоторое время он путешествует по Европе, большую часть времени живет в Париже.

---

[1] Отдел письменных источников Государственного Исторического музея в Москве (ГИМ).

[2] Там же.

Аскетически воспитанный Хомяков остался холоден к Парижу, хотя и усердно изучал его музеи, библиотеки, театры. Франция рано стала для Хомякова как бы средоточием всех отрицательных крайностей западноевропейской, буржуазной цивилизации; в позднейших своих статьях он неоднократно будет упоминать ее именно в негативном смысле. Франции, классической стране буржуазных революций, Хомяков будет противопоставлять Англию как страну устойчивых социальных и нравственных традиций, хотя Хомяков отметит и проникновение в Англию буржуазных институтов и отношений. В Париже Хомяков узнал о восстании 14 декабря. Может быть, под влиянием вызванных им размышлений о судьбах родины, народа, общественно активных личностей именно на грани 1825 и 1826 годов Хомяков начал писать трагедию «Ермак». Пьеса не содержит прямых параллелей с событиями 14 декабря, но косвенно глубоко с ними связана, так же как еще более тесно была связана с современностью драма Пушкина «Борис Годунов». Интересно, что и создавались обе эти — далеко, конечно, не равноценные — пьесы одновременно и были прочитаны московской литературной публике в два смежных вечера в доме Веневитиновых (12 и 13 октября 1826 года); москвичи выслушали Пушкина — гостя, а затем по его настоянию, как бы от имени хозяев представили ему своего драматурга с недавно законченной трагедией.

«Ермак» стоит на пороге романтической драмы следующего десятилетия (драмы Кукольника, Полевого), в какой-то степени открывая ей путь. Герой ее — связавшийся с разбойничьим миром Ермак — раскаивается и поворачивает на «праведный» путь: он стремится в борьбе с врагами России искупить свою вину перед родиной и ближними и просить прощения не в грязи порока, а на вершине славы, величия. Пьеса насыщена резкими оценками кровавых деяний Ивана Грозного и его опричников (ср. более позднюю статью Хомякова «Тринадцать лет царствования Ивана Васильевича», 1845). Казалось бы, честный и благородный Ермак не должен примириться с унижением его любимой родины, с казнями и ссылками невинных людей, но он примиряется: пафос любви к отчизне в сочетании с уверенностью в законности самодержавия оказался в пьесе выше свободолюбия и требований справедливости. Пушкин ответил на восстание декабристов изображением трагического разлада между «мнением народным» и намерениями правителей. Хомяков же полагает, что национальное единство не должно быть нарушено, даже при царе-деспоте (правда, драматург при этом не скрывает обреченности благородного человека в условиях деспотизма).

Важную роль в трагедии Хомякова играет идея судьбы. Образ Ермака в трагедии как бы раздваивается: как романтический герой и сильная личность он считает себя независимым от воли рока («Сказать судьбе: я от тебя свободен», «И не подвластен ветреной судьбе»), и вместе с тем по замыслу автора именно судьбой определены все его поступки («Меня влекла неведомая сила»): преступив закон, герой должен понести наказание. Но

«судьба» у Хомякова оказалась слишком «ветреной», слишком подвластной интересам и желаниям автора.

Наверное, Хомяков чувствовал двойственную неопределенность «судьбы» в своем творчестве; религиозная «дисциплинированность» заставляла его, как и многих других романтиков, думать о божественном провидении; но он, подобно своему герою Ермаку, жаждал в то же время вырваться из круга необходимости, пытался победить судьбу, а не покориться ей: ему был близок романтический пафос свободы, характерный для русской лирики конца 20-х годов и особенно интенсивно зазвучавший в следующем десятилетии. В стихотворении «Степи» (1828) Хомяков утверждает, что «святая доля» человека —

Труды, здоровие, покой,
Беспечный мир, восторг живой,
Степей кочующая воля.

Этим понятиям противостоит здесь не судьба, а «бессмысленный закон» современного цивилизованного общества (в данном контексте и судьба, и закон синонимичны, так как являются своего рода внешней, объективной «уздой» человеческих поступков). Несомненно, антитеза «закон — воля» восходит к пушкинским «Цыганам» («Его преследует закон»). В свою очередь не в стихотворении ли «Степи» заключен прообраз знаменитых пушкинских строк «На свете счастья нет, но есть покой и воля» и не эти ли строки вспомнил Л. Н. Толстой[1], вкладывая в уста Федора Протасова («Живой труп») не менее знаменитую фразу: «Это степь, это десятый век, это не свобода, а воля»? (Правда, понятие свободы носит здесь иной характер, чем у Хомякова: у Толстого имеется в виду дискредитировавшее себя политическое понятие.)

Хомяков всю жизнь будет желать именно не свободы, а воли (причем не только воли-независимости, но и воли-действия). Свобода, в его понимании,— необходимое условие, «простор» для творческой деятельности человека, а воля связана с самыми значительными и глубинными свойствами человеческой натуры и чрезвычайно важна в этическом аспекте, для осуществления моральной ответственности личности, ибо лишь при свободном волеизъявлении, то есть при возможности выбора жизненного пути, поступков, слов и так далее, осуществляется моральная ответственность человека («выбор и свобода», как говорил Д. В. Веневитинов).

Реальная русская жизнь николаевской эпохи не давала, однако, простора ни воле-независимости, ни воле-действию. Поэтому двойственность судьбы и путей к освобождению от ее власти определяет не только концепцию «Ермака», но и всю деятельность Хомякова — человека и писателя.

[1] Согласно записи Д. П. Маковицкого от 2 июня 1908 г. Толстой, который ценил и знал Хомякова, говорил о нем: «...он был очень приятный человек. Я уважал его деятельность и его славянофильские взгляды и как поэта» // Лит. наследство. М., 1979. Т. 90. Кн. 3. С. 103.

После русско-турецкой войны 1828 — 1829 годов, в которой Хомяков принял участие (проявив в боях незаурядное мужество), интенсивные раздумья о судьбе славянских народов в связи с польским восстанием 1831 года приводят Хомякова к работе над второй трагедией — «Димитрий Самозванец» (закончена в 1832 г.).

В ней учтен опыт пушкинского «Бориса Годунова» (есть даже прямые заимствования, однако герои и коллизии «Димитрия Самозванца» сильно романтизированы). Под влиянием Пушкина Хомяков отказался в новой драме от идей предначертанной свыше судьбы, главенствующей в «Ермаке»; теперь герои сами творят историю, и поэтому проблемы моральной ответственности становятся первостепенными. У Пушкина царя губит преступление против народной нравственности. Хомяков также выделяет безнравственность Годунова; как он позднее напишет в статье «Мнение русских об иностранцах» (1846): «Россия видела в Годунове человека, который втерся в ее выбор, отстранив всякую возможность другого выбора» (1, 55). Но самый главный критерий оценки человека в трагедии «Димитрий Самозванец» — следование властителя религиозным нормам народа. С этой точки зрения Хомяков осуждает обоих правителей — и Годунова, и Самозванца.

2

В середине 30-х годов та часть дворянской интеллигенции, к которой принадлежал и Хомяков, постепенно выходит из духовного кризиса, пережитого ею после расправы над декабристами. Настала пора подводить итоги минувшему, намечать возможные пути дальнейшего развития России. С философско-исторической концепцией русской жизни выступил П. Я. Чаадаев. Мучительно переживая мрачные страницы в истории родины, он сосредоточил на них все свое внимание, заострил национальные недостатки и противопоставил им как положительные «западнические», «европейские» идеалы, вплоть до идеализации культуры католического мира. В значительной степени именно «Философическое письмо» Чаадаева (1836), полное страстного порыва к будущему и в то же время — глубокого исторического скептицизма, ускорило, по контрасту, консолидацию «антиевропейских» мыслителей славянофильской ориентации и вообще ускорило размежевание интеллигенции на два лагеря: западников и славянофилов. Западники (к ним принадлежали революционные демократы во главе с Белинским, Герцен, а также либеральные мыслители: Грановский, Кавелин и другие — в данном случае мы не касаемся весьма существенных различий между ними) желали социально-политических преобразований по образцу передовых европейских стран: уничтожения крепостного права, самодержавия, сословности, ратовали за просвещение для всех, за свободу человеческой личности, за европеизацию общественной жизни.

Хомяков совместно с И. В. Киреевским стали основателями славяно-

фильского учения[1]. В этот период заметно изменились их образ жизни, взгляды, характер, творчество. Нельзя сказать, что это был кардинальный душевный переворот. Многое из черт будущего славянофила было заложено уже в сознании юного Хомякова: патриотическое воодушевление, глубокая религиозность, почтение к традициям. Но это были лишь плоды воспитания и черты характера, весьма далекие от системы воззрений, охватывающей разные стороны человеческой жизни и деятельности. Основы этой системы были созданы Хомяковым и Киреевским во второй половине 30-х годов. В 1839 году Хомяков написал свою первую программную статью «О старом и новом». Киреевский добавил к ней «В ответ А. С. Хомякову»[2]. Славянофилы младшего поколения, примкнувшие к основателям в 40-х годах — Ю. Ф. Самарин, К. С. Аксаков,— во многом следовали общим принципам, выработанным Хомяковым и Киреевским, каждый по-своему развивая и дополняя их; да и сами вожди славянофильства до конца жизни развивали и уточняли различные аспекты учения.

Славянофилы, подобно западникам, были одушевлены стремлением к уничтожению крепостного права. Желали они и освобождения человека и искусства от пут бюрократического государственного аппарата. Однако если либеральные западники обращали преимущественное внимание на прогрессивные стороны общественного развития Европы, то славянофилы проницательно замечали пороки западной цивилизации: обуржуазивание жизни, обездушивание человека, классовое расслоение и социальный антагонизм, превращение общества в раздробленную массу эгоистических, жестоких, меркантильных личностей и т. д. В культуре, в искусстве Запада славянофилы обращали внимание на погоню за модой, чрезмерное выпячивание личного «Я», культ прогресса ради прогресса (Хомяков в «Заметке по поводу статьи г. Соловьева о Риле» резко критиковал буржуазное понимание прогресса и противопоставил ему прогресс для человека, для «существ живых» — см. 3, 343). Важно отметить, что славянофилы считали социально-культурную судьбу Запада трагичной, тупиковой и не видели, кроме некоторых консервативных институтов Англии, реальных сил, которые могли бы противостоять буржуазности. Учения утопических социалистов представлялись им по-своему тоже буржуазными, пытающимися создать искусственные объединения («ассоциации», «фаланстеры», «коммуны») из людей, уже глубоко индивидуалистичных, не знающих традиций общинной жизни и народной нравственности. В критике нереальности, неосуществимости проектов утопических социалистов, как и элементов буржуазности в них, славянофилы

[1] О славянофилах см.: Кулешов В. И. Славянофилы и русская литература. М., 1976; Литературные взгляды и творчество славянофилов. 1830 — 1850. М., 1978; Янковский Ю. Патриархально-дворянская утопия. М., 1981; Кошелев В. А. Эстетические и литературные воззрения русских славянофилов (1840—1850-е годы). Л., 1984; Цимбаев Н. И. Славянофильство. М., 1986.

[2] См. об этих статьях исследование: Носов С. Н. Два источника по истории раннего славянофильства // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1978. Т. 10. С. 252 — 268.

были в какой-то степени правы[1]. Но в пролетариате первой половины XIX века они видели только «люмпенство», растущую и безнадежную нищету, лишь умножающую пороки Запада.

Прозорливо усматривая в таком положении неизбежность будущих революционных взрывов, славянофилы искали средства спасения родины от исторических катаклизмов в сохранении патриархальных основ, уходящих корнями в быт и нравы допетровской и даже домонгольской Руси. В качестве нормы они выдвигали идеализированные положительные начала в жизни Киевской и Московской Руси и тем самым создали в своем воображении утопический строй, добровольный, в масштабах всей страны, союз малых общин, союз, где господствовало единство всего народа, от великого князя и до крестьянина (крестьянин мог, якобы благодаря своим личным достоинствам, подняться на самые верхние ступени общества), где будто бы гармонически сочетались интересы всех и каждого, бояр и холопов, где все было основано на христианской вере и идеальной этике, на началах любви, добра, братства. При этом главенствующую историческую и социальную роль в стране играл народ, «единственный и постоянный действователь истории» (1, 38). Таким образом, возникло противопоставление *реальной* Западной Европы, где недостатки выдвигались на первый план, и *идеальной* России. В Европе — завоевание власти насилием, «на крови», отсюда разделение на враждебные нации и сословия; стремление к личной пользе, напряженность и конфликтность жизни; подчинение церкви государству; рационализм, разобщенность, всеразлагающий рассудок; сила материальная; следование формальностям и закону. В России — добровольное объединение граждан и добровольное признание правителей, отсутствие сословной вражды; общественное, общинное[2], совестливое начала, как главные черты характера; сво-

[1] Ср. иронию Маркса по отношению к Фурье, который описывал свой идеал труда как забаву, «применительно к понятиям парижской гризетки» (М а р к с К. Основы критики политической экономии: Рукопись 1857 — 1858 гг. // Большевик. 1948. № 12. С. 32).

[2] Учение славянофилов об общине является краеугольным камнем их концепции, свидетельствующим о своеобразном их демократизме, который можно было бы назвать феодальным, учитывая его патриархальный характер. Пропаганда деревенского «коллективизма», защита интересов крестьян и т. п. вызывали у властей и у классово-корыстных помещичьих кругов представление о том, что этот демократизм славянофилов совершенно идентичен социализму, коммунизму, фурьеризму... Легенда о приоритете в «открытии» русской общины немецкого консервативного ученого барона А. Гакстгаузена, изучавшего в 1843 г. русский быт и опубликовавшего многотомный труд «Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России», не подтверждается фактами: Хомяков еще в 1842 г. подробно говорил об общине в статье «О сельских условиях», а до него, еще в XVIII в., упоминал о ней Чулков. Ср. характеристику К. Аксакова в «Былом и думах» Герцена: «Он в начале сороковых годов проповедовал сельскую общину, мир и артель. Он научил Гакстгаузена понимать их» (Г е р ц е н А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 9. С. 163).

бодная, независимая церковь; соединяющий разум, цельность, единство; сила духовная; следование истине и обычаям отцов.

В свете этих идеалов реальная Россия выглядела для Хомякова не такой уж благополучной, как можно было бы ожидать от славянофила. Причем не только современная ему, но и древняя Русь: это хорошо видно из текста программной статьи Хомякова «О старом и новом». Недаром он с горькой иронией относился к идиллическим картинам исторически реальной древней Руси, которые рисовал Константин Аксаков: «Его письма наполнены восторгом по случаю древней сельской жизни в России. Очевидно, он принимает за действительно бывшее многое, что существовало только в законе, а не на деле. Иначе представился бы случай единственный в мире: золотой век, о котором никто не помнит через 150 лет, несмотря на крайнюю железность последовавшего» (8, 133).

Вместе с тем славянофилы верили, что Россию ждет великое будущее, но вера эта строилась не на реальных социально-политических перспективах, а на противопоставлении православной церкви католической и протестантской в пользу первой.

Важно в связи с этим отметить, что убежденность в преимуществе православия, вера в то, что России как главной его хранительнице принадлежит особая историческая роль, не вели к принижению других народов. Хомяков утверждал равенство рас и наций перед богом. В письме к графу А. П. Толстому он излагает свой интересный диалог с тульским архиереем Дмитрием и с сочувствием цитирует слова Дмитрия: «...не должно допускать совершенного преобладания одной народности над другой, ибо такое порабощение в делах духовных было бы полным торжеством провинциализма, совершенно противного христианству и вселенству» (8, 477).

Соответственно этому идеал национальной значительности, по Хомякову, связан не с отграничиванием себя от других наций, а в отдаче себя на служение всему миру. В ценной статье-рецензии «Картина Иванова» (1858) он писал: «Народная исключительность разрушалась, признавая свое служебное отношение ко всему человечеству» (3, 352).

И уж совершенно был чужд Хомяков (да и другие славянофилы) националистического высокомерия по отношению к другим народам. Наоборот, высокие, почти недостижимые идеалы порождали чрезвычайную требовательность к себе, к ближним, к народу, к своей стране. Ее избранничество, считал Хомяков, налагало на всех великую ответственность. Общество на высокой ступени социального и нравственного развития, имевшее какие-то изъяны, по Хомякову, оказывалось хуже, даже отвратительнее общества примитивного, но гармонически целостного; он сформулировал «закон, по которому высшее начало, искаженное, становится ниже низшего, выражающегося в целости и стройной последовательности» (8, 317). Поэтому, продолжает свою мысль Хомяков в цитируемом письме к А. Ф. Гильфердингу, «христианство завоевательное должно быть отвратительным». Тем большие строгость и пуризм отличали частную и общественную деятельность

славянофилов, чем больше они верили в величие России: им хотелось видеть это величие в незапятнанной чистоте!

Увы, действительность мало давала оснований для таких упований. Хомяков достаточно трезво оценивал реальное положение страны, историческое и современное. Когда грянула Восточная война 1853 — 1856 годов, он написал знаменитое стихотворение «России», вызвавшее бурю гнева в правительственных кругах, в дворянском обществе, в среде консервативных литераторов. Хомяков писал К. Аксакову, что в Дворянском клубе его назвали изменником родины, подкупленным англичанами (см. 8, 346). Между тем вся вина Хомякова заключалась в том, что он осмелился обнаружить в жизни родной страны глубокие общественные язвы:

...А на тебя, увы! как много
Грехов ужасных налегло!
В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!

Следует отметить, что, подобно другим славянофилам, Хомяков обличает общественные и нравственные пороки России, не касаясь политических «грехов», политического строя. Здесь сказывается его глубокое убеждение в принципиальной отделенности социальных проблем от политических («Безнаказанно нельзя смешивать общественную задачу с политической» — 8, 177), убеждение в непоколебимости монархического принципа, в добровольной отдаче народом своему царю всех политических прерогатив и решений.

Правда, на практике живая, непоседливая натура Хомякова не выдерживала теоретических догм; он постоянно вмешивался в политические дела, громогласно обсуждая их (хваля, браня, переоценивая) в московских и петербургских гостиных, бомбардируя письмами и советами своих знакомых, как-либо причастных к правительственным кругам, и даже осмеливаясь непосредственно воздействовать на эти круги. В письме к Ю. Самарину (весна 1856 г.) Хомяков обещает рассказать о встрече с министром народного просвещения А. С. Норовым: «...как я его пугнул на вечере и натравливал на 3-е отделение и пр.» (8, Приложения, 54. Эти строки впервые были опубликованы лишь в 1900 г.).

При всей склонности Хомякова к теоретическим идеализациям он не мог не видеть политических пороков в русской истории. Понимал ли он, что они обусловлены именно самодержавной системой? В общем, видимо, понимал.

В частном письме к И. Аксакову (1858) он писал однажды: «...я все более и более убеждаюсь в одном: все ошибки Петра оправдываются (т. е. объясняются) странным бессмыслием допетровской, романовской, московской Руси» (8, 367). В печатных же статьях Хомяков применительно к политическим порокам допетровской Руси акцентировал лишь личные заблужде-

ния великих князей и царей, отводя какие-либо упреки в адрес монархического строя. На этих объяснениях строится вся статья об Иване Грозном: виноваты натура человека, дурное воспитание, плохие советчики. Стоило воцариться тишайшему Федору Иоанновичу (см. статью о нем), как наступило благоденствие страны.

По отношению же к петровскому и более позднему времени Хомяков был более свободен. Конечно же свободен внутренне, а не внешне (именно здесь-то цензура больше всего и свирепствовала!). Просто в свете своих теоретических представлений Хомяков мог говорить более уверенно о недостатках политической системы России петербургского периода. Здесь он склонен даже, наоборот, оправдывать личные свойства императора, перенося вину на социально-политический строй. После смерти Николая I Хомяков пишет А. Н. Попову: «...я его всегда считал правым, как вы сами знаете, и винил не лицо, а систему и нас всех» (8, 223). Здесь еще не слишком ясно, что имеется в виду под «правотой». В другом письме — к А. Ф. Гильфердингу — Хомяков более точно изложил свою точку зрения: «Его ошибки были ошибки в понятиях и в ложной системе; но он был честный труженик, который действовал под ложно приложенным нравственным законом» (8, 325). Иными словами, это не абсолютная правота, а последовательность в соблюдении принципов системы. Для Хомякова Иван Грозный — жестокий, дикий правитель, нарушающий любые — человеческие, божеские, государственные — законы; Николай I — исправный служитель, верный исполнитель законов; другое дело, что сами современные законы содержат немало ложных начал.

Если убежденный монархист Хомяков так сдержанно-прохладно относился к императору, то по отношению к его правительству, к министрам — вдохновителям ложных законов он уже не мог скрывать своего недовольства, негодования, презрения.

С нескрываемой иронией отзывается Хомяков в письме к И. В. Киреевскому (1840) о министре народного просвещения: «Сюда, между прочих великих людей, приехал С. С. Уваров, которого я еще не видал и который, по слухам, невыразимо величествен в отсутствие Строганова» (8, Приложения, 48).

В письме к А. Ф. Гильфердингу (1853) Хомяков с удовольствием приводит остроумную фразу знакомого о другом министре народного просвещения — князе П. А. Ширинском-Шихматове: «Этот бравый мужчина уверен, что глупость есть лучшее оборонительное оружие против заблуждений ума» (8, 306).

Не лучше отзывался глубоко религиозный Хомяков о церковных правителях. Об обер-прокуроре Синода графе Н. А. Протасове: «Ефимович <...> преважно уверяет, что главная теперь задача Синода состоит в примирении православия с учением Шлейермахера и что Протасов этим очень занимается. Вероятное дело» (8, Приложения, 48). О митрополите Макарии, авторе «Православного богословия» и «Истории русской церкви»: «Макарий провонял схоластикой. <...> Я бы мог его назвать восхитительно

глупым, если бы он писал не о таком великом и важном предмете» (8, 189; письмо к А. Н. Попову от 22 октября 1848 г.).

Хомяков был противником крепостного права[1], борцом — сначала в теории, а затем, перед 1861 годом, на практике — за скорейшее освобождение крестьян, причем с землей, с земельными наделами; выкуп этой земли у помещиков он предполагал совершить за счет государства, а не за счет самих крестьян. Способы добывания выкупных денег он придумывал неоднократно, они были остроумны, но малореальны в условиях самодержавной системы. Оказались несбыточными, хотя и предельно простыми на первый взгляд, и практические меры по выкупу из неволи крепостных интеллигентов, особенно художников, которые придумал Хомяков еще в николаевское время: он предлагал ввести закон, принуждавший помещика освобождать своего крепостного интеллигента, а вместо выкупа бывший владелец получал бы одну рекрутскую квитанцию, как если бы сдал крепостного в солдаты. При рекрутском наборе этот помещик мог бы поставлять одним человеком меньше (см.: 8, 277 — 278).

Однако замысел этот был неосуществим. Отдельные факты дворянского гуманизма и меценатства не могли стать законом, не меняли систему в целом. Еще в 1848 году в письме к графине А. Д. Блудовой (от 26 ноября) Хомяков писал: «...как бы каждый из нас ни любил Россию, мы все, как общество, постоянные враги ее, разумеется, бессознательно. Мы враги ее, потому что мы иностранцы, потому что мы господа крепостных соотечественников, потому что одуряем народ» (8, 391).

Реакционное дворянство, вплоть до высших властей, было убеждено, что славянофилы — тайные революционеры. Когда московский генерал-губернатор граф А. А. Закревский получил сведения об арестованных членах кружка Петрашевского, то он сказал своему приближенному:

«— Что, брат, видишь, из московских славян никого не нашли в этом заговоре. Что это значит, по-твоему? — Не знаю, ваше сиятельство.— Значит, все тут; да хитры, не поймаешь следа» (8, 199).

А уже при Александре II, в 1858 году, Закревский отправил шефу жандармов князю В. А. Долгорукову донос о «неблагонамеренных людях» Москвы, который начинался с характеристики славянофилов: «По разным слухам и секретным негласным дознаниям можно предположить, что так называемые славянофилы составляют у нас тайное политическое общество. Славянофилы появились после польской революции, в виде литературного общества любителей русской старины. Центр этого общества — Москва <...>. Общество славянофилов развивает общинные или демократические начала. Оно составлено от лиц разных сословий: дворян, чиновников, купцов, мещан, людей духовного звания и ученых»[2].

Генерал-губернатор, очевидно, насажал своих осведомителей во все круж-

[1] См., например, его статью «Письмо в чужие края о раскрепощении помещичьих крестьян».
[2] Русский архив. 1885. № 7. С. 447.

ки и общества: в том же доносе, например, он излагает разговор, происходивший у постели больного С. Т. Аксакова среди очень узкого круга посетителей.

Полуэмигрант И. С. Гагарин, иезуит, в книге «Будет ли Россия католической?» (Париж, 1857) доказывал, что славянофильство — это революционное движение, только под восточными формами.

Естественно, что и в самых высших правительственных сферах отношение к славянофилам было настороженным. Когда в 1849 году царская семья приехала в Москву, то императрица Александра Федоровна пожелала увидеть кого-либо из славянофилов, о которых, видимо, уже была наслышана; но присутствовавший при этом граф С. Г. Строганов тут же предостерег: «Вашему величеству не следует их видеть, это люди опасные» (8, 192). И позднее, уже при новом царе, императрица Мария Александровна намеревалась пригласить Хомякова во дворец, но сам Александр II запретил ей это (см. 8, 228).

Но если отбросить анекдотические слухи и представления, то оставалась все-таки реальная идеологическая несовместимость, более того — решительное неприятие славянофилов и их учения правительственными кругами. Николай I, например, резко отзывался по поводу славянофильских мечтаний об освобождении южных и западных славян из-под власти турецкой и австрийской империй: он воспринимал это как расшатывание целостности монархических государств![1] Враждебно воспринимало правительство и социальные идеи славянофилов об общинности, их критику социально-политических пороков России в послепетровское время и т. д. За резкие отзывы о политике правительства были арестованы Ю. Ф. Самарин и И. С. Аксаков. Самарина заключили в Петропавловскую крепость, а затем сослали в Симбирск. По высочайшему распоряжению славянофилов не выпускали за границу, официально запретили им ношение русской одежды, которое воспринималось как вызов и обвинение пронизанному иностранным духом царскому двору. Запрещались произведения славянофилов, закрывались газеты и журналы, где они печатались («Молва», «Парус», «Русская беседа», «Русь»). Долго нужно было бы перечислять их статьи и брошюры, запрещенные к печати. При Николае I и вообще-то было неимоверно тяжело добиться разрешения на издание нового журнала (широко известна обычная резолюция царя: «И без того много»), а славянофилам и совсем невозможно. Когда они в 1845 году попытались, по договоренности с издателем М. П. Погодиным, получить в свои руки «Москвитянин», то правительство не утвердило официаль-

[1] Раздражение Николая I усиливалось еще, очевидно, тем, что на Западе, главным образом в Германии, в 30 — 40-х гг. широко распространялись памфлеты о внешней политике русского правительства, где царю приписывался панславизм, желание объединить под эгидой России всех славян, перекроить границы Австрии и Турции и т. п. На самом же деле Николай I и его окружение были совершенно чужды панславизму, предпочитали «законные» империи, хотя бы и угнетавшие славян.

ным редактором И. В. Киреевского: запомнился царский гнев и запрещение журнала «Европеец», который начал было издавать Киреевский еще в дославянофильский период своей жизни, в 1832 году. Славянофилы смогли поэтому выпустить неофициально лишь четыре номера «Москвитянина», и журнал снова возвратился к Погодину.

В это время с огромным успехом разошлись альманахи Н. А. Некрасова «Физиология Петербурга» (1845) и «Петербургский сборник» (1846), явившиеся своеобразным манифестом натуральной школы и критической программы В. Г. Белинского. Славянофилы решили выпустить в свет «Московский литературный и ученый сборник на 1846 год» и таковой же на 1847 год. Сборники большого успеха не имели, но все-таки его авторы продолжали думать о более регулярной публикации своих трудов. В 1852 году они снова издали «Московский сборник» и предполагали выпускать четыре книги ежегодно. Однако уже первый том вызвал недовольство правительственных кругов за похвалы Гоголю и отсутствие должного уважения к Петру I. А представленная в цензуру вторая книга вызвала настоящую бурю: в защите общины усмотрели пропаганду фурьеризма, издание было запрещено, основные участники сборника, в том числе и Хомяков, отданы под надзор полиции. Славянофилов обязали все свои произведения представлять в Главное управление цензуры, в Петербург, что было равносильно запрещению печататься.

Непечатное распространение славянофильских произведений, к которому они прибегнули, привело к еще более решительным карательным мерам. Особенно сильный гнев в правительственных кругах вызвало массовое размножение в списках стихотворения Хомякова «России». Даже относительно либеральный наследник престола, будущий Александр II, был возмущен. Эта реакция, очевидно, была инспирирована голосами из консервативных слоев бюрократии и дворянства. И. В. Киреевский писал А. И. Кошелеву 1 июня 1854 года: «...графиня Ростопчина докричалась до того, что наконец ей поверило правительство... И вследствие этого Хомякова... теперь призывали к графу Закревскому и по предписанию III отделения взяли с него расписку о том, что он никому не будет сообщать своих сочинений прежде, чем их утвердит цензура»[1].

Многие настолько считали Хомякова «революционером», что на него пало обвинение в авторстве радикальных антиправительственных стихотворений П. Л. Лаврова «Русскому народу» и «Русскому царю»: «...призывали его и допрашивали, он смог доказать свою неприкосновенность к ним»[2]. П. Л. Лавров, не желая, чтобы другой страдал из-за него, чуть ли не выдал себя правительству[3]. Высылка Хомякова из Москвы «была почти решена и не

---

[1] Киреевский И. В. Полн. собр. соч. М., 1911. Т. 2. С. 281.
[2] Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки. М.; Л., 1934. С. 146.
[3] См.: Там же. Ср.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Спб., 1900. Т. 14. С. 292 — 293.

состоялась только по энергичному заступничеству гр. Д. Н. Блудова»[1].

Зато теперь каждый шаг и каждое публичное слово славянофилов регистрировались; письма их и к ним перлюстрировались; «на почте» пропадали «подозрительные» книги и брошюры, присылаемые знакомыми из-за границы.

Убежденность славянофилов в своих идеях, непоколебимость этой убежденности, готовность бороться и жертвовать за них, конечно, вызывали у честных людей уважение — даже у тех, кто многого из этих идей не принимал, кому они казались чуждыми и неистинными. Герцен в «Былом и думах» великолепно охарактеризовал К. С. Аксакова: «...он за свою веру пошел бы на площадь, пошел бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убедительны»[2].

В пылу полемики между западниками и славянофилами в 40-х годах было предъявлено обоюдно много несправедливых упреков, так как тогда бросались в глаза прежде всего противоречия, антагонистические черты. Десятилетие спустя революционные демократы могли уже более трезво и объективно оценить сущность славянофильства. Н. Г. Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы» дал ему такую характеристику: «Мы никогда не разделяли и не чувствуем ни малейшего влечения разделять мнения славянофилов, но по всей справедливости должны сказать, что если понятия их и надобно признать ошибочными, то нельзя не сочувствовать им как людям, проникнутым сочувствием к просвещению. Отчасти в увлечении жаром полемики, еще более потому, что смешивали истинных славянофилов с людьми, которые пустоту и кичливость своих мнений прикрывают напыщенными родомонтадами на отрывочные и непонятные мысли, заимствованные напрокат у славянофилов (очевидно, намек на Погодина и Шевырева.— *Б. Е.*), эту школу обвиняли во вражде к науке, в обскурантизме, в стремлении возвратить Россию «ко дням Кошихина» и т. д. Упреки эти... несправедливы,— по крайней мере, относительно таких людей, как гг. Аксаковы, Кошелев, Киреевские, Хомяков, решительно несправедливы. Горячая ревность к основному началу всякого блага, просвещению, одушевляет их. Нет нужды лично знать их, чтобы быть твердо убеждену, что они принадлежат к числу образованнейших, благороднейших и даровитейших людей в русском обществе»[3]. А. И. Герцен в 60-е годы часто ставил Хомякова в один ряд с Белинским и Грановским как замечательных представителей московской интеллигенции николаевской эпохи[4]. Н. П. Огарев, издавая в 1861 году сборник «Русская потаенная литература XIX столетия», включил в него наряду с произведениями Пушкина, Полежаева, Лермонтова, декабристов и стихотворения Хомякова и К. Аксакова. Правда, Герцен (как и Чернышевский) помнил всегда и об отличии своего круга от славянофильского:

---

[1] См.: Русский архив. 1895. С. 281.
[2] Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 9. С. 163.
[3] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1947. Т. 3. С. 78.
[4] См.: Колокол. 1862. 1 июня. С. 1118; 1863. 1 апреля. С. 1320.

«У нас была *одна* любовь, но не *одинакая*. У них и у нас запало с ранних лет <...> чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу <...> И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как *сердце билось одно*»[1].

3

Эстетическая система славянофилов была создана в основном Хомяковым. Немалый вклад в эту область внесли и Киреевский с Аксаковыми, но именно Хомякову принадлежат наиболее общие, наиболее теоретические положения, ставшие фундаментом славянофильской эстетики.

Главным было утверждение *народности* искусства, понимаемой прежде всего как отображение в художественном творчестве глубинных основ народной жизни и общенародных идеалов. В эти основы и в эти идеалы входил и фольклор. Перечисляя самые заветные, самые дорогие свои национальные и социальные опорные объекты-идеалы, Хомяков включает в них и художественное народное творчество: «Корень и основа — Кремль, Киев, Саровская пустынь, народный быт с его песнями и обрядами, и по преимуществу община сельская» (3, 462).

Внимание и глубочайшее уважение Хомякова к былинам, сказкам, песням прослеживается на протяжении всего его жизненного и творческого пути, по многочисленным высказываниям в статьях и письмах к друзьям. Он содействовал публикации вновь найденных фольклорных произведений, комментировал и пропагандировал их, радовался, что древние памятники искусства и этнографии способствуют взаимопониманию и сближению народов: «Чех и словак, хорват и серб почувствовали себя родными братьями-славянами; с радостным удивлением видели они, что чем далее углублялись в древность, тем более сближались они друг с другом и в характере памятников, и в языке, и в обычаях» (3, 164). Одним из первых открывший большое художественное значение иконописи и церковной музыки, Хомяков неоднократно подчеркивал отражение в них общенародных духовных идеалов: «Икона не есть религиозная картина, точно так же как церковная музыка не есть музыка религиозная; икона и церковный напев стоят несравненно выше. Произведения одного лица, они не служат его выражением; они выражают всех людей, живущих одним духовным началом: это художество в высшем его значении» (1, 163).

В былинах, песнях, сказаниях Хомяков исследовал отображение и истолкование исторических событий и даже, в качестве одного из первых русских мифологов, отображение древних, дохристианских верований народа, но — применительно к славянскому и особенно русскому фольклору — подчеркивал и его большую современную общественную и художественную ценность, так как устная поэзия и обряды являлись для России середины

---

[1] Колокол. 1861. 15 января. С. 753.

XIX века не прошлым, не музейными реликвиями, а неотъемлемой принадлежностью живой жизни, частью повседневного быта.

Живость, ясность, простота языка народной поэзии тоже служили Хомякову эстетическим идеалом, критерием-мерой для собственного художественного творчества и при критических разборах произведений литературы и искусства.

Одна из главных идей Хомякова-критика — идея русской художественной школы, опирающейся на народные традиции. В музыкальной сфере наиболее народным Хомяков считал творчество Глинки, в изобразительной — картину А. А. Иванова «Явление Христа народу».

Из русских писателей Хомяков выше всего ставил Гоголя. Вместе с другими славянофилами, главным образом вместе с братьями Аксаковыми, Хомяков постоянно пропагандировал в своих статьях творчество писателя. Однако в противовес Белинскому, который в зрелые годы видел в произведениях Гоголя прежде всего сатиру, разоблачение пороков николаевской России, славянофилы односторонне подчеркивали противоположный аспект: положительные начала жизни, величие проблем, эпический пафос, отображение христианских идеалов, борьбу за нравственного, самоответственного человека.

Хомяков с великим уважением относился к Пушкину и Лермонтову, но считал, что в своем творчестве и мировоззрении они недостаточно проникли в глубинные — в славянофильском понимании — основы народной жизни. Из поэтов пушкинской плеяды Хомяков очень ценил Тютчева и Языкова, из молодых — Ивана Аксакова, отмечая его поэму из крестьянской жизни «Бродяга». Одним из первых Хомяков восхищался драмами Островского; по инициативе Хомякова как председателя Общества любителей российской словесности Лев Толстой был принят в действительные члены общества; в речи 4 февраля 1859 года, при приеме Толстого, Хомяков приветствовал нового сочлена и очень высоко отозвался о его творчестве. В свете своего идеала, в свете живого и ясного стиля народной поэзии Хомяков оценивает деятельность А. С. Шишкова, подчеркивая его роль в становлении национального литературного языка: «...не забудьте, что Грибоедов считал себя учеником Шишкова, что Гоголь и Пушкин ценили его заслуги, что сам Карамзин отдал ему впоследствии справедливость и что самый русский по языку изо всех русских прозаиков вышел, по собственному признанию, из школы Шишкова» (3, 207). (Речь идет о С. Т. Аксакове как авторе «Семейной хроники». Заслуги Аксакова в истории русской литературы и литературного языка вообще очень высоко оценивались славянофилами.)

После смерти Николая I были несколько смягчены цензурные придирки к произведениям, критикующим пороки общества, и на страницы журналов хлынула массовая «обличительная» литература, в которой, в либеральном ее варианте, господствовало не серьезное воплощение типических конфликтов и черт, а поверхностное разоблачение частных недостатков. Сует-

ность, зубоскальство, мелкотемье такой литературы, сведение счетов с недругами, доходящее до клеветы,— все это вызывало резкие отповеди Хомякова, который особенно подробно остановился на этих проблемах в речи в Обществе любителей российской словесности 4 февраля 1859 года, когда в Общество принимали наряду с Л. Толстым очеркиста И. В. Селиванова. Признавая важность и законность гласности, свободной критики общественных пороков, Хомяков подчеркивал, что «к добру идти нужно добрыми и строгообсуженными путями» (3, 417).

С другой стороны, Хомяков враждебно относился к принципам «чистого искусства». Искусство, считал он, «вполне свободно» лишь в отвлечении, в теоретической интерпретации. «Но свобода художества, отвлеченно понятого, нисколько не относится к внутренней жизни самого художника. Художник не теория, не область мысли и мысленной деятельности: он человек, всегда человек своего времени, обыкновенно лучший его представитель, весь проникнутый его духом и его определившимися или зарождающимися стремлениями <...> в словесности вечное и художественное постоянно принимает в себя временное и преходящее» (3, 419).

Эстетическое Хомяков всегда связывал с этическим, художественное — с общественным. Более того, как правило, считал он, художественное и общественное взаимообусловливают друг друга и взаимно обогащают: «Лучший и высший представитель поэзии в Екатерининское время, Державин, есть в то же время общественный деятель в полном смысле слова» (3, 421). Хомяков подчеркивал гражданский характер всей русской словесности конца XVIII века, приводя в пример, кроме Державина, Фонвизина, Княжнина, Николева.

Хомяков не отрицал индивидуального своеобразия художников и писателей, отмечал характерные особенности выдающихся талантов, готов был даже упрекнуть своего младшего соратника по выработке славянофильских эстетических концепций Константина Аксакова в пренебрежении индивидуальным началом: «...вы были склонны слишком утеснять эту бедную личность, например, хоть в искусстве, где вы стояли за полную безымянность» (8, 352). Однако в целом и сам Хомяков, ради общего дела, в свете общенародных идеалов на первое место ставил гражданские и национальные свойства в искусстве и их анализировал в первую очередь. Довольно равнодушно относился Хомяков, подобно большинству славянофилов, и к указаниям личного авторства при своих произведениях. Некоторые его статьи в «Русской беседе» печатались от имени редакции или вообще безымянно.

В подчеркивании личного начала в художественном творчестве Хомяков всегда усматривал склонность к эгоцентризму, к индивидуализму, к отказу от принципа народности искусства. А приобщение к народности обогащает личное творчество и дает ему прочно укоренившиеся путеводные идеалы. С другой стороны, отмечал Хомяков, «чем человек полнее принадлежит своему народу, тем более доступен он и дорог всему человечеству» (3, 227). Иными словами, общечеловеческое в концепции Хомякова не про-

тивостоит народному, а неразрывно с ним связано: «...нет любви к человечеству в том, кто чужд своему народу» (3, 227).

В этической сфере, опять же в свете общенародных идеалов, Хомяков горячо проповедовал гражданскую, практическую, трудовую деятельность. Вместе с младшими славянофилами И. Аксаковым и Ю. Самариным он отличался наиболее практическим, наиболее земным складом характера и мировоззрения. Он постоянно нравственно тормошил своих друзей, упрекал в бездействии, тщательно изучал общественную и хозяйственную жизнь страны, ища в ней опоры для своих теорий. Хомяков, первый из славянофилов, деятельно боролся за освобождение крестьян от барщины, а потом и вообще от крепостной зависимости. А. А. Блок справедливо подчеркивал земную, конкретную любовь к родине у Хомякова и поставил его в этом отношении в один ряд с Лермонтовым, Тютчевым, Некрасовым[1]. И даже самая идеалистическая сфера — религия принимала у Хомякова удивительно земной характер. Ортодоксальные богословы осознавали критическое отношение Хомякова к официальному православию и осуждали его, да и вообще всех славянофилов, за смешение общественного и церковного и за преобладание первого в их концепциях: «В социальной философии славянофилов церковь замещена «общиной»[2]. И это действительно так, община у славянофилов — на первом месте. Хомяков неоднократно подчеркивал, что церкви существуют не для бога, а для людей (эту «еретическую» мысль решительно оспаривал тульский епископ Дамаскин). В религии Хомякова больше всего интересовали практические проблемы христианской этики, как он их понимал и чувствовал: любовь, добро, благоволение. Вера в сочетании с этими понятиями должна была, по Хомякову, способствовать прежде всего созданию гармонической жизни на земле.

Показательно, что жизнь в идеале мыслилась Хомяковым не только гармонической, но и по-земному радостной. Еще в одном из ранних стихотворений, «Поэт», Хомяков, изображая первозданную прелесть вселенной, отмечал веселье как главный атрибут жизни: «Все звезды жизнью веселились» и лишь «Земля катилася немая, Небес веселых сирота». При этом Хомяков решительно отвергал насмешливость; в этом он был похож на художника А. А. Иванова, не признававшего жанровой карикатуры, но очень любившего радость, хорошую шутку, смех. В статье об Англии Хомяков писал: «Только крепкая и серьезная природа может сочувствовать истинной веселости. В салоне отроду никогда никому весело не бывало. Человек со смыслом поймет, что в Шекспире во сто раз более веселости,

[1] См.: Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 321.

[2] Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 251. А Л. Н. Толстой, хорошо лично знавший славянофилов, вообще сомневался в их религиозности: «Алексей Степанович Хомяков не был религиозным. Славянофильство — мысль политическая, национальная (народная), а никак не религиозная в его основе. Православие значительно для славянофилов, потому что большинство славян его исповедует» (Лит. наследство. М., 1979. Т. 90. Кн. 4. С. 36. Запись в дневнике Д. Маковицкого от 9 августа 1909 г.).

чем в Мольере, и тот, для кого из романа Диккенса и особенно из сцен домашней жизни светит теплое солнышко сердечной радости, не поверит обвинению Англии в скуке» (1, 119). Ценны воспоминания М. А. Хомяковой (дочери) об отце: «Вообще он любил жизнь и все богом созданное, и всякую человеческую радость. Мне вспоминается один из многих его богословских разговоров с яркой кальвинисткой m-me Croisat об чуде в Кане Галилейской. Он спросил у нее, почему Христос превратил воду в вино и умножил его количество, а не другого чего-нибудь, употребляемого в пищу? Потому что он этим хотел благословить всякую чистую человеческую радость и веселье» (ГИМ)[1]. Пожалуй, точнее хомяковскую веселость следовало бы отождествить именно с радостью, но он любил веселость и как остроумие, необычность, изменчивость, уничтожающую автоматизм, банальность размеренной жизни, даже жизни религиозной. Хомяков с женой послали первого апреля письмо Киреевским якобы от Чаадаева, где последний выражал намерение вернуться от католицизма к православию (8, 39). Даже над набожностью любимой матери он мог подшутить; у той были два камня от некоей святой скалы, которые полагалось класть в кружку для питья, один камень днем, другой — на ночь; и вот когда подавали матери воду, сын серьезно замечал, что снова перепутали камни: вместо дневного положен ночной, чем вызывал переполох... (ГИМ).

Еще один, совсем необычный для христианина повод и объект для веселья — *непонимание:* чем досадовать и злиться, лучше над непонимающим смеяться! Хомяков в письме к Ю. Ф. Самарину от 1 сентября 1852 года развивает идею о «двойном» смехе: лица, чуждые славянофильским воззрениям, могут воспринимать их носителей комически, а это, в свою очередь, дает повод смеяться над смеющимися: «...постороннему зрителю, неспособному понять ту неволю, в которой убеждения держат душу человека, мы все должны представлять характер довольно комический. Иногда эта мысль приходит мне в голову и освежает меня смехом». Тут же Хомяков вспоминает, что это свойство ему было издавна присуще: «В детстве меня забавляло незаслуженное наказание, и я часто не хотел оправдываться, чтобы не лишаться своего внутреннего смеха» (8, 283).

Хомяков, подобно Герцену, понимал, что смех — признак силы, а не слабости; он был даже близок к пониманию социальной подоплеки настоящего комизма: «Сильная сатира, резкая комедия свидетельствуют еще о внутренней жизни, которая когда-нибудь еще может устроиться и развиться в формах более изящных и благородных» (8, 397). Эта мысль высказана Хомяковым в письме к графине А. Д. Блудовой от 2 апреля 1850 года по поводу комедии А. Н. Островского «Банкрут» («Свои люди — сочтемся»).

Постоянный смех и улыбчивость Хомякова часто воспринимались как

[1] Интересно с этим сравнить воспоминание М. А. Хомяковой о своей матери Екатерине Михайловне: «Сколько я помню мою мать, у нее кроме красоты было что-то кроткое, простое, ясное и детское в выражении лица, она была веселого характера, но без всякой насмешливости» (т а м ж е.)

признак легковесности, даже беспочвенности, отсутствия серьезного мировоззрения. Нет ничего более ошибочного. Удивительно хорошо сказал об этом Герцен в «Былом и думах»: «Многие — и некогда я сам — думали, что Хомяков спорил из артистической потребности спорить, что глубоких убеждений у него не было, и в этом была виновата его манера, его вечный смех и поверхностность тех, которые его судили. Я не думаю, чтоб кто-нибудь из славян сделал больше для распространения их воззрения, чем Хомяков. Вся его жизнь, человека очень богатого и не служившего, была отдана пропаганде. Смеялся ли он или плакал — это зависело от нерв, от склада ума, от того, как его сложила среда и как он отражал ее; до глубины убеждения это не касается»[1].

«Запас веселости» очень нужен был славянофилам, так как Хомяков ясно понимал: «Мы же должны знать, что никто из нас не доживет до жатвы» (8, 252). Именно поэтому Хомяков настаивал на оптимистическом мироощущении: «У нас постоянно должно быть более надежд, чем сомнений, и следовательно некоторый запас веселости» (8, 194). Веселость, так сказать, запасенная впрок! Сочетание непоколебимой уверенности в окончательном торжестве своего дела с органическим, природным весельем и создавало своеобразную натуру Хомякова.

Мировоззренческий и «генетический» оптимизм, перерастающий в веселость, очень характерен для творчества Хомякова, его стихов и прозы (публицистической и критической), особенно для прозы — здесь он более всего заметен: и в общей тональности статей, и в шутках, включенных в серьезные труды, и в обилии парадоксов и каламбуров (в этом еще сказывался глубокий артистизм Хомякова: умение ярко, образно, доходчиво говорить о сложных проблемах). Даже спорил он легко и весело, так что часто серьезная проблема — например, женской эмансипации — при такой полемике превращалась в изящную и даже как бы несколько легковесную шутку: «Приехал как-то в Петербург москвич (славянофил, что ли) в бороде, в русском платье; был где-то на большом вечере, и вдруг какая-то милая петербургская дама, вся в кружевах (ну просто вся блеск и трепет, как где-то сказал Гоголь), обратилась к нему, прося от имени многих разрешения бросать мужей. Что ж вы думаете? Медведь отказал, не позволил даже петербургским женам бросать своих петербургских мужей. Вы не верите, не верю и я. Но посмотрите: это напечатано в «Le Nord» в январе нынешнего года, в письме из Петербурга. Пусть это шутка, пусть даже насмешка насчет московских славянофилов и их неумытной (шутник скажет *неумытой*) строгости; все-таки видно, что про них идет такая слава» (3, 244).

Еще больше шуток и каламбуров в частных письмах Хомякова: без них, бывает, не обходится даже малая записка, а уж в больших письмах их обычно несколько сразу. То гомеопат Хомяков с удовольствием сообщает, что нашел лекарство от бешенства и что теперь беситься будут одни аллопаты

---

[1] Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 9. С. 158.

(8, 228), то он в период «мрачного семилетия» с грустью говорит о талантливом поэте, который сильно пьет и на упреки друзей отвечает, что пока они не найдут живую воду, он будет «тянуть мертвую» (8, 397). Судя по воспоминаниям современников, и в устных беседах Хомяков постоянно острил по самым разным поводам. Уже после его смерти Герцен привел одну печальную остроту, относящуюся к 40-м годам. Николай I велел награждать крестьян, которые выдавали властям своих детей, скрывавшихся от рекрутского набора. Герцен спросил Хомякова: «Какую же медаль им дадут <...> не ту ли, что дают крестьянам с надписью «За спасение погибавших»?» — «Непременно,— заметил Хомяков,— только уж с надписью: «За гибель спасавшихся»[1].

Даже умирающий Хомяков не удержался от каламбура! Как вспоминает находившийся у его постели сосед Л. М. Муромцев, за час до смерти Хомякову стало лучше, и обрадованный Муромцев стал утешать умирающего: «...посмотрите, как вы согрелись, и глаза просветлели», на что тот сострил: «А завтра как будут светлы!» (8, Приложения, 52). И это были последние его слова!

Стиль Хомякова-прозаика весьма своеобычен, он удивительно хорошо отобразил яркий человеческий характер автора.

Исследовательница истории литературы, и в частности славянофильства, Е. В. Старикова, кажется, впервые сделала попытку определить особенности стиля Хомякова, сопоставив его со стилем Киреевского: «Киреевский предлагает философское обоснование современных явлений культуры, Хомяков переводит эти философские положения на конкретные факты и распространяет их на более широкое поле исторической и современной деятельности, сохраняя глубину философского осмысления проблем, но выходя за рамки их отвлеченности.

Отличие публицистического стиля А. Хомякова от стиля И. Киреевского хорошо видно и по заголовкам хомяковских статей — интригующих, задевающих и в этом смысле вполне журналистских. Они противоположны строго описательным названиям статей Киреевского <...>.

Статьи Хомякова, в отличие от статей И. Киреевского, беллетризованы элементами то повествовательными, то декламационными, иногда даже диалогическими и всегда насыщены афоризмами, лирической патетикой и обильны историческими примерами. В его статьях явно ощутима архаическая стилизация и в языке и в синтаксисе; сам стиль их — стихийно или сознательно — выражал консервативную сущность защищаемых идей. Не случайно не только сами идеи, но и стиль публицистики Хомякова — «кафедральный, пророческий» (Герцен называл его «апокалиптическим») — Белинский высмеивал как нечто чуждое и враждебное себе»[2]

---

[1] Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 15. С. 129.
[2] Литературные взгляды и творчество славянофилов. 1830 — 1850 годы М., 1978. С. 87 — 88.

Характеристика в целом очень справедливая, но она нуждается в некоторых оговорках. Прежде всего, стиль Хомякова архаичен не только (или даже не столько) в духе торжественных библеизмов, пророчеств и т. п. — он в условиях господства реалистического метода середины XIX века архаичен еще и своими романтическими крайностями. К ним относятся и многочисленные синонимические ряды (понятий, эпитетов, синтаксических форм — чего угодно), и ряды «разнозначительных эпитетов» и оксюморонов, характерных для юношеской поэзии Хомякова, но встречающихся и в зрелой прозе («свирепый агнец», «бешеная кротость»), и — особенно — изысканные метафоры вроде «словесный меч правды не должен быть никогда обращаем в кинжал клеветы» (3, 417). Этот оборот в условиях 50-х годов (он взят из речи в Обществе любителей российской словесности 4 февраля 1859 г.) мог восприниматься на грани пародии...

Иногда, впрочем, Хомяков в своих развернутых метафорах создавал очень яркие общественно-литературные образы. Такова, например, его характеристика Чаадаева на фоне николаевской эпохи (речь 28 апреля 1860 г.): «...в такое время, когда, по-видимому, мысль погружалась в тяжкий и невольный сон, он особенно был дорог тем, что он и сам бодрствовал, и других пробуждал: тем, что в сгущавшемся сумраке того времени он не давал потухать лампаде и играл в ту игру, которая известна под именем «жив курилка». Есть эпохи, в которые такая игра есть уже большая заслуга» (3, 454).

В одном из писем к К. С. Аксакову (1842) Хомяков советует адресату сочетать научное содержание статей или брошюр со свободным, почти художественным изложением: «Форма диссертационная не русская; в отдельных же брошюрах вы принимаете какую угодно форму, афоризма, анекдота, поясняющего мысль, лирики <...>, смотря по ходу самого рассуждения, по расположению минутному или по преобладающему чувству» (8, 345 — 346). Сам Хомяков так именно и писал, композиция его статей удивительно свободная.

Интересно в этом отношении сравнить концовки статей Хомякова и его соратников. У наиболее «логичных», стремящихся к причинно-следственной поступательности мысли деятелей — у Киреевского и Самарина — заключение статей, как правило,— итоги, «резюме». У К. Аксакова, наоборот, вследствие тяготения к фрагментарности, отрывочности изложения чаще всего встречается как бы обрыв мысли, неожиданное прекращение анализа, даже если статья и сознательно завершена и опубликована как законченная. Даже в газетных передовицах «Молвы», где, казалось бы, прокламационный итог сам собой напрашивается, Аксаков самое большее, что сделает — это повторит какую-нибудь дорогую ему мысль, высказанную выше.

Хомяков занимает промежуточное место между Киреевским и Аксаковым, он может и свободно оборвать текст, может и резюмировать. Что исключительно характерно для него лично — это привнесение в концовки статей

своеобразных «пуантов»: афористичных выражений или даже остроумных парадоксов, запоминающихся своей неожиданностью.

Примерами афоризмов могут служить концовки в рецензии «Опера Глинки «Жизнь за царя»: «Нет человечески истинного без истинно народного!» (3, 103) или в речи 2 февраля 1860 года: «...тот, кто служит слову, служит величайшему из всечеловеческих дел» (3, 444). А наиболее колоритный пример парадоксального «пуанта» — в концовке «Разговора в Подмосковной»:

«Тульнев. <...> А думают же иные себя обезнародить и уйти в какую-то чистую, высокую сферу. Разумеется, им удается только уморить всю жизненность и, в этом мертвом виде, не взлететь в высоту, а, так сказать, повиснуть в пустоте. Чему смеетесь вы, Ольга Сергеевна?

Ольга Серг. Как же не смеяться? Ведь это *Магометов гроб»* (3, 320).

Ясно, что вся концовка заранее направлялась автором к такой остроте: здесь сказался его давний интерес к парадоксальным спорам, к остроумной полемике.

Насыщение статей неожиданными поворотами мысли, остротами, каламбурами было не только органичным для стиля Хомякова явлением, но и, очевидно, сознательным приемом. А. И. Кошелев приводит в воспоминаниях интересный разговор: он упрекнул Хомякова, что тот часто «излагал свои мнения в виде софизмов», на что Хомяков возразил: «Наше общество так апатично, так сонливо, и понятия его покоятся под такою толстою корою, что необходимо ошеломлять людей и молотом пробивать кору их умственного бездействия и безмыслия» (8, 129).

В духе старой патристической и проповеднической традиции Хомяков очень любил включать в свои труды притчи, параболы, присказки. Без них не обходилась у него почти ни одна статья, почти ни одна полемика. Крайний западник Б. Н. Чичерин назвал направление славянофильской «Русской беседы» мистическим; Хомяков тут же печатно отпарировал: «Недавно старая барыня просила молодого ученого объяснить ей электрический телеграф. Когда дошло до индукционных токов, она прервала его: «Нет, батюшка, уже это что-то так таинственно, что и понять нельзя». Таково решение старушек: таков же и суд устарелых школ» (3, 322).

В устных спорах, как можно судить по воспоминаниям современников, Хомяков так же обильно использовал притчи, апологи, параболы. Он даже осмеливался с их помощью укорять сильных мира сего... П. И. Бартенев со слов самого Хомякова объясняет, почему к тому был нерасположен всемогущий в 40-х годах попечитель Московского учебного округа граф С. Г. Строганов. Оказывается, произошла следующая история. Строганов отказывался выполнить какую-то просьбу Хомякова, ссылаясь на дворянскую честь: Noblesse oblige (положение обязывает). Тогда Хомяков рассказал притчу: два друга-дикаря учились в Париже, затем, вернувшись на родину, один из них стал «видным деятелем», через несколько лет вернулся и другой, состоялась радостная встреча, но деятель прервал ее, заявив,

что ему нужно присутствовать при жертвоприношении пленников; другой был изумлен: «Как же ты можешь участвовать в людоедстве?», на что деятель возразил: «Noblesse oblige...» (8, 192 — 193). Как видим, Строганову было на что обидеться!

Удивительна эта тяга Хомякова к спору, к «задиранию», к полемике, о чем говорят все мемуаристы. Герцен объяснял это унылым однообразием николаевской эпохи, желанием заглушить «чувство пустоты», но ведь таким блестящим спорщиком не был Киреевский, не были и другие славянофилы, да и кто из западников мог бы сравниться с Хомяковым в таланте полемиста? Разве что сам Герцен — и еще Белинский.

Видимо, эта черта была проявлением личности, индивидуальности Хомякова. Дочь его Мария Алексеевна в своих воспоминаниях дает очень точную, обобщающую характеристику отца, которая объясняет и страсть Хомякова к полемике: «А<лексей> С<тепанович> любил всякое состязание (соревнование) словесное, умственное или физическое; он любил и диалектику, споры и с друзьями, и с знакомыми, и с раскольниками на Святой (в Кремле), любил и охоту с борзыми, как природное состязание, любил скачки и верховую езду, игру на биллиарде, в шахматы и с деревенскими соседями в карты в длинные осенние вечера, и фехтование, и стрельбу в цель» (ГИМ).

Это индивидуальные хомяковские черты. Каждый из ведущих славянофилов был яркой личностью, непохожей на других, однако далеко не все из них личное начало допускали в систему, в мировоззренческие концепции. В творчестве братьев Аксаковых, например, особенно ярко отражалась их идея подавления личной свободы божественной объективной волей... Теоретически, пожалуй, наиболее «личностным» был И. Киреевский, подчеркивавший, что настоящая общинность не уничтожает, а развивает индивидуальности; к тому же Киреевский не очень верил в «железные» объективные законы и ждал перемен от божественного благоволения, от чуда, то есть от случайного явления, а случайное всегда тяготеет к особенному, к индивидуальному: ведь всякая индивидуальность — смесь закономерных, типических черт и случайных.

Хомяков в очень ценном теоретическом письме к А. И. Кошелеву (1854) признавался, что ему чужды обе крайности: и «партикуляризм» чуда у Киреевского, и «коренные законы» Ивана Аксакова, хотя он скорее готов примкнуть к утверждающим всеобщую закономерность, чем к ожидающим чудес (8, 141 — 142).

На самом деле житейски, психологически Хомяков ближе к личностному началу, при всех его теоретических утверждениях общих законов и подчинения им (далек он лишь от «чудесного», ибо все мистическое всегда было очень чуждо земному Хомякову). Его всегда привлекали незаурядные люди, яркие таланты, он и свои богатейшие способности не держал под спудом, а всячески проявлял их, проявлял себя не только как вождь направления, но и как личность. В статьях и письмах у него прорывались

искренние восторги по поводу выдающихся личных качеств какого-нибудь человека. Когда его младший товарищ Н. Д. Свербеев делился своими впечатлениями о знакомстве в Якутске с тамошним епископом Иннокентием, то Хомяков ответил неожиданной тирадой: «Везде такие люди не на всяком перекрестке; но у нас встретить героя в земле, отличающейся стереотипным бессмыслием взгляда и улыбки и стереотипною пустотою сердца и головы — это удача, которую можно смело назвать милостию божиею» (8, 428).

Интересно, что в бурные годы перед крестьянской реформой Хомяков стал допускать в свои статьи и теоретические утверждения личностного начала. Особенно значительна в этом отношении заметка «По поводу малороссийских проповедей» (1857). Защита устного и печатного украинского языка переходит здесь в защиту всего частного, индивидуального, в том числе и человечески личного. Хомяков подчеркивает, что на протяжении всей русской истории у нас занимались развитием общества, а «права личности были не только оставлены без внимания, но и совершенно принесены в жертву общему строительству»; автор призывает обратиться теперь к развитию личностей, без которого вся прежняя работа «потеряла бы всякое жизненное значение»; заметка заключается следующим тезисом: «Действительно высоко всякое человеческое лицо, как бы ни было оно низко поставлено случайностями жизни; действительно важна всякая частная жизнь, какой бы ни был круг ее действий» (3, 286 — 287).

Подобные суждения вносили существенные коррективы в общеславянофильскую концепцию «растворения» личности в общем деле (религиозном, государственном, социальном). Проникновение личностного начала не только в общественно-философские концепции Хомякова, но и в его религиозные сочинения давало основание православным богословам самого различного ранга (от казенных церковных «бюрократов» до серьезных мыслителей типа П. Флоренского) обвинять славянофильского вождя в «протестантизме», в отходе от православных догм.

Обвинения совершенно необоснованные. Во-первых, Хомяков никогда и ранее не ратовал за притеснение личности, наоборот, он всегда считал, что добровольное включение человека в жизнь общества, следование общим обычаям, идеалам и т. п. отнюдь не сковывает его личных желаний, личного творчества, а во-вторых, и в конце жизненного пути Хомяков был самым активным глашатаем общинного начала, духовного единения, народной целостности. Предсмертное произведение Хомякова, которое с полным правом может рассматриваться как его духовное завещание — «К сербам. Послание из Москвы» (оно было напечатано в Лейпциге в 1860 г. за подписью всех славянофилов),— все пронизано этими идеалами.

4

Как видим, и в целом у славянофилов, и в частности у отдельных мыслителей, особенно у Хомякова, совершались некоторые перемены в кон-

цепциях, точнее — некоторые переакцентировки (ибо общая система взглядов у них оставалась непоколебленной). Большое значение здесь имели события середины 50-х годов: смерть Николая I, поражение России в Крымской войне и активное антикрепостническое движение в стране. Славянофилы горячо включились в предреформенную борьбу и оказались в числе наиболее последовательных защитников освобождения крестьян с землею и выкупа (за счет государства) в пользу помещиков.

Еще в последние месяцы царствования Николая I славянофилы попытались снять проклятый цензурный запрет, лежавший на их деятельности с момента разгрома «Московского сборника» 1852 года. Хомяков, используя свои петербургские связи и знакомство с министром народного просвещения А. С. Норовым, пытался добиться ослабления гнета и отмены запрещения, но его усилия оказались тщетными. П. И. Бартенев воспроизводит потрясающую резолюцию Главного управления цензуры от 17 июня 1855 года на прошении Хомякова (уже после смерти Николая I!): «Отказать и не уведомлять об отказе» (8, 473). Эта резолюция должна войти в историю вместе с другими (относительно декабристов) знаменитыми резюме почившего императора!

Правда, спустя год славянофилам — с большим трудом — все-таки удалось добиться не только снятия запрета, но и разрешения издавать свой журнал («Русская беседа»). Впервые славянофилы получили в свои руки периодическое издание! Однако, как и раньше, они не имели общественно-журналистского успеха: «Русская беседа» существовала на «дотации» самих издателей и вынуждена была закрыться в 1860 году.

Попутно К. Аксаков в 1857 году и И. Аксаков в 1859-м предприняли было издание славянофильских газет («Молва» и «Парус»), но они были запрещены цензурой.

Хомяков деятельно участвовал во всех этих изданиях, а в «Русской беседе» он был одним из негласных руководителей. Вообще Хомяков в предреформенные годы проявляет разностороннюю общественную активность: помимо крестьянских дел и журналистики он еще восстановил в Москве Общество любителей российской словесности, где с 1859 года до смерти постоянно избирался председателем. Добрая половина всех публицистических и литературно-критических статей (включая сюда и речи) Хомякова создана была в эти четыре года (с осени 1856-го по лето 1860 г.).

Творческая энергия позднего Хомякова была для него своеобразной компенсацией личных, групповых, национальных бед.

В январе 1852 года скоропостижно умерла горячо любимая Хомяковым жена Екатерина Михайловна; это событие потрясло его необычайно, еще сильнее, чем смерть первых двух детей в младенческом возрасте, хотя и их смерть легла долго не заживающей раной на сердце отца. Именно в связи с потерей детей Хомяков высказал один из глубоких своих афоризмов: «Первое счастие в мире семейное; но в этом счастии та беда, что мы делаемся уязвимыми со всех сторон» (8, 49).

В последующие месяцы и годы Хомяков вместе с другими славянофилами тяжело переживал унизительные гонения и запреты, угрозы ареста и ссылки.

Но наиболее болезненно отразилась на общем мироощущении славянофилов серия поражений России в Крымской войне, приведших к сдаче Севастополя и к позорному миру.

Чрезвычайно трудно было сохранить при этом прежнюю оптимистическую уверенность, прежний славянофильский идеал гармонических государства, общества, семьи, тем более что перед глазами совершалось непрерывное расшатывание, непрерывный распад сложившихся устоев: Россия шла к буржуазности. Хомяков писал графине А. Д. Блудовой еще в 1850 году: «В жизни все дробится на такие мелкие части, общество так рассыпается и пустеет, что никакое вдохновение невозможно, кроме комического» (8, 397).

Можно было бы предполагать, что личные и общественные беды в конце концов расшатают представления Хомякова о гармонии, о счастье, о веселии. Нет, не расшатали! Разве что заставили больше думать о людских несчастьях, но и в не меньшей степени дали повод к поискам способов *преодоления* душевных бед (поскольку насильственных способов изменения общества Хомяков, как уже отмечалось, не признавал, главное внимание уделялось душевным состояниям гармонии и распада. Увы, искания в этой области отнюдь не решали проблемы общественной дисгармонии). «Всякое горе — род эмиграции»,— произнес Хомяков еще один афоризм; следовательно, нужно и из горя извлечь уроки, остаться человеком и с честью вернуться в нормальное состояние (8, 443). При этом он самое горе альтруизировал, видел в нем источник или стимул к деятельному добру (а попутно оспаривал «католическую» идею о количественных наказаниях и прощениях, то есть о мере божьего наказания за определенную меру греха; для Хомякова же страдание — следствие вообще греховности человека, а не мера данного конкретного греха). В одном из интереснейших сочинений на этические темы, в письме к И. С. Аксакову (около 1854), Хомяков так уточняет свою мысль: «Страдание способнее к состраданию, чем счастие (я говорю вообще, ибо иногда оно ожесточает), и поэтому благодарность, т. е. выражение ее в деятельности любви к ближнему, труднее счастливому, чем несчастному» (8, 361). А далее оказывается, что счастие все-таки более естественное состояние, чем несчастье, но оно налагает на человека большую ответственность, он должен уметь носить «тягость счастия».

Хомяков не просто утверждал превосходство счастья над несчастьем, но и посягал на традиционный христианский культ страдания. Публикуя в «Русской беседе» (1859) статью Э. А. Дмитриева-Мамонова «О византийской живописи», Хомяков сопроводил ее ценным примечанием, где оспаривает одно из главных положений статьи: «...слово *страдание*, которым автор характеризует христианское искусство, не совсем верно <...> Ха-

рактеристика нового искусства, по преимуществу христианского, не есть *страдание*, но *нравственный пафос*, которого страдание не может ни помрачить, ни победить» (3, 376).

Что же касается личного горя, то Хомяков с мужественным рыцарством прятал его от посторонних глаз; даже ближние далеко не все знали, каково ему приходилось. Сохранились очень важные для понимания личности Хомякова воспоминания о нем Ю. Ф. Самарина, где приводится такой эпизод: «Раз я жил у него в Ивановском. К нему съехалось несколько человек гостей, так что все комнаты были заняты, и он перенес мою постель к себе. После ужина, после долгих разговоров, оживленных его неистощимою веселостью, мы улеглись, погасили свечи, и я заснул. Далеко за полночь я проснулся от какого-то говора в комнате. Утренняя заря едва-едва освещала ее. Не шевелясь и не подавая голоса, я начал всматриваться и вслушиваться. Он стоял на коленях перед походной своей иконой, руки были сложены крестом на подушке стула, голова покоилась на руках. До слуха моего доходили сдержанные рыдания. Это продолжалось до утра. Разумеется, я притворился спящим. На другой день он вышел к нам веселый, бодрый, с обычным добродушным своим смехом. От человека, всюду его сопровождавшего, я слышал, что это повторялось почти каждую ночь...»[1]

Самарин описывает здесь состояние Хомякова после смерти жены. Но человек, способный так страдать, наверно, тяжело переживал и другие свои горести. О них мало знали близкие, они не прорывались на страницы его статей. Разве что в некоторых стихотворениях поздней поры, описывающих ночные тревоги и муки («Жаль мне вас, людей бессонных...», «Ночь», «Как часто во мне пробуждалась...»), звучит душевное горе.

Но несмотря ни на какие общественные и личные потрясения, Хомяков не отказался, не отступился от своих идеалов. Поэтому «дневной» Хомяков, веселый, энергичный, цельный,— естественное и искреннее сочетание природных даров с созданной разумом нормой. А «ночные» мучения — это те трещины в душе и в идеале, которые непрерывно появлялись и непрерывно же, с невиданными усилиями, замазывались, уничтожались. В «дневном» Хомякове и в его славянофильских декларациях гармонического характера заключалась общетипическая сущность группы, сближающая Хомякова, скажем, с К. Аксаковым, который до последних дней сохранил удивительное «детское», цельное мироощущение, без нотки трагедийности. «Ночной» же Хомяков, вероятно, может быть в каких-то особенностях душевных страданий сопоставлен с И. Киреевским, но внутренняя жизнь последнего еще менее известна.

---

[1] Татевский сборник. Спб., 1899. С. 133.

Реформа 1861 года, «освободившая» крестьян без земли и поставившая Россию на капиталистический путь развития, окончательно разрушила надежды славянофилов на воссоздание патриархального общественного устройства. Между тем вожди славянофильства один за другим уходили из жизни именно в предреформенное время. В 1856 году умерли оба брата Киреевские, Иван и Петр. 23 сентября 1860 года скоропостижно скончался от холеры Хомяков (сколько своих крестьян он вылечил от холеры, а себя не смог!). Вслед за ним угас Константин Аксаков.

Непосредственное воздействие Хомякова на русскую литературу и публицистику можно усмотреть, главным образом, в пределах его жизни: вначале — взаимосвязи и взаимовлияние в кружке «любомудров», затем — воздействие на молодую поросль славянофильских деятелей, прежде всего на творчество братьев Аксаковых, Константина и Ивана. Существует некоторая связь между Хомяковым и Вл. Соловьевым.

Самым значительным было влияние творчества Хомякова на литературу и публицистику западных и южных славян. Его стихотворения, статьи, письма о славянском братстве, о возрождении и освобождении славянских народов стали чрезвычайно популярны в Чехии, Словакии, у народов Югославии, в Болгарии еще в сороковых — пятидесятых годах прошлого века.

Немаловажна и общекультурная роль славянофильского движения, поднявшего и широко рассмотревшего проблемы национальной самобытности, традиционализма, общинного строя, народного суверенитета, позитивного, деятельного творчества,— движения, ратовавшего за политическое, экономическое и духовное раскрепощение славянских народов. Герцен в некрологе «Константин Сергеевич Аксаков» так говорил о роли старших славянофилов: «Киреевские, Хомяков и Аксаков — *сделали свое дело*; <...> они могли сказать себе с полным сознанием, что они сделали то, что хотели сделать, и если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петром и в которой сидит Бирон и колотит ямщика, чтоб тот скакал по нивам и давил людей,— то они остановили увлеченное общественное мнение и заставили призадуматься всех серьезных людей. С них начинается *перелом русской мысли*»[1].

В последнем Герцен неточен: славянофилы начали пробуждать общественную мысль последекабристского периода одновременно с Чаадаевым, Белинским и самим Герценом. Но славянофилы внесли немалый вклад в это пробуждение в глухую николаевскую эпоху. Без них трудно представить и дальнейшее развитие самобытной русской культуры.

Б. Ф. Егоров

---

[1] Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 15. С. 9.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

О СТАРОМ И НОВОМ

Говорят, в старые годы лучше было все в земле русской. Была грамотность в селах, порядок в городах, в судах правда, в жизни довольство. Земля русская шла вперед, развивала все силы свои, нравственные, умственные и вещественные. Ее хранили и укрепляли два начала, чуждые остальному миру: власть правительства, дружного с народом, и свобода церкви, чистой и просвещенной.

Грамотность! Но на *копии* (которая находится у меня) с присяги русских дворян первому из Романовых, вместо подписки князя Троекурова, двух дворян Ртищевых и многих других, менее известных, находится крест с отметкою: по неумению грамоте.— Порядок! Но еще в памяти многих, мне известных, стариков сохранились бесконечные рассказы о криках ясачных; а ясачный крик[1] был то же, что на Западе cri de guerre*, и беспрестанно в первопрестольном граде этот крик сзывал приверженцев, родственников и клиентов дворянских, которые при малейшей ссоре высыпали на улицу, готовые на драку и на сражение до смерти или до синяков.— Правда! Но князь Пожарский был отдан под суд за взятки; старые пословицы полны свидетельств против судей прежнего времени; указы Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича повторяют ту же песнь о взятках и о новых мерах для ограждения подсудимых от начальства; пытка была в употреблении всеобщем, и слабый никогда не мог побороть сильного.— Довольство! При малейшем неурожае люди умирали с голода тысячами, бежали в Польшу, кабалили себя татарам, про-

* клич к войне *(франц.)*.— *Ред.*

давали всю жизнь свою и будущих потомков крымцам или своим братьям русским, которые едва ли были лучше крымцев и татар.— Власть дружная с народом! Не только в отдаленных краях, но в Рязани, в Калуге и в самой Москве бунты народные и стрелецкие были происшествием довольно обыкновенным, и власть царская частехонько сокрушалась о препоны, противопоставленные ей какой-нибудь жалкою толпою стрельцов, или делала уступки какой-нибудь подлой дворянской крамоле. Несколько олигархов вертели делами и судьбою России и растягивали или обрезывали права сословий для своих личных выгод.— Церковь просвещенная и свободная! Но назначение патриарха всегда зависело от власти светской, как скоро только власть светская хотела вмешиваться в дело избрания; архиерей псковский, уличенный в душегубстве и в утоплении нескольких десятков псковитян, заключается в монастырь[2]; а епископ смоленский метет двор патриарха и чистит его лошадей в наказание за то, что жил роскошно[3]; Собор Стоглавый[4] остается бессмертным памятником невежества, грубости и язычества, а указы против разбоя архиерейских слуг показывают нам нравственность духовенства в виде самом низком и отвратительном. Что же было в золотое старое время? Взгрустнется поневоле. Искать ли нам добра и счастья прежде Романовых? Тут встречают нас вольчья голова[5] Иоанна Грозного, нелепые смуты его молодости, безнравственное царствование Василия, ослепление внука Донского[6]; потом иго монгольское, уделы, междоусобия, унижение, продажа России варварам и хаос грязи и крови. Ничего доброго, ничего благородного, ничего достойного уважения или подражания не было в России. Везде и всегда были безграмотность, неправосудие, разбой, крамолы, личности[7], угнетение, бедность, неустройство, непросвещение и разврат. Взгляд не останавливается ни на одной светлой минуте в жизни народной, ни на одной эпохе утешительной и, обращаясь к настоящему времени, радуется пышной картине, представляемой нашим отечеством.

Хорошо! Да что же нам делать с сельскими протоколами, отысканными Языковым[8], с документами, открытыми Строевым?[9] Это не подделка, не выдумка, это не догадка систематиков; это факты ясные, неоспориваемые. Была же грамотность и организация в селах: от нее остатки в сходках и мирских приговорах, которых не могли уничтожить ни власть помещика, ни власть казенных начальств. Что делать нам с явными свидетельствами об городском порядке, о распределении должностей между гражданами, о заведениях, которых

цель была облегчать, сколько возможно, низшим доступ к высшим судилищам? Что делать с судом присяжных, который существовал бессомненно в Северной и Средней России, или с судом словесным, публичным, который и существовал везде и сохранился в названии <совестного> суда, по форме прекрасного, но неполного учреждения?[10] Что делать с песнями, в которых воспевается быт крестьянский? Этих песен теперь не выдумали русские крестьяне. Что делать с отсутствием крепостного права, если только можно назвать правом такое наглое нарушение всех прав? Что с равенством, почти совершенным, всех сословий, в которых люди могли переходить все степени службы государственной и достигать высших званий и почестей? Мы этому имеем множество доказательств, и даже самые злые враги древности русской должны ей отдать в сем отношении преимущество перед народами западными. Власть представляет нам явные доказательства своего существования в распространении России, восторжествовавшей над столькими и столь сильными врагами, а дружба власти с народом запечатлена в старом обычае, сохранившемся при царе Алексее Михайловиче, собирать депутатов всех сословий для обсуждения важнейших вопросов государственных. Наконец, свобода чистой и просвещенной церкви является в целом ряде святителей, которых могущее слово более способствовало к созданию царства, чем ум и хитрость государей,— в уважении не только русских, но и иноземцев к начальникам нашего духовенства, в богатстве библиотек патриаршеских и митрополических, в книгах духовных, в спорах богословских, в письмах Иоанна, и особенно в отпоре, данном нашей церковью церкви Римской.

После этого, что же думать нам об старой Руси? Два воззрения, совершенно противоположные, одинаково оправдываются и одинаково опровергаются фактами неоспоримыми, и никакая система, никакое искусственное воссоздание древности не соответствует памятникам и не объясняет в полноте их всестороннего смысла.

Нам непозволительно было бы оставить вопрос неразрешенным тогда, когда настоящее так ясно представляется нам в виде переходного момента и когда направление будущего почти вполне зависит от понятия нашего о прошедшем. Если ничего доброго и плодотворного не существовало в прежней жизни России, то нам приходится все черпать из жизни других народов, из собственных теорий, из примеров и трудов племен просвещеннейших и из стремлений современных. Мы можем приступить к делу смело, прививать чужие плоды к

домашнему дичку, перепахивать землю, не таящую в себе никаких семян, и при неудачах успокаивать свою совесть мыслью, что, как ни делай, хуже прежнего не сделаешь. Если же, напротив, старина русская была сокровище неисчерпаемое всякой правды и всякого добра, то труд наш переменит свой характер, а все так же будет легок. Вот архивы, вот записки старых бумаг, сделок, судебных решений, летописей и пр. и пр. Только стоит внести факт критики под архивные своды и воскресить, на просторе царства, учреждения и законы, которых трупы истлевают в забытых шкафах и сундуках.

После краткого обзора обоих мнений едва ли можно пристать к тому или другому. Вопрос представляется в виде многосложном и решение затруднительным. Что лучше, старая или новая Россия? Много ли поступило чуждых стихий в ее теперешнюю организацию? Приличны ли ей эти стихии? Много ли она утратила своих коренных начал и таковы ли были эти начала, чтобы нам о них сожалеть и стараться их воскресить?

Современную Россию мы видим: она нас и радует, и теснит; об ней мы можем говорить с гордостью иностранцам, а иногда совестимся говорить даже с своими; но старую Русь надобно — угадать.

Сличение всех памятников, если не ошибаюсь, приведет нас к тому простому заключению, что прежде, как и теперь, было постоянное несогласие между законом и жизнию, между учреждениями писаными и живыми нравами народными. Тогда, как и теперь, закон был то лучше, то хуже обычая, и редко исполняемый, то портился, то исправлялся в приложении. Примем это толкование, как истину, и все перемены быта русского объяснятся. Мы поймем, как легко могли измениться отношения видимые, и в то же время будем знать, что изменения редко касались сущности отношения между людьми и учреждениями, между государством, гражданами и церковью. Для примера возьмем один из благороднейших законов новейшего времени, которым мы можем похвалиться перед стариною, и одно из старых постановлений, о котором мы должны вспомнить с горестью. Пытка отменена в России тогда, когда она существовала почти во всех судах Европы, когда Франция и Германия говорили об ней без стыда и полагали ее необходимою для отыскания и наказания преступников. Скажем ли, однако, что пытка не существовала в России? Она существует, она считается неизбежною, она существует при всяком следствии, дерзко бросается в глаза во всех судах,

и еще недавно в столице, при собрании тысячи зрителей, при высших сановниках государства, при самом государе крикнула веселым голосом: «А не хочешь ли покушать селедки?»[11] Крепостное состояние крестьян введено Петром Первым; но когда вспомним, что они не могли сходить с своих земель, что даже отлучаться без позволения они не смели, а что между тем суд был далеко, в Москве, в руках помещиков, что противники их были всегда и богаче, и выше их в лестнице чинов государственных,— не поймем ли мы, что рабство крестьян существовало в обычае, хотя не было признано законом, и что отмена Холопьего приказа[12] не могла произвести ни потрясений, ни бунтов и должна была казаться практическому уму Петра простым уничтожением ненужного и почти забытого присутственного места? Так-то факты и учреждения письменные разногласят между собою. Конечно, никто из нас не может вспомнить без горя о том, что закон согласился принять на себя ответственность за мерзость рабства, введенного уже обычаем, что закон освятил и укоренил давно вкрадывавшееся злоупотребление аристократии, что он видимо ограничил свободу церкви; но вспомним также, что дворянство слабеет ежедневно, расширяется, отворяет свои ворота почти для всех желающих и до того тяготится собою, что готово само проситься в отставку из дворян; а церковь в земле самодержавной более ограждена равнодушием правительства к ней, чем сановитым, но всегда зависимым лицом полупридворного патриарха. Бесконечные неустройства России доромановской не позволяют сравнивать ее с нынешнею, и потому я всегда говорю об той России, которую застал Петр и которая была естественным развитием прежней. Я знаю, что в ней хранилось много прекрасных инстинктов, которые ежечасно искажаются, что когда-нибудь придется нам поплатиться за то, что мы попрали святые истины равенства, свободы и чистоты церковной; но нельзя не признаться, что все лучшие начала не только не были развиты, но еще были совершенно затемнены и испорчены в жизни народной, прежде чем закон коснулся их мнимой жизни.

По мере того, как царство русское образовывалось и крепло, изглаживались мало-помалу следы первого, чистого и патриархального состава общества. Вольности городов пропадали, замолкали веча, отменялось заступничество тысяцких[13], вкрадывалось местничество, составлялась аристократия, люди прикреплялись к земле, как прозябающие, и добро нравственное сохранялось уже только в мертвых формах, лишенных преж-

него содержания. Невозможно государству подвигаться в одно время по всем направлениям. Когда наступила минута, в которую самое существование его подверглось опасности, когда, безмерно расширяясь и помня прежнее свое рождение, оно испугалось будущего, тогда, оставляя без внимания все частные и мелкие выгоды личные, пренебрегая обычаи и установления, несколько обветшавшие, не останавливаясь, чтобы отыскивать прекрасную сущность, обратившуюся в бесполезный обряд, государство устремилось к одной цели, задало себе одну задачу и напрягло все силы свои, чтобы разрешить ее: задача состояла в сплочении разрозненных частей, в укреплении связей правительственных, в усовершенствовании, так сказать, механическом всего общественного состава.

Иоанн Третий утягощает свободу северных городов и утверждает обряды местничества, чтобы все уделы притянуть в Москву общею нумерациею боярских родов; Иоанн Четвертый выдумывает опричнину; Феодор воздвигает в Москве патриаршеский престол; Годунов укрепляет людей к земле; Алексей Михайлович заводит армию на лад западный; Феодор уничтожает местничество, сделавшееся бесполезным для власти и вредным для России, и, наконец, является окончатель их подвига, воля железная, ум необычайный, но обращенный только в одну сторону, человек, для которого мы не находим ни достаточно похвал, ни достаточно упреков, но о котором потомство вспомнит только с благодарностью,— является Петр. Об его деле судить я не стану; но замечу мимоходом, что его не должно считать основателем аристократии в России, потому что безусловная продажа поместий, обращенных Михаилом Феодоровичем и Алексеем Михайловичем в отчины, уже положила законное начало дворянству; так же как не должно его обвинять в порабощении церкви, потому что независимость ее была уже уничтожена переселением внутрь государства престола патриаршего, который мог быть свободным в Царьграде, но не мог уже быть свободным в Москве.

Если сравнить состояние России в XIX веке с состоянием ее в XVII, мы придем, кажется, к следующему заключению. Государство стало крепче и получило возможность сознания и постепенного улучшения без внутренней борьбы; несколько прекрасных начал, прежде утраченных и забытых, освящено законом и поставлено на твердом основании: такова отмена смертной казни, человеколюбие в праве уголовном и возможность низшим сословиям восходить до высших степеней государственных на условиях известных и правильных. Нако-

нец, закон осветил несколько злоупотреблений, введенных обычаем в жизнь народную, и через это видимо укоренил их. Я знаю, как важна для общества нравственная чистота закона; я знаю, что в ней таится вся сила государства, все начала будущей жизни, но полагаю также, что иногда злоупотребление, освященное законом, вызывает исправление именно своею наглостью, между тем как тихая и скрытая чума злого обычая делается почти неисцелимою. Так в наше время мерзость рабства законного, тяжелая для нас во всех смыслах, вещественном и нравственном, должна вскоре искорениться общими и прочными мерами, между тем как илотизм[14] крестьян до Петра мог сделаться язвою вечною и по меньшей мере вел к состоянию пролетариев или безземельных английских работников.

Начал чуждых вижу я весьма мало: дворянство, введенное Петром Третьим, уже столько изменилось от действия духа народного, что оно не только не имеет характера аристократического, но даже чище, чем оно было до Петра Великого после усиления боярских родов и безусловного обращения поместий в отчины.

В жизни же и ходе просвещения: излишний космополитизм, некоторое протестантство[15] мыслей и отчуждение от положительных начал веры и духовного усовершенствования христианского, сопряженные <в то же время> с отстранением безобразной формальности, равнодушия к человечеству, переходящего почти в ненависть, и какого-то усыпления умственного и духовного, граничащего с еврейским самодовольствием и языческой беспечностью.

Я уже говорил о многих прекрасных стихиях, которые нами утрачены; но я, кажется, также показал, что они уничтожены обрядами, прежде чем законы коснулись их. Они прежде были убиты народом, потом уже схоронены государями. Сказать ли нам: «почий в мире?» Нет, лучше скажем: вечная им память, и вечно их будем поминать. Камбасерес сказал: «La désuétude est la plus juste et la plus amère critique d'une loi»*. Это правда, но правда неполная. Когда государство находилось в продолжение нескольких веков в осадном положении, многие законы могли быть совершенно забыты; но это забвение невольное не есть укор закону. Бессильный временно, лишенный действия и приложения, он живет скрытно в душах, несмотря на злые обычаи, введенные

* «Устарелость — самая справедливая и самая горькая критика закона» *(франц.).— Ред.*

необходимостью, несмотря на невежество народа или на крутое действие власти.

Эти-то лучшие инстинкты души русской, образованной и облагороженной христианством, эти-то воспоминания древности неизвестной, но живущей в нас тайно, произвели все хорошее, чем мы можем гордиться: уничтожение смертной казни, освобождение Греции и церкви греческой в недрах самой Турции, открытие законных путей к возвышению лиц по лестнице государственных чинов, под условием заслуг или просто просвещения, мирное направление политики, провозглашение закона Христа и правды, как единственных законов, на которых должны основаться жизнь народов и их взаимные сношения. Кое-что сделано; более, несравненно более остается сделать такого, на что вызывает нас дух, живущий в воспоминаниях, преданиях или символах, уцелевших от древности. Весь этот прекрасный мир замирал, почти замер в беспрестанных борьбах, внутренних и внешних, России. Без возобновления государства все <бы> погибло; государство ожило, утвердилось, наполнилось крепостию необычайною: теперь все прежние начала могут, должны развиваться и разовьются собственною своею неумирающею силою.— Нам стыдно бы было не перегнать Запада. Англичане, французы, немцы не имеют ничего хорошего за собою. Чем дальше они оглядываются, тем хуже и безнравственнее представляется им общество. Наша древность представляет нам пример и начала всего доброго в жизни частной, в судопроизводстве, в отношении людей между собою; но все это было подавлено, уничтожено отсутствием государственного начала, раздорами внутренними, игом внешних врагов. Западным людям приходится все прежнее отстранять, как дурное, и все хорошее в себе создавать; нам довольно воскресить, уяснить старое, привести его в сознание и жизнь. Надежда наша велика на будущее.

Все, что можно разобрать в первых началах истории русской, заключается в немногих словах. Правительство из варягов представляет внешнюю сторону; областные веча — внутреннюю сторону государства. Во всей России исполнительная власть, защита границ, сношения с державами соседними находятся в руках одной варяго-русской семьи, начальствующей над наемною дружиною; суд правды, сохранение обычаев, решение всех вопросов правления внутреннего предоставлены народному совещанию. Везде, по всей России устройство почти одинаковое; но совершенного единства обычаев не находим не только между отдаленными городами, но нижé между Новгородом и Псковом, столь близкими и по

месту, и по выгодам, и по элементам народонаселения. Где же могла находиться внутренняя связь? Случайно соединено несколько племен славянских, мало известных друг другу, не живших никогда одною общею жизнию государства; соединены они какою-то федерациею, основанною на родстве князей, вышедших не из народа, и, может быть, отчасти единством торговых выгод: как мало стихий для будущей России!

Другое основание могло поддержать здание государственное, это единство веры и жизнь церковная; но Греция посылала нам святителей, имела с нами одну веру, одни догматы, одни обряды, а не осталась ли она нам совершенно чуждою? Без влияния, без живительной силы христианства не восстала бы земля русская; но мы не имеем права сказать, что одно христианство воздвигло ее. Конечно, все истины, всякое начало добра, жизни и любви находилось в церкви, но в церкви возможной, в церкви просвещенной и торжествующей над земными началами. Она не была таковой ни в какое время и ни в какой земле. Связанная с бытом житейским и языческим на Западе, она долго была темною и бессознательною, но деятельною и сухо-практическою; потом, оторвавшись от Востока и стремясь пояснить себя, она обратилась к рационализму, утратила чистоту, заключила в себе ядовитое начало будущего падения, но овладела грубым человечеством, развила его силы вещественные и умственные и создала мир прекрасный, соблазнительный, но обреченный на гибель, мир католицизма и реформатства. Иная была судьба церкви восточной. Долго боролась она с заблуждениями индивидуального суждения, долго не могла она успокоить в правоте веры разум, взволнованный гордостью философии эллинской и мистицизмом Египта или Сирии. Прошли века, уяснилось понятие, смирилась гордость ума, истина явилась в свете ясном, в формах определенных; но промысл не дозволил Греции тогда же пожать плоды своих трудов и своей прекрасной борьбы. Общество существовало уже на основании прочном, выведенном историею, определенном законами положительными, логическими, освященном великою славою прошедшего, чудесами искусства, роскошью поэзии; и между тем все это — история, законы, слава, искусство, поэзия, — разногласило с простотой духа христианского, с истинами его любви. Народ не мог оторваться от своей истории, общество не могло пересоздать свои законы; христианство жило в Греции, но Греция не жила христианством. Долго от живого источника веры получала империя силы, почти невероятные, для

сопротивления врагам внешним; долго это дряхлое тело боролось с напором варваров северных, воинственных фанатиков Юга и диких племен Средней Азии; но восстать и окрепнуть для новой жизни оно не могло, потому что упорные формы древности неспособны были принять полноту учения христианского. Мысль <утомленная> тщетною борьбою с внешностью быта общественного и государственного, уходила в пустыни, в обители Египта и Палестины, в нагорные монастыри Малой Азии и Эллады. Туда-то лучшие, избранные души уносили из круга гражданского красоту своей внутренней жизни, и, удаляясь от мира, которому они не хотели и который не мог им покориться, они избрали поприще созерцания, размышления, молитвы и духовного восторга. В них жило все прекрасное и высокое, все то, что не осуществлялось современным обществом. Тогда-то замолкает лира Греции, источник песни иссякает. Поэзия перешла в монастыри, в самый быт монашеский; так сказать, в самую сущность отшельников. Но так как суждено роду человеческому всегда более или менее покоряться или, по крайней мере, преклоняться пред чистотою поэтического духа,— мир греческий обращается с безграничным почтением к людям, отвергнувшим его. Почтение, оказанное великим наставникам и основателям монашеского подвига, увлекло с собою бесконечное число подражателей, и ложные монахи размножились на Востоке, как мнимые поэты размножаются в наше время на Западе. По всему обществу распространяется характер отчуждения людей друг от друга; эгоизм и стремление к выгодам частным сделались отличительными чертами грека. Гражданин, забывая отечество, жил для корысти и честолюбия; христианин, забывая человечество, просил только личного душеспасения; государство, потеряв святость свою, переставало представлять собою нравственную мысль; церковь, лишившись всякого действия и сохраняя только мертвую чистоту догмата, утратила сознание своих живых сил и память о своей высокой цели. Она продолжала скорбеть с человеком, утешать его, отстранять его от преходящего мира; но она уже не помнила, что ей поручено созидать здание всего человечества. Такова была Греция, таково было ее христианство, когда угодно было богу перенести в наш Север семена жизни и истины. Не могло духовенство византийское развить в России начала жизни гражданской, о которой не знало оно в своем отечестве. Полюбив монастыри сперва, как я сказал, поневоле, Греция явилась к нам с своими предубеждениями, с любовью к аскетизму, призывая людей к покаянию и к совершенствованию,

терпя общество, но не благословляя его, повинуясь государству, где оно было, но не созидая там, где его не было. Впрочем, и тут она заслужила нашу благодарность. Чистотой учения она улучшила нравы, привела к согласию обычаи разных племен, обняла всю Русь цепью духовного единства и приготовила людей к другой, лучшей эпохе жизни народной.

Всего этого было еще мало. Федерация южных и северных племен, под охраною дома Рюрикова, не составляла могущего единоначального целого. Области жили жизнию отдельною, самобытною. Новгород не был врагом врагов Киева. Киев своею силою не отстаивал Новгорода. Народ не просил единства, не желал его. Внешняя форма государства не срослась с ним, не проникла в его тайную, душевную жизнь. Раздоры князей разрывали и опустошали Россию, но области оставались равнодушными к победителю, так же как и к побежденному. Когда же честолюбивый и искусный в битвах великий князь стремился к распространению власти своей, к сосредоточиванию сил народных (какие бы ни были побудительные причины его действия, любовь ли к общественному благу или своекорыстие), против него восставало не только властолюбие других князей, но еще более завистливая свобода общин и областей, привычных к независимости, хотя вечно терпевших угнетения. Одна была в праве, а другое в деле.

Новгороду вольному, гордому, эгоистическому, привыкшему к своей отдельной политической жизни, в которой преобладало начало племенное, не приходило в мысль соединить всю Россию; Киеву бессильному, случайно принявшему в себя воинственный характер варягов, нельзя было осуществить идею великого государства. До нашествия монголов никому, ни человеку, ни городу, нельзя было восстать и сказать: «Я представитель России, я центр ее, я сосредоточу в себе ее жизнь и силу».

Гроза налетела с Востока, ужасная, сокрушившая все престолы Азии, достаточная для уничтожения всей Европы, если бы Европа не была спасена от нее безмерным расстоянием. Тень будущей России встретила ее при Калке, и побежденная — могла не стыдиться своего поражения. Бог как будто призывал нас к единению и союзу. Но церковь молчала и не предвидела гибели; народ оставался равнодушным, князья продолжали свои междоусобицы. Кара была правосудна, перерождение было необходимо. Насилие спасительно, когда спит внутренняя деятельность человека. Когда вторичный налет монголов ударил в Россию, ее падение было бес-

славно. Она встретила гибель без всякого сопротивления, без попытки на отпор[16]. Читая летописи, чувствуешь, что какое-то глубокое уныние проникло весь этот нестройный состав русского общества, что он уже не мог долее существовать и что монголы были случайностью, счастливою для нас: ибо эти дикие завоеватели, разрушая все существующее, по крайней мере, не хотели и не могли ничего создать.

В то время, когда ханы уничтожали всю восточную и южную полосу России, когда Запад ее, волею или неволею, признал над собою владычество грубого племени литовского, а Север, чуждый всякой великой идеи государственной, безумно продолжал свою ограниченную и местную жизнь, торговую и разбойническую, возникла новая Россия. Беглецы с берегов Дона и Днепра, изгнанники из богатых областей Волыни и Курска бросились в леса, покрывающие берега Оки и Тверцы, верховья Волги и скаты Алаунские[17]. Старые города переполнились, выросли новые села, выстроились новые города, Север и Юг смешались, проникнули друг друга, и началась в пустопорожних землях, в диких полях Москвы, новая жизнь, уже не племенная и не окружная, но общерусская.

Москва была город новый, не имеющий прошедшего, не представляющий никакого определительного характера, смешение разных славянских семей, и это ее достоинство. Она была столько же созданием князей, как и дочерью народа; следственно, она совместила в тесном союзе государственную внешность и внутренность, и вот тайна ее силы. Наружная форма для нее уже не была случайною, но живою, органическою, и торжество ее в борьбе с другими княжениями было несомненно. От этого-то так рано в этом молодом городке (который, по обычаям русской старины, засвидетельствованной летописцами, и по местничеству городов должен был быть смиренным и тихим) родилось вдруг такое буйное честолюбие князей, и оттого народ мог сочувствовать с князьями.

Я не стану излагать истории Московского княжества; из предыдущих данных легко понять ее <Москвы> битвы и ее победы. Как скоро она объявила желание быть Россиею, это желание должно было исполниться, потому что оно выразилось вдруг и в князе, и в гражданине, и в духовенстве, представленном в лице митрополита. Новгород устоять не мог, потому что идея города должна была уступить идее государства; князья противиться долго не могли, потому что они были случайностью в своих княжествах; областная свобода и зависть городов, разбитых и уничтоженных монголами, не

могли служить препоною, потому что инстинкт народа, после кровавого урока, им полученного, стремился к соединению сил, а духовенство, обращающееся к Москве, как к главе православия русского, приучало умы людей покоряться ее благодетельной воле.

Таковы причины торжества. Каковы же были последствия? Распространение России, развитие сил вещественных, уничтожение областных прав, угнетение быта общинного, покорение всякой личности мысли государства, сосредоточение мысли государства в лице государя,— добро и зло допетровской России. С Петром начинается новая эпоха. Россия сходится с Западом, который до того времени был совершенно чужд <ей>. Она из Москвы выдвигается на границу, на морской берег, чтобы быть доступнее влиянию других земель, торговых и просвещенных. Но это движение не было действием воли народной; Петербург был и будет единственно городом правительственным, и, может быть, для здорового и разумного развития России не осталось и не останется бесполезным такое разъединение в самом центре государства. Жизнь власти государственной и жизнь духа народного разделились даже местом их сосредоточения. Одна из Петербурга движет всеми видимыми силами России, всеми ее изменениями формальными, всею внешнею ее деятельностью; другая незаметно воспитывает характер будущего времени, мысли и чувства, которым суждено еще облечься в образ и перейти из инстинктов в полную, разумную, проявленную деятельность. Таким образом, вещественная личность государства получает решительную и определенную деятельность, свободную от всякого внутреннего волнения, и в то же время бесстрастное и спокойное сознание души народной, сохраняя свои вечные права, развивается более и более в удалении от всякого временного интереса и от пагубного влияния сухой практической внешности.

Мы видели, что первый период истории русской представляет федерацию областей независимых, охваченных одною цепью охранной стражи. Эгоизм городов нисколько не был изменен случайностью варяжского войска и варяжских военачальников, которых мы называем князьями, не представляя себе ясного смысла в этом слове. Единство языка было бесплодно, как и везде: этому нас учит древний мир Эллады. Единство веры не связывало людей, потому что она пришла к нам из земли, от которой вера сама отступилась, почувствовав невозможность ее пересоздать. Когда же гроза монгольская и властолюбие органически созданного княжества

Московского разрушили границы племен, когда Русь срослась в одно целое,— жизнь частей исчезла; но люди, отступившись от своей мятежной и ограниченной деятельности в уделах и областях, не могли еще перенести к новосозданному целому теплого чувства любви, с которым они стремились к знаменам родного города при криках: «За Новгород и святую Софию» или: «За Владимир и Боголюбскую Богородицу». России еще никто не любил в самой России, ибо, понимая необходимость государства, никто не понимал его святости. Таким образом, даже в 1612 году, которым может несколько похвалиться наша история, желание иметь веру свободную сильнее действовало, чем патриотизм, а подвиги ограничились победою всей России над какою-то горстью поляков.

Между тем, когда все обычаи старины, все права и вольности городов и сословий были принесены на жертву для составления плотного тела государства, когда люди, охраненные вещественною властью, стали жить не друг с другом, а, так сказать, друг подле друга, язва безнравственности общественной распространилась безмерно, и все худшие страсти человека развились на просторе: корыстолюбие в судьях, которых имя сделалось притчею в народе, честолюбие в боярах, которые просились в аристократию, властолюбие в духовенстве, которое стремилось поставить новый папский престол. Явился Петр, и, по какому-то странному инстинкту души высокой, обняв одним взглядом все болезни отечества, постигнув все прекрасное и святое значение слова *государство*, он ударил по России, как страшная, но благодетельная гроза. Удар по сословию судей-воров; удар по боярам, думающим о родах своих и забывающим родину; удар по монахам, ищущим душеспасения в келиях и поборов по городам, а забывающим церковь, и человечество, и братство христианское. За кого из них заступится история?

Много ошибок помрачают славу преобразователя России, но ему остается честь пробуждения ее к силе и к сознанию силы. Средства, им употребленные, были грубые и вещественные; но не забудем, что силы духовные принадлежат народу и церкви, а не правительству; правительству же предоставлено только пробуждать или убивать их деятельность каким-то насилием, более или менее суровым. Но грустно подумать, что тот, кто так живо и сильно понял смысл государства, кто поработил вполне ему свою личность, так же как и личность всех подданных, не вспомнил в то же время, что там только сила, где любовь, а любовь только там, где личная свобода.

Быть может, я строго судил о старине; но виноват ли я, когда она сама себя осудила? Если ни прежние обычаи, ни церковь не создали никакого видимого образа, в котором воплотилась бы старая Россия, не должны ли мы признаться, что в них недоставало одной какой-нибудь или даже нескольких стихий? Так и было. Общество, которое вне себя ищет сил для самохранения, уже находится в состоянии болезненном. Всякая федерация заключает в себе безмолвный протест против одного общего начала. Федерация случайная доказывает отчуждение людей друг от друга, равнодушие, в котором еще нет вражды, но еще нет и любви взаимной. Человечество воспитывается религиею, но оно воспитывается медленно. Много веков проходит, прежде чем вера проникнет в сознание общее, в жизнь людей, in succum et sanguinem*. Грубость России, когда она приняла христианство, не позволила ей проникнуть в сокровенную глубину этого святого учения, а ее наставники утратили уже чувство первоначальной красоты его. Оттого-то народ следовал за князьями, когда их междоусобицы губили землю русскую; а духовенство, стараясь удалить людей от преступлений частных, как будто бы и не ведало, что есть преступления общественные.

При всем том перед Западом мы имеем выгоды неисчислимые. На нашей первоначальной истории не лежит пятно завоевания. Кровь и вражда не служили основанием государству русскому, и деды не завещали внукам преданий ненависти и мщения. Церковь, ограничив круг своего действия, никогда не утрачивала чистоты своей жизни внутренней и не проповедовала детям своим уроков неправосудия и насилия. Простота дотатарского устройства областного не чужда была истины человеческой, и закон справедливости и любви взаимной служил основанием этого быта, почти патриархального. Теперь, когда эпоха создания государственного кончилась, когда связались колоссальные массы в одно целое, несокрушимое для внешней вражды, настало для нас время понимать, что человек достигает своей нравственной цели только в обществе, где силы каждого принадлежат всем и силы всех каждому. Таким образом, мы будем подвигаться вперед смело и безошибочно, занимая случайные открытия Запада, но придавая им смысл более глубокий или открывая в них те человеческие начала, которые для Запада остались тайными, спрашивая у истории церкви и законов ее — светил путеводительных для будущего нашего развития и воскрешая древние формы жизни

---

* в соки и кровь *(лат.)*.— *Ред.*

русской, потому что они были основаны на святости уз семейных и на неиспорченной индивидуальности нашего племени. Тогда, в просвещенных и стройных размерах, в оригинальной красоте общества, соединяющего патриархальность быта областного с глубоким смыслом государства, представляющего нравственное и христианское лицо, воскреснет древняя Русь, но уже сознающая себя, а не случайная, полная сил живых и органических, а не колеблющаяся вечно между бытием и смертью.

ПИСЬМО В ПЕТЕРБУРГ О ВЫСТАВКЕ

Любезный друг!

Просишь ты у меня подробных сведений о московской выставке и толковитого описания. Странное дело, что ты на меня возлагаешь надежду, тогда как у тебя в Москве с десяток знакомых индустриалов и промышленников, знающих всю подноготную торговли и фабричности. Правда, что я часто и даже почти всякий день ходил на выставку; но я ходил с тем только, чтобы глазеть, любоваться, учиться, говорить с торговцами, радоваться кое-каким успехам и досадовать на излишнюю сметливость русского человека, который очень проворно все перенимает и не берет на себя труда что-либо понять, все очень скоро придумывает и ничего не хочет додумать. Поэтому отчета и не жди.

Общее замечание всех посетителей было то, что предметы роскоши едва ли количеством не превосходили предметов всеобщего, необходимого потребления. Кажется, замечание довольно справедливое,— и странно, когда подумаешь, что это выставка промышленности в России, т. е. в такой земле, в которой круг роскоши и роскошествующих еще тесен, а круг потребностей первоначальных огромен и далеко-далеко не удовлетворен. Путешественник, который бы поглядел на московскую выставку, во веки веков не угадал бы, в чем именно состоит богатство России или возможность ее будущего богатства. За всем тем тот, кто видел прежнюю выставку и сравнил ее беспристрастно с нынешнею, должен был заметить значительные успехи во многом. Правда, что бронзы и

пр., по милости которых меняются наши сапожки на лапотки, красовались великолепно в большой зале, между тем как льняные и пеньковые пряжи и тканье, которые могли бы нас одеть в шелк и парчу, прятались смиренно в уголку первой комнаты или на темных хорах залы: да ведь надобно же чем-нибудь потешить глаза публики. Жаль только, что вообще на выставке произведения усовершенствованной промышленности были слишком далеко разрознены от полугрубых материалов, на которых они основаны (например, полотно от нитки, штоф от шелка и т. д.). Правда, что как пряжи, так и тканей льняных и пеньковых было до смеха мало (крапивных, кажется, совсем не было), что и в этой малости было еще меньше истинно хорошего; но за всем тем заметны были и по этой части некоторые улучшения, к несчастью, слишком неудовлетворительные. Сукна и шерстяные ткани решительно улучшаются и обещают доставить нам источник прочного богатства. Жаль только, что не выставляются образчики иностранных товаров с их настоящею ценою (т. е. кроме таможенной пошлины): тогда бы правильнее можно было судить об успехах и нелегко было бы засыпáть на лаврах, еще не заслуженных. (Это я говорю не только о сукнах, но и о других товарах.) Еще заметнее успехи в тканях шелковых; но этот успех был бы утешительнее, если бы мы не были вполне данниками чужих краев для сырого материала. К несчастью, Южная Россия еще производит слишком мало шелка и слишком плохо умеет его приготовлять, а она легко бы могла нас избавить от дани иностранцам. Парчи, издавна хорошие, отличились от прежних, может быть, еще лучшею работою и бесспорно лучшими рисунками. Трудно вообразить себе что-нибудь богаче и великолепнее. Вообще я небольшой охотник до фабричной промышленности; но меня радует промышленность старая, которой начало теряется в веках, которая основана на истинной потребности и улучшена давнею привычкою. Еще больше радует та промышленность, которая не вводит в большом размере безнравственность фабричного быта, а мирится с святынею семейного быта и с стройной тишиною быта общинного в его органической простоте: ибо тут, и только тут, сила и корень силы. (Разумеется, я это говорю только мимоходом, а не о парчах.) Хороши ли, дешевы ли хлопчатобумажные ткани, про то спроси у другого; но о вещах стальных я могу тебе сказать, что они стали несравненно лучше прежнего и что по дешевизне и доброте они могут выдерживать сравнение с хорошими иностранными изделиями. Жаль только, что совсем

нет огнестрельного хорошего оружия собственно русской работы. Впрочем, как я уже тебе сказал, я не выдаю себя за отличного судью в деле промышленности. Было много вещей на выставке, которые незаметными переливами составляют переход от ремесла к художеству; это, конечно, самая красивая, хотя и не самая важная, часть выставки, и в ней, по-моему, было много хорошего, но вдвое более досадного. Хороши были хрустали; иные отличались красивым рисунком подробностей, красивою гранью, другие прозрачностью массы и необыкновенным блеском краски (особенно зеленой с золотистым отливом); даже и цены невысоки, но общая форма редко удовлетворяет требованиям взыскательного вкуса. Мало грации и совсем нет изобретательности. Впрочем, я то же думаю о хрустале заграничном. Бесспорно замечательнее всего была картина на стекле покойного Михаила Федоровича Орлова[1]; при конце выставки она, кажется, еще не была продана. Неужели не найдется покупателей на такую прекрасную и сравнительно дешевую вещь, когда раскупается так много дорогой дряни?

Великолепны были вещи столярные. Цены необъятны, работа почти китайская, вкус чуть ли не готтентотский, нет ни рисунка, ни формы сколько-нибудь изящной, ни сочетания красок сколько-нибудь сносного; но, говорят, таков вкус современный — так делать нечего. А я, признаюсь, досадовал, глядя на эти тысячные и десятитысячные вещи, за то, что не на чем было глазу отдохнуть. Неужели карандаш, который рисует изящные формы для меди и камня, не может сделать чего-нибудь и для дерева? Где то чувство, которое в древности давало мебели полухудожественную красоту? Где резьба средних веков? Давать тысячи за разноцветные стружки, налепленные на уродливых досках, позволительно только банкирскому кошельку да банкирскому вкусу. За всем тем к чести века должно сказать, что мебели становятся несколько покойнее, и даже формы их были бы сноснее, если бы они в то же время не были нестерпимо пестры.

Еще ближе к художеству бронзовое изделие. Массы его покорнее резцу и способнее принимать изящные формы. Впрочем, заметь, что я это говорю только по теории, а не по тому, что́ видел на выставке. Я не виню ремесленников: они следуют данным рисункам и повинуются существующему вкусу. Но, за немногими исключениями, какой вкус и какие рисунки! Их ни с чем сравнить нельзя, как с воском, который в снег льют девушки на святках, когда гадают о женихах. А еще остались бронзы от Челлини и его современников; а

еще выкопали из земли чудные вазы и лампы древние, которых каждая линия радует и успокаивает глаз; и все для того, чтобы в XIX веке выставлялись на уродливых пьедесталах, в зеленых рубашках, красные дутые фигуры, похожие на индейцев, выпаренных в русской печи. Говорят, и это бесспорно справедливо, что бронза нынешней выставки много лучше прежней. Она действительно усовершенствовалась в отношении ремесленном; но в отношении художественном трудно об ней молвить доброе слово.

К одному разряду с бронзой принадлежат и вещи из благороднейших металлов. Можно бы поговорить и об них, но бо́льшая часть из них имеет такое важное назначение, что я не стану говорить о большей или меньшей изящности их форм: разве когда-нибудь в другой раз. Не мешало бы, кажется, отделить их в особую комнату подальше от бритв, стульев, шкафов, бронзовых амуров, сатиров и прочего. Так говорили некоторые из наших соотечественников в бородках старого, а не нынешнего покроя; признаюсь, так думаю и я. Смейся, коли угодно, над нашей московской щекотливостью.

Чаще всего и долее всего останавливался я перед фигурою, которая вообще мало обращала на себя внимания. Это изображение конной амазонки, сражающейся с барсом, копия со статуи, весьма прославившейся в Германии[2]. (Я называю ее статуею, иные группою; но слово группа, когда дело идет о человеке и животном, напоминает слово французского крестьянина: «Нас было двое: я да мой осел».)

Москва так далека от всякого художественного движения, так бедна художественными произведениями, что, глядя на весьма посредственную копию новой статуи, я рад был перенестись хоть мыслию в те края, в которых существуют художества и художественный интерес. Мне казалось любопытным угадывать вкус современной Германии из произведения, которое в ней имело великий успех. Но мои размышления были неутешительны.

Нельзя судить по копии, может быть довольно плохой, о достоинствах или пороках оригинала; но можно даже по самой жалкой копии судить о большем или меньшем достоинстве композиции, следовательно, о духе, оживлявшем художника. Амазонка вооружена копьем, думаю — не совсем согласно с преданиями, которые обыкновенно вооружают ее луком или секирой, так же как и ее степных соседей; но я готов предполагать, что немецкий художник нашел авторитеты для копья, ибо вообще можно, кажется, в деле учености на слово верить немцу. Барс впился в грудь и ребра лошади. Ло-

шадь от испуга и боли садится несколько назад. Амазонка, лихая наездница, сидя по-казачьи, крепко сжала коленами коня, откинула несколько тело назад и напрягает силы для решительного удара. Когда я в первый раз увидел эту фигуру, я ее принял сначала за одного из Диоскуров и только вблизи узнал свою ошибку; но самая ошибка едва ли говорит в пользу композиции. Мужское положение неприлично для женской статуи; есть грация, с которою женщина не расстается никогда. Не говорю о неприятно сердитой конвульсии лица; это, может быть, порок, который не принадлежит оригиналу; не говорю даже о том, что рука, сжимающая копье, дурно его сжимает, слишком слабо и слишком близко к железу для сильного удара, слишком крепко для метанья копья (чего, впрочем, и предполагать нельзя по близости животного). Это порок второстепенный; но самая идея всей статуи решительно лишена и истины, и красоты. Бесспорно, предания древние представляют в амазонках женщин-воительниц, опасных даже для героев Эллады; но в женщине смешно изображение силы. Пусть кочевая жизнь и быт военный положили свою печать на склад амазонки, пусть ее мускулы обрисовываются несколько резко и сухо без искажения красоты; но амазонка, выступающая на кулачный бой с Ахиллом или Тезеем, всегда будет картиной уродливой. Сила ей не нужна и должна быть вполне заменена ловкостью, удаляющею идею об усилии. Булавка в руках Геркулеса будет страшна как копье; копье в руках амазонки кажется булавкою, которой она собирается дразнить барса. Общий эффект всей статуи до крайности неприятен. Лошадь не совсем без жизни, барс впился свирепо и ловко; но древний ваятель, как мне кажется, представил бы амазонку не сжимающею коленами коня, который едва ли уцелеет в борьбе, но уже готовою отделиться от него, уже свободною и только слегка опирающеюся коленом на спину, а рукою на гриву испуганного животного. Кожа дикого зверя, накинутая на круп лошади, свидетельствовала бы о прежних победах и успокаивала зрителя. Острая секира, легко поднятая на воздух и готовая быстрым махом опуститься на голову барса, кончала бы для воображения еще не конченный бой. Так, кажется, понял бы древний грек минуту, выбранную художником; так бы сохранил он законы красоты даже в минуту борьбы и опасности. Впрочем, так ли, не так ли, а уже конечно не так, как понял и выразил немецкий художник, соединивши усилие с бессильем и отсутствие грации с отсутствием истины. Я не виню немецкого художника; я не виню и публики, хвалившей

его, хотя немцам, вечно пишущим о древности, об изящном и пр., следовало бы лучше понимать древность; воссозидать же ее невозможно.

Искусство имеет цель свою само в себе. Это положение новейшей критики неоспоримо, и опровергать его могут только французы, для которых недоступна отвлеченная истина. Но из положения верного выведено не наукою, а жизнью какое-то странное заключение, именно: что художник имеет целью художество; и это художество является, как нечто уже готовое, как предмет стремления художника, а не как плод, невольно и бессознательно зреющий в его внутренней жизни, в тайнике его души. И мы готовы подражать заграничному, и мы, как тот маркитант за Дунаем, который потчевал нас «полушампанским не хуже саксонского»[3], готовы потчевать воскресшего эллина полугреческим не хуже немецкого.

Когда кончились средние века, когда из-под развалин вышли великолепные памятники греческого зодчества и ваянья, страстная любовь к чудным формам древнего искусства овладела Европой. Явилось множество новых произведений, более или менее искусно подражающих древнему образцу; но как бледна и ничтожна эта подогретая старина! К несчастью, не уцелели ни древняя живопись, ни музыка; зато живопись и музыка сохранили несколько жизни и самостоятельности. Миновалось время односторонней любви к древности; многоученая Германия отдала справедливость всем временам и народам, полюбила все явления красоты, и эта любовь выражается опять подражаниями да подражаниями! Круг подражания сделался шире и разнообразнее, сущность осталась та же.

Германия говорит своему художнику: «Слепи мне фигуру в греческом вкусе», и художник принимается за дело. Ему следовало бы сказать, что он не эллин, что он не поклоняется богам олимпийским, что он родился не под тем небом, воспитан не тою жизнию,— а он лепит себе да лепит. Грек, в последствие своего исторического развития обоготворивший вещественную красоту и силу, поклонявшийся с религиозным трепетом своим пластическим идеалам, созидал формы, одушевленные чудною гармониею, и передавал покорному камню часть того художественного духа, той глубокой и чистой любви к вещественно-изящному, которыми сам жил во всей полноте своей жизни. Это делал эллин, и никто, кроме эллина, не сделал и сделать не может. Когда и для него настала минута отвлеченной мысли, когда Платон и Аристотель открыли новую область красоты духовной и знания, тогда по-

блекли прежние идеалы. Вещественная красота перестала быть предметом религиозного поклонения, она перестала также посылать художникам полное вдохновение. И неужели, после стольких веков и стольких опытов и стольких прямых и кривых мудрствований, немец или европеец вообще возвратит улетевшее вдохновение эллинского ваятеля? Когда Анакреон с глубокою и безотчетною любовью воспевает дивную красоту вещественных форм или Пракситель передает ее камню, в них дышит какая-то невинность младенческого невежества, не знающего еще сомнения, и поэтому — порока. Венеры новейших скульпторов сладострастны, и, когда великий Гете нанизывает стихи своих Римских элегий[4], беспристрастный читатель (если он одарен истинным чутьем изящного) видит сквозь искусство поэта уродливое сочетание важной и задумчивой головы немецкого ученого с полуживотным туловищем козлоногого Сатира. Это вечный диссонанс. Зодчество древнее так же мало дается новейшим, как и их ваяние. Когда удаляешься от великолепных остатков, уцелевших еще на холмах Эллады, или, плывя по синему морю, минуешь древние храмы, смело возвышающиеся над крутыми ее мысами,— долго и долго глаз не хочет оторваться от стройной прелести вдохновенного очерка; а когда перед новыми классическими зданиями путешественник считает за долг восклицать: «Чудо!» или «Прекрасно!», в сердце его, нимало не согретом, чувство истины шепчет ему: «Хоть бы век этой красоты не видать». А между тем все-таки лепят греческие статуи да строят греческие строения. Та же участь постигла и все другие самобытные стили. Все они усвоены новейшею Европою, а особенно Германиею; но надобно отдать честь Баварии: она в этом роде перещеголяла всех. Чего ни попросишь, она всем готова потчевать: и греческим, и римским, и готическим, и византийским. Путешественник может всем наслаждаться, был бы у него только невзыскательный вкус да тупое чувство красоты. Бавария готова и картины писать во всех возможных стилях; она и стихи напишет какие угодно, хоть индийские; можно в ней заказать, коли угодно, хоть русскую песню.

Не легче греческого досталось и готическому стилю. Красота же его как будто доступнее и менее требует изучения. Были бы столбики да высокие стрельчатые своды, да стрельчатые окна, да башенки с каменными кружевами: вот и готическое здание. Недостает малости: недостает той жизни средних веков, которою веет от старых соборов Запада; недостает той смеси дикого разгула личности с таинственно-грозящей

религиею, с глубоким сокрушением сердечным, с постоянной борьбою между страстями, непривычными к покорности, и бурным восторгом суеверия, искупающего внутренний разврат человека внешними страданиями и подвигами. Нет того, чем двигались крестовые походы, нет того, чем кипела и волновалась Европа. Нет ни бури сердца человеческого, ни великого примирения в вере. Кто строил храмы средних веков? Кто слагал народные песни? Жизнь народная во всей ее полноте. А теперь и рационалист, чуждый всякому верованию, кроме верования в самого себя, и протестант, недогадливый предшественник рационалиста, и пиэтист[5], обрезывающий все жилки и крылья у души для того, чтобы она не впала в ложные пути, все берутся за готические храмы. Зато,— так как они не созданы горячим вдохновением, они ничьей души и не греют; так как они не созданы потребностью молитвы, молитва в них не заходит. И все-таки не одному художнику западному, и особенно немецкому, не придет в голову, что он неспособен воскрешать готическое художество.

Но как сказано, Германия, а особенно Бавария превзошли все другие народы: они воскрешают и византийский стиль. Странное дело, как художникам католикам и протестантам не пришло в голову отказаться от такого воскрешения чужой старины. Как ни один не догадался сказать, что он католик или протестант, что он никогда не слыхал греческой литургии, не молился в византийских храмах; что линии, составляющие их очерк, не радовали его глаз в младенческие лета, что он в них никогда не видал ни святыни, ни идеала святыни, что он не сумеет понять, не сумеет отыскать, не сумеет развить семена красоты и религиозного выражения, которые скрываются в каждой подробности, в каждом изгибе византийского храма; что этот храм, наконец, возможен только там, где в нем молятся, и только тому, кто в нем молится. Странное ослепление художников — верить в возможность вдохновенного *пастиччия*![6]

Искусство истинное есть живой плод жизни, стремящейся выражать в неизменных формах идеалы, скрытые в ее вечных изменениях. Поэтому искусство есть в то же время плод любви полной и всеобъемлющей; но эта любовь сама себе созидает формы и не занимает выражения у других веков, любивших иначе и иное. Искусство — не дело минутной прихоти, не временная забава души, но обличение всей ее внутренней деятельности, облекающей свои идеалы стройными законами красоты. Для того, чтобы человеку была доступна святыня искусства, надобно, чтобы он был одушевлен чувством

любви верующей и не знающей сомнения: ибо создание искусства (будь оно музыка, или живопись, или ваяние, или зодчество) есть не что иное, как гимн его любви. Любовь, дробящая душу, есть не любовь, а разврат.— Правда, для нас, наследовавших знания и труды прошедших веков, доступны все произведения художества, потому что для нас раскрылись многие тайны человеческого духа, проявлявшегося разнообразно в разные эпохи своей истории; но потому самому, что мы поняли дух человеческий, созидавший древние формы искусства, мы уже не можем находить его полноты ни в которой из этих отдельных форм и, следовательно, не можем уже воссоздавать силою дробного анализа то, что́ создавалось цельным синтезом души. Художники, бессильные создавать новые формы и новый стиль и подражающие формам и стилю прошедших веков или чуждых народов, уже не художники: это актеры художества, разыгрывающие рыцаря, грека, или византийца, или индийца. Кроме райка, они никого обмануть не могут. И сам великий Гете,— создатель Фауста, гениальный поэт, смешон, когда античествует и оглядывается: ладно ли?

Досадно глядеть на мнимое искусство, на это стремление, которое я готов бы назвать Баварским: оно убивает искусство истинное, оно убивает самую жизнь. Всякая эпоха, всякий народ содержит в себе возможность своего художества, если только чему-нибудь верит, что-нибудь любит, если имеет какую-нибудь религию, какой-нибудь идеал. Пусть крепнет корень, растет стебель, зеленеют листья жизни: цветы ее (художество) разовьются сами по себе. Но надобно выжидать время, не надобно торопиться, не надобно от нетерпенья вкалывать миткалевые цветочки в цветочную почку, готовую распуститься. Всякий полевой цвет, свежий, живой, благоуханный, лучше бумажных роз и камелий. Недолго продолжается обман, недолго рукодельные цветы идут за настоящие, а когда обман откроется, удивительно ли, что отовсюду слышатся печатные возгласы: «Нет искусства», что бледноликий юноша говорит своей прозрачной даме: «Нет искусства» и что солидный барин говорит своей почтенной современнице: «В наше время искусство было, да теперь сплыло»?

Ошибка художников досадна, но весьма понятна. Когда в душе человека проснулась потребность выразить свои тайные идеалы, но формы красоты еще не созрели и не уяснились, он прельщается легко готовыми формами, в которых выразилась та же потребность в иное время, в ином народе; он поддается соблазну подражания и не вдруг спохватится в своей

ошибке, не вдруг догадается, что, принимая чужую форму (выражение чужой мысли и жизни), он убивает свою жизнь, свою мысль. Таков ход в художестве, таков и вообще ход мысли. Велик соблазн готового и сделанного. Когда двое русских[7] почувствовали ограниченность и недостаточность местного развития; когда один из них поехал в чужие края трудиться своими руками и постигать умом пружины и нача́ла западного величия, а другой убежал туда же учиться и просвещать свой светлый, богом данный разум,— в обоих было благородное стремление ко всему истинному, ко всему чисто человеческому, к науке и искусству вообще. Много светлых начал пробудили они, возвратясь в свою родину, много вырастили прекрасных семян; но и они поддались соблазну: и они приняли много местного и случайного за общечеловеческое и вечно истинное. Зато каждый из них засеял на свое поле множество сорных трав, от которых надолго заглохли домашние доброплодные семена. То же самое повторяется беспрестанно и в искусствах.

В наш век явился художник гениальный[8], который и чувства, и мысль, и форму берет только из глубины своей души, из сокровища современной жизни; и в его творении все дышит, все говорит, все движется так живо, так самобытно, как в самой природе. Поймут ли его другие художники слова? Воспользуются ли его примером искусства пластические? Поймут ли и баварцы, что современному немцу нельзя быть ни эллином, ни мавром, ни византийцем?

Вот мой отчет о выставке. Вольно же тебе было возлагать надежду на меня. Медик заговорил бы о ремеслах вредных или полезных для здоровья, а юрист о законах, покровительствующих торговле: так не прогневайся! С вопросами о промышленности относись к индустриалам.

ОПЕРА ГЛИНКИ «ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ»

Недавно видел я в первый раз оперу «Жизнь за царя» и никогда не забуду впечатления, которое она на меня произвела. Об ней уже писали многое, более или менее дельно, более или менее беспристрастно, говорили об достоинстве музыки, об недостатках либретто; но, кажется, весь объем оперы, все ее значение остались совершенно незамеченными. Во-

обще, можно сказать, что критика у нас,— иногда и заносчивая,— всегда робка; она не смеет высказать всю важность художественного произведения, покоряясь в этом, вероятно, духу времени, в котором художественный интерес занимает весьма второстепенное место. Так и опера Глинки еще не оценена. Об ней говорили, как об музыке, исполненной русских мотивов, писанной на русский лад, как об музыке народной или передразнивающей народность, а все-таки не поняли ее, как явление вполне русское и созданное из конца в конец духом жизни и истории русской.— Ее должно рассмотреть с этой точки зрения, не разбирая отдельно ни либретто, ни музыкальной композиции; ибо в истинно художественном произведении смысл и достоинства — целого. Разумеется, я говорю не о художестве на баварский лад[1]. Об увертюре говорить нечего. Увертюра — это опера в зародыше. Она стройна, исполнена жизни или мертва и несвязна, смотря по тому, живой ли, стройной или мертвой и несвязной опере предшествует. Она только интродукция к художественному произведению. Это введение, вполне понятное только тогда, когда прочтешь всю книгу.

Начинается пьеса. Перед вами русская деревня, простая деревня нашего Севера, русская река, которой берега, вероятно, покрыты густым бором, и в этом боре пóжни и небольшие пашни. Все просто, как оно есть, как ему следует быть. Православный мир — народ певучий, как и все славяне, так что и самый разговор в песнях кажется естественен. Из мира выдается одна семья, не как преобладающая над другими, но как выражающая ту простую стихию, из которой составлена простая и естественная община. Музыка тихая, заунывная и в то же время разнообразная и богатая мелодией, выражает внутреннюю жизнь всего этого мира семейного и общинного, полного тайных сил и внутренней гармонии. Смутно время для России. Государства нет, ибо нет его выражения — государя. Неприятель в самом сердце страны, недавно выгнанный из Москвы и снова ей угрожающий. Язык художества выражает и скорбь, и страдание борьбы, много раз повторявшиеся в нашей истории; скорбь и страдания, забытые в торжестве, но оставившие следы свои в музыкальном предании. Но в этой скорби не слыхать отчаянья; в ней отзывается уже будущая победа. Государства нет, но семья и община остались,— они спасли Россию. Это видно из отношений городов между собою и из переписки смоленских дворян с их семьями во время междуцарствия. Они воссоздали государство.

Прошли века, государство русское окрепло; но новое нашествие с Запада требует нового сопротивления. Это нашествие не меча и силы, но учения и мысли. И против этих нашествий бессильна всякая вещественная оборона, и сильно одно только — глубокое душевное убеждение. Опасность угрожает уже не государству, но общине и семье. Иные отрывают человека от естественных уз семейства и братского круга естественной общины и отпускают его на полную свободу безродного сиротства, предоставляя ему право примкнуть к новому произвольному обществу, созданному слепою самоуверенностью тесного рассудка[2]; другие принимают его как вещественную, числительную единицу, годную только на поступление в вещественный и числительный итог, называемый государством, и на составление материала для числительных выкладок или механической разработки[3]; и оба учения под разными видами, под разными именами находят себе последователей и приверженцев. Семья и община отстояли Россию: теперь Россия отстоит ли семью и общину?

Веселые вести торжества приходят в глухую северную деревню: народная сила освободила Москву великим ополчением; народный голос выбрал царя Земским Собором; великая община снова сомкнулась в государство. И искусство выражает общую радость, отзывающуюся в радости деревни, в радости семьи успокоенной и торжествующей. Кончен подвиг борьбы.— Сцена переменяется: перед нами уже не деревня, не русский быт, не русский люд, но стан неприятеля. Странны в стане этот блеск, эта роскошь, эти веселые танцы женщин и мужчин (виноват,— кавалеров и дам). Сцена не похожа на стан бродящей толпы удалых разбойников в разоренной стороне. Критика имеет полное право вооружиться против такого нарушения истины; отчего же внутреннее чувство зрителя мирится с ошибкою? Художник имеет свою истину, свое внутреннее ясновидение, совокупляющее воедино явления, далеко отделенные друг от друга или временем, или пространством. Эти яркие люстры, эти веселые танцы и песни, эти щегольские наряды из мечей и перьев, из шелка и лат, все это не в бедной деревне, разграбленной лисовщиною[4], не в лагере бродящей шайки удальцов. Это не мелкий ключ, не один из скудных рукавов разорительного потока,— нет: это его главный родник, это пучинный источник, из которого выливались в продолжение стольких веков неудержимые потоки завоевательной вольницы; это целая столица или целая страна, целая область Запада, полная аристократического рыцарства, удалого и веселого, мягкого как шелк и жесткого

как железо, поклоняющегося своей личности и своей силе, презревшего семью, оторвавшегося от общинного братства и грозящего всею силою своею (а еще более всем своим соблазном) всякой стране, где семья и общинное братство еще уцелели.— Первый акт оперы представляет живой антитезис деревни и аристократически-рыцарской дружины, эту вековую борьбу, в которой пролито столько крови победителями, столько слез побежденными. И как отчетливо сознание художника, как жив его музыкальный язык, как ясно просвечивает глубокая истина сквозь веселую игру художественной фантазии!

Начало второго акта возвращает нас снова на православную Русь, в деревенскую семью. Нас встречает песнь, исполненная глубокой, чудной мелодии, песнь, которую, раз услышав, никогда нельзя забыть: так много в ней отражается чувства и теплоты душевной и художественной простоты. Это песнь сироты. Семья не заключается в одних пределах вещественного родства; она расширяется чувством любви и принимает в недра свои тех, которых судьба лишила естественного и родного покрова. Включенье сироты в семью указывает на то высокое нравственное чувство, которым она крепка и животворна для общества. Там, где сильна семья, там нет круглого сироты. Но песня, которой открывается второй акт, исполнена грусти. Так и должно было быть, ибо ничто не заменяет вполне той бессознательной, невыразимой любви, которая связывает членов семьи естественной. Музыка Глинки выражает в звуках то самое чувство, которое старая русская песня высказывает одним словом:

Не ласточка, не касаточка вокруг тепла гнезда увивается.

Между тем готовится свадьба, веселое торжество быта семейного, и в то же время готовится буря, которая еще раз должна разразиться над возрожденною Россиею. Царь, избранный Россиею, не вступил еще в свою столицу, не окружен ратною силою народа. Его охраняет только безоружная любовь деревенской общины, и этим мгновением бессилья должна воспользоваться вооруженная дружина, которой удалые и веселые песни в первом акте так ярко оттеняли тихую гармонию сельского быта. Благородная рыцарская вольница налетела на крестьянскую деревню; она требует проводников к царю и грозит смертью за отказ. Сусанин будет их проводником, но он поведет их на гибель и спасет царя. Сусанин не герой: он простой крестьянин, глава семьи, член братской общины; но на него пал жребий великого

дела, и он дело великое исполнит. В нем выражается не личная сила, но та глубокая, несокрушимая сила здорового общества, которая не высказывается мгновенными вспышками или порывами каждого отдельного лица на личные подвиги, но движет и оживляет все великое общественное тело, передается каждому отдельному члену и делает его способным на всякий подвиг терпения или борьбы. Гонец даст знать царю об опасности; Сусанин ведет неприятеля на гибель в непроходимые леса. Слезы скорби семейной провожают будущего страдальца, а за ними раздаются крики раздраженной общины,— крики мщения, голос, никогда не гремевший даром!

В третьем действии перед нами леса и непроходимые дебри, темная ночь, и русский холод, и русская метель. Благородная дружина пробирается вслед за Сусаниным, и слабее становится бодрая песня удальцов, и чаще и святее раздается голос простого человека, призванного быть героем. Между тем часы проходят, и гонец приносит весть к царю, и Россия спасена. Но она спасена не без крови. Для этого спасения прольется кровь не чужая, а своя — из своего русского сердца. Подвиг терпения совершен в лице Сусанина, жертвующего жизнью за царя. Россия оттерпелась от беды в одном лице, как и в стольких других, в одно мгновение, как и в продолжение стольких веков, так же, как она оттерпелась от стольких неприятелей до нашего времени; так же, как она оттерпится и вперед, если богу угодно будет ей послать испытание. Но с Сусаниным погиб и неприятель, ибо никогда даром не проходило, никогда даром не пройдет посягательство на внутреннюю жизнь России. — Действие кончено; но из него, как из зерна, павшего в землю, должен вырасти богатый плод, и плод этот развивается в эпилоге, чудном создании современного искусства. Скорбь и радость, величие и простота, торжество и отголоски страдания слились в одно неподражаемое целое. Сцена в Москве: и вот оно перед вами — все то, что куплено кровью крестьянина Сусанина. Единство государства в нововенчанном царе, единство земли в Москве, ее живой, много страдавшей столице, и другое, высшее единство, про которое говорит медь колоколов с сорока сороков московских и которое обнимает не один народ, не одно племя, но и всех далеких братий наших на юг, и на восток, и на запад и должно обнять все человеческое братство.

Таково впечатление, произведенное оперою Глинки. Пределов художнику, пределов художеству полагать нельзя;

быть может, и лучшее, и высшее будет создано в русском музыкальном мире, может быть тем же композитором, которому обязаны мы оперою «Жизнь за царя». Но что бы ни было вперед, это произведение останется бессмертным не только как первая русская опера, но и как вполне русское создание. Новая эра не будет уже довольствоваться пастичьями и подражаниями старым формам, этим мертвым торжествам баварского искусства. Она создаст новые живые формы, полные духовного смысла, в живописи и зодчестве, были бы только художники вполне русские и жили бы вполне русскою жизнью. Словесность и музыка дали уже великий пример в Гоголе и Глинке.

Нет человечески истинного без истинно народного!

ПИСЬМО В ПЕТЕРБУРГ

Любезный друг!

Ты предлагаешь мне довольно странный вопрос: «Вот-де вам строится железная дорога; что же у вас говорится об железных дорогах? Понимают ли у вас их пользу?» А я у тебя спрошу: какое вам дело, мои милые петербургцы, до того, что говорится в Москве, о чем бы то ни было? Вероятно, говорятся такие вещи, которые вам не могут внушить сочувствия и на которые вы только будете самодовольно улыбаться: так, казалось бы, не о чем и спрашивать. Впрочем, я все-таки буду отвечать на твой вопрос. Об железной дороге в Москве мало говорится. Когда прошел слух о том, что строится дорога, многие утверждали, что такой длинной дороги и выстроить нельзя, на что другие отвечали, что если семь стоверстных дорог приставить концами одну к одной, то выйдет семистоверстная дорога, а что стоверстных дорог за границей немало. Говорили еще много других подобных сему глубокомысленных рассуждений; кончили же тем, что возложили упование на время и перестали об ней говорить.

«Да,— спрашиваешь ты,— какой же именно ждут в Москве пользы от железной дороги?» На этот вопрос гораздо труднее отвечать, чем на первый. Все или почти все согласны в необходимости железных дорог. Когда немецкий монах Шварц

открыл давно уже открытый порох и был этот порох введен в употребление, нельзя уже было никакому народу отказаться от него, чтобы не отстать от других в военном деле; позднее то же самое повторилось с паровыми машинами, теперь повторяется с железными дорогами. Когда все другие государства пересекаются железными дорогами и получают возможность быстро сосредоточивать свои силы, быстро их переносить с конца в конец — необходимо надобно и России пользоваться тою же возможностью. Трудно, дорого, да что же делать? Необходимо. Надобно России соединить свои моря, Балтийское и его Петербургскую пристань, Черное и его цветущую Одессу, Каспийское и его многонародную Астрахань в одном средоточии, в Москве, естественном центре нашего главного каменноугольного бассейна. Теперь кладется начало великого дела; будем ждать и исполнения.

В деле железных дорог, как и во многом другом, мы особенно счастливы: не потратились на опыты, не утруждали своего воображения, а может и будем пожинать плоды чужого труда. Много усовершенствований введено в течение последних лет в строении самих дорог и паровозов, много новых вводится и, без сомнения, введется до окончания наших длинных путей, как бы они скоро ни строились. Но изо всех усовершенствований самое важное принадлежит французскому механику Андрó. Оно обещает богатое развитие в приложениях своих и большое упрощение в строении двигательных машин. Оттого-то, вероятно, оно мало замечено и совсем не оценено по достоинству. Изобретение г. Андро состоит в употреблении сжатого воздуха, как двигательной силы, заменяющей пары; и это изобретение, которого важность до сих пор не оценена никем и едва ли оценена самим изобретателем, может составить почти новую эпоху в прикладной механике.

До сих пор механика рассчитывает силы и придумывает их приложение, ожидая открытия новых сил от других наук или от случая, величайшего изобретателя в мире. Сама же она остается совершенно равнодушною к свойствам употребляемых ею сил. Вообще известно правило, что никакое действие механическое не получается иначе, как посредством силы живой, и эта сила есть всегда произведение или химического процесса, или действия органического. Это правило не подлежит никакому сомнению; но действительно силы, употребляемые в механике, делятся на два разряда: на силы непосредственные и посредственные, или на прямые и возвратные. Наука осталась до сих пор равнодушною к этому раз-

делению, между тем как оно заключает в себе начало самых богатых и самых разнообразных приложений. Копье и пуля бросаются прямою силою руки или пороха; стрела силою возвратною выпрямляющегося лука. Молот бьет по железу, повинуясь прямой силе руки; баба, поднятая высоко силами живыми, вколачивает сваи возвратною силою освобожденного тяготения. Во всех случаях начало силы одно: оно дается или органической природой, или химией; ибо лук получает силу от натягивающей руки, и баба поднимается на воздух механизмом, которого двигатель должен быть или человек, или лошадь, или пар. Но в одном случае сила действует прямо на предмет, которому она должна сообщить движение; в другом она только нарушает какой-нибудь закон вещественной природы, и этот закон, освобождаясь от временного нарушения, сообщает движение посредством новопробужденных сил. Эти силы должно назвать возвратными (forces de retour). К ним, бесспорно, принадлежит сила воздуха и воды, при ветре и падении; но в приложениях должно причислять ветер и тяжесть падающей воды к силам прямым, потому что не человеческая воля поднимает на горы источники рек и гонит массу окружающего нас воздуха.

Мы видим, что употребление прямых и возвратных сил известно давным-давно, а все-таки мало обратили внимания на их различие и мало им воспользовались. Сила прямая, переходя в возвратную, может совершенно изменить свой характер. Иногда медленная и многосложная, она может сосредоточиться в одно простое и мгновенное движение; так, напр<имер>, сила винта, натягивающего самопал в продолжение долгого времени, переходит в мгновенный выстрел самопала. Иногда быстрая и мгновенная, она переходит в возвратную силу, действующую медленно и правильно в продолжение долгого времени. Так, взрыв пороха, направленный посредством дула в конец спицы, укрепленной в подвижную ось, может на эту ось намотать часовую гирю, и освобожденная гиря своею возвратною силою может дать движение часам в продолжение дня, или недели, или года.

Нет сомнения, что переход силы прямой в силу возвратную всегда сопряжен с большею или меньшею утратою силы, но, с другой стороны, употребление сил возвратных может представить во многих случаях неисчислимые выгоды. Так, например, можно заметить, что действие их гораздо правильнее, ровнее и менее подвержено случайностям. Истина этого положения уже бессознательно замечена всеми. Все часовые ходы, начиная от песочных и водяных до карманных, ос-

нованы на силах возвратных; а без сомнения, изо всех машин часы более всего должны удовлетворять требованию постоянства и неизменности. Другая выгода возвратных сил заключается в том, что они особенно удобны во всех случаях, в которых всякая лишняя тягость составляет лишнюю препону; так, напр<имер>, воздух атмосферический, будучи сжат в чугунном вместилище, представит менее затруднений для езды по железным дорогам, чем пары и многосложная машина, которая их производит. Неподвижными остаются печки и котлы с их запасами угля и воды, заготовляя постоянно новые запасы сил для беспрестанных поездов; а пробужденная ими возвратная сила гонит самые поезды, не отягчая их излишним механизмом, не грозя им лишними опасностями. Задача аэростата еще не разрешена. Справится ли человек с прихотями воздуха? Мы этого не знаем, хотя беспрестанное усовершенствование опытных наук подает надежду на успех. Кажется, что и эта задача ближе всего может разрешиться приложением тех же возвратных сил, которые нынче стараются приложить к железной дороге. Опыт с такою возвратною силою, будь она в виде пружины или сжатого воздуха, представил бы менее затруднений и более вероятностей успеха, чем тот же опыт с прямою силою паров, или газовых вспышек, или даже гальванических токов, слишком подверженных влиянию атмосферических перемен. Другая выгода употребления сил возвратных находится в их способности обращаться в запас силы, не требующей ни нового расхода, ни постоянного, часто бесполезного употребления. Древний самопал, натянутый несколькими десятками рук посредством рычагов или винтов и лежащий спокойно на городской стене в ожидании неприятеля, представлял уже пример такой силы, обращенной в запас; и нет сомнения, что в наше время, при разнообразии промышленной жизни, беспрестанно более и более развивающейся, должны беспрестанно встречаться случаи, в которых большие затруднения легко бы были побеждены запасом правильной силы, всегда готовой, но не требующей новых издержек и беспрестанной деятельности. Таким образом, со временем могла бы открыться, и без сомнения откроется, торговля запасными силами (вероятно, возвратными), и газ или воздух будут предметом продажи для употреблений механических, точно так же, как теперь он уже сделался предметом продажи для употребления химического — в освещении. Цилиндр с поршнями и рычажками будет стоять настороже у купца в ожидании тягости, которую он должен поднять, или работы, которую он должен исполнить, так же как теперь стоит со-

суд с горючим газом в ожидании ночи. Наконец, многие силы, до сих пор бесполезные для человека, сделаются его орудиями, и многие препоны обратятся в пособия. Неисчислимая сила водяного тяготения в глубинах моря может служить кораблю, производя возвратную силу воздуха в чугунном цилиндре с подвижною крышею и клапанами. Воспламеняемые газы и взрывные составы могут быть обращены в производителей возвратных сил. Наконец, реки и водяные протоки, которыми пересекаются железные дороги и затрудняются сообщения, могут служить облегчением этим самым сообщениям, заменив собою неподвижные паровые машины и производя бесконечные запасы возвратных сил не только для железных дорог, но и для всего прибрежного края.

Таковы будут, без сомнения, следствия хорошо постигнутого закона возвратной силы в механике. Его частные приложения принадлежат догадливой науке, а еще более догадливой деньге. Впрочем, этот закон, до сих пор мало замеченный в механике, вероятно, нашел бы свое приложение и в других областях, и многие необъяснимые до сих пор исторические вопросы, вероятно, легко бы объяснились законом силы возвратной.

Что касается до рассуждений о пользе железных дорог, то, конечно, здесь иногда слышны сомнения: «Товар русский грузен, следовательно, для ускоренной перевозки неудобен; население в России редко, следовательно, движения сравнительно мало; нужна нам дешевизна, а не скорость и проч. и проч.». Тут и спорить трудно. Но вопрос о пользе исчезает перед явной необходимостью. Невозможно теперь определить ясно, какую именно пользу принесут железные дороги. Разумеется, нашлись уже люди, которые говорили и писали об этой пользе, и, разумеется, они-то менее всех про нее и знают. Сообщение между Москвой и Балтийским морем в Петербурге есть только начало, только часть путевой системы, которою должна перерезаться Россия. Полные плоды принесет оконченный труд, и этот труд так велик и его результаты должны быть так многосложны, что невозможно даже пытаться определять их. Не день и не год покажет последствия такого огромного предприятия; можно сказать более: не год научит нас приноровлению его к нашей общественной и частной жизни. Россия еще не перехвачена, как Европа с давних времен, линиями покойных и удобных шоссе, и мы переносимся прямо, так сказать, без перехода, от нашего общего беспутия на самые усовершенствованные пути, изобретенные прихотливою движимостью Запада. Не вдруг можем

мы примениться к новым удобствам, к которым мы не приготовлены ничем.

Необходимого нельзя мерять на мелкую мерку полезного; от великого предприятия нельзя ожидать мгновенных плодов. Наконец, когда дело идет об земле русской, невозможно определять наперед даже приблизительно результатов какого бы ни было нововведения, как бы оно ни было необходимо.

Иные начала Западной Европы, иные наши. Там все возникло на римской почве, затопленной нашествием германских дружин; там все возникло из завоевания и из вековой борьбы, незаметной, но беспрестанной между победителем и побежденным. Беспрестанная война беспрестанно усыплялась временными договорами, и из этого вечного колебанья возникла жизнь вполне условная, жизнь контракта или договора, подчиненная законам логического и, так сказать, вещественного расчета. Правильная алгебраическая формула была действительно тем идеалом, к которому бессознательно стремилась вся жизнь европейских народов. Иное дело Россия; в ней не было ни борьбы, ни завоевания, ни вечной войны, ни вечных договоров; она не есть создание условия, но произведение органического живого развития; она не построена, а выросла. Легко сказать, какую перемену сделает любое нововведение в обществе чисто условном; это новый член, введенный в уравнение, которого все остальные члены известны, и математике нетрудно исчислить изменение всего уравнения; но трудно и почти невозможно определить наперед перемену, которую должно произвести введение новой составной части в тело живое, и какие новые явления произойдут в целости организма. Железная дорога представляет, по-видимому, две или четыре полосы, положенные от места до места; но человеческое изобретение не то, что простое создание природы. В этих полосах железа есть жизнь и мысль человеческая. Страна, придумавшая их употребление, положила на них печать своего развития, вложила в них часть своей жизни. Они созданы усиленною движимостью, они пробуждают потребность усиленной движимости. Всякое творение человека или народа передается другому человеку или другому народу не как простое механическое орудие, но как оболочка мысли, как мысль, вызывающая [illegible] деятельность на пользу или вред, на добро или зло. [illegible] самый здоровый организм не скоро перерабатывает св[illegible] умственные приобретения.

Западным народам легко занимать друг у др[illegible]

мысли и новые изобретения. Они все выросли на одной почве, составлены из одних стихий, жили одною жизнию, а между тем даже у них заметны частые волнения при переходе мысли из государства в государство. Россия около полутораста лет занимает у своих западных братий просвещение умственное и вещественное; и за всем тем много ли она себе усвоила, со многим ли сладила? Мы многое узнали, во многом почти уравнялись со своими учителями, но ничто нам не досталось даром. Не вошла к нам ни одна стихия науки, художества или быта (от западной философии до немецкого кафтана), которая бы слилась с нами вполне, которая бы не оставила нам глубокого раздвоения. Мы называем свою словесность и считаем ряды более или менее почетных имен, и эта словесность по мысли и слову доступна только тем, которые и по внутренней жизни, и даже по наружности, уже расторгли живую цепь преданий старины; зато и бледное слово, и бледная мысль обличают чужеземное происхождение привитого растения. Были, без сомнения, и в словесности нашей явления, которые кажутся исключениями; но эти явления суть только отдельные произведения или только части произведений, и никогда, до нашего времени, не было ни одного поэта (в стихах или прозе), который бы во всей целости своих творений выступил как человек вполне русский, как человек, вполне свободный от примеси чужой. Конечно, тупа та критика, которая не слышит русской жизни в Державине, Языкове и особенно в Крылове, а в Жуковском, в Пушкине и еще более, может быть, в Лермонтове не видит живых следов старорусского песенного слова и которая не замечает, что эти следы всегда живо и сильно потрясают русского читателя, согревая ему сердце чем-то родным и чего он сам не угадывает. Тупа та критика, которая не сознает во всей нашей словесности характера особенного и принадлежащего только нам. Но этот характер никогда не развивался вполне: он робко выглядывал из-под чужих форм, не сознавая себя, иногда и стыдясь самого себя. Нашему времени было предоставлено услышать наконец голос художника вполне свободного, вполне самостоятельного[1]. Трудно сказать, чем он спасен,— силою ли своего внутреннего духа, особенностью ли прекрасной, истинно художнической области, в которой он родился и которая была менее северных областей захвачена нашею умственною жизнию прошедшего столетия? Во всяком случае, он принадлежит будущей эпохе, а не прошедшей. В нашу он является великим исключением, мало еще понятным для большей части

читателей, получивших от образованности завидное право быть судьями.

Художество звука подверглось той же участи, как художество слова. Оба они были богаты и самобытны у нас в своем народном развитии, богаче, чем у какого другого народа; оба обеднели с введением в Россию новых художественных стихий, которыми не овладела еще вполне русская жизнь; но и в музыке, как и в словесности, наступило духовное освобождение, и великий художник пробудил заснувшую силу нашего музыкального творчества[2]. Но мы еще боимся верить своему мелодическому богатству: привычные к подражанию и к коленопреклонению перед чудными образцами западного художества, мы не смеем еще думать, что нам предстоит поприще оригинального развития, что мы должны найти свое выражение для своего внутреннего чувства. Разумная потребность искусства самобытного для нас ясна и зовет нас на подвиг, а вековая покорность перед чуждыми образцами останавливает наши шаги и холодит нашу надежду. Так, еще недавно просвещенный знаток и горячий любитель музыки обещал нам новое русское искусство, составленное из итальянской мелодии, немецкой гармонии и французской драматичности[3], как будто бы не к этой цели (за исключением сомнительной французской драматичности) стремится всякий художник во всяком западном народе, как будто бы не ее достиг Моцарт в своем «Дон-Джованни». Странная была бы наша оригинальность, оригинальность всеподражания, оригинальность художественного эклектизма. Такая музыкальная будущность могла бы порадовать какой-нибудь народ, никогда не создавший ни одной живой мелодии, напр<имер> французов. Но можно ли ее обещать нам, детям славянского племени, племени самого богатого изо всех европейских племен разнообразною, самобытною и глубоко сердечною песнею? Разве те чувства, которыми жили мы исстари, заглохли совсем? Разве звуки, которые так верно и художественно выражали эти чувства, могут когда-нибудь сделаться нам чужими? Разве когда-нибудь может перерваться та чудная, тайная цепь, которая связывает русскую душу с русскою песнею? А какой-нибудь закон иноземной мелодии, т. е. иноземной души (ибо мелодия есть также ее слово), может быть нам роднее нашей родной?

Художество звука и художество слова были нашим достоянием издревле; они изменялись с изменением жизни, но беспрестанно в них прорывались родное чувство и родная мысль. Художество формы явилось нам как новая стихия, как новый

мир деятельности духовной, совершенно чуждой нашей старине. Если и была когда-нибудь в России школа живописи и если высокие произведения, недавно отысканные на стенах наших старых церквей в Киеве и Владимире, действительно принадлежали художникам русским, а не византийским, то, по крайней мере, цепь предания была так совершенно разорвана в продолжение стольких веков, что она не могла представить никакого руководства для новой художественной школы. Поэтому живопись была нововведением вполне. Не без славы стали мы на новое поприще, не без гордого удовольствия можем мы сказать, что художники наши занимают едва ли не первое место между всеми художниками современной Европы, за исключением одной Германии (хотя и это исключение сомнительно); но добросовестная критика, отдавая справедливость прекрасным произведениям, созданным в России и отчасти русскими, может и должна спросить: принадлежат ли они вполне России? Созданы ли они русским духом? Фламандец, вступая в свою национальную галерею, узнает в ней себя. Он чувствует, что не его рукою, но его душою, его внутреннею жизнию живут и дышат волшебные произведения Рубенса или Рембрандта. Эти грубые и тяжело материальные формы — это его фламандское воображение; эта добродушная и веселая простота — это его фламандский характер; эти солнечные лучи, эта чудная светотень, схваченные и увековеченные кистью,— это его фламандская радость и любовь. То же самое чувствует и немец перед своими Гольбейнами и Дюрерами, сухими, скудными, но полными задумчивости и глубокомыслия. То же самое чувствует итальянец перед своим Леонардом, перед Михель Анжелом, перед своим Рафаэлем, перед всеми этими царями живописи, перед всеми этими чудесами очерка и выражения, которых едва ли когда-нибудь достигнет другой какой народ, которых, без сомнения, никто не превзойдет. Что же общего между русской душою и российскою живописью? Рожденная на краю России, на перепутье ее с Западом, выращенная чужою мыслию, чужими образцами, под чужим влиянием, носит ли она на себе хоть признаки русской жизни? В ней узнает ли себя русская душа? Глядя на произведения российских живописцев, мы любуемся ими, как достоянием всемирным; мы называем их своими, а чувствуем получужими: растения без воздуха и без земли, выведенные на стекле под соломенной настилкой, согретые солнцем тепличным. Говорят, что где-то в Европе живет наш художник, человек исполненный жара и любви, давно обдумыва-

ющий чудные произведения, произведения стиля нового и великого, и что он готовит нам новую школу[4]. Правда ли это, или нет — мы не знаем. Но покуда в нашей живописи мы видим только признак художественных способностей, залог прекрасного будущего, а русского художества видеть не можем.

И все это не укор нашим литераторам, нашим композиторам, нашим живописцам. Они заслуживают от нас дань признательности, многие даже удивления. Но мир художества, так же как и большая часть нашего просвещения и нашего быта, доказывает всю трудность, всю медленность усвоения чуждых начал и всю неизбежность временного (да, смело можно сказать, только временного) раздвоения. Следует ли из этого, что мы должны, как полагают защитники всех старинных форм, отвергать всякое нововведение, будь оно в науке, в художестве, в промышленности или в быте? Из<-за> зла сомнительного и которое само может быть переходом к высшему сознательному добру, можем ли мы отвергать несомненно полезное, необходимое или прекрасное? Есть что-то смешное и даже что-то безнравственное в этом фанатизме неподвижности. В нем есть смешение понятий о добре и зле. Как бы Запад ни скрывал нравственное зло под предлогом пользы вещественной, отвергайте все то, что основывается на дурном начале, всякую регуляризацию порока, всякое приведение безнравственности в законный порядок (как, напр<имер>, прежние игорные дома во Франции, воровские цеха в древнем Египте и т. д.). Этого от вас требует ваше достоинство человеческое, ваше почтение к русскому обществу и святость вашей духовной жизни; ибо общество может сознавать в себе разврат как нравственную язву, но не имеет права его узаконивать, как будто бы снисходительно одобряя его или малодушно отчаиваясь в исцелении. Отвергайте всякое нравственное зло, но не воображайте, что вы имеете право отвергать какое бы ни было умственное или вещественное усовершенствование (будь оно художество, паровая машина или железная дорога) под тем предлогом, что оно опасно для целости жизни и что оно вводит в нее новую стихию раздвоения. Мы обязаны принять все то, чем может укрепиться земля, расшириться п<р>омыслы, улучшиться общественное благосостояние. Как бы ни были вероятны недоразумения, как бы ни были неизбежны частные ошибки, мы обязаны принимать все то, что полезно и честно в своем начале. Все раздвоения примирятся, все ошибки изгладятся. Эту надежду налагает на нас, как обязан-

ность, наша вера (если мы только верим) в силу истины и в здоровье русской жизни.

Уже почти полтора века, как мы стали подражать Западной Европе, и мы продолжаем и долго еще будем продолжать пользоваться ее изобретениями. Быть может, со временем и мы ей будем служить во многом образцами; но не может быть, чтобы когда-нибудь ее умственные труды были нам совершенно бесполезными. В области наук отвлеченных и прикладных весь образованный мир составляет одно целое, и всякий народ пользуется открытиями и изобретениями другого народа без унижения собственного достоинства, без утраты прав на самостоятельное развитие. Довольно того для нас, что мы уже теперь поняли разницу между всем общечеловеческим достоянием, которое мы принимаем от своей западной братии, и формами совершенно местными и случайными, в которые оно облечено у них. Это различие еще не могло быть понято ни во времена Петра, ни во время Ломоносова, двух первых двигателей нашего наукообразного просвещения. Эту тайну нам открыли жизнь, история и созревающее в нас сознание. Мы еще долго и даже всегда будем многое перенимать у других народов. Мы будем перенимать добросовестно, добродушно, не торопясь приноровлением к нашей жизни и зная, что жизнь сама возьмет на себя труд этого приноровления. Нелегко понять тайный смысл и дух какого бы то ни было обычая, изобретения или художественного произведения. Нелегко узнать, в чем и как он может срастись с жизнию, его принимающею извне, или как он может ею усвоиться. Приноровление чужого к своему родному кажется делом нетрудным только переводчикам водевилей да тем людям, которым даже и не мерещилось никогда глубокое значение частных явлений в жизни народной. Так, напр<имер>, Франция смело принимает чужое и бойко прилаживает к своему обиходу, нимало не запинаясь и не задумываясь о смысле новоприобретенной стихии. Так она поступила в художестве с так называемым романтизмом, в науке с философией немецких школ, в жизни с английскими учреждениями. Так, перенимая суд присяжных, она, нимало не задумавшись, приладила его устройство к своим понятиям и заменила единогласный приговор приговором большинства. Дайте ей нашу русскую сельскую общину, и она с нею поступит точно так же. Ей не придет никогда в голову бесконечная разница между большинством — выражением грубо вещественного превосходства, и единодушием — выражением высоконравственного единства, в котором все отдельные чле-

ны, частные лица, теряют свою строптивую личность, а община выступает как нравственное лицо. И Англия приняла суд присяжных, как известно, от другого (кажется, славянского) нача́ла, но она не изменяла занятого ею учреждения, и суд присяжных сохранился, как драгоценный остаток нравственно понятого единства между ее условными и вещественными учреждениями, освящая и возвышая все ее историческое бытие. Франция и ученики ее школ не понимают святости нравственного лица. Англия поклоняется ему бессознательно, между тем как ее историки и ученые точно так же чужды этому понятию, как и французы; но оно становится доступным более просвещенной Германии, и еще недавно беспристрастный немецкий путешественник говорил о славянской сельской общине, об нашем русском мире с его старинным единодушием, как об лучшем, об святейшем остатке народной старины, которому должна бы подражать и должна завидовать вся остальная Европа[5].

Чуждые стихии, занимаемые по необходимости одним народом у другого, поступают в область новой жизни и нового организма. Они переделываются и усваиваются этим организмом в силу его внутренних неусловимых законов; они подвергаются неизбежным изменениям, которых не может угадать практический рассудок и которых не должна предварять торопливая догадка. Жизнь всегда предшествует логическому сознанию и всегда остается шире его.

Первые попытки художественные у нас были рабским подражанием образцам иноземным: мы переносили к себе готовые формы чувства и мысли; мы переносили к себе даже обороты языков чужих, приноравливая только к ним свой родной язык. Это была дань поклонения, принесенная нами всему прекрасному, созданному другими народами, обогнавшими нас в просвещении. Теперь мы знаем и чувствуем, что художество — свободное выражение прекрасного — так же разнообразно, как самая жизнь народов и как идеалы их внутренней красоты. Время подражания в искусстве проходит. Мы не можем даже удовлетворяться тем, чем недавно восхищались. Мы понимаем, что формы, принятые извне, не могут служить выражением нашего духа и что всякая духовная личность народа может выразиться только в формах, созданных ею самой. В этом отношении мы опередили своих западных учителей и даже высоко просвещенную Германию, которая до сих пор верит существованию баварского искусства, т. е. искусства, основанного на прямом разногласии между художником и его произведениями. Немец думает, что

он нынче может быть греком и излить гармонию своей греческой души в формах, которым позавидовала бы древняя Иония; завтра художником средних времен и выразить все бурное кипение тогдашней религиозной и общественной жизни живым и непроизвольным языком художества; послезавтра византийцем, византийцем-художником, т. е. византийцем вполне (ибо художество есть гармоническое выражение полноты жизни), даже не понимая порядочно Византии. Мы знаем, что это невозможно и что художество в России будет выражением ее современного духа, выражением разнообразным по разнообразию лиц, но связанным тою неразрывною цепью внутреннего единства, которое соединяет все лица в живое единство народа. За всем тем при таком сознании или, лучше сказать, предзнании будущего мы не можем сказать или отгадать тех художественных форм, в которые должно со временем вылиться богатство русской мысли и русского чувства.

То, что сказано об художестве, относится и к жизни вообще, в ее бытовом, историческом развитии. Разум и чувство узнают прекрасное или необходимое у иных народов и переносят к себе на народную почву. Время и народный толк усваивают и переделывают новое приобретение. Так и в теперешнем случае можно сказать, что цепь железных дорог перехватит Россию с конца в конец, сосредоточиваясь в ее естественном центре, и дело, созданное необходимостью, оживится жизнию народною и принесет, без сомнения, богатые плоды, которых не может определить вперед самая дальновидная догадка.

На твой вопрос я отвечать определительно не мог: вместо общего мнения, я высказал свое собственное. Не знаю, далеко ли оно от общего.

МНЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ О РОССИИ

В Европе стали много говорить и писать о России. Оно и неудивительно: у нас так много говорят и пишут о Европе, что европейцам хоть из вежливости следовало занять-

ся Россиею. Всякий русский путешественник, возвращаясь из-за границы, спрашивает у своих знакомых домоседов, читали ли они, что написал о нас лорд такой-то, маркиз такой-то, книгопродавец такой-то, доктор такой-то? Домосед, разумеется, всегда отвечает, что не читал.— «Жаль, очень жаль, прелюбопытная книга: сколько нового, сколько умного, сколько дельного! Конечно, есть и вздор, многое преувеличено; но сколько правды! — любопытная книга». Домосед расспрашивает об содержании любопытной книги, и выходит на поверку, что лорд нас отделал так, как бы желал отделать ирландских крестьян; что маркиз поступает с нами, как его предки с виленями[1]; что книгопродавец обращается с нами хуже, чем с сочинителями, у которых он покупает рукописи; а доктор нас уничтожает пуще, чем своих больных. И сколько во всем этом вздора, сколько невежества! Какая путаница в понятиях и даже в словах, какая бесстыдная ложь, какая наглая злоба! Поневоле родится чувство досады, поневоле спрашиваешь: на чем основана такая злость, чем мы ее заслужили? Вспомнишь, как того-то мы спасли от неизбежной гибели; как другого, порабощенного, мы подняли, укрепили; как третьего, победив, мы спасли от мщенья и т. д. Досада нам позволительна; но досада скоро сменяется другим, лучшим чувством — грустью истинной и сердечной. В нас живет желание человеческого сочувствия; в нас беспрестанно говорит теплое участие к судьбе нашей иноземной братии, к ее страданьям, так же как к ее успехам; к ее надеждам, так же как к ее славе. И на это сочувствие, и на это дружеское стремление мы никогда не находим ответа: ни разу сло́ва любви и братства, почти ни разу сло́ва правды и беспристрастия. Всегда один отзыв — насмешка и ругательство; всегда одно чувство — смешение страха с презрением. Не того желал бы человек от человека.

Трудно объяснить эти враждебные чувства в западных народах, которые развили у себя столько семян добра и подвинули так далеко человечество по путям разумного просвещения. Европа не раз показывала сочувствие даже с племенами дикими, совершенно чуждыми ей и не связанными с нею никакими связями кровного или духовного родства. Конечно, в этом сочувствии высказывалось все-таки какое-то презрение, какая-то аристократическая гордость крови или, лучше сказать, кожи; конечно, европеец, вечно толкующий о человечестве, никогда не доходил вполне до идеи человека; но все-таки, хоть изредка, высказывались сочувствие и какая-то способность к любви. Странно, что Россия одна имеет как будто

бы привилегию пробуждать худшие чувства европейского сердца. Кажется, у нас и кровь индоевропейская, как и у наших западных соседей, и кожа индоевропейская (а кожа, как известно, дело великой важности, совершенно изменяющее все нравственные отношения людей друг с другом), и язык индоевропейский, да еще какой! самый чистейший и чуть-чуть не индийский; а все-таки мы своим соседям не братья.

Недоброжелательство к нам других народов, очевидно, основывается на двух причинах: на глубоком сознании различия во всех началах духовного и общественного развития России и Западной Европы и на невольной досаде перед этою самостоятельною силою, которая потребовала и взяла все права равенства в обществе европейских народов. Отказать нам в наших правах они не могут: мы для этого слишком сильны; но и признать наши права заслуженными они также не могут, потому что всякое просвещение и всякое духовное начало, не вполне еще проникнутые человеческою любовью, имеют свою гордость и свою исключительность. Поэтому полной любви и братства мы ожидать не можем, но мы могли бы и должны ожидать уважения. К несчастию, если только справедливы рассказы о новейших отзывах европейской литературы, мы и того не приобрели.

Нередко нас посещают путешественники, снабжающие Европу сведениями о России. Кто побудет месяц, кто три, кто (хотя это очень редко) почти год, и всякий, возвратясь, спешит нас оценить и словесно, и печатно. Иной пожил, может быть, более года, даже и несколько годов, и, разумеется, слова́ такого оценщика уже внушают бесконечное уважение и доверенность. А где же пробыл он во все это время? По всей вероятности, в каком-нибудь тесном кружке таких же иностранцев, как он сам. Что видел? Вероятно, один какой-нибудь приморский город, а произносит он свой приговор, как будто бы ему известна вдоль и поперек вся наша бесконечная, вся наша разнообразная Русь.

К этому надобно еще прибавить, что почти ни один из этих европейских писателей не знал даже русского языка, не только народного, но и литературного, и, следовательно, не имел никакой возможности оценить смысл явлений современных так, как они представляются в глазах самого народа; и тогда можно будет судить, как жалки, как ничтожны бы были данные, на которых основываются все эти приговоры, если бы действительно они не основывались на другой данной, извиняющей отчасти опрометчивость иностранных писателей,— именно на собственных наших показаниях о себе.

Еще прежде чем иностранец побывает в России, он уже узнает ее по множеству наших путешественников, которые так усердно меряют большие дороги всей Европы с равною пользою для просвещения России вообще и для своего просвещения в особенности. Вот первый источник сведения Европы о России. Я очень далек от того, чтобы отвергать пользу и даже необходимость путешествий. Много прекрасного, много истинно человеческого скрывается в этой, по-видимому, пустой и бесплодной потребности одного народа — поглядеть на житье-бытье других народов, побеседовать с ними у них самих; поприслушиваться к их живому слову и к движению их живой мысли; но не все же хорошо в путешествиях. В иных отношениях можно сказать, что путешественник хуже домоседа. Его существование одностороннее и носит на себе какой-то характер эгоистического самодовольства. Он смотрит на чужую жизнь,— но живет сам по себе, сам для себя; он проходит по обществу, но он не член общества; он двигается между народами, но не принадлежит ни к одному. Он принимает впечатления, он наслаждается всем, что удобно, или добро, или прекрасно,— но сам он не внушает сочувствия и не трудится в общем деле, беспрестанно совершаемом всеми около него. Разумеется, я исключаю из этого определения тех великих двигателей человечества, которые переносят или переносили с собою из края в край какую-нибудь высокую мысль, какое-нибудь плодотворное знание и были благодетелями стран, ими посещенных. Такие люди бывали, да много ли их? Вообще польза и достоинство путешествия проявляются после возвращения странника на родину, а в самое время своего странствования он носит на себе характер эгоистической односторонности и в это время служит плохим мерилом для достоинства своего народа. К тому же надобно прибавить еще другое замечание: нравственное достоинство человека высказывается только в обществе, а общество есть не то собрание людей, которое нас случайно окружает, но то, с которым мы живем заодно. Плодотворное сочувствие общества вызывает наружу лучшие побуждения нашей души; плодотворная строгость общественного суда укрепляет наши силы и сдерживает худшие наши стремления. Путешественник вечно одинок во всем бессилии своего личного произвола. Веселый разгул его эгоистической жизни не должен бы служить образчиком для суждения об общем достоинстве его домашней жизни; но не всем же приходит эта мысль на ум, а между тем как он гуляет по чужим краям (как крестьянин, заехавший на далекую ярмарку, где его никто

не знает и все ему чужие), земля, в которой он гостит, произносит суд над ним и по нем над его народом. Разумеется, такая ошибка возможна только в суждении о народах совершенно неизвестных; да разве Россия не неизвестная земля? Смешно бы было, если бы кто-нибудь из нас стал утверждать, что Россия сравнялась с своею западной братиею во всех отраслях или даже в какой-нибудь отрасли внешнего образования — в искусствах ли, в науке ли, в удобствах или щеголеватости житейских устройств. Поэтому благоговение, с которым русский проходит всю Европу,— очень понятно. Смиренно и с преклоненною головою посещает он западные святилища всего прекрасного, в полном сознании своего личного и нашего общего бессилия. Скажу более: есть какое-то радостное чувство в этом добровольном смирении. Конечно, многие из наших путешественников заслужили похвалу и доброе мнение в чужих землях; но на выражение этого доброго мнения они всегда отвечали с добродушным сомнением, не веря сами своему успеху. Редкий, и тот, разумеется, хуже других, принимал похвалу как должную дань и, возрастая мгновенно в своих собственных глазах на необъятную вышину, благодарил своих снисходительных судей с гордым смирением, которое как будто говорило: «Да, я знаю, что я человек порядочный, я вполне верю вашим словам; но боже мой! какого стоило мне труда сделаться таким, каким вы меня видите! из какой глубины я вырос! из какого народа я вышел!» Впрочем, эти примеры редки; и должно сказать вообще, что русский путешественник, как представитель всенародного смирения, не исключает и самого себя. В этом отношении он составляет резкую противоположность с английским путешественником, который облекает безобразие своей личной гордости в какую-то святость гордости народной. Смирение, конечно, чувство прекрасное; но к стыду человечества надобно признаться, что оно мало внушает уважения и что европеец, собираясь ехать в Россию и побеседовав с нашими путешественниками, не запасается ни малейшим чувством благоговения к той стране, которую он намерен посетить.

И вот он приехал в Россию, и вот он заговорил со всем нашим образованным обществом. Принятый ласково и радушно, он стал прислушиваться к нашим откровенным речам и услышал то же самое, что слышал за границею от путешественников. То, что было за границею выражением невольного благоговения перед дивными памятниками других народов, является уже в России не только как выражение невольного чувства, но и как дело утонченной вежливости.

Не хвастаться же дома! Впрочем, я очень от того далек, чтобы роптать на нашу народную скромность. Это чувство прекрасное, благородное, высокое; строгий суд над собою возвышает народ так же, как он возвышает человека. Благоговение перед всем великим обличает сочувствие со всем великим и обещает великое в будущем. Избави бог от людей самодовольных и от самодовольства народного; но надобно признаться, что всякая добродетель имеет свою крайность, в которой она становится несколько похожею на порок. Быть может, мы впадаем иногда и в эту крайность, которая, без сомнения, лучше самохвальства, но все-таки не заслуживает похвалы и унижает нас в глазах западных народов. Наша сила внушает зависть; собственное признание в нашем духовном и умственном бессилии лишает нас уважения: вот объяснение всех отзывов Запада о нас.

Смирение человека, так же как и смирение народа, могут иметь два значения, совершенно противоположные. Человек или народ сознает святость и величие закона нравственного или духовного, которому подчиняет он свое существование; но в то же время признает, что этот закон проявлен им в жизни недостаточно или дурно; что его личные страсти и личные слабости исказили прекрасное и святое дело. Такое смирение велико; такое признание возвышает и укрепляет дух; такое самоосуждение внушает невольно уважение другим людям и другим народам. Но не таково смирение человека или народа, который сознается не только в собственном бессилии, но в бессилии или неполноте нравственного или духовного закона, лежавшего в основе его жизни. Это не смирение, а отречение. Человек разрывает все связи с своей прошедшей жизнию, он перестает быть самим собою; а если он говорит от имени народа, то уже тем самым он от народа отрекается.

Конечно, говорят, что какое бы ни было мнение человека, он не перестает принадлежать земле, давшей ему бытие. Русского, что бы он ни делал, как бы ни прикидывался иностранцем, узнают всегда. Как? по выдавшимся слегка скулам, по неопределенной форме носа, по рисунку и цвету глаз? Это признаки породы, а не народа. По невольной особенности мысли? по невольной резкости или мягкости поступков? по обороту речей? И это не народность. [Это только звенья, обломки разорванной исторической цепи, на которую ропщет гордый произвол, да скинуть не может.] Это тоже признаки породы, хотя в другом смысле, породы исторической, а не чисто физической; ибо органы человеческие развиваются, вероятно, столько же под влиянием истории, сколько под грубо

вещественными влияниями климата или пищи. Принадлежать народу — значит с полною и разумною волею сознавать и любить нравственный и духовный закон, проявлявшийся (хотя, разумеется, не сполна) в его историческом развитии. Неуважение к этому закону унижает неизбежно народ в глазах других народов. Нам случается впадать в эту крайность; но в то же время ошибка наша простительна: это не грех злой воли, а грех неведения. Мы России не знаем.

Человеку трудно узнать самого себя. Даже в физическом отношении человек без зеркала лица своего не узнает, а умственного зеркала, где бы отразилась его духовная и нравственная физиономия, он еще не выдумал; точно так же трудно и народу себя узнать. Наша западноевропейская братия разбита на множество племен и государств; каждое изучает и определяет своего соседа, и этот труд совершается уже несколько веков, а едва ли хоть один народ определен или понят вполне. Так, например, величайшая и бесспорно первая во всех отношениях из держав Запада, Англия, не была постигнута до сих пор ни своими, ни иноземными писателями. Везде она является как создание какого-то условного и мертвого формализма, какой-то душеубийственной борьбы интересов, какого-то холодного расчета, подчинения разумного начала существующему факту, и все это с примесью народной и особенно личной гордости, слегка смягченной какими-то полупорочными добродетелями. И действительно, такова Англия в ее фактической истории, в ее условных учреждениях, в ее внешней политике, во всем, чем она гордится и чему завидуют другие народы. Но не такова внутренняя Англия, полная жизни духовной и силы, полная разума и любви; не Англия большинства на выборах, но единогласия в суде присяжных; не дикая Англия, покрытая за́мками баронов, но духовная Англия, не позволявшая епископам укреплять свои жилища; не Англия Ост-Индской компании, но Англия миссионеров; не Англия Питтов, но Вильберфорсов, Англия, у которой есть еще предание, поэзия, святость домашнего быта, теплота сердца и Диккенс, меньшой брат нашего Гоголя; наконец, старая веселая Англия Шекспира (merry old England). Эта Англия во многом не похожа на остальной Запад, и она не понята ни им, ни самими англичанами. Вы ее не найдете ни в Юме, ни в Галламе, ни в Гизо, ни в Дальмане, ни в документально верном и нестерпимо скучном Лаппенберге, ни в нравоописателях, ни в путешественниках. Она сильна не учреждениями своими, но несмотря на учреждения свои. Остается только вопрос, что возьмет верх, всеубивающий ли форма-

лизм или уцелевшая сила жизни, еще богатая и способная если не создать, то по крайней мере принять новое начало развития? В примере Англии можно видеть, что западные народы не вполне еще познали друг друга. Еще менее могли они познать себя в своей совокупности; ибо, несмотря на разницу племен, наречий и общественных форм, они все выросли на одной почве и из одних начал. Мы, вышедшие из начал других, можем удобнее узнать и оценить Запад и его историю, чем он сам; но в то же время, видя всю трудность самопознания, мы имеем полное право извинить неясность нашего знания о России. Европа, может быть, узна́ет нас лучше нас самих, когда узна́ет. Впрочем, все это относится только к познанию наукообразному, к определению логическому. Есть другое, высшее познание, познание жизненное, которое может и должно принадлежать всякому народу.

Много веков прошло, и историческая жизнь России развилась не без славы, несмотря на тяжелые испытания и на страданья многовековые. Широко раскинулись пределы государства, уже и тогда обширнейшего в целом мире. Жили в ней и просвещение, и сила духа, которые одни могли так победоносно выдерживать такие сильные удары и такую долгую борьбу; но в тревогах боевой и треволненной жизни, в невольном отчуждении от сообщества других народов, Россия отстала от своей западной братии в развитии вещественного знания, в усовершенствованиях науки и искусства. Между тем жажда знания давно уже пробудилась, и наука явилась на призыв великого гения, изменившего судьбу государства. Отовсюду стали стекаться к нам множество ученых иностранцев со всеми разнообразными изобретениями Запада. Множество было отдано русских на выучку к этим новым учителям, и, разумеется, по русской смышлености они выучились довольно легко; но наука еще не пустила крепких корней. В учение к иностранцам отдавались люди, принадлежавшие к высшему и служилому сословию; другие заботы, другие привычки, наследственные и родовые, отвлекали их от поприща, на которое они были призваны новыми государственными потребностями. В науке видели они только обязанность свою и много-много общественную пользу. С дальних берегов Северного океана, из рядов простых крестьян-рыбаков, вышел новый преобразователь. Много натерпелся он в жизни своей для науки, много настрадался, но сила души его восторжествовала. Он полюбил науку ради науки самой и завоевал ее для России. Быстры были наши успехи; жадно принимали мы всякое открытие, всякое знание, всякую мысль,

и, как бы ни был самолюбив Запад, он может не стыдиться своих учеников. Но мы еще не приобрели права на собственное мышление, или если приобрели, то мало им воспользовались. Наша ученическая доверчивость [все перенимает,] все повторяет, всему подражает, не разбирая, что принадлежит к положительному знанию, что к догадке, что к общечеловеческой истине и что к местному, всегда полулживому направлению мысли; но и за эту ошибку нас строго судить не должно. Есть невольное, почти неотразимое обаяние в этом богатом и великом мире западного просвещения. Строгого анализа нельзя требовать от народа в первые минуты его посвящения в тайну науки. Ошибки были неизбежны для первых преобразователей. Великий гений Ломоносова подчинился влиянию своих ничтожных современников в поэзии германской. Понимая строгую последовательность и, так сказать, рабство науки (которая познает только то, что уже есть), он не понял свободы художества, которое не воспринимает, но творит, и оттого надолго пошло наше художество по стезям рабского подражания. В народах, развивающихся самобытно, богатство содержания предшествует усовершенствованию формы. У нас пошло наоборот. Поэзия наша содержанием скудна, красотою же наружной формы равняется с самыми богатыми словесностями и не уступает ни одной. Разгадка этого исключительного явления довольно проста. Свобода мысли у нас была закована страстью к подражанию, а внешняя форма поэзии (язык) была выработана веками самобытной русской жизни. Язык словесности, язык так называемого общества (т. е. язык городской) во всех почти землях Европы мало принадлежал народу. Он был плодом городской образованности, и от этого происходит какая-то вялость и неповоротливость всех европейских наречий. Тому с небольшим полвека во Франции не было еще почти ни одной округи (за исключением окрестностей Парижа), где бы говорили по-французски. Все государство представляло соединение диких и нестройных говоров, не имеющих ничего общего с языком словесности. Зато французский язык, создание городов, быть может, и не совсем скудный для выражения мысли, без сомнения, богатый для выражения мелких житейских и общественных потребностей, носит на себе характер жалкого бессилия, когда хочет выразить живое разнообразие природы. Рожденный в городских стенах, только по слухам знал он о приволье полей, о просторе божьего мира, о живой и мужественной простоте сельского человека. В новейшее время его стали, так сказать, вывозить за город и

показывать ему села, и поля, и рощи, и всю красоту поднебесную. В этом-то и состоит не довольно замеченная особенность слога современных нам французских писателей; но мертвому языку жизни не привьешь. Пороки французского языка более или менее принадлежали всем языкам Европы. Одна только Россия представляет редкое явление великого народа, говорящего языком своей словесности, но говорящего, может быть, лучше своей словесности. Скудость содержания дана была нашим прививным просвещением; чудная красота формы была дана народною жизнью. Этого не должна забывать критика художества.

Направление, данное нам почти за полтора столетия, продолжается и до нашего времени. Принимая все без разбора, добродушно признавая просвещением всякое явление западного мира, всякую новую систему и новый оттенок системы, всякую новую моду и оттенок моды, всякий плод досуга немецких философов и французских портных, всякое изменение в мысли или в быте, мы еще не осмелились ни разу хоть вежливо, хоть робко, хоть с полусомнением спросить у Запада, все ли то правда, что он говорит? все ли то прекрасно, что он делает? Ежедневно, в своем беспрестанном волнении, называет он свои мысли ложью, заменяя старую ложь, может быть, новою, и старое безобразие, может быть, новым, и при всякой перемене мы с ним вместе охуждаем прошедшее, хвалим настоящее и ждем от него нового приговора, чтобы снова переменить наши мысли. Как будто бы не постигая разницы между науками положительными, какова, напр<имер>, математика или изучение вещественной природы, и науками догадочными, мы принимаем все с одинаковою верою. Так, напр<имер>, мы верим на слово, что процесс философского мышления совершался в Германии совершенно последовательно, хотя логическое первенство субъекта перед объектом у Шеллинга основано на ошибке в истории философской терминологии, и никакая сила человеческая не свяжет феноменологии Гегеля с его логикой. Мы верим, что статистика имеет какое-нибудь значение отдельно от истории, что политическая экономия существует самобытно, отдельно от чисто нравственных побуждений, и что, наконец, наука права, наука, которою так гордится Европа, которая так усовершенствована, так обработана, которая стоит на таких твердых и несокрушимых основах, имеет действительно право на имя науки, действительную основу, действительное содержание.

Разумеется, я говорю не о науке прав, т. е. закона обычного или писаного, в его положительном развитии. Эта наука

тоже называется наукою права, но она имеет историческое значение и, следовательно, неоспоримое достоинство. Я говорю о науке права, как права самобытного, самостоятельного, носящего в себе свои собственные начала и законы своего определения. В этом смысле она не может выдержать самого легкого анализа. Самостоятельная наука должна иметь свои начала в самой себе. Какие же начала безусловного права? Человек является в совокупности сил умственных и телесных. В этом отношении он может быть предметом науки чисто опытной, человекознания (антропологии), но его силы не имеют еще характера права. Эти силы могут быть ограничены извне, силами природы или силами других людей; но и сила человека в ограничении своем еще не имеет значения права. Это только сила стесненная. Для того, чтобы сила сделалась правом, надобно, чтобы она получила свои границы от закона, не от закона внешнего, который опять не что иное, как сила (как, напр<имер>, завоевание), но от закона внутреннего, признанного самим человеком. Этот признанный закон есть признанная им нравственная обязанность. Она, и только она, дает силам человека значение права. Следовательно, наука о праве получает некоторое разумное значение только в смысле науки о самопризнаваемых пределах силы человеческой, т. е. о нравственных обязанностях; точно так, как геометрия не есть наука о пространстве, но о формах пространства. С другой стороны, понятие об обязанности находится в прямой зависимости от общего понятия человека о всечеловеческой или всемирной нравственной истине и, следовательно, не может быть предметом отдельным для самобытной науки. Очевидно, что наука о нравственных обязанностях, возводящих силу человека в право, не только находится в прямой зависимости от понятия о всемирной истине, будь оно философское или религиозное, но составляет только часть из его общей системы философской или религиозной. Итак, может существовать наука права по такой-то философии или по такой-то вере; но наука права самобытного есть прямая и яркая бессмыслица, и разумное толкование о праве может основываться только на объявленных началах всемирного знания или верования, которые принимает такой-то или другой человек.

Если бы эти простые истины были признаны, многие явления ученой западной словесности исчезли бы сами собою, не обратив на себя внимания, которого они вовсе не заслуживают. Так, напр<имер>, понятно бы стало, что идея о праве не может разумно соединиться с идеею общества, основанного единственно на личной пользе, огражденной договором. Лич-

ная польза, как бы себя ни ограждала, имеет только значение силы, употребленной с расчетом на барыш. Она никогда не может взойти до понятия о праве, и употребление слова *право* в таком обществе есть не что иное, как злоупотребление и перенесение на торговую компанию понятия, принадлежащего только нравственному обществу.

Так же точно бессмысленные толки о так называемом освобождении женщины или вовсе не существовали бы, или приняли бы совсем другой, разумный характер, которого они лишены до сих пор, если только можно признать, что они до сих пор существуют. Многие нападали на эти мнимые права женщин, многие заступались за них, и во всем этом красноречивом разглагольствовании, возмутившем столько добрых душ и слабых голов, не были ни разу высказаны те начала нравственной обязанности и истины, признанной за всемирную, на которых могла бы опереться идея о праве и на которых мог бы по крайней мере происходить разумный спор. Очевидно, все толки пошли от чувства справедливости, возмущенного действительностию жизни; но свет здравого разума не осиял людей, поднявших вопрос. Противники не отдали справедливости доброму чувству (положим, хоть и с примесью страсти), которое высказалось в первых требованиях освободителей женщины. Защитники не поняли всей нелепости своего требования в отдельности от общей системы правды и обязанности; и драка слепых бойцов, которые пускали в голову друг другу надутые фразы, была осыпана громкими рукоплесканиями западноевропейской публики, повторенными, быть может, и у нас. Весь спор происходил, очевидно, не в области права писаного или наукообразного, но в области права обычного; и спорящие забыли только об одном — об определении этого обычного права и об отделении в нем его основ, его положений от его злоупотреблений. Действительным же предметом спора были, бессознательно для спорящих писателей и для рукоплещущей публики,— не права женщины и мужчины, но их нравственные обязанности, определяющие их взаимные права, обязанности, которых тождество для женщины и для мужчины очевидно всякому разумному существу. Этого-то и не заметили, весьма естественно, вследствие привычки рассматривать право, как нечто самостоятельное, и вследствие слепой веры в несуществующую науку.

Вообще, все мною сказанное о самобытной науке отвлеченного права и о ложных ее приложениях в движении умственной жизни западных народов сказано только как пример той слепой доверчивости, с которою мы принимаем все при-

тязания западной мысли, и как доказательство нашего умственного порабощения. Есть, конечно, некоторые мыслители, которые, проникнув в самый смысл науки, думают, что пора и нашему мышлению освободиться; что пора нам рабствовать только истине, а не авторитету западной личности и черпать не только из прежних или современных школ, но и из того сокровища разума, которое бог положил в нашем чувстве и смысле, как и во всяком смысле и чувстве человеческом. Но бесспорно, большинство наших просвещенных людей в России, и особенно служителей науки, находят до сих пор, что приличие, скромность и, вероятно, умственное спокойствие повелевают нам принимать только готовые выводы, не пускаясь еще в темную и страшную глубину аналитических вопросов. Спор между этими двумя мнениями еще не решен, и неизвестно, кто будет оправдан — ученый или репетитор.

Предлагая свои сомнения об истине не только некоторых выводов, но и некоторых отраслей науки западной, я стараюсь выразиться с приличною робостью и смирением, чувствуя (не без страха), что я подвергаюсь строгому приговору, изреченному г. Молчалиным:

Как нам сметь
Свое суждение иметь!

Ведь и в науке не без молчалиных.

То доверчивое поклонение, с которым мы до сих пор следим за западноевропейскою образованностию, было, разумеется, еще сильнее, еще доверчивее в то время, когда мы еще только начинали с нею знакомиться, когда все ее величие и блеск впервые стали поражать наши глаза, когда ее слабости, ее неполнота, ее внутренняя нестройность были еще совсем недоступны нашей критике и когда сам Запад еще не начинал (как он очевидно теперь начинает) сомневаться в самом себе. И теперь мы стараемся подражать, но уже подражание наше имеет изредка кое-какие притязания на оригинальность. В первые и, так сказать, наши ученические годы мы старались не только быть подражателями, но обратиться в простой сколок с западного мира. Не для чего толковать о том, удалось ли нам это или до какой степени удалось. Уже одной страсти ко всему иноземному, уже одного ревностного желания уподобиться во всем нашим иностранным образцам было достаточно, чтобы оторвать нас от своих коренных источников умственной и духовной жизни. Продолжая в глубине сердца любить родную землю, мы уже всеми силами ума своего отрывались от ее истории и от ее духовной сущности.

Часто говорят, что и все народы, так же как и мы, были подражателями; что германцы точно так же приняли науку и искусство от Рима, как мы от романо-германского мира. Это возражение уничтожается одним словом. Правда, Рим передал просвещение германцу; но неправда, чтобы он передал его так же, как германец России. Не франк-завоеватель просветил галла, но побежденный галл франка. Не от норманца[2] получил просвещение свое саксонец (за исключением, может быть, некоторых ничтожных улучшений во внешнем быте), но побежденный саксонец передал просвещение свое победителю-норманцу. Это доказывается не только историею, но и языковедением. Там просвещение везде переходило от низших или, по крайней мере, средних слоев общества в высшие, проникая почти весь его состав одною силою умственного развития, одним дыханием общей жизни. Не так было у нас. Одно только высшее сословие могло воспользоваться и воспользовалось новыми приобретениями знания. Старое по своему родовому происхождению от служилых людей, новое по своему характеру сословия, оно приняло в себя все богатство нового просвещения, поглощая его в одном себе, замыкая его в своем круге и замыкаясь само этою новою, почти внешнею силою. Все другие сословия остались чуждыми новому движению. Они не могли воспользоваться сокровищами науки, которая привозилась к нам как заграничный товар, доступный только для немногих, для досужих, для богатых. Они не могли, а многие из них и не хотели ею воспользоваться. Если даже частное усовершенствование, если всякое отдельное изобретение, даже в науках прикладных, носит на себе печать земли, в которой оно возникло, и, так сказать, часть ее духа, то тем более целая образованность или целая система знания запечатлевается местным характером той области, в которой она развивалась, и передает этот дух и этот характер всякой земле, которая ее усваивает и дает ей право гражданства. Темное чувство этой невидимой и в то время еще несознанной опасности удаляло от нового просвещения множество людей и целые сословия, для которых оно могло бы быть доступно, и это удаление, которое спасло нас от полного разрыва со всею нашею историческою жизнию, мы можем и должны признать за особенное счастие. Оно бесспорно происходило из доброго начала, из того неопределенного ясновидения разума человеческого, которое предугадывает многое, чему еще не может дать ни имени, ни положительного очертания. К счастию, для подкрепления этого темного, но спасительного чувства образованность иноземная, переходя к

нам, привязалась упорно (вероятно, она иначе сделать не могла) к тем видимым и вещественным формам, в которые она была облечена у западных народов. Ее нерусские и необщечеловеческие начала обличались уже и тем, что не могли и не хотели расстаться с своим западным нарядом. Между тем те люди или сословия, в которых или жажда знания была сильнее, или привязанность к исторической старине менее сильна, отделялись все более и более от тех, которые не могли или не хотели последовать за ними по новооткрытым путям. Казалось бы, что раздвоение должно было быть сильнее в первые годы, когда фанатизм подражания Западу был ревностнее и страстнее, чем в последующее время; но на деле выходило иначе. Многие сначала были подражателями поневоле и роптали на горькую необходимость науки. Все, даже те, которые бросились с полным сознанием и страстною волею в пути иноземного просвещения, принадлежали западному миру только мыслию своею, а жизнью, обычаем и сочувствиями они еще принадлежали родимой старине. Люди прежнего века еще не успели сойти в гроб, воспоминания детства еще связаны были с воспоминаниями о другом порядке вещей и мысли. Еще сильны были няньки, да дядьки, да весь русский дом, который не успел переделаться на иностранный лад. Но раз принятое направление должно было развиваться все более и более уже под влиянием не только страсти, но и логической необходимости. Старики вымирали, дома перелаживались, европейство утверждалось, дети и внуки просвещенного поколения были просвещеннее своих предшественников. Система просвещения, принятая извне, приносила с собою свои умственные плоды в гордости, которая пренебрегала всем родным, и свои жизненные плоды — в оскудении всех самых естественных сочувствий. Раздвоение утвердилось надолго.

Очевидно, что при таком гордом самодовольствии людей просвещенных даже формальное, наукообразное знание их о России должно было ограничиться весьма тесными пределами, ибо в них исчезло самое желание знать ее; но еще более должно было пострадать другое, высшее, жизненное знание, необходимое для общества так же, как и для человека. Общество, так же как человек, сознает себя не по логическим путям. Его сознание есть самая его жизнь; оно лежит в единстве обычаев, в тождестве нравственных или умственных побуждений, в живом и беспрерывном размене мысли, во всем том беспрестанном волнении, которым зиждутся народ и его внутренняя история. Оно принадлежит только личности наро-

да, как внутреннее, жизненное сознание человека принадлежит только собственной его личности. Оно недоступно ни для иностранца, ни для тех членов общества, которые волею или неволею от него уединились. Это жизненное сознание, так же как его отсутствие, выражается во всем. Иностранец, как бы он ни овладел чужим языком, никогда не обогатит его словесности: он всегда будет писателем безжизненным и бессильным. Ему останутся всегда чуждыми те необъяснимые прихоти наречия, в которых выражается вся прелесть, вся оригинальность, вся подвижность народной физиономии. Нам, русским, это особенно заметно: и в неудачных попытках наших соотечественников выражать свои благоприобретенные мысли на благоприобретенных языках, и в неудачных попытках многих русских писателей, рожденных не в России, блеснуть на поприще нашей словесности слишком поздно и слишком книжно приобретенным знанием русского языка. Язык, чтобы быть послушным и художественным орудием нашей мысли, должен быть не только частью нашего знания, но частью нашей жизни, частью нас самих. Оттого-то иностранец или человек, удаленный от живого говора народного, должен довольствоваться языком книжным. Пусть на нем выражает он мысль свою, и, может быть, достоинством мысли сколько-нибудь выкупится вялость выражения; но для избежания всеобщего смеха пусть он удержится от всяких притязаний на подделку под живую речь. Мы видели этому недавний пример[3]. Московское наречие часто заменяет буквы *а* и *я* в родительном падеже имен мужского рода, обозначающих предметы неодушевленные, буквами *у* и *ю*; вздумалось иным литераторам подделаться под эту особенность наречия, которое составляет главную основу нашего разговорного и книжного языка, и пошли они везде, без разбора, изгонять буквы *а* и *я* из родительного падежа и заменять их буквами *у* и *ю*. Намерение было доброе и, очевидно, лестное для нас, москвичей; но, к несчастию, литераторы-нововводители не знали, что по большей части буква *у* не имеет никакого права становиться на место *а*, потому что звук, которым московское наречие оканчивает родительный падеж мужских имен, есть, по большей части, звук средний, которого нельзя выражать знаком *у*; что, сверх того, самое употребление слова, более или менее определенное, изменяет окончание этого падежа (так, напр<имер>, при указании и при определенных прилагательных *а* сохраняет почти все свое полнозвучие) и что, наконец, не все согласные одинаково терпят после себя изменение буквы *а* в букву *у* или в средний звук (так,

например, *п* не всегда допускает эту перемену, буква *в* допускает весьма редко, буква *б* не допускает почти никогда). Общий смех читателей был наградою за попытку, которая, может быть, заслуживала благодарности; но эта неудача должна служить уроком для тех, которые думают, что вдали от живой речи можно подделаться под ее прихотливое разнообразие. Она вообще не дается ни иностранцу, ни колонисту, как заметил один английский критик американскому писателю. Точно такие же причины объясняют другую, истинно грустную неудачу. Давно уже люди благонамеренные и человеколюбивые, истинные ревнители просвещения, заметили недостаток книг для народного чтения. Усердно и не без искусства старались они пособить этому недостатку и издали много книг, которые принесли бы, вероятно, немалую пользу, если бы народ их покупал или, покупая, читал[4]. К несчастию, умственная пища, приготовленная просвещенною благонамеренностью, до сих пор очевидно не соответствует потребностям облагодетельствованного народа. И эта неудача происходит также от отсутствия живого сочувствия и живого сознания. Русский человек, как известно, охотно принимает науку; но он верит также и в свой природный разум.

Наука должна расширять область человеческого знания, обогащать его данными и выводами; но она должна помнить, что ей самой приходится многому и многому учиться у жизни. Без жизни она так же скудна, как жизнь без нее, может быть, еще скуднее. Темное чувство этой истины живет и в том человеке, которого разум не обогащен познаниями. Поэтому ученый должен говорить с неученым не снисходительно, как высший с низшим, не жалким фистулом, как взрослый с младенцем; но просто и благородно, как мыслящий с мыслящим. Он должен говорить собственным своим языком, а не подделываться под чужой, который называет народным. Эта подделка не что иное, как гримаса. Эта народность не доходит до деревни и не переходит за околицу барского двора. Прежде же всего надобно узнать, т. е. полюбить, ту жизнь, которую хотим обогатить наукою. Эта жизнь, полная силы предания и веры, создала громаду России прежде, чем иностранная наука пришла позолотить ее верхушки. Эта жизнь хранит много сокровищ не для нас одних, но, может быть, и для многих, если не для всех народов.

По мере того, как высшие слои общества, отрываясь от условий исторического развития, погружались все более и более в образованность, истекающую из иноземного начала; по мере того, как их отторжение становилось все резче и резче,

умственная деятельность слабела и в низших слоях. Для них нет отвлеченной науки, отвлеченного знания; для них возможно только общее просвещение жизни, а это общее просвещение, проявленное только в постоянном круговращении мысли (подобном кровообращению в человеческом теле) становится невозможным при раздвоении в мысленном строении общества. В высших сословиях проявлялось знание, но знание, вполне отрешенное от жизни; в низших — жизнь, никогда не восходящая до сознания. Художеству истинному, живому, свободно творящему, а не подражательному не было места, ибо в нем является сочетание жизни и знания,— образ самопознающейся жизни. Примирение было невозможно: наука, хотя и односторонняя, не могла отказаться от своей гордости, ибо она чувствовала себя лучшим плодом великого Запада; жизнь не могла отказаться от своего упорства, ибо она чувствовала, что создала великую Россию. Оба начала оставались бесплодными в своей болезненной односторонности.

На первый взгляд бессилие жизни, отрешенной от знания и от художества, покажется понятнее, чем бессилие знания, отрешенного от жизни; ибо жизнь имеет характер местный, знание же — характер общий, всечеловеческий. Добросовестное или беспристрастное рассмотрение вопроса разрешает эти сомнения. Наука разделяется на науку положительную, или простое изучение законов видимой природы, и на науку догадочную, или изучение законов духа человеческого и его проявлений. Изучать законы своего духа может человек только в полноте своей духовной, следовательно, личной и общественной жизни, ибо только в этой полноте может он видеть их проявление. Итак, вторая и, может быть, важнейшая отрасль науки делается почти невозможною при внутреннем раздвоении общественного просвещения. Сверх того, наука, в своей, может быть, подчиненной форме опыта или наблюдения, есть опять только плод стремления духа человеческого к знанию, плод жизни, отчасти созревающей; следовательно, в обоих случаях она требует жизненной основы. У нас она не была плодом нашей местной, исторической жизни. С другой стороны, самым перенесением в Россию и на нашу почву она отторгалась от своих западных корней и от жизни, которая ее произвела.

В таком-то виде представлялись до сих пор у нас просвещение и общество, принявшее его в себя: оба носили на себе какой-то характер колониальный, характер безжизненного сиротства, в котором все лучшие требования души невольно уступают место эгоистическому самодовольству и эгоистической расчетливости.

Такова худшая и самая неутешительная сторона нашего высшего просвещения; но не должно забывать, что нет почти такого явления в мире, которое бы подчинялось какому-нибудь одному закону и не подвергалось в то же время влиянию других, часто противоположных законов. Характер, который я назвал колониальным, составляет, без сомнения, главную и преобладающую черту науки, принятой нами от Запада, и общества нашего, во сколько оно эту науку приняло; но история, но привычки, но воспоминания, но любовь к своей земле, но беспрестанные сношения с местною жизнию не вполне утратили свои права. От этого остатка собственно нашей народной жизни в нас происходят все лучшие явления нашей образованности, нашего художества, нашего быта, все, что в нас немертво, небессильно, небесплодно. К несчастию, семена добра в нас самих вполне развиться не могут от нашего внутреннего раздвоения, и нам недоступно то жизненное сознание России, которое составляет необходимое и, может быть, главное средоточие народного просвещения. От этого для нас невозможны ни справедливая оценка самих себя, ни ясное и здравое понятие о многих и, может быть, самых важных явлениях нашей истории.

Этому не трудно бы было найти пример. Недавно неутомимейший из историков наших в жизнеописании великого полководца сделал сравнение между Петром I и Екатериною II и признал в Петре гения, а в Екатерине только необыкновенный ум[5]. На это в одном из наших журналов отвечал критик весьма дельною статьею, в которой выставлены промахи историка, как кажется, мало сведущего в деле военном, и возобновлено сравнение между Петром и Екатериною, только с совершенно другим выводом. В Екатерине признается гений, а в Петре гораздо более необычайная сила воли, чем гений[6]. Кажется, наука может согласиться и с критиком, и с историком, без большого ущерба и без большой пользы для себя: тонкие различия между необыкновенною волею и гением, между гением и необыкновенным умом принадлежат к вопросам личного убеждения и мало обогащают положительное знание. Но в этом споре высказаны факты довольно любопытные. Критик, разбирая дела Петровы, делает следующее заключение, основанное на довольно верных численных данных: «Государство было истощено, народонаселение истреблено, природные жители бросали кров родной и бежали далеко от родины. В селениях оставались старый да малый, и нищета дошла до крайности».

На это редакция журнала делает следующее примечание:

«Между действиями Петра и Екатерины лежит полвека; а если взглянуть на Россию в том виде, как оставил ее Петр (в подлиннике сказано: «считал», вероятно, опечатка), и на Россию, как приняла Екатерина, то можно подумать, что между этими двумя эпохами протекли столетия».

Со всем этим можно согласиться; но спрашивается: если такая огромная перемена произошла с Россиею между концом царствования Петра и началом царствования Екатерины II, кому же должно приписать эту перемену? Конечно, не Екатерине I, не Петру II (отрадно, но слишком на короткое время блеснувшему для России) и не Анне Ивановне, к несчастию, связавшей имя свое с ужасами Бирона. Вся слава этого возрождения принадлежит, очевидно, Елисавете, той самой, при которой Россия покорила всю Восточную Пруссию с Берлином включительно, при которой выстроены наши лучшие здания, при которой основан Московский университет и при которой старый завет Мономаха утвержден законом, вечно памятным для нас и завидным для Запада[7]. А об Елисавете не упомянуто ни полсловом. Есть в истории русской эпохи боевой славы, великих напряжений, громких деяний, блеска и шума в мире. Кто их не знает? Но есть другие, лучшие эпохи, эпохи, в которых работа внутреннего роста государственного и народного происходила ровно, свободно, легко и, так сказать, весело, наполняя свежею кровью вещественный состав общества, наполняя новыми силами его состав духовный. И об этих эпохах никто не говорит. Таково царствование Елисаветы Петровны, таково время царя Алексея Михайловича (хоть он и забавлялся [купаньем стольников, опоздавших на службу, и], может быть, слишком часто соколиною охотою), таково царствование последнего из венценосцев Рюрикова рода[8] [(хоть он и любил, может быть, чересчур, звон колоколов)]. Об них мало говорят историки, но долго помнит народ; над их летописью засыпают дети, но задумываются мужи. При них благоденственно развивается внутренняя самобытная мощь страны, и славны те царские имена, с которыми связана память этих великих эпох. Не помнить об них значит не иметь истинного знания и истинного просвещения.

Просвещение не есть только свод и собрание положительных знаний: оно глубже и шире такого тесного определения. Истинное просвещение есть разумное просветление всего духовного состава в человеке или народе. Оно может соединяться с наукою, ибо наука есть одно из его явлений, но оно сильно и без наукообразного знания; наука же (одностороннее

его развитие) бессильна и ничтожна без него. Некогда оно было и у нас, несмотря на нашу бедность в наукообразном развитии, и от него остались великие, но слишком мало замеченные следы. Я не говорю о чужих краях. Сравнение с ними слишком затруднительно и слишком подвержено спорам, потому что всякому образованному русскому все-таки естественно кажется, что человек, который говорит только по-французски или по-немецки, образованнее того, кто говорит только по-русски; но если сравнить беспристрастно Среднюю или Северную Россию с Западною, то мысль моя будет довольно ясна. Нет сомнения, что просвещение западного русса[9] далеко уступает во всех отношениях просвещению его восточного брата; а между тем образованное общество в Западной России, конечно, не уступает нам нисколько в знаниях, а в старину далеко и далеко нас превосходило. Откуда же эта разница? Не очевидно ли оттого, что на западе России рано произошло раздвоение между жизнию народною и знанием высшего сословия, тогда как у нас, при всей скудости наукообразного знания, живое начало просвещения долго соединяло в одно цельное единство весь общественный организм. Разумное просветление духа человеческого есть тот живой корень, из которого развиваются и наукообразное знание, и так называемая цивилизация или образованность; оно есть самая жизнь духа в ее лучших и возвышеннейших стремлениях. Наука не заключает еще в себе живых начал образованности. Нередко случается нам видеть многосторонних ученых, которых нельзя не назвать дикарями, и невежд в науке, которых нельзя не назвать образованными людьми. Наука может разниться степенями своими по состояниям, по богатству, по досугам и по другим случайностям жизни; просвещение есть общее достояние и сила целого общества и целого народа. Этою силою отстоялся русский человек от многих бед в прошедшем, и этою силою будет он крепок в будущем. Россия приняла в свое великое лоно много разных племен: финнов прибалтийских, приволжских татар, сибирских тунгузов, бурят и др.; но имя, бытие и значение получила она от русского народа (т. е. человека Великой, Малой, Белой Руси). Остальные должны с ним слиться вполне: разумные, если поймут эту необходимость; великие, если соединятся с этою великою личностью; ничтожные, если вздумают удерживать свою мелкую самобытность. Русское просвещение — жизнь России.

Наука подвинулась у нас довольно далеко. Она начинает отрешаться от местных иноземных начал, с которыми она

была смешана в своем первом возрасте. Мужаясь и укрепляясь, она должна стремиться и уже стремится к соединению с русским просвещением; она начинает черпать из этого родного источника, которого прозрачная глубина (создание чистого и раннего христианства) одна может исцелить глубокую рану нашего внутреннего раздвоения. Нам уже позволительно надеяться на свою живую науку, на свое свободное художество, на свое крепкое просвещение, соединяющее в одно жизнь и знание; и точно так, как мысль иноземная являлась у нас в своей иноземной форме, точно так же просвещение родное проявится в образах и, так сказать, в наряде русской жизни. Видимое есть всегда только оболочка внутренней мысли. Обряд дело великое: это художественный символ внутреннего единства, у нас — единства народа, широко раскинувшегося от берегов Вислы и гор Карпатских до берегов Тихого океана. Нет сомнения, что наука совершит то, что она разумно начала́, и что она соединится с истинным просвещением России посредством строгого анализа в путях исторических, посредством теплого сочувствия в изучении современного, посредством беспристрастной оценки всякой истины, откуда бы она ни являлась, и любви ко всему доброму, где бы оно ни высказывалось.

Тогда будет и у нас то жизненное сознание, которое необходимо всякому народу и которое обширнее и сильнее сознания формального и логического. Тогда и крайнее наше теперешнее смирение перед всем иноземным и наши попытки на хвастовство, в которых самоунижение проглядывает еще ярче, чем в откровенном смирении, заменятся спокойным и разумным уважением наших исконных начал. Тогда мы не будем сбивать с толку иноземцев ложными показаниями о самих себе, и Западная Европа забудет или предаст презрению тех жалких писателей, о которых один рассказ уже внушает нам тяжелое чувство досады, несколько самолюбивой, и грусти истинно человеческой.

МНЕНИЕ РУССКИХ ОБ ИНОСТРАНЦАХ

Et tu quoque!*[1] И ты на меня нападаешь! И ты меня обвиняешь в несправедливости к русским и в пристрастном

* И ты тоже! *(лат.).— Ред.*

суде над иностранцами. Ты говоришь, что время безусловного поклонения всему западному миновалось, что мы осуждаем строго, иногда даже слишком строго, недостатки, ошибки и пороки наших европейских братий, а что с своей стороны они часто говорят о нашей Руси с уважением и доброжелательством. Скажу тебе сперва несколько слов в ответ на вторую твою критику: твои цитаты из иностранных писателей не доказывают ровно ничего. Кому неизвестно, что иногда случается французу, или немцу, или англичанину отозваться об России с каким-то милостивым снисхождением, несколько похожим на доброжелательство; но что ж из этого? Я мог бы тебе даже назвать немецкого путешественника Блазиуса, который с редким умом и беспристрастием так оценил Россию, что большей части из нас, русских, можно бы было у него поучиться[2]; но что же это доказывает? Дело не в исключениях,— они не имеют никакой важности,— будь они в виде доброго слова, изредка вымолвленного каким-нибудь избранным умом, будь они в виде какой-нибудь остервенелой клеветы или нелепости, вырвавшейся у низкой души или низкой страсти иностранца. Пусть немецкий проповедник сказал, что в дни освобождения Европы от Наполеона доблестные германцы шли вперед, сокрушая полчища вражии, а что за ними вслед ползли (krochen) 200 000 русских, которые более мешали, чем помогали подвигам сынов Германии; пусть английский духовный журнал («Church Q<uarterly> R<eview>») объявляет, что лучший кавалерийский полк в России убежит перед любою сотнею лондонских сидельцев, в первый раз посаженных на лошадь; [пусть французский духовный журнал («Univers catholique») печатает, что, по учению церкви греческой и русской, стоит только сварить тело покойника в вине, чтобы доставить ему царство небесное] какое до этого дело? Не по мелочам и не по исключениям должно судить. Мнение Запада о России выражается в целой физиономии его литературы, а не в отдельных и никем не замечаемых явлениях. Оно выражается в громадном успехе всех тех книг, которых единственное содержание — ругательство над Россиею, а единственное достоинство — ясно высказанная ненависть к ней; оно выражается в тоне и в отзывах всех европейских журналов, верно отражающих общественное мнение Запада. Вспомни обо всем этом и скажи по совести — был ли я прав? Тебе не хотелось бы сознаться в истине моих слов; тебе, как русскому человеку, жаждущему человеческого сочувствия, хотелось бы увериться в сочувствии западных народов к нам; тебе боль-

но встречать вражду там, где ты желал бы встретить чувство братской любви. Все это прекрасно, все это делает честь тебе. Но поверь мне, всякое самообольщение вредно. Истину должно признавать, как бы она ни была для нас горька; надобно ей глядеть в глаза прямо, и в этом зеркале всегда прочтешь какой-нибудь полезный урок, какой-нибудь справедливый укор за ошибку, вольную или невольную. В статье моей «Мнение иностранцев об России» я отдал добросовестный отчет в чувствах, которые Запад питает к нам. Я сказал, что это смесь страха и ненависти, которые внушены нашею вещественною силою, с неуважением, которое внушено нашим собственным неуважением к себе. Это горькая, но полезная истина. Nosce te ipsum (знай самого себя) — начало премудрости. Я не винил иностранцев, их ложные суждения внушены им нами самими; но я не винил и нас,— ибо наша ошибка была плодом нашего исторического развития. Пора признаться, пора и одуматься.

Ты не прав и в другом своем обвинении. Правда, мы, по-видимому, строже прежнего судим явления западного мира, мы даже часто судим слишком строго. «Вот это,— говорим мы,— хорошо и достойно подражания; но вот это — дурно, недостойно народов просвещенных и противно человеческому чувству: этого мы избегаем». В своих односторонних суждениях, утратив понятие о жизненном единстве, мы часто отделяем произвольно жизненные явления, которые в действительности неразлучны друг с другом и связаны между собою узами неизбежной зависимости. Таким образом, мы даем себе вид строгих и беспристрастных судей, свободных от прежнего рабского поклонения и от прежней безразборчивой подражательности. Но все это не иное что, как обман. Нас уже нельзя назвать поклонниками Франции, или Англии, или Германии — мы не принадлежим никакой отдельной школе: мы эклектики в своем поклонении; но точно так же рабски преклоняем колена перед своими кумирами. Самобытность мысли и суждений невозможна без твердых основ, без данных, сознанных или созданных самобытною деятельностию духа, без таких данных, в которые он верит твердою верою разума, теплою верою сердца.— Где эти данные у нас? Эклектизм не спасает от суеверия, и едва ли даже суеверие эклектизма не самое упорное изо всех: оно соединяется с какою-то самодовольною гордостию и утешает себя мнимою деятельностию ленивого рассудка. В статье моей, напечатанной в 4-м № «Москвитянина»[3], я показал исторический ход новейшей науки и ее развития в России; я показал ино-

земное начало этой науки, ее исключительность и необходимое последствие ее одностороннего развития — глубокий и до сих пор не исцеленный разрыв в умственной и духовной сущности России, разрыв между ее самобытною жизнию и ее прививным просвещением. От этого разрыва произошли в жизни бессознательность и неподвижность, в науке бессилие и безжизненность. Едва ли эти положения можно чем-нибудь оспорить.

Поверхностный взгляд на наше просвещение и на то общество, в котором оно заключено, очень обманчив. Познания, по-видимому, так разнообразны и обширны, умственные способности так развиты, ясность и быстрота понятий доведены до такой высокой степени, что изумишься поневоле. Чего бы, кажется, не ожидать от такого остроумия, от такого мысленного богатства? Каких великих открытий в науке, каких чудных приложений в жизни, каких быстрых шагов вперед для целой массы народа и для всего человечества? А что же выходит на поверку? Все эти познания, вся эта умственная живость остаются без плода. Я не говорю уже, что они бесплодны до сих пор для человечества, бесплодны для народа, которому они совершенно чужды, но они остались бесплодны для самой науки. В этом мы можем и должны сознаться с смиренным убеждением. Весь этот блеск ума едва ли выдумал порядочную мышеловку. Таково последствие разрыва между просвещением и жизнию. При нем умственное развитие заключается в самые тесные пределы. Разум без силы и полноты остается в мертвенном усыплении, и все способности человека исчезают в одностороннем развитии поверхностного рассудка, лишенного всякой творческой силы. Всеразлагающий анализ в науке, но анализ без глубины и важности, безнадежный скептицизм в жизни, холодная и жалкая ирония, смеющаяся над всем и над собою в обществе,— таковы единственные принадлежности той степени просвещения, которой мы покуда достигли. Но ум человеческий не может оставаться в этом мертвенном бессилии. Лишенная самобытных начал, неспособная создать себе собственную творческую деятельность, оторванная от жизни народной, наша наука питается беспрестанным приливом из тех областей, из которых она возникла и из которых к нам перенесена. Она всегда учена задним числом; а общество, которое служит ей сосудом, поневоле и бессознательно питает раболепное почтение к тому миру, от которого получает свою умственную пищу. Как бы оно, по-видимому, ни гордилось, как бы оно строго ни судило о разнообразных явлениях Запада, кото-

рых часто не понимает (как рассудок вообще никогда не понимает жизненной полноты), оно более чем когда-нибудь рабствует бессознательно пред своими западными учителями, и, к несчастию, еще рабствует охотно, потому что для его гордости отраднее поклоняться жизни, которую оно захотело (хотя и неудачно) к себе привить, чем смириться, хоть на время, перед тою жизнию, с которою оно захотело (и, к несчастию, слишком удачно) разорвать все свои связи.

Признав некоторое развитие способностей аналитических в нашем так называемом просвещенном обществе, по-видимому, допустил я и возможность неограниченного наукообразного развития, ибо анализ составляет всю сущность науки; но действительно такой вывод был бы ложным. В успехах науки строгий и всеразлагающий анализ постоянно сопровождается творческою силою синтеза, тем ясновидящим гаданием, которое в людях, одаренных гением, далеко опережает медленную поверку опыта и анализа, предчувствуя и предсказывая будущие выводы и всю полноту и величие еще несозданной науки. Это явление есть явление жизненное; оно заметно в Кеплерах, в Ньютонах, в Лейбницах, в Кювье и в других им подобных подвижниках мысли; но оно невозможно там, где жизнь иссякла или заглохла. Сверх того, самая способность аналитическая разделяется на многие степени, и высшие из них доступны только тому человеку или тому обществу, которые чувствуют в себе богатство жизни, не боящейся анализа и его всеразлагающей силы. У них, и только у них, наука имеет истинную и внутреннюю свободу, необходимую для ее развития и процветания. У нас анализ возможен, но только в своих низших степенях. При нашей ученической зависимости от западного мира мы только и можем позволить себе поверхностную поверку его частных выводов и никогда не можем осмелиться подвергнуть строгому допросу общие начала или основы его систем. Я уже сказал это в отношении к философии, к политической экономии и к статистике, показал подробнее в отношении к праву и мог бы показать еще с большею подробностию в отношении к наукам историческим, которые, по общему мнению, особенно процветают в наш век, но которые действительно находятся в состоянии жалкого бессилия и едва заслуживают имя науки.

Грубый партикуляризм[4] или изложение происшествий в их случайном сцеплении, без всякой внутренней связи — такова общая система истории в том виде, в котором она до сих пор является на Западе. Бóльшее или меньшее остроумие пи-

сателя, более или менее художественный рассказ, бóльшая или меньшая верность с подлинными документами, бóльшая или меньшая тонкость или удача в частных догадках — составляют единственное различие между современными историческими произведениями; система же остается все та же у Ранке, как у Галлама, у Гфререра так же, как у Неандера, у Тьери и Шлоссера так же, как у Тьера в его занимательной, но мелкой и близорукой истории великих происшествий недавно минувшего времени[5]. Были на Западе попытки выйти из этого тесного круга и возвысить историю до степени истинной науки; иные попытки были в смысле религиозном, иные в смысле философском; но все эти попытки, несмотря на бóльшее или меньшее достоинство писателей (напр<имер>, Боссюэта и Лео), остались безуспешными. Яснее других понял жалкое состояние исторических наук последний из великих философов Германии, человек, который сокрушил все здание западной философии, положив на него последний камень,— Гегель. Он старался создать историю, соответствующую требованиям человеческого разума, и создал систематический призрак, в котором строгая логическая последовательность или мнимая необходимость служит только маскою, за которою прячется неограниченный произвол ученого систематика. Он просто понял историю наизворот, приняв современность или результат вообще за существенное и необходимое, к которому необходимо стремилось прошедшее; между тем как современное или результат могут быть поняты разумно только тогда, когда они являются как вывод из данных, предшествовавших им в порядке времени[6]. Его система историческая, основанная на каком-то мистическом понятии о собирательном духе собирательного человечества, не могла быть принята: она была осыпана похвалами и отчасти заслуживала их не только по остроумию частных выводов, но и по глубоким требованиям, высказанным Гегелем в этой части науки, как и во всех других; но она осталась без плодов по той простой причине, что она действительно бесплодна и смешна; она идет подряд к его математическим системам (см. рассуждение об узловых линиях в отделении логики, о количестве), по которым формула факта признается за его причину и по которым земля кружится около солнца не вследствие борьбы противоположных сил, а вследствие формулы элипсиса (из чего следует заключить, что ядро и бомба летят не вследствие порохового взрыва, а вследствие формулы параболоида)[7]. Историческая система Гегеля так же неразумна, как и его математические умозрения, но она бесконечно важна, по-

тому что доказывает, как глубоко этот великий ум понимал ничтожность современной исторической науки. Впрочем, в математике, как и в истории, заметен у Гегеля тот коренной недостаток, который лежит в самой основе его логики, именно более или менее сознательное смешение того, чтó в логическом порядке есть следствие, с тем, чтó ему предшествует, как причина или исходный момент. Так, напр<имер>, незамеченное присутствие идеи существа (Daseyn), момента очевидно выводного, обращает в ничто первоначальное бытие (Seyn), и из этой ошибки развивается вся логика Гегеля[8]. После неудачи великого мыслителя прежний партикуляризм остался опять единственною системою.

Положение наше в отношении к истории было особенно выгодно. Воззрение историка на прошедшую судьбу и жизнь человечества зависит по необходимости от самой жизни народа или общества народов, которому он принадлежит; по этому самому некоторая односторонность в понятиях и суждениях исторических неизбежна, как следствие односторонности, принадлежащей всякому народу или всякому обществу народов. Сделанное одним пополняется и усовершенствуется другими народами по мере их вступления на поприще деятельности в науках и просвещении. Это пополнение трудов наших европейских братий было нашим делом и нашею обязанностию. К тому же самая история Запада, едва ли не важнейшая часть всемирной истории, невозможная для западных писателей (ибо в их крови, несознательно для них самих, живут и кипят страсти, пороки, предрассудки и ошибки предшествовавших им поколений), была возможна только для нас; но и в этом деле, несмотря на все выгоды своего положения, несмотря на явную потребность в самой науке,— сделали ли мы хоть один шаг? От нас нельзя ожидать, чтобы мы могли значительно обогатить науку специальными открытиями, увеличением и очищением материалов или усовершенствованием прагматизма[9]: число истинно ученых людей и тружеников, посвящающих жизнь свою наукам, у нас так ограниченно или, лучше сказать, так ничтожно, что весь итог их частных трудов не может почти ничего прибавить к трудам бесчисленных специалистов Запада. Но нам возможны, и возможнее даже, чем западным писателям (по крайней мере, по части исторических наук), обобщение вопросов, выводы из частных исследований и живое понимание минувших событий. Между тем в этом деле, кажется, нам похвалиться нечем. Подвинули ли мы или попытались ли подвинуть историю из прежнего бессмысленного партикуляризма и постигнуть смысл ее вели-

ких явлений? Я не скажу, разрешили ли мы, но подняли ли хоть один из тех вопросов, которыми полна судьба человечества? Догадались ли мы, что до сих пор история не представляет ничего, кроме хаоса происшествий, связанных кое-как на живую нитку непонятною случайностью? Поняли ли мы или хоть намекнули, что́ такое народ — единственный и постоянный действователь истории? Догадались ли мы, что каждый народ представляет такое же живое лицо, как и каждый человек, и что внутренняя его жизнь есть не что иное, как развитие какого-нибудь нравственного или умственного начала, осуществляемого обществом, такого начала, которое определяет судьбу государств, возвышая и укрепляя их присущею в нем истиною или убивая присущею в нем ложью? Стоит только взглянуть на все наши исторические труды, несмотря на достоинство многих, чтобы убедиться в противном. Самые важные явления в жизни человечества и великих народов, управлявших его судьбами, остались незамеченными. Так, напр<имер>, критика историческая не заметила, что при переходе просвещения с Востока на Запад не все было чистым барышом и что, несмотря на великие усовершенствования в художестве, в науке и в народном быте, многое утратилось или обмелело в мыслях и познаниях человеческих, особенно при переходе из Эллады в Рим и от Рима к романизированным племенам Запада. Так, не обратили еще внимания на разноначальность просвещения в древней Элладе. Так, при всех глубоких и остроумных исследованиях и догадках Нибура, первая история Рима не получила еще никакого живого содержания, и никто не заметил этого недостатка, может быть за исключением профессора Крюкова[10], слишком рано умершего для друзей своих, для Московского университета и для наук. Так, в истории позднейшего Рима непонято разделение ее на эпоху цесарей и императоров, разделение по-видимому случайное, но глубоко истинное, ибо оно основано на освобождении провинций от столицы. Так, разделение империи на две половины, уже появляющееся в Дуумвирате (мнимом Триумвирате) после первого кесаря[11], потом яснее выразившееся после Диоклетиана и при преемниках Константина и оставившее неизгладимые черты в духовной истории человечества отделением Востока от Запада[12], является постоянно делом грубой случайности, между тем как, очевидно, оно происходило от древних начал (от разницы между просвещением эллинским и римским) и было неизбежным и великим их последствием. Так, история Восточной Империи, затоптанная в грязь гордым презрением Запада, не по-

лучила еще должного признания в земле, которой вся духовная жизнь ведет начало свое от византийских проповедников. Так, не умели или не осмелились мы сказать, что должны же были быть скрытые семена силы и величия в том государстве, которое выдержало победоносно первый напор всех народов (за исключением франков и бургундцев), уничтоживших так быстро существование Западно-Римской империи, которое потом отбилось от второго, не менее сильного нападения аваров, болгар и всего разлива славянского[13]; которое, будучи затоплено и почти покорено славянскими дружинами, нашло в себе и в своем духе столько энергии, что могло усвоить, принять в свои недра и эллинизировать своих победителей; которое боролось не без славы и часто не без успеха со всею громадною силою молодого ислама и билось в продолжение нескольких веков, так сказать, против когтей и пасти чудовища, уничтожившего одним ударом хвоста германское царство вест-готов[14] и едва не сокрушившего всю силу Запада на полях пуатьерских[15]; которое, наконец, пережило в продолжение почти целого тысячелетия своего западного брата, несмотря на несравненно бóльшие опасности, на длинные, слабые и беззащитные границы и на внутреннее разногласие между началами частного просвещения и основами общественного устройства[16]. Так, не понято переселение народов германских, которое было не что иное, как следствие освобождения восточноевропейских, т. е. славянских, племен от насильственной германской аристократии[17]. Так, в истории Западной Европы не замечены нравственные двигатели и физиономия народов, определявшие его судьбу, именно: характер франков, уже развращенных до костей и мозга влиянием Рима еще прежде завоевания Галлии дружинами франков поморских (меровингами)[18], и арианство[19], которого борьба с соборным исповеданием определила всю политическую и духовную историю Запада. Так, в позднейшую эпоху не замечена прямая историческая связь между протестантством, его распространением и областями, в которых оно утвердилось, с теми насильственными путями, по которым христианство распространялось в народах германских, и с тем видом римской односторонности, с которым оно к ним явилось первоначально[20]. Не было бы конца исчислению тех вопросов, которые призывают наше внимание и требуют от нас разрешения,— ибо все поле истории ждет переработки; а мы еще ничего не сделали, подвигаясь раболепно в колеях, уже прорезанных Западом, и не замечая его односторонности. Все наши труды, из которых, конечно, многие заслуживают уважения,

представляют только количественное или, так сказать, географическое прибавление к трудам западных ученых, не прибавляя ничего ни к стройности истории, ни к внутреннему ее содержанию. Один Карамзин, по бесконечному значению своему для жизни русской и по величию памятника, им воздвигнутого, может казаться исключением[21]. Я говорю не об огромном сборе материалов, им разобранных, и не о добросовестном их сличении (это дело прекрасное, но дело терпения, которому доставлены были все вспомогательные средства), я говорю о том духе жизни, который веет над всеми его сказаниями — в нем видна Россия. Но она видна не в рассказе событий, в котором преобладает характер бессвязного партикуляризма, всегда обращающего внимание только на личности, и не в суждениях, часто односторонних,— всегда проникнутых ложною системою,— а видна в нем самом, в живом и красноречивом рассказчике, в котором так постоянно и так пламенно бьется русское сердце, кипит русская кровь и чувство русской духовной силы, и силы вещественной, которое в народах есть следствие духовной. За исключением его великого материального труда, Карамзин еще более принадлежит искусству, чем науке, и это не унижает его достоинства: нелепо бы было требовать всего от одного деятеля. Из современных ученых некоторые поняли подвиг, к которому русское просвещение призвано в истории; они готовят будущие труды своих преемников, освобождая мало-помалу науку из тесных пределов, в которые она до сих пор заключена невольною односторонностию народов, предшествовавших нам в знании, и добровольною односторонностию нашей подражательности; но этих поборников внутренней самодеятельности в науке немного, и им предстоит нелегкая борьба.

Тяжело налегло на нас просвещение или, лучше сказать, знание (ибо просвещение имеет высшее значение), которое приняли мы извне. Много подавлено под ним (разумеется, подавлено на время) семян истинного просвещения, добра и жизни. Это выражается всего яснее скудостию и бесхарактерностию искусства в таком народе, который дал столько прекрасных задатков искусству еще в те эпохи, когда бурная жизнь общества, вечно потрясаемого иноземною грозою, не позволяла полного и самобытного развития. Бесспорно, наш век не есть век художества. Художник (я говорю о художнике слова так же, как о художнике формы и звука) занимает весьма низкую ступень в современном движении общественной мысли. Истинная в своем начале, ложная в своем приложении, односторонне высказанная и дурно понятая сис-

тема германских критиков о свободе искусства приносит довольно жалкие плоды. Рабство перед авторитетами и перед условными формами красоты заменилось другим рабством. Художник обратился в актера художеств. Нищий-лицедей, он стоит перед публикой-миллионом и требует от него задачи или старается угадать его современную прихоть. «Прикажи,— я буду индейцем, или древнем греком, или византийцем[-христианином]! Прикажи,— я напишу тебе сонмы ангелов, являющиеся в облаках глазам созерцателя-пустынника, или Зевса и Геру на вершинах Иды, или землетрясение, или Баварию в венце небывалых торжеств! Потребуй,— я спою славу твоего величия и скажу, что ты преславная земля, всемирный великан, у которой один глаз во лбу — Париж[22]; или пропою песнь христианского смирения, или сочиню роман, чтобы воспользоваться внезапным страхом, напавшим на тебя — как бы иезуиты не украли у тебя всех денег из кармана. Я на все готов!» И миллион-вдохновитель приказывает, и художник-актер ломается более или менее удачно в заданной ему роли, и миллион хлопает в ладоши, принимая это за художество. Немецкие критики были правы, проповедуя свободу искусства; но они не вполне поняли, а ученики их поняли еще меньше, что свобода есть качество чисто отрицательное, не дающее само по себе никакого содержания, и художники современные, дав полную волю своей безразборчивой любви ко всем возможным формам прекрасного, доказали только то, что в душе их нет никакого внутреннего содержания, которое стремилось бы выразиться в самобытных образах и могло бы их создать. Я уже это и прежде говорил, и, кажется, ты соглашался со мною. Но явления западного мира не должны бы были еще относиться к нам. Народ народу не пример. Когда на всем Западе (за исключением Англии) замерло искусство, тогда оно восстало в полном блеске в Германии. Если перекипевшая жизнь западного мира оставила ему внутреннюю скудость скептического анализа и холод сердца, много надеявшегося и обманутого в своих надеждах, какое бы, казалось, дело нам до того? Наша жизнь не перекипела, и наши духовные силы еще бодры и свежи. Действительно, единственное высокое современное художественное явление (в художестве слова)[23] принадлежит нам. Этою радостию подарила нас Малороссия, менее Средней России принявшая в себя наплыв чужеземных начал. Между тем как Западная (Белая) Россия сокрушена была ими или обессилела, по-видимому, надолго, как Малороссия мало ими потрясена в своей внутренней жизни,— собственно Средней, или Великой, Руси предстоит борьба с

иноземным просвещением и с его рабскою подражательностию. Приняв в себя познания во всей их полноте, она должна достигнуть и достигнет самобытности в мысли. К счастию, время не ушло, и не только борьба возможна, но и победа несомненна. Впрочем, такие переходные эпохи не совсем благоприятны для искусств.

Оценка нашего просвещения, мною теперь выказываемая, сделана уже весьма многими и ясна для всех, хотя, может быть, еще не все отдали себе ясный отчет в ней. Такое внутреннее сознание необходимо должно сопровождаться невольным смирением; и смирение в таком случае есть дань истине и лучшим побуждениям разума человеческого. Поэтому, как бы ни притворялись мы (т. е. наша наука и общество, которое ее в себя воплотило), какую бы личину ни надевали, мы действительно ставим западный мир гораздо выше себя и признаем его несравненное превосходство. Во многих это сознание является откровенно и заслуживает уважения; ибо современники не виноваты в наследственном отчуждении своем от жизни народной и от высоких начал, которые она в себе содержала и содержит; а благоговение перед высоким развитием просвещения, хотя неполного и болезненного на Западе, и перед жизнию, из которой оно возникло, свидетельствует о высоких стремлениях и требованиях души. В других то же самое чувство прячется от поверхностного наблюдения под каким-то видом самодовольства и даже хвастливости народной; но это самодовольство и хвастливость унизительны. В них видны признаки самовольного обмана или внутреннего огрубения. Люди, оторванные от жизни народной и, следовательно, от истинного просвещения, лишенные всякого прошедшего, бедные наукою, не признающие тех великих духовных начал, которые скрывает в себе жизнь России и которые время и история должны вызвать наружу, не имеют разумных прав на самохвальство и на гордость перед тем миром, из которого почерпали они свою умственную жизнь, хоть неполную, хоть и скудную.

Раболепные подражатели в жизни, вечные школьники в мысли, они в своей гордости, основанной на вещественном величии России, напоминают только гордость школьника-барчонка перед бедным учителем. Слова их изобличаются во лжи всею их жизнию. Зато это раболепство перед иноземными народами явно не только для русского народа, но и для наблюдателей иностранных. Они видят наш разрыв с прошедшею жизнию и говорят о нем часто, русские с тяжким упреком, а иностранцы с насмешливым состраданием. Так,

напр<имер>, ты сам знаешь, что остроумный француз говорил: «Vous autres Russes, vous me paraissez un singulier peuple. Enfans de noble race, vous-vous amusez à jouer le rôle d'enfans trouvès»*.

Это колкое замечание очень справедливо. Оно в немногих словах выражает факт, который беспрестанно является нам в разных видах и влечет за собою неисчислимые последствия. Часто видим людей русских и, разумеется, принадлежащих к высшему образованию, которые без всякой необходимости оставляют Россию и делаются постоянными жителями чужих краев. Правда, таких выходцев осуждают, и осуждают даже очень строго. Мне кажется, они заслуживают более сожаления, чем осуждения: отечества человек не бросит без необходимости и не изменит ему без сильной страсти; но никакая страсть не движет нашими равнодушными выходцами. Можно сказать, что они не бросают отечества или, лучше, что у них никогда отечества не было. Ведь отечество находится не в географии. Это не та земля, на которой мы живем и родились и которая в ландкартах обводится зеленой или желтой краскою. Отечество также не условная вещь. Это не та земля, к которой я приписан, даже не та, которою я пользуюсь и которая мне давала с детства такие-то или такие-то права и такие-то или такие-то привилегии. Это та страна и тот народ, создавший страну, с которыми срослась вся моя жизнь, все мое духовное существование, вся целость моей человеческой деятельности. Это тот народ, с которым я связан всеми жилами сердца и от которого оторваться не могу, чтобы сердце не изошло кровью и не высохло. Тот, кто бросает отечество в безумии страсти, виновен перед нравственным судом, как всякий преступник, пожертвовавший какою бы то ни было святынею вспышке требования эгоистического. Но разрыв с жизнию, разрыв с прошедшим и раздор с современным лишают нас большей части отечества; и люди, в которых с особенною силою выражается это отчуждение, заслуживают еще более сожаления, чем порицания. Они жалки, как всякий человек, не имеющий отечества, жалки, как жид или цыган, или еще жалче, потому что жид еще находит отечество в исключительности своей религии, а цыган в исключительности своего племени. Они жертвы ложного развития.

За всем тем, несмотря на наше явное или худо скрытое

* Странный вы народ русские. Вы потомки великого исторического рода, а разыгрываете добровольно роль безродных найденышей *(франц.)*.— *Ред.*

смирение перед Западом, несмотря на сознаваемую нами скудость нашего существования, образованность наша имеет и свою гордость, гордость резкую, неприязненную и вполне убежденную в своих разумных правах. Эту гордость бережет она для домашнего обихода, для сношений с жизнию, от которой оторвалась. Тут она является представительницею иного, высшего мира, тут она смела и самоуверенна, тут гордость ее получает особый характер. Как гордость рода опирается на воспоминание о том, что «предки наши Рим спасли»[24], так эта гордость опирается на всех, более или менее справедливых, правах Запада.

«Правда, мы ничего не выдумали, не изобрели и не создали; зато чего не изобрели и не создали наши учители, наши, так сказать, братья по мысли на Западе?» Образованность наша забывает только одно, именно то, что это братство не существует. Там, на Западе, образованность — плод жизни, и она жива; у нас она заносная, не выработанная и не заслуженная трудом мысли, и мертва. Жизнь уже потому, что жива, имеет право на уважение, а жизнь создала нашу Россию.

Впрочем, это соперничество между историческою жизнию, с одной стороны, и прививною образованностию — с другой, было неизбежно. Такие два начала не могли существовать в одной и той же земле и оставаться друг к другу равнодушными: каждое должно было стараться побороть или переделать стихию, ему противоположную. [В этой неизбежной борьбе выгода была на стороне образованности.] От жизни оторвались все ее высшие представители, весь круг, в котором замыкается и сосредоточивается все внутреннее движение общественного тела, в котором выражается его самосознание. Разрозненная жизнь ослабла и сопротивлялась напору ложной образованности только громадою своей неподвижной силы. Гордая образованность, сама по себе ничтожная и бессильная, но вечно черпающая из живых источников западной жизни и мысли, вела борьбу неутомимо и сознательно, губя мало-помалу лучшие начала жизни и считая свои гибельные успехи истинным благодеянием, веря своей непогрешимости и пренебрегая жизнию, которой не знает и знать не хочет. Между тем общество продолжало во многих отношениях, по-видимому, преуспевать и крепнуть. Но даже и эти явления, чисто внешние, нисколько не исцеляющие внутреннего духовного раздора и его разрушительной болезни, происходили от сокрытых и уцелевших внутренних сил жизни, не подвергнувшихся или не вполне подвергнувшихся разрушительному действию

чужеземного наплыва. Ты сам помнишь того старого барина, который, отслужив свою очередь, переехал к нам с Севера в Москву. Он прожил лет двенадцать под московскими колоколами и полюбил душою все то, чего прежде не понимал. Помнишь ты и то, как приехал к нему сынок проситься за границу и как часто у них происходили споры обо всем русском и нерусском в России. Раз случилось, что сын сказал ему: «Разве не нашему просвещенному времени принадлежит слава побед и самое имя великого Суворова?» Старик обратился к осьмидесятилетнему отставному майору, давно уже отпустившему седую бороду, и спросил с улыбкою: «Что, Трофим Михайлович, похожи были Суворов и его набожные солдатики на моего Мишеля и его приятелей?» Разговор кончился общим смехом и долгим, басистым хохотом седого майора, которому эта мысль показалась нестерпимо смешною. Молодой денди сконфузился. Точно такого же рода вопрос и с таким же ответом мог бы быть приложен и ко всему великому, совершенному нами, если бы мы только умели глядеть в глубь происшествий, а не останавливали бы своего наблюдения на самой их верхушке. Но эти простые истины ясны для некнижного ума и недоступны для нашего просвещения. Перенесенное как готовый плод, как вещь, как формула из чужой стороны, оно не понимает ни жизни, из которой оно возникло, ни своей зависимости от нее; оно вообще ни с какою жизнию и ни с чем живым существовать не может. Ему доступны только одни результаты, в которых скрывается и исчезает все предшествовавшее им жизненное движение. Так, вообще весь Запад представляется ему в своем устройстве общественном и в своем художественном или ученом развитии, как сухая формула, которую можно перенести на какую угодно почву, исправив мелкие ошибки, разграфив по статьям и сверив статью с статьею, как простую конторскую книгу, между тем как сам Запад создан не наукою, а бурною и треволненною историею и в глазах строгого рассудка не может выдержать ни малейшей аналитической поверки. Это, конечно, говорится мною не в попрек, а в похвалу. Мелкое мерило рассудка ничтожно для проявления целости человеческой, и только то право в его глазах, что́ в жизни негодно. На Западе всякое учреждение, так же как и всякая система, содержит в себе ответ на какой-нибудь жизненный вопрос, заданный прежними веками. Борьба между племенами завоевательным и завоеванным, борьба между диким и воинственным бароном, бичом сел и их бессильных жителей, и промышленным городским бароном (т. е. фео-

дальною городскою общиною), врагом тех же бессильных жителей сельских; борьба между христианским чувством, отвергающим христианское учение, и [мнимо-]христианским учением, отвергающим христианскую жизнь; борьба между свободою мысли человеческой и насилием схоластического предания,— все это нестройное и отчасти бессмысленное прошедшее выпечаталось в настоящем, разрешаясь или находя мнимое примирение в условных и временных формах. Жизнь везде предшествовала науке, и наука бессознательно отражает то прошедшее, над которым часто смеется. Так, до нашего времени мнимая наука пра́ва, о которой я говорил в своей статье, не чувствует, что она есть не что иное, как желание обратить в самобытные и твердые начала факты, выведенные из борьбы тесной римской государственности с дикими понятиями германца о неограниченных правах личности. Так, все социалистическое и коммунистическое движение с его гордыми притязаниями на логическую последовательность есть не что иное, как жалкая попытка слабых умов, желавших найти разумные формы для бессмысленного содержания, завещанного прежними веками. Впрочем, эта попытка имеет свое относительное достоинство и свой относительный смысл в той местности, в которой она явилась; нелепо только верование в нее и возведение ее до общих человеческих начал.— Я сказал уже о бессмысленности всего спора об освобождении женщины, спора, который занимает такое важное место в новом социализме. Я сказал, что спор, который идет, по-видимому, о правах, шел действительно о взаимных обязанностях мужчины и женщины. Он, очевидно, не заслуживает места в науке, но весьма важен в отношении к жизни народов, ибо в нем отражается великий факт нравственной истории. Жорж Санд переводит в сознание и в область науки только ту мысль, которая была проявлена в жизни Нинонoю (Ninon d'Enclos)[25] и которой относительная справедливость к обществу была доказана истинным уважением общества к этой дерзко-логической женщине. Точно так же все суждения коммунистов об уничтожении брака[26] представляют, несмотря на свою действительную нелепость, совершенно верный вывод из той общественной жизни, из которой возникли. В развитии внутренней истории Запада обычай находился беспрестанно в раздоре с законами, по-видимому признаваемыми обществом; а брак, носящий лицемерно название, освященное христианством, был уже давно не что иное, как гражданское постановление, снабжающее дворянские роды более или менее законными наследниками для родовых имуществ. Таков, го-

ворю я, был приговор общества, давно уже признанный, хотя и скрываемый общественным лицемерием. Когда безусловная законность наследственного права подверглась разбору и отрицанию (также вследствие жизненного, а не наукообразного процесса), неминуемо тому же отрицанию должен был подвергнуться и брак. Наука воображала, что действует свободно, между тем как принимала определение, данное предшествовавшею жизнию, и смешивала понятия, совершенно противоположные друг другу.

Точно то же можно бы было проследить и во французских учениках социалистической школы, и в немецких перероднах школы художественно-философской, когда они толкуют о восстановлении прав тела человеческого, аки бы подавленного притязаниями духа[27]. При всем бессилии их рассуждений, при всей их логической ничтожности они представляют также факт весьма важный, именно стремление освятить приговором науки приговор, давно уже сделанный жизнию. В самой идее коммунизма проявляется односторонность, которая лежит не столько в разуме мыслителей, сколько в односторонности понятий, завещанных прежнею историею западных народов. Наука старается только дать ответ на вопрос, заданный жизнию, и ответ выходит односторонний и неудовлетворительный, потому что односторонность лежала уже в вопросе, заданном тому 13 веков назад германскою дружиною, завоевавшею римский мир. Мыслители западные вертятся в безысходном круге потому только, что идея общины им недоступна. Они не могут идти никак дальше ассоциации (дружины)[28]. Таков окончательный результат, более или менее высказанный ими и, может быть, всех яснее выраженный английским писателем, который называет теперешнее общественное состояние стадообразием (gregariousness) и смотрит на дружину (association), как на золотую, лучшую и едва достижимую цель человечества[29]. Наконец, в той науке, которая наименее (разумеется, кроме точных наук) зависит от жизни, в том народе, который наименее имеет дело с жизнию,— в философии и в немце-философе любопытно проследить явление жизненной привычки. Гегель в своей гениальной «Феноменологии» дошел до крайнего предела, которого могла только достигнуть философия по избранному ею пути: он достиг до ее самоуничтожения. Вывод был прост и ясен, заслуга бессмертна. И за всем тем его строгий логический ум не понял собственного вывода. Быть без философии! отказаться от завета стольких веков! оставить свою, т. е. новонемецкую, жизнь без всякого содержания! Это было невозможностью. Гегель в невольном

самообмане создал колоссальный призрак своей Логики, свидетельствуя о великости своего гения великостию своей ошибки.

Таковы отношения жизни к науке, таковы они в добре и зле. Нинона, завещающая библиотеку Вольтеру[30], представляет эти отношения в довольно ясном символе; но это непонятно для общества, отрешившегося от жизни.

Достояние такого общества есть тесная рассудочность, мертвая и мертвящая. Она — необходимое последствие сильных и коренных реформ или переворотов, особенно таких реформ, которые совершены быстро и насильственно. Такова причина, почему на Западе она составляет в наше время отличительную характеристику Франции, утратившей более других народов жизненное историческое свое начало. Нет сомнения, что какая-то мелкость и скудость духовной жизни была издавна принадлежностию этой земли, не имевшей никогда ни истинного художества (кроме зодчества средних веков), ни истинной поэзии; но она, очевидно, еще более обнищала, оторвавшись от прошедшего в кровавом перевороте, окончившем прошлое столетие[31]. Быть может, со временем пробьется новая жизнь во Франции из таких начал, которые до сих пор не являлись на поприще историческое и будут вызваны новым ходом всего общечеловеческого просвещения; но очевидно, что после кровавого переворота, положившего конец прежней французской монархии, Франция еще не проявила в себе тех жизненных сил, которые могли бы создать в общественных учреждениях, в искусствах или в науках новые и самобытные формы для духовной деятельности человеческой. Революция была не что иное, как голое отрицание, дающее отрицательную свободу, но не вносящее никакого нового содержания, и Франция нашего времени живет займами из богатств чужой мысли (английской или немецкой), искажая чужие системы ложным пониманием, обобщая частное в своих поверхностных и ложных приложениях, размельчая и дробя все цельное и живое и подводя все великое под мелкий уровень рассудочного формализма. Пример тому я уже показал в искажении суда присяжных, который Франция приняла, не поняв, и перевела из области живых и нравственных учреждений в сухую и мертвую коллегиальность[32]. Последствия этой перемены известны всем, кому сколько-нибудь знакома юридическая история Англии и Франции; но причина и характер самой перемены не были до сих пор, сколько мне известно, замечены. В этом состоянии просвещения и общества во Франции можно найти причину того особенного сочувствия, которое наше просвещение, несмотря на свой эклек-

тизм, оказывает к ней. Отсутствие жизни составляет связь, соединяющую их. За всем тем должно признать превосходство французского просвещения перед нашим. Во-первых, оно не совсем разорвало связь с прошедшим; во-вторых, оно имеет гораздо более характер явления всенародного и, следовательно, не сопровождается внутренним раздором, убивающим всякую возможность плодотворной деятельности. Честь полной безжизненности остается за нами.

То внутреннее сознание, которое гораздо шире логического и которое составляет личность всякого человека так же, как и всякого народа,— утрачено нами. Но и тесное логическое сознание нашей народной жизни недоступно нам по многим причинам: по нашему гордому презрению к этой жизни, по неспособности чисто рассудочной образованности понимать живые явления и даже по отсутствию данных, которые могли бы быть подвергнуты аналитическому разложению. Не говорю, чтобы этих данных не было, но они все таковы, что не могут быть поняты умом, воспитанным иноземною мыслию и закованным в иноземные системы, не имеющие ничего общего с началами нашей древней духовной жизни и нашего древнего просвещения.

Нетрудно бы найти множество примеров этой непонятливости; но я тебе упомяну только об одном, особенно разительном и важном. В недавнем времени хозяйственное зло чересполосности вызвало меры к его уничтожению[33]. Меры эти состояли только в назначении сроков и в выборе посредников. Затем все остальное предоставлено на волю самих владельцев. Ничего принудительного, ничего стесняющего, ничего формального. Всякий размен позволен, всякое печатное толкование о деле размежевания допущено; сроки довольно длинные, посредники совершенно без власти; весь вопрос и его разрешение отданы общему смыслу. Ты знаешь, точно так же как я, каковы были толки нашего просвещенного общества и какая полная была уверенность в неудаче. «Сроки? ими никто не воспользуется. Размены? их никто делать не будет, всякий заупрямится. Увещания? да, уломаешь оброчного крестьянина или мелкого помещика! Посредник? как же! послушаются его, когда он не имеет никакой власти! Посредник просто бесполезное лицо. Едва ли составится хоть одна полюбовная сказка[34]: ведь для сказки нужно общее согласие,— а возможное ли дело общее согласие? Добро бы еще большинство! Без принуждения — просто ничего не будет». Таковы были толки нашего просвещения, а каков был результат, ты сам знаешь. Смело можно сказать, что он впол-

не оправдал избранный путь и что успех превзошел самые смелые ожидания даже тех людей, которые знают и верят в разум русской жизни. Нет сомнения, что успех был бы еще полнее, если бы не встретилось чисто вещественное затруднение в недостаточном числе землемеров и в недостатке прежних планов, которые или утрачены, или зарыты в грудах других бумаг. Но каков он есть, он уже представляет одно из важнейших явлений в нашем хозяйственном быте и одно из отраднейших явлений нашего нравственного быта. Побеждены были такие затруднения, которых, казалось, и устранить нельзя. Положены были сказки с общего согласия, и размежеваны дачи[35], в которых было около ста дачников; переселены целые деревни; придуманы самые неожиданные сделки, и значительные, хотя действительно временные, денежные пожертвования сделаны владельцами-помещиками и едва ли еще не чаще крестьянами. Но важнее денежных пожертвований было то, что во многих и многих случаях самолюбие и привычки были принесены в жертву общей пользе. В иных местах за основание раздела принято владение, в других крепости[36], в других показания стариков и память о старине. Но везде сохранена справедливость, не только та мертвая справедливость, которую оправдывает законник-формалист, но та живая правда, с которою согласуется и которой покоряется человеческая совесть. И заметь, что успехи пошли гораздо быстрее с назначения посредника, этого безвластного и, по прежнему мнению, незначительного лица. Я называю такое явление одним из самых утешительных и поучительных в нашем нравственном быте. Просвещение наше, если бы хотело что-нибудь узнать, узнало бы по нем много: оно могло бы понять сколько-нибудь русский дух и его покорность перед нравственными началами. Назначение посредника и его успех есть только повторение многих исконных фактов русской юридической жизни. Самое безвластие посредника заключает в себе великую власть; оно оставляет при нем одно только значение бесстрастной справедливости и примиряющего доброжелательства. Просвещенная критика должна бы узнать в посредниках и успехе их действия те же самые чувства и те же начала, которые в старину создали суд третями, т. е. лицами, представляющими истца и ответчика, отрешенных от слепоты своекорыстных страстей,— и суд поро́тниками[37] или целовальниками[38] или присяжными, перешедший в Англию и сохранившийся в английском суде присяжными. Везде проявляется та же высоконравственная покорность перед бесстрастным разумом, та же

прекрасная вера в совесть и в достоинство человеческое. Трудно и едва ли возможно найти начало более благородное и плодотворное. В нем наука могла бы и должна узнать завет глубокой древности и общества, связанного еще узами истинного братства, а не условного договора; в нем же могла бы она узнать и различие двух понятий о законности формальной и о законности духовной, или истинной. Такие познания необходимы не только для современной нашей жизни, но и для уразумения нашей жизни прошедшей или великих фактов нашей истории. Им только могла бы уясниться вся бурная эпоха, разделяющая кончину последнего из преемников Рюрика и первого из царственного рода Романовых.

Недавно в одном из наших журналов была напечатана критика на пушкинского «Годунова» и на ложные понятия об истории Годунова, переданные Карамзиным Пушкину. Можно согласиться со многими положениями и догадками критика, оставляя в стороне его промахи по части художественной (напр<имер>, смешное название мелодраматического героя, данное пушкинскому Годунову, в котором очевидно преобладает эпическое начало)[39]; можно согласиться, что в Годунове не было собственно так называемой гениальности и что если бы он был одарен большею силою духа и сумел увлечь Россию в новые пути деятельности и жизни, не та бы была судьба его самого и его несчастных детей. Это замечание не без достоинства, но оно далеко не исчерпывает предмета. Нет народа, который бы требовал постоянной гениальности в своих правителях; и в сыне Феодора Никитича Романова, умирителе треволненной России, незабвенном Михаиле Феодоровиче, возведенном на престол путем избрания, так же как Годунов, трудно найти признаки гениальности, в которой отказывают царю Борису. Разница между отношениями народа к первому и ко второму избраннику (ибо Шуйского, как незаконно избранного, должно исключить) происходила от чисто нравственных начал, понятных только в нашей истории и совершенно чуждых западному миру. Это была разница между законностию формальною и законностию истинною. Россия видела в Годунове человека, который втерся в ее выбор, отстранив всякую возможность другого выбора: тут была законность внешняя — призрак законности. В Михаиле видела она человека, которого избрала сама, с полным сознанием и волею, и которому добродушно и разумно поверила судьбу свою, так же как тем самым избранием поверила судьбу своего потомства его роду: тут

была законность внутренняя и истинная. Это чувство отражается бессознательно и в Карамзине, и в отзывах его об Годунове. В нем беспрестанно невольно выражается какое-то негодование на плутню Годунова, если можно употребить такое выражение о таком великом историческом происшествии. И выражения этого негодования были даже часто предметом критики[40], по-видимому справедливой; но и тут, как и везде, Карамзин историк, художник сохраняет свое достоинство. В нем Россия выражается бессознательно: и он, как самый народ, хотел бы, да не может любить Годунова; и он, как народ, искал и не находил законности истинной в формальном призраке законности. Это чувство принадлежит собственно России, как общине живой и органической; оно не принадлежит и не могло принадлежать условным и случайным обществам Запада, лежащим на беззаконной основе завоевания.

В этом отношении можно бы исключить Англию из остального Запада, но это исключение было бы понятно только при истории Англии, взятой с совершенно новой точки зрения. Я прибавлю только, что, в сравнении с другими землями Европы, Англия есть по преимуществу земля живая. Когда я сказал в моей статье, что она сильна не учреждениями своими, но несмотря на учреждения свои[41],— я подвергся нападениям моих читателей. Д'Израэли, которого я тогда еще не читал, сказал точно то же и еще сильнее: «English manners save England from English laws»*. И англичане поняли всю справедливость этих слов. Но такое воззрение не может быть доступным нашему просвещению. Его односторонней рассудочности доступен только формализм во всех отраслях человеческой деятельности — будь это в науке, или обществе, или художестве.

При разрыве между самобытною нашею жизнию и привозною наукою эти два начала, как я сказал, не могли оставаться совершенно чуждыми друг другу: между ними происходила постоянная борьба. Жизнь сопротивлялась влиянию иноземного, или, так сказать, колониального, начала только своею неподвижностию; прямого же влияния на него не имела, разве только тем, что мешала ему теснее сродниться и слиться окончательно с какою-нибудь из западных народностей. Просвещение же действовало постоянно, признавая жизнь или, лучше сказать, состав народный за грубый материал, подле-

* Английские обычаи спасают Англию от английских законов *(англ.)*.— *Ред.*

жащий обработке для того, чтобы вышло из него что-нибудь разумное. Оно действительно не признавало России существующею, а только имеющею существовать. Вся эта громада, которая уже так много имела и будет всегда так много иметь влияния на судьбу человечества, являлась ему каким-то случайным скоплением человеческих единиц, связанных или сбитых в одно целое внешними и случайными действователями; жизни же внутренней и сильной, разумной и духовной, создавшей ее, оно как будто бы и не предполагало; а когда и предполагало, то принимало за какое-то хаотическое брожение, которому изрекало приговор в слове презрения или насмешки. Разумеется, эти понятия, эти приговоры никогда не облекались в определенный образ и, так сказать, в формальные решения. Их должно искать в общем ходе образованности и в каждой ее подробности. Случайно и бессознательно вырвавшиеся слова часто яснее выказывают мысль, чем обдуманный и обсуженный приговор; в них всегда менее лицемерия, более искреннего чувства и часто более общего мнения, чем личного. А такими словами наполнена вся наша словесность, от «Земледельческой газеты», которая частехонько представляет русского крестьянина каким-то бессмысленным и почти бессловесным [животным][42], до изящнейших выражений нашего общества, которое великодушно допускает в русском человеке ум, понятливость, смышленость и некоторое добродушие, впрочем без всяких убеждений и разумных начал, т. е. порядочные материалы для будущего человека, а все-таки еще не человека. Такими же словами богат наш общественный разговор, от беседы мелкого чиновника, питающего глубочайшее презрение к бородачу, до тех недосягаемых кругов и салонов, в которых патриотическая любовь снисходительно собирается приготовить для души того же бородача духовное и умственное содержание, которого она еще до сих пор лишена, а для его жизни вещественное благополучие по новейшим иностранным образцам. Это не частные ошибки, это мнение общее, более или менее ясно выговаривающееся; но если бы принимать это и за частные ошибки, то должно помнить, что есть заблуждения частные, которые возможны только при известном заблуждении общества. Таков, напр<имер>, презрительный отзыв одного из наших журналов об русской сказке и песне; в нем утверждали, что Пушкин в своей балладе и в сказочных отрывках исчерпал все богатство нашей народной поэзии, а Лермонтов в прекрасной сказке об опричнике и купеческом сыне далеко перешел за ее пределы[43], между тем как ни тот, ни другой,

кажется, даже не поняли вполне ни ее неисчерпаемых богатств, ни даже ее неподражаемого языка. Действительно, ее почти бесконечная область обозначается с одной стороны чудными стихами:

Высота ль, высота ль поднебесная;
Глубота ль, глубота ль Окиян-море;
Широко раздолье по всей земле![44] —

стихами, полными несокрушимой силы, в которые облеклась душа великого народа, призванного на беспримерные судьбы,— а с другой — стихами:

Высота ль, высота ль потолочная[45],

в которых та же сила вспоминает с добродушною ирониею о своем прежнем молодом разгуле, не скорбя, потому что чувствует себя целою и несокрушимою и знает, что она только призвана ходом исторических судеб на другое, более смиренное поприще.

Ты скажешь, что ошибка критика зависела от его личной ограниченности или безвкусия; что он мог, как лицо, не понять всего величия нашего песенного мира, в котором отражается и величие русского народа, и смиренное добродушие русского человека, и вся внутренняя жизнь того мирового явления, которое мы называем Россией; что он мог не понять Ильи Муромца, идеала гигантской силы, всегда покорной разуму и нравственному закону, идеала, конечно, неполного, но которому ни одна народная поэзия не представляет равного; точно так же как он не понял слов сказки об Алеше Поповиче, притворившемся калекою: «Еле жив идет», и принял за выражение трусости живой оборот, который был бы понятен крестьянскому десятилетнему мальчику[46]. Ты скажешь, что всего этого мог он не понять по личной своей недогадливости и что общее мнение не должно отвечать за ошибки журнального критика. Мне до лица дела нет; но я думаю, ты согласишься, любезный друг, что такого рода ошибки об английских или немецких песнях были бы невозможны в Германии и в Англии; что там никто бы не осмелился отозваться таким образом о балладах Чеви-Чес[47] (Chevy-Chase), или сражении при Оттербурне[48] (Otterburne-battle), или о Нибелунгах[49] и сказках о Дитрихе Бернском[50], несмотря на то, что они далеко уступают нашей русской сказке и песне; ты признаешься, что есть какое-то глубокое почтение или, лучше сказать, благоговение перед голосом народной старины, которое в Англии и Германии обязательно для всякого писа-

теля и охраняет его от его собственной ограниченности. И вот почему такие ошибки или, лучше сказать, возможность таких ошибок представляет явную улику против нашего просвещения. Впрочем, не для чего доказывать слишком явную истину.

Естественным и необходимым последствием таких понятий и такого презрения к жизни было то, что наука и общество могли без всяких упреков совести, без всякого внутреннего сомнения беспрестанно стремиться к ее преобразованию. Попытки казались безопасными, потому что хаоса не испортишь, и стремление было благодетельно, ибо все наше просвещение отправлялось от глубокого убеждения в своем превосходстве и в нравственной ничтожности той человеческой массы, на которую оно хотело действовать. Высокие явления ее нравственной жизни были почти неизвестны и нисколько не оценены. Всякий член общества думал так же, как изящный повествователь нашего времени, что любая девочка из любого общественного заведения может и должна произвести духовный переворот во всякой общине русских дикарей[51]. Никому и в голову не приходило, что из этих общин чуть-чуть не австралийцев, еще не слыхавших о христианском законе, выходили и выходят беспрестанно Паисии, Серафимы и множество других духовных делателей, которых нравственная высота должна изумлять даже тех, кто не сочувствует их стремлениям; что из этих общин льются потоки благодеяний, что из них являются беспрестанно высокие примеры самопожертвования, что в тяжелые годины военного испытания они спасали Россию не только своим мужеством, но и разумным согласием, а в мирные времена отличаются везде, где еще не испорчены, неподражаемою мудростию и глубоким смыслом своих внутренних учреждений и обычаев. Этому можно бы научиться из истории, из наблюдения даже поверхностного или хоть из немца Блазиуса; но надобно хотеть учиться.

До сих пор все попытки, сделанные просвещением для преобразования жизни, остались безуспешными. Хорошо бы было, если бы можно было сказать — и безвредными; но этого сказать нельзя. Эти неудачи и частный вред, сопровождавший их, можно было предвидеть. Упорство жизни проистекало от разумного, хотя и несознанного, источника. Она не могла отдать себе отчета в своем чувстве,— но чувствовала в образованности нашей и в соприкосновении с нею что-то холодное и мертвенькое, а отвращение всего живого к мертвому есть закон природы вещественной и умственной.

Мнимая деятельность или мнимая движимость этой обра-

зованности не была не только тем благородным и могучим стремлением, в котором проявляется энергия духа, познавшего свое величие и порывающегося (иногда даже ошибочными путями) к предназначенной ему цели, но она не была даже тем бодрым и самобытным движением, которым всякое божие создание выражает свою внутреннюю, жизненную силу; нет: она в областях умственного мира была тем невольным движением, тою сыпучестью, которое сообщается ветром воде или степному песку; а ветром было для нее дуновенье западной мысли. Наше просвещение мечтало о воспитании других тогда, когда оно само, лишенное всякого внутреннего убеждения, меняло и меняет беспрестанно свое собственное воспитание и когда едва ли не всякое десятилетие могло бы благодарить бога, что десятилетию протекшему не удалось никого воспитать. Так люди, которым теперь лет около пятидесяти и которые по впечатлениям, принятым в молодости, принадлежат к школе немецко-мистических гуманистов[52], смотрят с улыбкою презрения на уцелевших семидесятилетников энциклопедической школы[53], которой жалкие остатки встречаются еще неожиданно не только в глуши деревень, но и в лучших обществах, как гниющие памятники недавней старины. Так тридцатилетние социалисты... Впрочем, продолжать нечего, общество само себя может исповедовать. Грустно только видеть, что эта шаткость и это бессилие убеждений сопровождаются величайшею самоуверенностию, которая всегда готова брать на себя изготовление умственной пищи для народа. Это жалко и смешно, да, к счастью, оно же и мертво и по тому самому не прививается к жизни. За всем тем не все проходит без вреда, кое-что и остается. Кое-где ветер нагонит воду или песок на какой-нибудь уголок доброй земли, когда-то плодотворной и богатой собственною растительностию, и затопит или засушит его надолго, если не навсегда.

Я сказал, что всякая система, как и всякое учреждение Запада, содержит в себе решение какого-нибудь вопроса, заданного жизнию прежних веков. Перенесение этих систем на новую народную почву небезопасно и редко бывает безвредно. Тут, где вопрос еще не возникал, он непременно возникнет, хотя, может быть, и в другой форме, если только имел возможность возникнуть при условиях этого общества. Если же общество таково, что вопрос разумно возникать не мог (а таково отношение почти всех вопросов Запада к России), в жизни умственной народа непременно произойдет, конечно, кратковременное, но болезненное и крайне бессмысленное дви-

жение, подобное тому жизненному расстройству, которым сопровождается введение начал неорганических, даже отчасти и безвредных, в органическое тело. Этих примеров немало, и найти их легко; но главный, самый яркий, самый общий во всей нашей науке, образованности и быте — это формализм, неизбежный, как подражание чужеземным образцам, понятым в виде готового результата, независимо от умственного исторического движения, которым они произведены. Формализм имеет и должен иметь постоянное притязание заменять собою всякую нравственную и духовную силу и находить всякий закон, всякую охрану, даже всякое начало движения в голых и вещественных формулах, приложенных к вещественным требованиям и побуждениям человеческим. Жизненную гармонию заменяет он, так сказать, полицейскою симметриею в науке, где он более боится заблуждений, чем ищет истины; в искусстве, где он более избегает неправильности, почти всегда сопровождающей всякое гениальное явление, чем стремится к красоте или к облечению внутренней красоты духовной в формы, ею созданные и ей соответствующие; в быте, где он вытесняет и заменяет всякое теплое и свободное излияние души холодным и мертвым призраком благочиния. Таков характер формализма; таков он был в схоластической философии, оставившей следы свои в новейшей германской философии, которую, за всем тем, можно считать одним из величайших явлений человеческого мышления; таков он был в так называемой классической литературе XVIII века; таков в пластических художествах школ, славившихся еще недавно; таков в обществах, сохраняющих слишком строго формы, от которых уже отлетел дух, их создавший (как, напр<имер>, в Китае и в позднейшей Византии), или в обществах, не сознавших своих собственных духовных начал и принимающих извне формы, созданные другими началами. В этом последнем отношении современная Франция представляет нам поучительный пример. Лишенная собственной жизненной силы или еще не познав ее, она переносит к себе со всевозможным усердием английские учреждения, прилаживая их к себе, т. е. искажая их с самою наивною уверенностию и перенося к себе призрак жизни, которой у нее нет. Зато при этом перенесении исчезает весь смысл образца и вся его простота заменяется бестолковою многосложностию. Газеты представляли недавно яркое доказательство тому в исчислении чиновников английских и французских.

Кстати об этом предмете. Любезный друг, я желал бы, чтобы наши читатели и литераторы поняли несколько пояс-

нее смысл явления, весьма замечательного в нашей современной словесности, такого явления, на которое уже наши журналы обратили свое поверхностное наблюдение, говоря то *за*, то *против* него. Это явление есть довольно постоянное нападение на чиновника и насмешка над ним. Едва ли не Гоголь подал этот соблазнительный пример, за которым все последовали со всевозможным усердием. Эта ревность подражания доказывает разумность первого нападения, а пошлость подражания доказывает, что смысл нападения не понят. Для того, чтобы оценить это явление, надобно сперва понять — что́ такое чиновник. В обществе, разумеется, я бы повторил забавное определение, сделанное человеком весьма заслуженным и почтенных лет. На вопрос: «Что́ такое чиновник?» — он отвечал, смеючись: «Для вас, неслужащей молодежи, чиновник — всякий тот, кто служит (разумеется, в гражданской службе), а для меня, служащего,— тот, кто ниже меня чином». Но в дельной беседе с тобою я поищу начала для определения, которое бы было построже и полнее. Во-первых, это слово в своем литературном значении принадлежит более к языку общества, чем к языку права и закона; во-вторых, ты можешь заметить, что оно никогда не относится к некоторым должностям, по-видимому входящим в тот же служебный круг,— ни к посреднику, ни к предводителю, ни к городскому главе, ни к попечителю училищ, ни к профессору, ни к совестному судье[54]; что оно вообще более относится к иным разрядам, чем к другим, и всегда более к вещественным формам, чем к тем, в которых выражается умственное или нравственное направление. И в этом различии ты можешь заметить какое-то особенное чувство, которым определяется слово *чиновник*, во сколько могут быть определены слова, получившие свой смысл единственно от обычая, как, напр<имер>, хороший тон, комфорт и т. д. Очевидно, что все это нисколько не касается до службы, необходимого условия всякой гражданственности, истинной или ложной (ибо служба постоянная или повременная есть всегдашняя принадлежность всякого гражданина и содержит в себе освящение прав, данных ему обществом), но касается только до какого-то особенного отношения особенных лиц к народной жизни и к просвещенному обществу. Глядя с этой точки зрения, можно понять всю нравственную истину Гоголя и всю законность его глубокой, хотя добродушной и беспечной, иронии и всю незаконность и слабость его подражателей. «Чиновник,— как это весьма хорошо понял один из наших журналов, который потом как будто испугался своей похвальной речи это-

му осмеянному лицу,— есть нечто посредствующее между просвещением и жизнию, впрочем, не принадлежащее ни тому, ни другому». Гоголь — художник, созданный жизнию, имел право понять и воплотить мертвенность этого лица в те неподражаемые образы Дмухановского и других, которые в его повестях или в комедиях являются с такою яркою печатью поэтической истины. Но это право нисколько не принадлежало его подражателям — литераторам, созданным или воспитанным чужеземною образованностию. Такова причина, почему и подражания их, несмотря на талант писателей, выходят такими бледными и бессильными. Мертвенность человека, черта разительная и достойная комедии, дает жизни право насмешки и осуждения над ним, но она не дает этого права нашему просвещению, которое само в себе собственной жизни еще не имеет. Общество не должно бы смеяться ни над орудием, которое оно само создает, ни над путем, по которому человек в него вступает, ни над тем, так сказать, химическим процессом, посредством которого лицо, некогда принадлежавшее жизни, перегоняется в бесцветный призрак просвещенного человека. Впрочем, довольно об этом предмете, которого я коснулся мимоходом, и обратимся к формализму. Я сказал, что он мертвый результат подражания, и прибавлю, что он результат мертвящий. Отстраняя деятельность духовную и самобытность свободной мысли и теплого чувства, всегда надеясь найти средства обойтись без них и часто обманывая людей своими обещаниями, он погружает мало-помалу своих суеверных поклонников в тяжелый и бесчувственный сон, из которого или вовсе не просыпаются, впадая в совершенное омертвение, или просыпаются горькими, ядовито-насмешливыми и в то же время самодовольными скептиками, утратившими веру в формулу, так же как и в жизнь, в общество, так же как и в людей. Им остается спасаться только в гастрономии (по-нашему, в обжорстве), как это весьма справедливо представлено в герое поэмы г. Майкова[55], человеке, утратившем веру в наше формальное просвещение и не познавшем ни просвещения истинного, ни народной жизни. Да и трудно, очень трудно вырваться из очарованного круга, очерченного около каждого личного ума историческим развитием нашей образованности. С детства лепечем мы чужестранные слова и питаемся чужестранною мыслию; с детства привыкаем мы мерить все окружающее нас на мерило, которое к нему не идет, привыкаем смешивать явления самые противоположные: общину с коммуною, наше прежнее боярство с баронством, религиозность с верою, семейность свою с феодаль-

ным понятием англичанина об доме (home) или с немецкою кухонно-сантиментальною домашностию (Häuslichkeit), лишаемся живого сочувствия с жизнию и возможности логического понимания ее. Какие же нам остаются пути или средства к достижению истины?

За всем тем мы можем и должны ее достигнуть. Борьба между жизнию и иноземною образованностию началась с самого того времени, в которое встретились в России эти два противоположные начала. Она была скрытою причиною и скрытым содержанием почти всех явлений нашего исторического и бытового движения и нашей литературы; везде она выражалась в двух противоположных стремлениях: к самобытности, с одной стороны, к подражательности — с другой. Вообще можно заметить, что все лучшие и сильнейшие умы, все те, которые ощущали в себе живые источники мысли и чувства, принадлежали к первому стремлению; вся бездарность и бессилие — ко второму. Первое представляется Ломоносовым, несмотря на то, что сам великий основатель науки в России отчасти подчинялся невольно влиянию иноземному; второе в Тредьяковском, презрителе всего русского, одежды, обычаев и языка, которые он называл мужицкими[56]. Это не система, а факт исторический. Правда, что многие, даже даровитые, даже великие деятели нашей умственной жизни слабостию молодости, соблазном жизни общественной и особенно так называемого высшего просвещения были увлечены в худшее стремление; но все от него отставали, обращаясь к высшему, к более плодотворному началу. Таково было развитие Карамзина и Пушкина.

Но прежняя борьба была неполная и бессознательная; теперь наступает и наступило время для яснейшего сознания и для полного разрешения давнишнего вопроса. С одной стороны, мы овладели наукою, т. е. всеми ее внешними результатами, и нам остается только развить в самих себе жизненное начало, дабы и нача́ла науки не оставались мертвыми, как до сих пор; с другой — мы уже начинаем сознавать яснее бессилие и бесплодность всякой подражательности, будь она явно рабская, т. е. привязанная к одной какой-нибудь школе, или свободная, т. е. эклектическая. Этому может и должен научить нас опыт. Наконец, внутреннее колебание и духовное замирание западного мира, теряющего веру в свои прежние нача́ла и бессильно стремящегося создать новые по путям чисто аналитическим, может и должно служить нам уроком, обличая перед нами слабость наших прежних образцов и ничтожность нашего стремления. Прежнее стремление нашей

образованности кончило свой срок. Оно было заблуждением невольным, может быть неизбежным, наших школьных годов. Я не говорю, чтобы не только все, но даже большинство получило уже новые убеждения и сознало бы внутреннюю духовную жизнь русского народа как единственное и плодотворное начало для будущего просвещения; но можно утвердительно сказать, что из даровитых и просвещенных людей не осталось ни одного, кто бы не сомневался в разумности наших прежних путей. Остаются только еще привычки (к несчастию, слишком крепкая цепь и которая вдруг порваться не может); остается в большинстве грубое неведение тех древних, но живых и вечно новых начал, к которым должно возвратиться; остается гордость, которая сознает или, по крайней мере, подозревает в себе ошибку, да признаться в ней не хочет ни себе, ни другим; остается, наконец, тот скептицизм, о котором я уже говорил, который потерял веру в силу формальной науки и не может еще поверить плодотворной силе жизни. Вот препятствия, с которыми должно бороться и которые не могут долго устоять против убеждения истинного и глубокого. Ими объясняется упорство, с которым многие добросовестные и далеко не бездарные люди отстаивают прежнее направление нашей образованности. Иные из них выставляют с гордым самодовольствием наши успехи в науке и художествах; но добросовестная оценка всего, чтó мы сделали по этим частям, не должна бы нам внушать другого чувства, кроме смирения, а разумная критика легко может показать, что задатки, данные искусству неученою Русью, далеко еще не оправданы ученою Россиею. Другие хвалятся историческим развитием нашим; но ответ старика сынку в разговоре о Суворове может быть легко приложен ко всему остальному и во всех случаях будет равно верен. Другие еще извиняют нас нашею будто весьма недавней образованностию, но полтораста лет могли бы и должны (если бы направление взятое было неложно) довести наше просвещение до высоких результатов, или по крайней мере вызвать зародыши великого развития в будущем; а мы, кажется, этим похвастаться не можем. Наконец, нашлись и такие люди, которые решились без дальних умозрений, назвав всех своих противников грязными варварами, спрятаться за одно великое имя Петра. Это умно, благородно и учено, доказывает одинаковое уважение к науке и ее правам на анализ, к истории и ее постоянному развитию, к человеческой мысли и ее праву на самобытность. Эти люди могут оставаться без возражения и без ответа,— они сами себе улика.

Все такие явления неизбежны, но все они по внутренней своей слабости доказывают, что эпоха перерождения в просвещении наступила. Еще важнее явления, доказывающие, что мы начали понимать не только темным инстинктом, но истинным и наукообразным разумением всю шаткость и бесплодность духовного мира на Западе. Очевидно, что он сам сомневается в себе и ищет новых начал, утратив веру в прежние, и только утешает себя тем, что называет нашу эпоху эпохою перехода, не понимая, что это самое название доказывает уже отсутствие убеждений: ибо там, где есть убеждение и вера, там есть уже радостное чувство жизни, узнавшей новые цели, а не горькое чувство перехода неизвестного. Но нам предоставлено было возвести инстинктивные сомнения западного мира в наукообразные отрицания,— и этот подвиг должно считать лучшею заслугою нашей современной науки, заслугою, которую наше образованное общество нáчало уже оценять, хотя, конечно, оценило не вполне. Так, например, прекрасные и глубокомысленные статьи Ивана Васильевича Киреевского о современном состоянии европейского просвещения[57], статьи, в которых строгая логика согрета теплым чувством всеобщей любви и которым, конечно, современная журналистика Европы не может представить ничего равного, пробудили многие новые мысли во многих и были радушно приветствованы всеми. Со временем эти статьи будут поняты еще полнее; выводы, в них заключенные, получат по большей части значение несомненных истин. Но, разумеется, анализ на этом остановиться не может: он пойдет далее и покажет, что современная шаткость духовного мира на Западе — не случайное и преходящее явление, но необходимое последствие внутреннего раздора, лежавшего в основе мысли и в составе обществ; он покажет, что начало той мертвенности, которая выражается в XIX веке, заключалось уже в составе германских завоевательных дружин и римского завоеванного мира, с одной стороны, и в односторонности римско-протестантского учения — с другой: ибо закон развития общественного лежит в его первоначальных зародышах, а закон развития умственного — в вере народной, т. е. в высшей норме его духовных понятий. Этой истины доказывать не нужно; ибо тот, кто не понимает, что иное должно было быть развитие просвещения при соборных учениях, а иное было бы под влиянием арианства или несторианства[58],— тот не дошел еще до исторической азбуки. Примером же можно бы представить в самом западном мире Англию, которой современная жизненность и исключительное значение объясняются

только тем, что она (т. е. англосаксонская Англия) никогда не была вполне завоевана, никогда не была вполне римскою и никогда вполне протестантскою. При этом будущем успехе анализа и, без сомнения, с ним вместе, разовьется синтез науки и жизни, успокоенной и оправданной разумным сознанием: ибо стремление, отрицающее подражательность нашей образованности, не есть стремление к мертвому и темному невежеству, но к науке живой, к внутреннему освобождению ее от ложных систем и ложных данных и к соединению ее с жизнию, т. е. к созданию просвещения.

Конечно, успехи будут медленны, и только дети наши воспользуются трудами наших современников; ибо, несмотря на сомнение многих в разумности прежней нашей образованности, несмотря на выражающуюся жажду и на какие-то предчувствия уже не эклектического российского, но органического русского просвещения, никогда еще, может быть, подражательность и смирение перед западным миром не были так сильны или, по крайней мере, так общи, как теперь. Но анализ начал свое дело, и это дело не может оставаться без плода. Недавно все наше просвещенное общество узнало о химическом разложении Румфордова супа из супа из сухих костей, которым долго кормили бедных и который, не содержа в себе ничего питательного, более способен ускорить голодную смерть, чем спасти от нее[59]. Конечно, с этого открытия еще бедные сыты не будут, но уж и того много, что постараются возвратиться к хлебу, бросив надежду на суп из сухих костей.

О ВОЗМОЖНОСТИ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ

В письме, напечатанном мною в «Московском сборнике», я сказал, что преобладание и одностороннее развитие рассудка составляют характеристику нашего мнимого просвещения[1]. Никто не опровергал этой истины: она так очевидна, что ее и оспаривать невозможно. Но с другой стороны, многие, допуская ее, не видят в ней беды. Иначе и быть не может. Общество, которое лишилось полноты разумного развития, должно было отчасти лишиться способности понимать и ценить эту полноту. Оно должно быть склонно презирать утра-

ченное или еще недостигнутое и утешаться скудными приобретениями, купленными ценою великих потерь. Это состояние общества не случайно. Полнота и целость разума во всех его отправлениях требуют полноты в жизни; и там, где знание оторвалось от жизни, где общество, хранящее это знание, оторвалось от своей родной основы, там может развиваться и преобладать только рассудок,— сила разлагающая, а не живительная, сила скудная, потому что она может только пользоваться данными, получаемыми ею извне, сила одинокая и разъединяющая. Все прочие животворные способности разума живут и крепнут только в дружеском общении мыслящих существ; рассудок же в своих низших отправлениях (в поверхностном анализе) не требует ни сочувствия, ни общения, ни братства и делается единственным представителем мыслящей способности в оскудевшей и эгоистической душе. Впрочем, это преобладание односторонней рассудочности не есть действительное укрепление рассудка. Он сам приходит в упадок и лишается высших аналитических способностей, но кажется только преобладающим и крепнущим, потому что все прочие способности подавлены. Я почел необходимым прибавить это объяснение для читателей, которые могли полагать (иные действительно полагали), что я позволил себе некоторую произвольность в оценке нашего общественного мышления и надеюсь, что они согласятся в необходимости сделанных мною выводов.

Очевидно, что такое состояние мысли не допускает даже и возможности русской народной школы.

Конечно, найдутся люди (я таких и встречал и знаю), которые скажут: «Почему же школа художеств должна быть народною? Прекрасное везде прекрасно. Надобно искать художества, а не народности в художестве. Этот тесный и, так сказать, славянофильский взгляд на прекраснейшее явление духа человеческого убивает силы духовные или увлекает их по ложным, безысходным путям; он недостоин ни просвещенного XIX века, ни просвещенной земли». Такое суждение, как известно, сопровождается всегда легким пожатием плеч, знаком добродушного сожаления об ограниченности славянофильской и несколько гордою улыбкою, выражением внутреннего довольства своим собственным просвещением и своею гуманностию. Я согласился бы с ним охотно, если бы меня не останавливали две преграды: факты и их аналогия, разум и его законы.

До сих пор, сколько ни было в мире замечательных художественных явлений, все они носили явный отпечаток тех

народов, в которых возникли; все они были полны тою жизнию, которая дала им начало и содержание. Египет и Индия, Эллада и Рим, Италия, Испания и Голландия — каждая из них дали образовательным художествам свой особый характер. Памятник в глазах историка-критика восстановляет историю (разумеется, умственную, а не фактическую) исчезнувшего народа так же ясно, как и письменное свидетельство. Характер торговый, любовь к роскоши, к вещественному довольству, к осязаемой природе и, так сказать, к телесности человеческой сближают школу венецианскую с фламандскою, несмотря на различие племен, верований и государственных форм, хотя и эти различия также ярко отпечатаны в Рембрандте и Рубенсе, с одной стороны, в Тициане или Тинторете — с другой. Римское монашество и ужас инквизиции запечатлены в живописцах Испании, несмотря на ясное солнце, которое сделало их колористами, и на чистые начала христианства, которым они не вполне изменяли, хотя и давали им тесное и одностороннее значение. Сухое протестантство, строгая дума, склонность к анализу и в то же время любовь к явлениям земным в их неблагороднейшей форме могут легко быть замечены в школе немецкой. Такие же явления можно заметить и во всех школах; такие же явления и во всех искусствах, будь они искусствами формы, звука или слова. Вывод один и тот же: везде и во все времена искусства были народными. Уже по одной аналогии нельзя думать, чтобы этот закон изменился для России. Я знаю, что нам, ожидающим возврата своенародности, часто ставится в попрек то, что мы ожидаем от этого возврата много нового и необычайного. В силу этого правила скажут нам: «Вы должны вполне отвергать аналогию фактов или, по крайней мере, не основываться на ней». Разумеется, такое заключение было бы ложно: закон отношений между началами и их проявлениями останется всегда неизменным. Новые начала мысленные вызываются к жизни: из них по необходимости должны проистекать новые явления, отличные от всего прошедшего. Это не только не противно аналогии фактов, но могло бы быть доказано эмпирически посредством ее. Впрочем, в этом случае смысл самих фактов объясняется чистыми законами разума.

Не из ума одного возникает искусство. Оно не есть произведение одинокой личности и ее эгоистической рассудочности. В нем сосредоточивается и выражается полнота человеческой жизни с ее просвещением, волею и верованием. Художник не творит собственною своею силою: духовная сила

народа творит в художнике. Поэтому, очевидно, всякое художество должно быть и не может не быть народным. Оно есть цвет духа живого, восходящего до сознания, или, как я уже сказал,— образ самосознающейся жизни. У нас, при разрыве между жизнию и знанием, оно невозможно. Конечно, по-видимому, можно бы обойтись и без искусств: найдутся многие, которые или не дорожат ими, или не видят в них никакой необходимости, хотя могут и умеют ими наслаждаться по-своему, как хорошим столом, устерсами[2] и другими отрадами роскошного комфорта. Эта черта (довольно общая во Франции, всегда готовой возводить всякое ремесло до художества, потому что она всегда низводит художество до ремесла) не слишком редка и у нас. Спорить не об чем: всякий волен в своих вкусах и желаниях. Быть может, жаль бы было лишить всякой художественной будущности народ, который дал такие прекрасные задатки искусству в звуке и слове и который даже в живописи и зодчестве давал великие обещания, понятные всякому истинному художнику, изучавшему наши старые иконы и строения; но тут еще беда не велика. Важно то, что народ, способный к художествам, не может лишиться иначе их развития, как утратив целость и здравие своей внутренней жизни. Он обречен на бессилие в науке, так же как и в искусстве; ибо наука, как я уже сказал, тесно связана с жизнию. Часто случается слышать и читать высокопарные возгласы о том, что наука везде одна, так же как истина, и насмешки над теми, которые этого как будто не понимают[3]. Прекрасное одно, но выражение его различно по условиям места и времени; точно то же должно сказать и о науке в отношении к истине. Истина есть или должна быть окончательным выводом науки: но наука, положительная или историческая, не есть и не может быть самою истиною, а только путем к достижению ее. Этот путь и его направления зависят вполне, так же как выражение красоты, от места и времени. «Анализ и его законы везде одинаковы». Во-первых, приложения их могут быть многоразличны; во-вторых, анализ существовать не может без данных, а данные для него заключаются не в самих фактах, а в непосредственном знании фактов. Это первое непосредственное знание определяет почти во всех случаях (за исключением, может быть, одной математики) весь характер аналитического труда, который сверх того, как я уже сказал, всегда сопровождается скрытым синтезом, вполне зависящим от внутренней жизни народов. Оттого-то, хотя Италия сделала много для науки, хотя немало сделала и Франция (особенно в науках опыта), хотя беско-

нечны заслуги Англии и Германии; но во всех этих странах наука является с иным значением, в ином виде и с своебытным характером. Очевидно, не может быть тождества между наукою в Англии, стране, которая никогда не умела еще отделять законов факта от его случайностей, и в Германии, которая довела себя до состояния чисто аналитической машины, утратившей всякое живое сознание фактов. Достижение истины сопряжено с бесконечными ошибками и заблуждениями, и нелепа бы была надежда народа, который бы обещал себе науку совершенно свободную от односторонности и от всякого самообольщения. Я уже показал всю ложность, произвольность и недостаточность большей части так называемых наук. Надеюсь, что многие ошибки исправит Россия; но я очень далек от мысли, чтобы мы достигли до полного и безошибочного знания истины. Такими надеждами тешат себя и читателей только те, которые предпочитают тяжелому труду изысканий легкое и дешевое пользование трудами Запада и ленивое упование в выводы, на которых он остановился. Сомнение потребовало бы поверки, поверка — труда: легче верить. Но эти люди не принадлежат нисколько науке. Она для них недоступна, как и самое художество, потому что она растет только на жизненном корне живого человеческого общения; а они отрицают это общение, отрицая живую личность народа, через которую единственно делается нам доступным человечество: ибо, помимо ее, человечество есть только идея отвлеченная или числительное скопление бессвязных личностей.

Сказанное о науке относится, может быть, яснее к быту. Там, где общество раздвоилось, где жизненные силы приведены в оцепенение разрывом между жизнию и знанием и вечною, даже нескрытою, враждою самобытного начала и чужеземного наплыва,— там духовные побуждения теряют свое значение, и место их, как я уже сказал, заступает мертвый и мертвящий формализм. Бесполезно бы было проследить эту язву во всех подробностях ее явлений,— они известны; но должно заметить, что из западных стран та, в которой я уже показал особенное преобладание формализма, Франция, начинает сознавать его бедственное последствие, называя его то формализмом, то машинизмом. Еще недавно один из мыслителей ее говорил[4]: «Формализму часто достаются видимые успехи, но эти успехи бесплодны; им недостает жизненного начала. Успех формализма — потеря для общества»*. В дру-

* Le formalisme paraît souvent prospérer; mais ses succès sont stériles. Le principe vital leur manque... Les succès du formalisme sont des revers pour la société.

гом месте он прибавляет: «Формализм пользуется всеми вещественными силами, но сам он бессилен. Душа не покоряется ему; она слишком горда и благородна, чтобы унизиться до состояния механического действователя. Она боится и бежит формализма»*. Замечательны еще и следующие его слова: «Случается, что какое-нибудь благородное существо соглашается сделаться орудием формализма с надеждою сохранить свое внутреннее достоинство; но этот обман не проходит даром. После немногих лет слепой механической деятельности обольщение исчезает, и душа очнется, изумляясь сама своему обессилению и унижению»**. Я не люблю авторитетов и цитатов и привожу эти слова только в доказательство, что я недаром обвинял Францию в формализме, что она его сама в себе сознает и что везде, где формализм преобладает, там глохнут жизненные силы. Впрочем, Францию обвинять нельзя: ее формализм есть необходимый результат ее прошедшей жизни. Вся история Франции была тяжбою между железом феодального тирана-барона и золотом феодальной общины городов. Тяжба выиграна городами, но бедному Якову (Jacques Bonhomme[5]) никогда не было места в общественной жизни, да и быть не могло. В нем самом нет ни внешней цельности, ни внутренних начал жизни. Со временем факт этот, до сих пор непонятый, будет понят анализом науки; но покуда прошу читателей моих не пенять на меня за то, что я предполагаю в них не только знание, но и понимание исторических фактов***.

---

* Le formalisme tire parti de toutes les forces materielles; mais lui-même est sans force. L'âme ne lui obéit pas: elle est chose trop haute et trop fière pour se plier au rôle moteur mécanique; elle fuit les entraves du formalisme.

** Il arrive parfois, que quelque noble intelligence se soumette à devenir un instrument du formalisme avec l'espoir de garder sa dignité et son indépendance; mais pareille erreur ne reste jamais impunie. Après quelques années de ce labeur de cheval aveugle l'illusion disparaît, et l'âme se réveille étonnée de sa propre dégradation.

*** Это предположение, разумеется, не относится к таким читателям, каков рецензент, написавший в одном из петербургских журналов разбор «Сборника исторических и статистических сведений и проч.»[6]. Этот рецензент, по-видимому, очень добродушно уверяет меня, что гунны не могли подвинуть бургундов на запад потому-де, что бургунды жили давно уже на Рейне. Ему неизвестно, что в начале V века часть бургундов жила еще на верховьях Дуная у Римского вала и что отделение бургундов прибалтийских было увлечено общим движением племен даже в Испанию. Ему также, по-видимому, совсем неизвестны критические труды немцев об сагах и старых песнях Германии. Там мог бы он сколько-нибудь узнать про отношения гуннов к бургундам. Рецензент уверяет публику, что я подшучиваю над нею, говоря о разврате франков: видно, он много читал писателей IV и V столетий. Что сказать о такой учености? Мой деревенский сосед

Итак, как бы ни пренебрегал человек искусством, он должен дорожить его возможностию, потому что с нею соединяется возможность науки и разумного быта, которыми, конечно, никто пренебрегать не может. Условия одинаковы во всех трех случаях, и во всех трех они для нас неисполнимы, потому что мы утратили свою народную личность, т. е. самих себя.

Всякое народное просвещение определяется народною личностью, т. е. живою сущностию народной мысли; более же всего определяется она тою верою, которая в нем является пределом его разумения. В современной Европе является стремление к примирению разрозненных начал просвещения и жизни в единстве религиозной мысли; но это стремление, которое в глазах слишком добродушных судей кажется торжеством религии, не достигает нигде своей цели и свидетельствует только о внутренней вражде непримиримых начал и о неутоленной и неутолимой жажде единства. Впрочем, оно иначе и быть не могло. Когда раздвоение не случайно, а лежит в самой основе духовного и общественного мира, когда борющиеся начала, возникшие из жизни и управляющие ею, прямо противоположны друг другу, они уже не могут примириться ни собственными силами, ни бедным миротворством одностороннего рассудка: они могут найти свое примирение только в другом, высшем начале, возникшем из другой, менее односторонней жизни. Этот закон не подлежит никакому сомнению: он засвидетельствован историею во всех ее периодах. Впрочем, так как теоретические положения не для всех удовлетворительны, взглянем на факты.

называет ее первоклассною в том смысле, что она годна только для 1-го класса гимназии, а и такие рецензенты ратуют за просвещение на западный лад! Впрочем, может быть, г. критик пожелает когда-нибудь узнать что-нибудь о тех вещах, о которых он писал, ничего об них не зная, напр<имер>, что-нибудь об истории бургундов, о том, как они сражались с гепидами на нижнем Дунае, как бежали на запад и поселились около верховьев Майна, где жили при Валентиниане; как потом, в начале VI века, подались на самые берега Рейна, вслед за народами, бегущими от гуннов (аланами, свевами и вандалами); как потом были, на берегах Рейна, разбиты гуннами и, потеряв царя своего Гундихара, бежали под предводительством нового царя Гундиоха (отца Гундебальдова) на юго-запад, прося убежища и покровительства у римлян, и проч. и проч. На этот случай я могу ему рекомендовать на память (так как книг при мне нет) Тюрка («Розыски в области истории», тетрадь 2), Цейса («Немцы») и Миллера («Немецкие племена и их князья»)[7]. Со временем можно будет дойти и до древних памятников западных или византийских. Полагая, что я таким образом уже получил некоторые права на благодарность моего рецензента, осмеливаюсь прибавить маленький совет. Если он когда-нибудь вздумает опять на меня нападать, ему выгоднее будет стрелять в меня из непроходимой чащи пустых слов и теорий, чем отваживаться на открытое поле исторических фактов.

Южная Европа (Италия и Испания) не имеет никакого современного значения; поэтому довольно упомянуть о тех трех землях, которые в различных отношениях считаются главными действователями просвещения. Первый из современных поэтов Франции и один из самых замечательных ее историков-мыслителей объявили недавно, один в торжественной речи, другой в книге, заслужившей огромный успех, что веры во Франции уже нет[8], и показание их подтверждается всеми явлениями высшей умственной жизни в их отечестве. Правда, что взамен утраченной веры они предлагают с дюжину других: веру в художество, веру в славу, в прекрасное, в усовершенствование, в народ, и проч., и проч. Каждый мог бы выбрать по своему вкусу, и странно только то, что Франция не пользуется таким выгодным предложением и что даже остроумная Жорж Санд смеется печатно над этою мелочною лавочкою[9].

Между тем как за Рейном отсутствие религии является в формах ветреной и самодовольной мелочности, оно является по сю сторону Рейна, в Германии, с видом степенным, размышляющим и достойным многоученых немцев. Я не говорю об изданиях, слишком высоко оцененных, а действительно довольно ничтожных, какого-нибудь Страуса или Бруно Бауера[10]; я не говорю о их временном успехе, свидетельствующем о потребностях читающей публики, ни о целых приходах, признавших себя страусианцами, ни о журналах, выходивших в том же духе и едва прекращенных усилиями правительств, ни обо многих других доказательствах. Я упомяну только об одном письме лучшего представителя протестантских религиозных школ, ученейшего преподавателя-историка и весьма прямодушного человека, Неандера, к англичанину Дюару: «Разница (говорит он) между нами и вами та, что вы верите в возможность объективной истины в религии, а мы нет: мы пережили эту младенческую эпоху и знаем, что истинная вера может быть только субъективною для каждого человека»[11]. Мнение ученого Неандера в этом деле решительно, оно доказывает полное отсутствие религии в Германии; ибо сила всякого учения измеряется крепостию и внутреннею самоуверенностию его высших представителей. В России мы еще часто слышим или, лучше сказать, читаем про набожность и религиозность Германии. Не знаю, для чего или для кого это пишется; впрочем, может быть, со стороны самих писателей это не обман, а добродушная ошибка, основанная на предании о прежней немецкой Frömmigkeit (особенного рода набожности) и поддержанная картинами сельских пасторов у Августа Лафонтена[12].

В Англии является нам совсем другое. Ее внутренняя жизнь крепче и не столько потрясена, как жизнь Германии и Франции, самонадеянными притязаниями частного рассудка. Там происходит великая борьба, которая, как ни важен спор о хлебных законах[13], гораздо важнее его в глазах просвещенного наблюдателя. Эта борьба определяется просто и легко. Церковная реформа Англии имела особый характер. Отречение от римского католицизма было сопровождаемо желанием удержать в пределах произвол рассудочной критики и сохранить, сколько возможно, живую цепь старины и предания. Из этого желания возникло устройство, очевидно произвольное, англиканской церкви, не уверенной в самой себе, но сохраняющей внешние знаки живого предания и исторической последовательности. Такой особый характер английской реформы происходил из характера народа, и обратно, характер народа поддерживался им до нашего времени. Но требования критики неотвратимы и неизбежны. Произвольность, лежащая в основе англиканизма, повела многих к требованию большей протестантской свободы, многих к требованию большей верности католической старине. Вопрос наделал сперва много шума под именем пузеизма[14], а теперь, по-видимому, перестал обращать на себя общественное внимание; но разрешение необходимо и наступает с каждым днем явно или незаметно. Нетрудно сказать, как этот вопрос разрешится, если англиканизм будет предоставлен собственным силам и не подпадет влиянию другого, внешнего начала. Возврат к римскому католицизму невозможен, потому что отрицание, раз совершенное сознательно и разумно, не может пропасть без следа. Торжество начала критического, или протестантства, неизбежно. Торжество же протестантства, как начала критического и чисто рассудочного, сводит англиканизм и, следовательно, вместе с ним жизнь Англии на уровень безжизненного протестантства германского.

Таково общее состояние европейского просвещения, определенного его крайними духовными пределами в вере. Я никого не обвиняю в безверии и не пугаю безверием, хотя, может быть, найдутся добрые люди, которые это предположат и скажут, что я вмешиваю веру в вопросы науки. Я знаю, что совершаемое и совершенное на Западе было необходимо; но из того самого, что оно было необходимо на Западе при его началах, следует, что оно невозможно у нас при наших. Началом Запада была двойственность в жизни народной (завоеванные и завоеватели) и двойственность в понятии духовном: ибо односторонность римского определения единст-

ва в покорности (следовательно, единства внешнего) вызывала необходимо и вызвала отрицательную односторонность свободы — в разномыслии (следовательно, внешней, ибо свобода разумная едина). Обе односторонности должны были оказаться неудовлетворительными и, следовательно, произвести общее отрицание. В нашем же духовном начале тождество свободы и единства (свободы в единстве и единства в свободе) и наше народное начало, которое могло принять и сохранить такое духовное начало вследствие своего внутреннего единства, не могут никогда ни подчиниться выводам, исторически возникшим из западной двойственности, ни принять их в себя. Я не говорю: лучше не принимать, но говорю: нельзя принять, если бы даже и хотели. Поэтому очевидна вся ограниченность тех, которые думают перенести в Россию не одни только положительные или, так сказать, математические знания Запада, но и весь строй его просвещения. Мнения их опровергаются малейшим употреблением человеческого разума.

Есть другое мнение, возникшее, может быть, давно, но выражающееся с особенною ясностию недавно. «Надобно-де принимать все доброе с Запада и усердно учиться у старшей братии, опередившей нас в просвещении; но и своим брезгать не должно. И у нас хорошего было много. Мы изучим-де Россию в ее истории, в ее стародавней письменности и законах; познакомимся вполне с ее статистикой (вероятно, с источниками ее богатств) и так все хорошо приладим, что лучшего и желать нельзя. Будем вполне просвещенными людьми, ибо примем все современное просвещение, и останемся совершенно русскими, узнавши до ноготка историю, статистику и письменность России»[15]. Это мнение возникло, по-видимому, не в ученом мире, а в общественных кругах, образованных без строгой учености, благонамеренных без истинной решимости на добро и любящих Россию без всякого желания жертвовать самолюбивою личностью своей для святой Руси. Органы его в словесности — люди добрые, миротворящие, мирволящие, враги всякого крайнего мнения, всякого крутого приговора и всякой неприличной ссоры с бытом и мнением так называемого общества. На первый взгляд мнение это имеет некоторые достоинства, но все они исчезают при самом легком прикосновении критики. По-видимому, в нем менее гордости и пренебрежения к России, чем в мнении чистых приверженцев Запада: это обман. Как бы ни были велики и вредны ошибки нашей западной братии, она потрудилась много, потрудилась со славой и пользой на поприще просвещения;

она своею тревожною жизнию и ненасытимою жаждою истинного и прекрасного создала в науке, быте и художествах много великого, много достойного бессмертной похвалы; и для нас менее унизительно жертвовать своею самостоятельностию западному миру, чем частной мудрости полупросвещенных и полумертвых представителей нашего прививного знания. В этом мнении, по-видимому, есть также любовь к русскому и своенародному: опять обман. Тут действительно исчезает народность своя, как и всякая другая. Все русское является, так же как французское, китайское, индейское и проч., не как жизненное начало, подчиняющее себе своею силою всякую другую мысль и всякую личность, но как бесхарактерный материал, годный только для переделывания и перелаживания согласно с высшими соображениями так называемого общества. Наконец, это мнение, по крайней мере, имеет притязание быть рассудительным и требовать от Руси только того, что с нею может согласоваться; но на поверку выходит, что оно едва ли не безрассуднее мнений чистых поклонников Запада (хотя в этом деле трудно решить, кому принадлежит первенство безрассудности). Общая же черта обоих мнений та, что поклонники их ставят себя вне России, стараясь ее переделать по-своему, но кажется, все еще возможнее привить ей жизнь чужую, но сильную и богатую, чем подчинить ее бездушной мертвенности личного эклектизма. Вообще должно помнить, что для того, чтобы быть русским, недостаточно ни грамматического знания русского языка, ни знания статистики, ни изучения письменных памятников. На таком основании многие немецкие профессора могли бы себя считать отличными римлянами или греками. При всех этих знаниях будешь только порядочным руситом (как эллинист, латинист и т. д.), но живым русским человеком не будешь.

Вопрос, к которому привели нас требования художественной русской школы, очень важен: это для нас вопрос о жизни и смерти в самом высшем значении умственном и духовном. Нет никакого сомнения, что русская народная стихия разовьется и принесет, во всех отраслях знания и деятельности человеческой, огромный вклад, которым пополнится большая часть прежних недостатков. Нет сомнения, что то высокое начало единства, которое лежит основою всей нашей мысли и всей нашей народной силы, восторжествует над нашим мысленным и бытовым раздвоением. Быть может, даже от этого живого единства получит начало исцеления рано призванная на поприще просвещения, много для него потрудившаяся, но неисцелимая своими собственными силами и в на-

чалах своих раздвоенная западная наша братия. Мало-помалу положительные знания принимаются тою частию русской земли, которая сохранила в себе жизненное начало. Это можно было предвидеть, и это совершилось бы, вероятно, давно, если бы знание не явилось у нас сначала в виде принуждения, отрицающего жизнь. Следовательно, в этом отношении нашему времени гордиться нечем; но можно с радостию предсказать, что знание, принятое в жизненное единство, принесет богатые и новые плоды в художестве, в науках и в быте. Так будет для святой Руси. Но вопрос не об ней, а об нас, получивших знание по ложному пути, оторвавшихся от своей жизненной основы и принявших в себя чуждое нам раздвоение с его умственною мертвенностию. Вопрос в том, будем ли мы в то время, когда жизненное начало Руси будет крепнуть и процветать, только сухим и бесплодным хворостом, мешающим новому прозябению?

Это сомнение в самих себе, это тайное чувство своей мертвенности давно уже высказывалось во многих и лучших представителях нашего просвещения. Скорбя о себе и о всем, что их окружало в обществе, они часто оглядывались с утешительною, но неясною надеждою на ту великую Русь, от которой они чувствовали себя оторванными. Я мог бы это показать в последних творениях Пушкина; но ни в ком болезненное сознание своего одиночества и своего бессилия не высказалось так ясно, как в Лермонтове, к несчастию или не дожившем до сознания, что безжизненность есть принадлежность общества, а не Русской земли, или отвергавшем сознание по личной гордости, свойственной его молодости и обществу, окружавшему его. Эта черта в нем гораздо важнее, чем мнимый демонизм, принятый им задним числом с Запада и восхищавший близорукую публику и безглазую критику.

Время ясного сознания нашей внутренней болезни наступило.

В прежних статьях я говорил о ничтожестве всего, что сделано нами в науке и художествах, и о бессмысленном нашем незнании нашего быта и его начал. Очевидная истина не требует доказательств. Конечно, любопытно бы было проследить все или многие факты нашей умственной деятельности и показать в них, до какой степени мы лишены живых начал, до какой степени взгляд наш ограничен и стеснен тесными границами нашей школьнической подражательности. Но это дело не мое, и я прибавлю только два-три примера, чтобы яснее показать, как наша школьническая подражательность (необходимое следствие отчуждения от своей родной почвы)

убивает в нас ясность разума и даже изобретательность в делах самого простого быта. В недавнем времени происходили жаркие и пустые споры о перемене правописания и о согласовании его с произношением[16]. Толки оказались пустыми и миновали без следа; но в этом деле замечательно одно важное обстоятельство. Никому из спорящих в голову не пришло, что избрание правописания по произношению, т. е. учреждение литературно-аристократического произношения, удалит от чтения русской книги едва ли не половину великорусского народа (говорящего на *о*) и сделает русскую книгу совершенно недоступною нашим братьям-славянам. Теснота салонного взгляда отнимала у писателей понятие даже о собственных их выгодах, уже не говорю об умственном общении земли и народов, нам единокровных. Далее: тогда как изобретение Макадама[17] обещает нам доставить удобные летние пути, никому в голову не пришло, что летний путь доступен только едва ли двадцатой части России, а что зимний путь, который нужен всей России, остается без усовершенствования. Наша изобретательность не подумала даже о возможности постройки зимних дорог из того покорного материала, которым Россия покрыта ежегодно в течение пяти месяцев, между тем как уплотнение снега, начиная с первых порош, должно бы нам доставить и со временем доставит нам зимние пути, не уступающие лучшим летним и, без сомнения, с гораздо меньшим расходом. Мысль эта не пришла потому, что за границей почти нет зимы*.

Точно так же агрономы наши толкуют о гуано и либиховых компостах и не могли придумать, что барда, весьма часто пропадающая даром при сильных винокурениях в октябре,

* Я не называю опытами ни треугольника (кажется, шведского), который, раскидывая снег, производит только безвременную весну, когда еще все поля покрыты снегом; ни предложения о санях с длинными полозьями, предложения неисполнимого и явно недостаточного. Опыт ежедневного прокатывания 30-пудовым катком, к которому спереди укреплена была треугольная борона с зубьями, не дохватывающими до нижнего уровня катка и только сбивающими случайные косицы, имел в продолжение почти целой зимы, как мне известно, великий успех. Но этот опыт был произведен на весьма малом пространстве деревенским жителем и не был никому сообщен. Считаю полезным объявить об нем, в надежде обратить на этот предмет внимание читателей, из которых, может быть, иной вздумает повторить его или придумает лучшее средство. Если бы ежедневное прокатывание дорог (полагая ширину их от двух до шести саженей) дало действительно твердую основу снежного пути, то средняя станция катка была бы около $7^1/_2$ верст, средний расход около 100 рублей на версту и расход на 30 000 верст был бы около 3 милл<ионов> ассигнациями[18]: расход совершенно ничтожный и легко покрываемый копеечным сбором с пуда на 100 верст. Опыт этот, по-видимому, заслуживает поверки.

мае и июне, когда она скоту не нужна, могла бы служить весьма сильным и полезным удобрением. Кажется, можно прибавить (если память меня не обманывает) и то обстоятельство, что в сравнительных таблицах питательности, издаваемых в России, найдешь сарачинское пшено[19] и едва ли не саго, а не найдешь гречихи, которою питается почти вся Россия.

Далее: медицина аллопатическая не позаботится узнать хоть что-нибудь о бесконечном множестве лекарств, известных народу и передаваемых наследственно из рода в род, против многих болезней, с которыми справиться не умеет ученость медицинских факультетов (например, против водобоязни). С другой стороны, медицина омеопатическая не заметила, что в ее симптоматике недостает болезненных симптомов от меда и что при этом недостатке, по основным же правилам омеопатии, успешное лечение золотушной болезни (самой обыкновенной и самой важной в России) совершенно невозможно. Я с намерением взял примеры из самого простого быта или из самых простых приложений науки, чтобы показать, до какой степени наши понятия, почерпнутые из чужой мудрости, и наши мозги, так сказать, заграничной фабрики, мало способны не только разрешать задачи русской жизни, но даже и догадываться, что они существуют. Иначе и быть не может, ибо отрешенный от жизненного общения единичный ум бесплоден и бессилен, и только от общения жизненного может он получить силу и плодотворное развитие.

Всякое замечательное явление, будь оно в добре или зле, будь оно признаком многосторонности или односторонности умственной, подтверждает высказанный мною закон. Газеты недавно дразнили зависть читателей перечнем Ротшильдовых миллионов, но Ротшильд явление не одинокое в своем народе: он только глава многомиллионных банкиров еврейских. Своими семьюстами миллионами, своим правом быть, так сказать, денежною державою обязан он, без сомнения, не случайным обстоятельствам и не случайной организации своей головы: в его денежном могуществе отзывается целая история и вера его племени. Это народ без отечества, это потомственное преемство торгового духа древней Палестины, и в особенности эта любовь к земным выгодам, которая и в древности не могла узнать мессию в нищете и уничижении. Ротшильд факт жизненный. Имена многих великих музыкантов принадлежат к роду еврейскому; к нему же принадлежат многие литераторы, замечательные по остроумию, грации или силе ума и выражения (хотя все представляют что-то ложное в чувстве и мыс-

ли). Отчего же нет ни скульптора, ни живописца? Пластические художества процветали у эллина, поклонника человеческой красоты. Они процветали и у христиан, потому что земной образ человека получил для христианина освящение и и благословение свыше. Они не существовали никогда у еврея, потому что мысль его была свыше поклонения земной красоте; они не могут у него существовать, потому что для него земной образ человека не принял еще высшего значения. Это опять факт жизни. Может быть, величайший из мыслителей нового времени, человек, которого гений управляет, без сомнения, всем сокровенным синтезом современной философии (хотя анализом своим она обязана Бэкону и Канту), основатель наукообразного пантеизма и, если можно так сказать, безверной религиозности,— Спиноза был еврей, и это факт неслучайный: Спиноза должен был быть евреем. Отвергнув Новый Завет, единственное разрешение прежних обещаний, евреи остались при неопределенном понятии о единобожии, переходящем, по необходимости, или к заключению божества в антропоморфизм (духовный или телесный — все равно), или в пантеистическую безличность — аморфизм. Таков был смысл еврейства, отвергающего Новый Завет. В древности преобладало первое стремление, под влиянием еще не ослабевших надежд на пришествие мессии; при ослаблении этой веры должна была возникнуть другая крайность, и явился Спиноза, которого можно отчасти угадывать наперед в пантеизме еврейской кабалы[20], несмотря на ее мистические оболочки. Нет сомнения, что философские школы действовали на Спинозу, как и на всех современных ему мыслителей. Я знаю и мог бы показать это влияние, но это дело постороннее. Важно то, что ни в ком, кроме его, это влияние не дошло и не могло дойти до тех результатов, до которых оно дошло в нем. Современные ему философы были христиане; начало же спинозизма лежало в том еврействе, в котором взрос Спиноза, и оттого-то его пантеизм (в сущности атеистический) сохранил для него характер религиозный и мог даже действовать благодетельно на некоторые благородные природы (как, например, на Стефенса)[21].

Эти три факта, взятые мною из одного народа, но из трех разных сфер умственной деятельности (из быта, художества и науки) пояснят, я надеюсь, для многих из моих читателей понятие мое об истории и понятие об отношениях жизни и просвещения. Одинокость человека есть его бессилие, и тот, кто оторвался от своего народа, тот создал кругом себя пустыню, как бы он ни был окружен множеством лю-

дей и как бы он ни считал себя членом общества. Таково-то наше положение, и потому-то я уже сказал, что вопрос, к которому нас привело исследование о возможности художественной школы, есть для нас вопрос о жизни и смерти в смысле деятельности умственной и духовной. Приобрести жизненные силы посредством полного внутреннего соединения с живым просвещением Запада невозможно: и по распадению западной жизни, и потому, что ее начала, совершенно чуждые Русской земле, возросшей на начале высшем, хотя до сих пор еще неразвитом, не могут быть ни приняты ею, ни привиты к ней. Создать для своего обихода какое-то эклектическое русско-западное существование, бедными силами своего частного рассудка, и потом наложить это существование на величие Русской земли, как мечтают благонамеренные эклектики, утратившие в бессвязном обществе и в мертвой книжности всякое здравое понятие о жизни в ее не частном, но общественном значении, есть, как я уже показал, несбыточная, безрассудная мечта, осуждающая нас на самопроизвольное ничтожество. Поэтому очевидно, что мы не имеем никакой возможности выйти из своего болезненного бессилия и создать в себе или принять извне в себя плодотворное, жизненное начало. Это истина, в которой надобно убедиться глубоко, не оставляя в себе ни тени сомнения или гордого самообольщения. Тогда только, когда мы вполне поймем свою болезнь, поймем и возможность лечения, которая, к счастию, и доступна, и близка к нам.

Жизненное начало утрачено нами, но оно утрачено только нами, принявшими ложное полузнание по ложным путям. Это жизненное начало существует еще цело, крепко и неприкосновенно в нашей великой Руси (т. е. Великой, Малой и Белой), несмотря на наши долгие заблуждения и на наши, к счастию, бесполезные усилия привить свою мертвенность к ее живому телу. То, что было, поросло быльем, и если бы нам приходилось отыскивать свою жизнь в прошедшем, конечно, мы бы ее никогда не отыскали и не воссоздали; ибо создание или воссоздание жизни ничтожными силами одиночных рассудков было бы явлением, противным всем законам духовного мира. Ему могли верить несколько детей-студентов в Германии и несколько детей-стариков во Франции, да могут в ином виде верить несколько детей-социалистов всякого возраста по всей Европе, но не поверит никто, кто сколько-нибудь изучил историю человечества или не утратил в душе своей хотя темное чутье человеческих истин. Жизнь наша цела и крепка. Она сохранена, как неприкосновенный

залог, тою многострадавшею Русью, которая не приняла еще в себя нашего скудного полупросвещения. Эту жизнь мы можем восстановить в себе: стоит только ее полюбить искреннею любовию. Разум и наука приводят нас к ясному сознанию необходимости этого внутреннего преобразования, но я не считаю его слишком легким ни для каждого из нас, ни для всех. Гордые привычки нашей рассыпной, единичной жизни держат каждого из нас в своих оковах. Нравственное обновление — нелегкое дело. Конечно, каждый не только согласен полюбить те светлые жизненные стихии, которые сохранились на Руси, и ту Русь, которая их сохранила, но даже готов думать и уверять, что он любит их всею душою. Может быть даже, эта любовь действительно существует в нас; но она существует, как любовь к неграм, к готтентотам и индейцам существует в добром англичанине, вместе с убеждением в своем умственном и нравственном превосходстве и с надеждою на ролю если не настоящих, то будущих благодетелей. Такая любовь ничтожна, скажу более, она отчасти пагубна. От этого самообольщения трудно, но необходимо должно отказаться; ибо не мы приносим высшее Русской земле, но высшее должны от нее принять.

Мы приносим только кое-какие знания, легко приобретаемые личным трудом каждого, не совсем тупоумного человека; принять же должны жизненную силу, плод веков истории и цельности народного духа. Таков голос добросовестного анализа. Поэтому, чтобы любовь была истинною, она должна быть смиренною. Точно так же, как в науке человек поступает сперва в нижние разряды учеников и подвигается мало-помалу вперед, все более и более отстраняя от себя прихоти своего личного произвола и подчиняясь общим законам человеческого разума, так и человеку, желающему усвоить себе или развить в себе скрытую жизненную силу, должно принести в жертву самолюбие своей личности для того, чтобы проникнуть в тайну жизни общей и соединиться с нею живым органическим соединением. Это дело не мгновения и не дня, а целого существования; ибо, как великий Шиллер сказал в другом смысле, «жизнь покупается только жизнию»:

Denn setzet Ihr nicht das Leben ein,
Nie wird Euch das Leben gewonnen sein*[22].

Наш возврат к этой утраченной жизни нелегок. Мы отор-

* Если не поставите жизнь на карту, Не выиграете жизнь *(нем.)*.— *Ред.*

вались от нее сначала отчасти бессознательно, отчасти поневоле; мы изменили себе, изменяя ей; потом замкнулись в гордости своего мелкого знания, как колония европейских эклектиков, брошенная в страну дикарей; потом, как всякая европейская колония во всех частях света, мы приняли на себя характер завоевательный, конечно, с самыми благодетельными намерениями, но без возможности исполнить их, без сознания ясной цели, к которой стремились, и без того превосходства духа, который, по крайней мере, часто служит некоторым оправданием завоеванию. Следствием этих отношений была, как я сказал, борьба и полускрытая вражда: с одной стороны, подозрение, слишком оправданное, с другой — ничем не оправданное презрение. Эти чувства могут исчезнуть только при нравственном изменении в нас самих. Жизнь, нами долго оскорбляемая, нелегко и не скоро может свыкнуться с нами. Обмануть ее мнимым примирением невозможно, потому что она не имеет и не может иметь личных представителей; да и во всяком случае цель не могла бы быть достигнута обманом. Дело наше — возрождение жизненных начал в самих себе, следовательно, оно может быть исполнено только искреннею переменою нашего внутреннего существования. Но, не скрывая от себя препятствий, которые мы должны по необходимости встретить в своем подвиге, мы можем с радостию и с надеждою сказать себе, что нам одним он возможен изо всех современных народов. Раздвоение, подавляющее в нас духовную силу, есть дело исторической случайности и отчасти следствие недоразумения: оно не лежит ни в основе наших начал духовных, ни в характере нашего народного состава, как в романо-германской Европе; оно было следствием, так сказать, невольного соблазна при первой нашей встрече с богатствами знания, до тех пор нам чуждого; оно должно исчезнуть и исчезнет при полном знакомстве с этим знанием. Остальные народы Европы, возвращаясь к прошедшему, если бы такой возврат был возможен, нашли бы только раздвоение и борьбу; в современном <они> находят и могут найти только то же раздвоение и ту же борьбу, но дошедшую уже до крайности, до окончательного расслабления народной жизни и до безграничного преобладания эгоистической и рассудочной личности (Англия в этом случае составляет исключение, потому что имела народную жизнь, которою объясняются постоянные победы ее над Франциею в средних веках; но я уже сказал, что и она не может найти в себе разрешения своих внутренних задач). Правда, не раз нам случалось слышать от

невежественной критики, вооруженной бессмысленными, но звучными возгласами, что внутреннее раздвоение есть необходимый момент в развитии каждого лица или каждого народа[23]. В доказательство этого произвольного положения не найдется, конечно, ни одного разумного довода: оно возникло из поверхностного знания фактов исторических и из поверхностного наблюдения над современным просвещением. Между тем оно совершенно ложно (если только под словом *раздвоение* не принимать гармонического процесса всякого мышления). Здравое единство не нуждается в моменте раздвоения, которого действительное разрешение есть смерть (точно так же, как двойственность гегелизма не разрешается ни во что, кроме буддгаистического нигилизма[24]). Там, где этот момент действительно наступает или наступил, разумная критика указывает на односторонность или раздвоение начал жизненных и духовных, предшествовавшее явному разрыву и необходимо приводившее к нему. Одностороннее знакомство с Западом и признание его за норму человеческой деятельности привело к произвольной теории, выдаваемой за закон развития человеческого. Те же самые причины привели к ложным понятиям о ходе просвещения и художества: так, например, заграничные теоретики, а вслед за ними многие из наших, в просвещении, особенно же в художестве, признают необходимость двух эпох: народной, безличной, и личной, отрешенной от народности.

Эта теория принадлежит в особенности Франции и Германии[25].

В этих двух странах она имеет некоторый смысл, как наблюдение над домашними явлениями, но она становится ложною, как скоро является с притязаниями быть законом общим. Высшее художественное явление греческой и, может быть, всемирной словесности — творения, носящие имя Гомера, были песнию народною. В тесной области Афин вся бесконечно богатая литература и чудная пластика были явлением чисто народным. Поэзия аравитян принадлежит к тому же разряду, и, конечно, ученая критика не скоро найдет страну, которая превзошла бы красотою своего художественного развития эти две страны. В новейшие времена, как я уже сказал, такие явления не могли повторяться в областях, в которых все носило характер основного раздвоения. За всем тем многие и даже лучшие художественные явления не подлежат мнимому закону, выдуманному досужею критикою. Так, напр<имер>, в Италии идет постоянный размен музыкального вдохновения между народом и маэстрами; так

живопись итальянская есть столько же собственность народа, понимающего и глубоко чувствующего ее красоту, сколько и высших сословий; так поэма Тассо[26] отчасти усвоена и принята венецианскими гондольерами; так в Англии Шекспир принадлежит почти всем сословиям, и Бернс есть поэт народный не потому, что из народа вышел, а потому, что принят народом, как свой. За всем тем внутреннее раздвоение всей организации на Западе бесспорно мешало развитию истинно народных художеств и мешало тем более, чем это раздвоение сильнее. Явления художества народного возможны отчасти в Англии, где существовала народная саксонская стихия, подавленная, но не уничтоженная норманнским наплывом; еще более возможны в низменной Шотландии, где этот наплыв был почти ничтожен; до некоторой степени возможны в Италии или Испании, где от древности до нашего времени внутренний разрыв состава народного был далеко не так силен, как в Средней Европе; в полноте своей невозможны нигде и совершенно невозможны во Франции, где никогда не было ни языка, ни народа, ни истинной жизни. Впрочем, по мере того, как художество народное делается менее возможным, там оскудевает художество и вообще, и Франция по необходимости всегда была в высшей степени страною антихудожественною, то есть не только неспособною производить, но неспособною понимать прекрасное, в какой бы то ни было области искусства. Так, напр<имер>, в наше время Франция и офранцузившаяся публика встречала с слепым благоговением произведения Жорж Санда, которые совершенно ничтожны в смысле художественном (какое бы они ни имели значение в отношении движения общественной мысли), и не нашла ни похвал, ни удивления, когда та же Жорж Санд почерпнула из скудного, но уцелевшего источника простого человеческого быта прелестный и почти художественный рассказ «Чертовой лужи», под которым Диккенс и едва ли не сам Гоголь могли бы подписать свои имена. Художество, как я уже сказал, не есть произведение единичного духа, но произведение духа народного в одном каком-нибудь лице. Сохранение же имен в памяти народной или их забвение есть чистая случайность, не составляющая действительно никакой разницы в истории искусства. Менее ли народны песни аравитян потому, что аравитяне помнят имена их сочинителей, умерших за несколько тому веков?

Что сказано об искусстве, относится и к просвещению вообще; но просвещение истинное, которое есть достояние всех

и ничем иным быть не может, доступно только тем странам, которых внутренний состав основан на единстве стихий племенных и умственных; на Западе же, особенно в тех землях, которые, по-видимому, идут передовыми вожатыми науки, оно невозможно, потому что разница между богатствами лорда, питающегося в Англии тропическими фруктами, и бедного поденщика на угольных копях, с трудом достающего насущный хлеб, не так велика, как разница между их умственными развитиями или между образованием так называемых общественных вершин в Париже и бедных пастухов, бегающих на ходулях за стадами своими по прибережью Бискайского залива. Язва духовного пролетарства ужаснее язвы пролетарства вещественного. Обе неисцелимы везде, где слабость и скудость личная не восполняется и не укрепляется плодотворным общением любви и духа народного. Но то, что теперь недоступно Западу, доступно нам и нашим единокровцам, особенно же единоверцам-славянам.

Кстати о славянах. Некоторые журналы называют нас насмешливо славянофилами, именем, составленным на иностранный лад, но которое в русском переводе значило бы *славянолюбцев*. Я с своей стороны готов принять это название и признаюсь охотно: люблю славян. Я не скажу, что я их люблю потому, что в ранней молодости, за границами России, принятый равнодушно, как всякий путешественник, в землях не-славянских, я был в славянских землях принят, как любимый родственник, посещающий свою семью; или потому, что во время военное, проезжая по местам, куда еще не доходило русское войско, я был приветствуем болгарами не только как вестник лучшего будущего, но как друг и брат; или потому, что, живучи в их деревнях, я нашел семейный быт своей родной земли; или потому, что в их числе находится наиболее племен православных, следовательно, связанных с нами единством высшего духовного начала; или даже потому, что в их простых нравах, особенно в областях православных, таятся добродетели и деятельность жизни, которые внушили любовь и благоговение просвещенным иностранцам, каковы Бланки и Буэ[27]. Я этого не скажу, хотя тут было бы довольно разумных причин; но скажу одно: я их люблю потому, что нет русского человека, который бы их не любил; нет такого, который не сознавал бы своего братства с славянином и особенно с православным славянином. Об этом, кому угодно, можно учинить справку хоть у русских солдат, бывших в турецком походе, или хоть в московском гостином дворе, где француз, немец и итальянец принима-

ются как иностранцы, а серб, далматинец и болгарин как свои братья. Поэтому насмешку над нашей любовию к славянам принимаю я так же охотно, как и насмешку над тем, что мы русские. Такие насмешки свидетельствуют только об одном: о скудости мысли и тесноте взгляда людей, утративших свою умственную и духовную жизнь и всякое естественное или разумное сочувствие в щеголеватой мертвенности салонов или в односторонней книжности современного Запада.

Восстановление наших частных умственных сил зависит вполне от живого соединения с стародавнею и все-таки нам современною русскою жизнию, и это соединение возможно только посредством искренней любви. Иные твердят о своих патриотических чувствах, а «людей в Киеве ничем зовут», как царь Калин в сказке, или ругаются над неученою Русью, как чиновник в повести Достоевского, высказавшего (не знаю, сознательно или нет) в этом презрении Девушкина к мужику и бабе страшное оправдание его собственных страданий[28]. Иные уверяют, что вся будущность русская заключается в грамматическом знании русского языка, как будто бы язык, а не вся духовная сила русского человека, создал нашу великую родину. Она приняла многих, ей служили многие; но ее корни живут и питаются только в душе русских людей. Все эти мнимые формы любви — не любовь. В них суждение самое доброжелательное может признать только холодное благоволение или ту гордую благотворительность, которой лучшим выражением считаю я статью в «Земледельческой газете» прошлого года 12 февраля, начинающуюся снисходительными похвалами смышлености и толку русских крестьян, а оканчивающуюся тем, что автор рассказывает с одобрением, как староста вылечил *кликуш* посредством чего-то вроде рекрутского осмотра[29]. Не так понимаю я любовь и общение.

Общение заключается не в простом размене понятий, не в холодном и не в эгоистическом размене услуг, не в сухом уважении к чужому праву, всегда оговаривающем уважение к своим собственным правам, но в живом размене не понятий одних, но чувств, в общении воли, в разделении не только горя (ибо сострадание — чувство слишком обыкновенное), но и радости жизненной. Только такого рода общение может возвратить нас к началам жизни, нами утраченной, и привести нас из состояния безнародной отвлеченности и мертвой самодовольной рассудочности к полному участию в особенностях, характере и физиономии народа. Наши школьнические полузнания развились бы до науки и развили бы науку, внеся в

нее великие и до сих пор ей чуждые начала, отличающие нас от западного мира с его латино-протестантскою односторонностию, с его историческим раздвоением[30]. В нашем быте отозвалось бы то единство, которое лежало искони в понятии славянской общины и которое заключается не в идее дружинного договора германского или формального права римского (т. е. правды внешней), но в понятии естественного и нравственного братства и внутренней правды*. В художестве наступила бы новая эпоха, и оно перестало бы влачиться бессильно по стезе рабского подражания, а стало бы выражать свободно и искренно (посредством звука, или слова, или формы) идеалы красоты, таящиеся в душе народной; ибо корень искусства есть любовь, формальное же изучение его есть не что иное, как приобретение материальных средств для успешнейшего выражения любимого идеала; но без этого идеала и без любви к нему искусство есть только ремесло. Профессор может сказать ученику или богач своему подрядчику: «Напиши победу Александра Невского над шведами», и ученик или подрядчик напишет русого молодца в завитках, который бьет и рубит более или менее рыжих или русых молодцов. Он может сказать: «Напиши победу Пожарского над Литвою», и опять ученик или подрядчик напишет такого же русого молодца в завитках, который бьет и рубит более или менее русых или черноволосых молодцов. Но во всем этом нет и признака художества, ото всего этого веет могильным холодом. Только в живом общении народа могут проясниться его любимые идеалы и выразиться в образах и формах, им соответственных; но для того, чтобы оживилась наука, быт и художество, чтобы из соединения знания и жизни возникло просвещение, мы должны, сознавая собственное свое бессилие и собственные нужды, слиться с жизнию Русской земли, не пренебрегая даже мелочами обычая и, так сказать, обрядным единством, как средством к достижению единства истинного,— и еще более, как видимым его образом.

Я знаю, что многие говорят с пренебрежением об этих мелочах и что петербургские журналы объявляют во всеуслы-

---

* В истории нашей Руси идея единства общинного лежала всегда, как основной камень всех общественных понятий; но долго происходила борьба мелких общин с идеею великой общины. Наконец, идея единства великой общины восторжествовала, после кровавых смут, ополчением всей Руси за Москву и избранием царя — молодого Михаила. Тогда обнаружилось, что единство, казавшееся следствием исторической случайности при царях Рюриковичах, было действительно делом русской земли.

шание, что народность не в бороде и не в зипуне. Я не спорю. Не имею притязаний на монополию любви к России и не изъявляю сомнения на счет чувств наших критиков. Я готов не только признать в них любовь к нашей святой Руси, но готов признаться и в том, что это чувство похвальнее во многих из них, чем во мне: во мне оно невольно и прирожденно; во многих из них оно — чувство, приобретенное волею и рассудком и, так сказать, наживное. Но, с другой стороны, от этой разницы в начале чувства происходят, может быть, разные понятия о предметах и разные взгляды на народность. Тонкие, невидимые струны, связывающие душу русского человека с его землею и народом, не подлежат рассудочному анализу. Может быть, нельзя доказать, чтобы русская песня была лучше итальянской баркаролы или тарантеллы; но она иначе отзывается в русском ухе, глубже потрясает русское сердце. Точно так же для русского глаза особенно приятны образы, окружавшие его детство и встречавшие его взгляд на свободе сельского простора. Нападение на русское платье есть нападение на свободу вкуса и чувства, нисколько не посягающую на чужой вкус и чужое чувство; оно будет разумно только тогда, когда будет доказано, что фрак разумнее или удобнее зипуна, или когда художники произнесут приговор о сравнительном изяществе нарядов. До тех пор отвержение одежды только потому, что она русская одежда, должно казаться несколько странным, чтобы не сказать: несколько оскорбительным.

Конечно, о таких мелких подробностях не стоило бы упоминать, но не мешает и упомянуть, чтобы привести мысль и чувство так называемой образованной публики к большей простоте (необходимому условию того жизненного общения, о котором я уже говорил). Только в этой безыскусственной простоте может пробудиться возможность искусства, науки и разумного быта; ибо только в живом общении с народом выходит человек из мертвенного одиночества эгоистического существования и получает значение живого органа в великом организме; только при нем может всякая здравая мысль и всякое теплое чувство, возникшее в каждом отдельном лице, сделаться достоянием общим и получить влияние и важность, не изъявляя и не имея притязаний на важность и влияние; только при нем возможно то просвещение, к которому Запад стремится безнадежно и которого достигнуть не может вследствие своего внутреннего раздвоения. Конечно, для каждого из нас перевоспитание самого себя сопряжено с немалым трудом; но труда жалеть не должно, когда предпо-

ложенная цель есть возрождение жизненных начал в нас и развитие истинного просвещения в святой Руси.

Что до меня касается, то, приглядываясь к бесплодным усилиям многих к добру и пользе, прислушиваясь к общим жалобам Европы на безжизненность, на бессвязность, на бесплодность общества, я не могу не считать отрадным такого состояния, в котором каждое частное лицо, как бы ни было низко или высоко его звание, как бы ни были скромны или блистательны его способности, чувствует, что уже одним нравственным достоинством своей жизни оно взносит значительный вклад в общую сокровищницу и что, с другой стороны, сколько бы оно ни вносило в нее, оно всегда получает из нее во сто крат более, чем может принести.

<О СЕЛЬСКОЙ ОБЩИНЕ>

Ты обратил внимание на вопрос, который есть, бесспорно, самый важный изо всех не только русских, но и вообще современных вопросов, хотя его важность далеко не вполне понята у нас и, может быть, совсем не понята в чужих краях. Разбор этого вопроса непременно делится на две части: общую и местную. Первая важнее в теории, но вторая также важна и едва ли даже не важнее на практике.

Однако же, прежде чем я коснусь главного содержания твоего письма и своих объяснений, я должен хоть мимоходом сделать возражение на сомнение, которое ты также выражаешь мимоходом, именно на то, что общность земель противна усовершенствованию хлебопашества по ненадежности и непродолжительности владения. Разумеется, владение, даже продолжительное, хуже собственности в этом отношении. Так кажется; но опыт говорит другое. Ты сам был в чужих краях; скажи по совести, где нашел ты самую низкую степень хлебопашества? Бесспорно, во Франции, где все — собственники. Где высшую? Бесспорно, в Англии, где все — владельцы (ибо собственники, занимающиеся хлебопашеством, там исключение). Итак, владение, по-видимому, не мешает развитию хозяйства, точно так же как собственность не всегда бывает полезною для его развития.

Мне кажется поэтому, что общность владения не может

считаться важною преградою в этом деле. Исторически я сказал бы тебе, что первые следы усовершенствования хозяйства находятся в рассказах о Померании[1], где владение было общинное, и в современном мире мог бы с большою похвалой указать на Северную Россию и особенно на Пермь[2]; но я вообще спрошу тебя: если 25-летнее фермерство (сроки часто гораздо́ короче) благоприятствует землепашеству, отчего 25-летнее владение из общинных земель должно быть ему гибельным? А сроки нераздельного владения бывают очень часто гораздо продолжительнее: часто от деда переходит участок к внуку и даже далее. Вероятно, при полнейшем развитии общины, 20- или 30-летнее владение будет поставлено условием общим и коренным, и тогда главное затруднение будет устранено.

Еще должен я тебе отвечать на твой собственный опыт. Объяснение его очень просто, но нисколько не противно нашей системе. Очевидно, если бы опыт, тобою сделанный, доказывал что-нибудь, то он бы доказал или совершенное равнодушие крестьян к мировой сходке, как при первом выборе, или невозможность единогласия, как при втором. Но ни равнодушия нельзя предположить во множестве деревень, где исстари мир решает все дела и даже самовластно распоряжается судьбою своих членов (отдавая в батрачество, в рекрутство и даже на поселение), ни невозможности единогласия, которое исстари также ведется в этих же деревнях. Что же доказывает твой опыт? Ничего против общины или против единогласия, но, к несчастию, весьма много против вреда, приносимого нами земле русской. Твои предшественники во владении перервали сходку и отучили крестьян от права обычного, заменив его произволом своим или управительским. Тебе трудно было восстановить нить перерванного обычая и отучить от помочей ребенка, которого водили на них слишком долго; но мне кажется или, лучше сказать, я уверен, что ты слишком скоро отстал. Потребовал бы от мира решения, и очень скоро память старого обычая, чувство нравственной правды и пример других миров (если есть сходки в соседстве) привели бы опять дело в порядок. Надобно всем нам помнить пословицу, которую приятель А<ксаков> всегда забывает: болезнь входит пудами, а выходит золотниками.

Теперь посмотрим на местную сторону вопроса, т. е. на отношение его к России. Признáем сперва мировое устройство чем-то прекрасным и драгоценным для всего человечества, и ты, конечно, уже в том не поспоришь, что оно по преимуществу возможно для той земли, где оно существует

доселе и где не нужно его создавать или вводить, а только расширить, или, лучше сказать, допустить до расширения. Эту организацию долго очень старались *подавлять* систематически и не могли подавить; значит, она очень крепко срослась с русскою жизнию, и всякое вырывание такого сросшегося элемента непременно сопровождается болью и страданием во всем организме. Есть ли явная польза в этом страдании? Кажется, никто не решится это утвердить. Прибавь еще следующее. Община хлебопашественная, очевидно, всех легче устраивается и, по-видимому, всех полезнее; Россия же земля и теперь, и надолго по преимуществу хлебопашественная. Далее: общинное устройство, будучи ограничено, заменится у нас по необходимости расширением административности. Тебе известна более чем многим вся мерзость административности в России. Пошатавшись по святой Руси и наглядевшись на все ее слои, ты знаешь, как хороша наша чиновность от грошовой уездной до миллионной столичной. Я думаю, что даже киселевщина[3] не столько еще ужасна для народа увеличением податей (хотя и это бедствие немалое и следствие усиленной административности), сколько размножением чиновничества, которое народ так верно и живописно называет *крапивным семенем*. Наконец, и это всего важнее, всякое государство или общество гражданское состоит из двух начал: из живого исторического, в котором заключается вся жизненность общества, и из рассудочного, умозрительного, которое само по себе ничего создать не может, но мало-помалу приводит в порядок, иногда отстраняет, иногда развивает основное, т. е. живое, начало. Это англичане назвали, впрочем без сознания, торизмом и вигизмом[4]. Беда, когда земля делает из себя tabula rasa* и выкидывает все корни и отпрыски своего исторического дерева: она приходит к тому неисцелимому шатанию, к которому пришла Франция, дающая теперь всему миру великий, но мало понимаемый урок. Беда и то, когда начало умозрительное вздумает создавать. Эта работа постоянного умничанья идет у нас со времен Петра безостановочно и беззапиночно. Какого она вздора насоздала! Теперь оглянись у нас, и ты увидишь, что все у нас ново и бескоренно: мы с тобою, т. е. дворяне, цехи, городовое устройство, чиновничество во всех его разветвлениях, выборы наши, просвещение наше с его прививным характером, наши привычки, все от альфы до омеги. Корень и основа — Кремль, Киев, Саровская пустынь[5], народный быт с его пес-

* чистая доска, пустое место *(лат.)*.— *Ред.*

нями и обрядами и по преимуществу община сельская. Признав основы, можно понять их развитие и, так сказать, разработку. Без них мы, как Франция, tabula rasa; но хуже, чем Франция,— мы предаемся умничанью своего малопросвещенного общества. Община есть одно уцелевшее гражданское учреждение всей русской истории. Отними его, не останется ничего; из его же развития может развиться целый гражданский мир.

Вот местная сторона вопроса об общине; она имеет важность в теории и бесконечно важна на практике. Сделай одолжение, отстрани всякую мысль о том, будто возвращение к старине сделалось нашею мечтою. Одно дело: советовать, чтобы корней не обрубать от дерева и чтобы залечить неосторожно сделанные нарубы, и другое дело: советовать оставить только корни и, так сказать, снова вколотить дерево в землю. История светит назад, а не вперед, говоришь ты; но путь пройденный должен определить и будущее направление. Если с дороги сбились, первая задача — воротиться на дорогу.

Сторона общего вопроса труднее (как и всякое общее положение более подвергается спору), чем местная; но думаю, что и она представляет довольно убедительные доводы в пользу нашего мнения. Во-первых, мне кажется, ты не совсем прав, когда отстраняешь западный пролетариат от западного индивидуалистского устройства общества. Не довольно этого, что ты находишь причину пролетариата в излишнем расширении прав и привилегий классов, некогда властвовавших; я в этом не спорю, и, думаю, редко кто не согласится с тобою. Но этого, как я сказал, не довольно; надобно бы было отвечать на вопрос: «Был ли бы, однако, пролетариат возможен, если бы сельская община существовала по-нашему?» Ты на этот вопрос не отвечаешь, а ответ был бы по необходимости отрицательным и, следовательно, в нашу пользу. Во-вторых, ты немножко согрешил против логики; ибо в одно время ты отрицаешь благодетельное влияние общинности на ограничение бедности и говоришь опять против общины, что не следует выгод общества отдавать в жертву выгодам нищего, который не может считаться законным представителем общества. С этим положением я согласен, но вижу, что ты сам чувствуешь благодетельное влияние общины, с одной стороны, хотя и не признаешься в нем, а с другой стороны, вижу, что ты приписываешь общине какие-то интересы, противные интересу общества, весьма произвольно. Все, что можно было утверждать, это то, что общине приносятся в жертву не выгоды об-

щества, а некоторая часть неограниченных прав лица индивидуального, что, по-моему, не может считаться убытком, ибо вознаграждается с лихвою, о чем скажу после. Впрочем, делая этот попрек тебе, издавна известному мне строгому логику, я знаю, что письмо не диссертация, и наперед сам прошу некоторого снисхождения за промахи, которые ты встретить можешь у меня, и, сверх того, помню, что твои возражения имеют более характер вопросительный, чем отрицательный.

Мне известны до сих пор в нерусской Европе только две формы сельского быта: одна английская, сосредоточение собственности в немногих руках; другая — французская после революции, бесконечное дробление собственности. Все прочие формы относятся к этим двум как степени переходные, еще не дошедшие до своего крайнего развития. Первая очень выгодна для сельского хозяйства и усиливает до невероятности массу богатства, напрягая умственные способности селянина посредством конкуренции в найме и бросая сильные капиталы на опытное усовершенствование земледельческой практики. Вот ее достоинство; но зато самая конкуренция, безземелие большинства и антагонизм капитала и труда доводят в ней по необходимости язву пролетарства до бесчеловечной и непременно разрушительной крайности. В ней страшные страдания и революция впереди.

Вторая форма, французская, дробление собственности, невыгодна для хозяйства, замедляет его развитие и во многих случаях (именно там, где нужны значительные силы для побеждения какой-нибудь преграды) делает его совершенно невозможным; но это неудобство считаю я не слишком значительным в сравнении с выгодами дробной собственности. Нет сомнения, что введение этой системы во Франции удаляет, а может быть, даже отстраняет навсегда нашествие пролетарства, ибо оно мало известно в сельском быту Франции и является только в виде исключения в некоторых слишком неблагодарных местностях. Нищета есть принадлежность городов французских, а не сел. Но зато эта форма имеет другой существенный недостаток, который в государственном отношении не лучше пролетарства: это полная разъединенность. Таков результат во Франции современной, по свидетельству самих французов; таков он будет непременно везде. Разъединенность же есть полное оскудение нравственных начал; а заметь, что оскудение нравственных начал есть в то же время и оскудение сил умственных. От этого в нищенствующих селах Англии восстают беспрестанно сильные умы, которых деятельность отзывается на всю Англию; а в полях

(селами их назвать нельзя) Франции человек так слаб и глуп, что от него не добьется общество ни одной мысли. Он просто немой: от него ни слуха, ни послушания, по русской поговорке. Конечно, я не восстаю <ни> против собственности, ни против ее эгоизма; но говорю, что, если, кроме эгоизма собственности, ничто не доступно человеку с детства, он будет окончательно не то чтобы дурной человек, а безнравственно-тупой человек; он одуреет. Слышать только об деле общем и потом в нем участвовать, слышать с детства суд и расправу, видеть, как эгоизм человека становится беспрестанно лицом к лицу с нравственною мыслию об общем, о совести, законе обычном, вере, и подчиняться этим высшим началам, это — истинно нравственное воспитание, это — просвещение в широком смысле, это — развитие не только нравственности, но и ума.

Итак, община столько же выше английской фермы, которой бедствия она устраняет, сколько и французской, которая, избегая бобыльства физического, вводит бобыльство духовное и дает городам такой огромный и гибельный перевес над селом.

Но ты допускаешь общину как судящую, как правящую, но не как хозяйствующую. Это, так сказать, введение городского права в село, ибо таковы основания так называемого городового общества, весьма далекого от сельской общины. Мне кажется, это было бы обманом, делом начатым, но не конченным. Странное дело: общность расхода без всякого общения в приходе. Я говорю это, предполагая, что ты допускаешь нечто похожее на общинный бюджет; даже скажу: странное дело суд, принадлежность всего общества, делать зависимым от местности. Такая зависимость имеет смысл при изменении отношений между людьми, т. е. при переходе теперешнего европейского *сожительства* в *общинное товарищество*; без того она и смысла не имеет. Таким образом, довершенное городовое начало есть не что иное, как наше сельское. Но эти доказательства имеют в себе что-то слишком теоретическое или отвлеченное.

Вот доказательство другое, более практическое и, по моему мнению, решительное. Ты признаешь (да и кто же в наше время может не признавать?), что общество должно пещись о своих бедных, также и всякая община. Естественное последствие такого признания: больницы, богадельни, налог в пользу неимущих и проч., весь английский poor taxe* и все

* налог в пользу бедных *(англ.).— Ред.*

устройство английских приходских приютов. Об их недостатках много говорено, но говорено только односторонне, и надежда на лучшее устройство не оставлена. Эту надежду должно оставить: она противна разуму. Во-первых, в пользу нашей общины должно заметить, что она почти не нуждается в средствах противунищенственных, ибо сама отстраняет нищенство почти совершенно; а предварять зло всегда лучше, чем исправлять зло. Во-вторых, все другие противунищенственные средства не годятся никуда. Налагая налог на имущих в пользу неимущих, что мы делаем? Даем одним право без обязанности, другим — обязанность без права. Право — неимущим, обязанность — имущим. Вторым слишком тяжело, и они должны естественно стремиться к тому, чтобы обязанность свою облегчать и неимущих держать в черном теле. Да и неимущим нелегко: они имеют право на корм; но это право есть в то же время страшное угнетение, ибо им никогда уже или почти никогда не будет возможности выбиться из нищеты, они осуждены на вечное пролетарство. И так учреждается борьба, в которой обе стороны должны роптать и страдать: отношение крайне безнравственное. Иначе вы с обязанностию соедините право, т. е. прокормление покроете работою. Это уже будет учреждение в роде тюремном: неимущий продан имущему. Тягость для имущего несколько облегчается, но зато вражда усиливается, отношения становятся еще безнравственнее, и язва пролетарства неисцельнее.

Таковы неизбежные последствия всякого учреждения в пользу бедных мимо общины; при общине же нет ничего и похожего на это. При ней возможна только временная нищета, ибо все члены общины суть товарищи и пайщики. Взаимное вспоможение имеет уже характер не милостыни (которая истекает из чувства христианского и, следовательно, не может быть предписана законом), не подаяния невольного, которое кладет скудный кусок нищему в рот для того только, чтоб он не вздумал взять себе пищу насильно, но обязанности общественной, истекающей из самого отношения товарищей друг к другу и обусловленной взаимною и общею пользою. Русская поговорка говорит: «Кормится сирота, растет миру работник». Это слово важное; в нем разрешается задача, над которою трудятся бесполезно лучшие головы Запада. Нищета же безысходная при общине делится на два случая: на нищету, происходящую от разврата, и на нищету от сиротства и несчастия (вдова или старик совершенно безродные). В первом случае община очищает себя исключением виновного, как неисправного и негодного товарища; а

второй случай, встречающийся весьма редко, достаточно покрывается чувством братского сострадания и никогда не может служить источником общественного зла. Разумеется, что без ослепления фанатического нельзя предполагать, чтобы такое устройство совершенно отстранило все бедствия и все злоупотребления и чтобы богатый общинник не мог иногда разработывать случайную бедность товарищей, особенно в областях промышленных; но такое явление по необходимости будет иметь только непродолжительные следствия и уступит силе товарищественного начала. Я называю общинное товарищественным в его частном приложении к хозяйству; но не должно забывать, что, по своей многосторонности и особенно по своей нравственной основе, оно несравненно шире и плодотворнее.

До сих пор я говорил только о хлебопашественной общине. Довольно бы было признать ее важность и пользу для того, чтоб оправдать наше стремление; но ты требуешь большего: ты хочешь, чтобы начало общинное для полного своего оправдания доказало свою удобоприлагаемость во всех случаях и по преимуществу в развитии промышленности фабричной. Ответ положительный и определенный мне кажется невозможным в наше время; возможна только догадка, основанная на вероятностях, а вероятности будут опять в нашу пользу. Всеобщее стремление во всей Европе свидетельствует об одном: о борьбе капитала и труда и о необходимости помирить этих двух соперников или слить их выгоды. Стремление всеобщее и разумное встречает везде неудачу; неудача же происходит не от какой-нибудь теоретической невозможности, но от невозможности практической, именно от нравов рабочего класса. Эти нравы — плод жизни, убившей всю старину с ее обычаями (т. е. плод развития в смысле вигизма),— не допускают ничего истинно общего, ибо не хотят уступить ничего из прав личного произвола. Для них недоступно убеждение, что эта уступка есть уже сама по себе выгода для лица; ибо, уступая часть своего произвола, оно становится выше, как лицо нравственное, прямо действующее на всю массу общественную посредством живого, а не просто отвлеченного или словесного общения. Это убеждение будет доступно или, лучше сказать, необходимо присуще человеку, выросшему на общинной почве. Община промышленная есть или будет развитием общины земледельческой.

Учреждение артелей в России довольно известно; оно оценено иностранцами; оно имеет круг действий шире всех по-

добных учреждений в других землях. Отчего? Оттого, что в артель собираются люди, которые с малых лет уже жили по своим деревням жизнию общинною. В артелях мало, почти нет, мещан, мало дворовых. Вся основа — крестьяне или вышедшие из крестьянства. Это не случайность, а следствие нравственного закона и жизненных привычек. Конечно, я не знаю ни одного примера совершенно промышленной общины в России, так сказать фаланстера[6], но много есть похожего; например, есть мельницы, эксплуатируемые на паях, есть общие деревенские ремесла и, что еще ближе, есть деревни, которые у купцов снимают работу и раздают ее у себя по домам. Все это не развито; да у нас вся промышленность не развита. Народ не познакомился с машинами; естественная жизнь торговли нарушена. Когда простее устроится наш общий быт, все начала разовьются и торговая или, лучше сказать, промышленная община образуется сама собою.

Об нас и об нашем отношении к общине покуда я не говорю. Со временем мы срастемся с нею. Но как? Этого решать нельзя. Смешно было бы взять на себя все предвидеть. Право приобретать собственность, данное крестьянину, не нарушает общины. Личная деятельность и предприимчивость должны иметь свои права и свой круг действия; довольно того, что они будут всегда находить точку опоры в сельском мире и что в нем же или через него они будут мириться с общественностью, не вырастая никогда до эгоистической разъединенности. То же, вероятно, будет и с нами. Но это еще впереди и как бог даст. Допустим начало, а оно само себе создаст простор.

Вот, любезный друг, мои объяснения. Отвечай и опровергай то, что тебе покажется ложным или темным; с остальным соглашайся. Твое согласие нам дорого. Статей никаких не посылаю и не назначаю; во всех только намеки.

АНГЛИЯ

Л<юбезный> д<руг!>

Беда достопочтенный говорит, как известно, об англосаксах-идолопоклонниках, что они должны отрекаться от Чернобога и Сибы. Егингард называет Белбога в числе саксонских

богов. Итак, стихия славянская в приморских саксонцах не подвержена сомнению. Но в котором из их племен можем мы ее найти? Коренные саксы — бесспорные германцы с примесью скандинавской. Юты также германцы, может быть, с примесью кимврской. Остаются варны и англы. И те и другие, повидимому, принадлежат славянским семьям; но англы важнее варнов и, следовательно, могли сильнее действовать на религию всего саксонского союза и на его общественный быт, давая ему своих богов, давая его начальникам славянское название *Вледик* (или Владыка) и вводя в обычай славянский суд целовальниками или поротниками, т. е. присяжными. Англы перешли, как известно, из Померании, т. е. из славянского Поморья, в Тюрингию, а оттуда к устьям Рейна, откуда они переселились в Англию и дали ей свое имя. Имя это связывается весьма ясно с именем царственного рода Инглингов или Енглингов (Енгличей), потомков Фрейера, бога придонского, от которого вели свой род Енгличи скандинавские, так же как и князья англов в Англии, называя его Ингви, Ингин или Ингиуни (Ингви Фрейр по Ара Фроде и Снорро). Итак, в имени Инглинг, Енглинг или Англинг (Енглич или Англич) мы находим только носовую форму славянского племенного имени угличей (так же как слово «тюринг» совпадает с словом «тверич»).

Так думал я прошлого года в Остенде, где приятно делил время между купаньем, шатаньем по бесплодным дюнам, пистолетной стрельбой и беседой с русскими приятелями. Надобно же посетить землю угличан, иначе англичан, которая так близка к Остенде.

Был теплый июльский вечер. После чая пошел я гулять по городу. Часов в 10 зашел в кофейню и вижу, что в 12 часов ночи отходит в Англию «Тритон», лучший из пароходов, содержащих прямое сообщение Остенде с Лондоном. Я поспешил домой, сообщил это известие всей моей компании, и после очень короткого совещания решено было ехать. Полчаса сборов да полчаса ужина,— и в половине 12-го отправились мы, большие и малые, на пристань. [Гоголь нас проводил до пристани и пожал нам руку на прощанье.] Без четверти в 12 были мы на пароходе; в 12 часов заворчал котел, завертелись колеса, и мы пошли.

Едва тронулись мы с места, как от колес парохода, и от его боков, и позади его, побежали огненные струи. Это была игра морской фосфорности. Она уже была мне известна по другим морям и не раз веселила меня в Остенде во время ночного прибоя, но никогда не видал я ее в таком блеске, матро-

сы говорили, что нам особенное счастие. Длинные волны яркого света, то белого, то бледно-голубого, окружали наш пароход и от него бежали в даль, казалось, на полверсты или на версту. Одна волна гасла, другая загоралась; свет брызгал от колес; светлой змеей бежал наш след по морю, и глаза наши не могли нарадоваться на огненную прихоть воды. Фосфоричность продолжалась около часа, слабея по мере нашего удаления от берегов; через час она прекратилась совершенно. Кругом нас была темная синева моря, над нами безоблачная синева неба! Мало-помалу ушли все пассажиры с палубы; я остался один, но не решился сойти в каюту. Ночь была теплая, тишина совершенная; ни одной волны на море, множество светлых звезд на небе. Пароход бежал, как лихой рысак, по 15-ти узлов (около 23-х верст) в час; машина его играла верно и ровно, как бой часов; земля, мне незнакомая, становилась все ближе и ближе: тут было не до каюты. То ходил я по палубе, то ложился отдыхать на лавке, то заговаривал с рулевым, который мне отвечал, несмотря на запрещение, писанное крупными буквами: да ведь их ночью не видать. Он спросил у меня, бывал ли я когда-нибудь в Англии, и, когда я сказал, что не бывал, он прибавил с улыбкою добродушной уверенности: «О, вы полюбите нашу старую Англию» (Oh Sir! you'll like our old England). Посмотрим, сбудется ли предсказание.

Рассвело. Утро было так же тихо и безоблачно, как и ночь; только легкая рябь пробегала по морю, горя и сверкая от солнечных лучей. Мало-помалу вдали на Западе стал подниматься над водою белый гребень английского берега. Впереди нас, потом и вправо, и влево, стали показываться паруса разной величины, потом десятки парусов, потом сотни; между ними там и сям чернели дымные полосы пароходов. Мы приближались к устью Темзы; берега Англии стали ниже и зеленее, кругом нас было множество отмелей. Вход в устье Темзы небезопасен даже для дружеского корабля; он был бы еще опаснее для недруга. А входил же в него смелый Голландец с помелом на мачте[1]! Правда, с того времени прошло два века, и теперешняя Англия не Англия Стюартов; но много могут сила и воля человека. Мы вошли в Темзу, остановились у таможни, пересели на мелкий пароход, также необыкновенно скорый на ходу, и пошли далее. Справа, слева, впереди нас — сотни, кажется, тысячи мачт: сильнее, живее торговая жизнь. Над водою и на небе легкий туман, в тумане довольно высокий берег, над берегом страшная громада строений, над ними башни, колокольни, огромный купол; еще

далее верхи колонн, стрелки готических колоколен,— город бесконечный, невообразимый. Это Лондон. По Темзе, которой ширина немного уступает ширине Невы, теснятся корабли, пароходы и лодки. Чрез нее, один за одним, один другого смелее и величественнее, перегибаются каменные мосты. Мы стояли на пароходе, не отводя глаз от этого чудного зрелища, в каком-то полувеселом, полуиспуганном изумлении. Пароход шел быстро против течения, минуя башни и мосты, дворцы и куполы; наконец он причалил к пристани у цепного моста. В одно время с нами причаливали к ней и отчаливали от нее 9 пароходов, и все полны. «Что это? Какой-нибудь праздник?» Нет: здесь почти всегда то же. На пристани толпа непроходимая; по высокой лестнице поднялись мы на берег, та же толпа на берегу; пошли по улицам, та же толпа на улицах. Мы добрались до трактира (Иоркский отель, который всем рекомендую), утомленные не путем, а впечатлениями. Едва ли кто-нибудь может забыть въезд в Лондон по Темзе.

Вечером и на другой день бродили мы по городу: везде такое же многолюдство, такое же движение. Нигде художественной красоты, но везде огромные размеры и удивительное разнообразие. Скоро узнал я Лондон довольно коротко; мне стало в нем уютно и как будто дома. Я видел башню Лондонскую с ее вековыми твердынями, видел Вестминстерское аббатство с его сотнями гробниц, которых малая часть была бы достаточна для славы целого народа, и видел, как благоговеют англичане перед величием своей старины; я видел Гошпиталь Христа[2], в котором ученики ходят еще и теперь в странном наряде тюдорских времен; и Лондон стал мне понятен: тут вершины, [да зато] тут и корни.

Не в первый раз и немало бродил я по Европе, немало видел городов и столиц. Все они ничто перед Лондоном, потому что все они кажутся только слабым подражанием Лондону. Кто видел Лондон, тому в Европе из живых городов (об мертвых я не говорю) остается только видеть Москву. Лондон громаднее, величественнее, люднее; Москва живописнее, разнообразнее, богаче воздушными линиями, веселее на вид. В обоих жизнь историческая еще цела и крепка. Житель Москвы может восхищаться Лондоном и не страдать в своем самолюбии. Для обоих еще много впереди.

Два дня сряду ходили мы по Лондону, и все то же движение, то же кипение жизни. На третий день поутру пошли мы к обедне в церковь нашего посольства. Улицы были почти пусты: кое-где по тротуарам торопливо пробегали люди, опоз-

давшие к церковной службе. Через два часа пошли мы назад. На улицах движения не было: только по тротуарам шли толпы людей, которых лица выражали тихую задумчивость; они возвращались домой от службы церковной. Та же тишина продолжалась целый день. Таково воскресенье в Лондоне. Странен вид этой пустоты, странно безмолвие в этом громадном, шумном, вечно кипучем городе; но зато едва ли можно себе представить что-нибудь величественнее этой неожиданной тишины. Мгновенно замолкли заботы торговой жизни, исчезли заманки роскоши, закрылись эти цельные, двухъярусные стекла, из-за которых выглядывают, кажется, все сокровища мира; закрылись мастерские, в которых неутомимый труд едва может снискать себе насущный хлеб; успокоилась всякая суета: два миллиона людей самых промышленных, самых деятельных в целом свете остановили свои занятия, перервали свои забавы, и все это из покорности одной высокой мысли. Мне было отрадно это видеть; мне было весело за нравственность воли народной, за благородство души человеческой. Странное дело, что есть на свете люди, которые не понимают и не любят воскресной тишины в Англии: в этой непонятливости видна какая-то мелкость ума и скудость души. Конечно, не все, далеко не все англичане празднуют воскресенье духовно так, как они соблюдают его наружную святость; конечно, между тем как на улицах видно везде благоговейное спокойствие, во многих домах [иногда самых аристократических,] идут дела порока и разврата. Что ж? «Люди фарисействуют и лицемерят»,— скажешь ты. Это правда, но не фарисействует и не лицемерит народ. Слабость и порок принадлежат отдельному человеку, но народ признает над собою высший нравственный закон, повинуется ему и налагает это повиновение на своих членов. Пусть немец и особенно француз этого не понимают, в них непонятливость извинительна; но досадно, когда слышишь русских или людей, которые должны бы быть русскими, вторящих слова французов и немцев. Разве первый день пасхи в России не соблюдается так же строго, как воскресенье в Англии? Разве во время великого поста пляшут хороводы или раздаются песни в русских деревнях? Разве есть какие-нибудь общественные увеселения даже в большей части городов? Конечно, в больших городах представляются исключения, но можно понять эти исключения и их причины. [В России высшее общество так просвещено и проникнуто такою духовною религиозностию, что оно не видит нужды во внешностях народного обычая[3]. Англия не имеет этого счастия и поэтому строже соблюдает общий обряд.]

Но, скажешь ты, если я магометанин, я праздную пятницу; если я жид, я праздную субботу: в обоих случаях какое мне дело до английского воскресенья? Правда; но в чужой монастырь с своим уставом не ходят, а народ английский полагает, что он в Англии дома.

Я не стану тебе рассказывать о своем житье-бытье в Лондоне, о своих поездках в Оксфорд или Гамптон, о парках, замках и садах, которым вся Европа подражает и подражать не умеет, об изумрудной зелени лугов, о красоте вековых деревьев и особенно дубов, которым ничего подобного я в Европе не видал, несмотря на то, что я видал немало лесов, в которых, может быть, никогда не стучал топор дровосека: все это останется для наших вечерних бесед и рассказов. Я скажу тебе только вкратце про впечатление, произведенное на меня Англиею, и про понятие, которое я из нее вывез.

Я убежден, что, за исключением России, нет в Европе земли, которая бы так мало была известна, как Англия. Ты назовешь это парадоксом; пожалуй, ты и посмеешься над моим убеждением: я на это согласен. Сперва посмейся, а потом подумай, и тогда ты поверишь возможности этого странного факта. Известия об Англии получаем мы или от англичан, или от иностранных путешественников. Нельзя полагаться ни на тех, ни на других. Народ, точно так же как человек, редко имеет ясное сознание о себе; это сознание тем труднее, чем самобытнее образование народа или человека (разумеется, что я говорю о сознании чисто логическом). К тому же должно прибавить, что изо всех земель просвещенной Европы Англия наименее развила в себе философский анализ. Она умеет выразиться целою жизнию своею, делами и художественным словом, но она не умеет отдать отчет о себе. Иностранные путешественники могли бы сделать то, что невозможно англичанам; но и тут встречается важное затруднение. Англия, почти во всем самобытная, сделалась предметом постоянного подражания, а неразумение есть всегдашнее условие подражания. Человек ли обезьянничает человеку, или народ ломается, чтобы сделаться сколком другого народа, в обоих случаях человек или народ не понимают своего оригинала: они не понимают того цельного духа жизни, из которого самобытно истекают внешние формы; иначе они бы и не вздумали подражать. Подражатель — самый плохой судья того, кому подражает, а таково отношение остальных народов к Англии. Вот простые причины, почему жизнь ее и ее живые силы остаются неизвестными, несмотря на множество описаний, и почему все рассказы об ней наполнены ложными

мыслями, которые, посредством повторения, обратились почти в поверья.

«Англичане негостеприимны, не любят иностранцев, даже до такой степени, что не позволяют у себя иностранного наряда». Это мы слышим от многих путешественников, даже от русских. По собственному опыту я могу сказать, что в этом нет ни слова правды, и убежден, что все русские, которые бывали в Англии, согласятся со мной. Нигде не встречал я больше радушия, нигде такого дружеского, искреннего приема. Конечно, нет в Англии того безразборчивого растворения дверей перед всяким пришлым, которое кое-где считается гостеприимством; быть может даже, английская дверь растворяется тугонько; но зато, кто в английский дом взошел, тот в нем уж не чужой. Англичанин не совсем легко принимает гостя; но это потому, что, принявши его, он хочет его уважать. Такое понятие, конечно, не показывает недостатка в гостеприимстве. Мои знакомые в Лондоне не жалели никаких хлопот, чтобы доставить мне возможность видеть все, что мне видеть хотелось, а в Оксфорде они нарушали даже свои собственные обычаи для того, чтобы угостить меня по обычаям русским. То же самое испытал и другой русский путешественник, посетивший Англию за год прежде меня. Иностранцы обвинили Англию в негостеприимности, потому что не поняли истинного английского понятия о госте; а англичане не умеют себя оправдать, потому что предполагают свои понятия в других народах.— «Англичане не любят иностранцев и даже не терпят иностранного наряда». Конечно, нельзя сказать, чтобы англичане оказывали большую любовь иностранцам; да я не слишком ясно понимаю, за что какой бы то ни был народ должен бы особенно любить иностранцев. Иная земля любит их, как своих образованных учителей; немец любит их, как своих учеников; француз любит их, как зрителей, которым он может сам себя показывать. Англичанину они не нужны, и поэтому он остается к ним довольно равнодушным: это очень естественно. Но если англичанин узнает в иностранце не праздно шатающегося бездомника, не разгулявшегося трутня, а человека искренно и добросовестно трудящегося на поприще просвещения, дело переменяется, и радушный, дружеский прием доказывает иностранцу глубокое сочувствие английского народа. С другой стороны, предубеждение, будто бы в Англии даже наряд иностранный нетерпим, совершенно несправедливо. Я это видел и испытал. [Решившись,] несмотря на предостережение знакомых, [нисколько не переменять своей обыкновенной одежды,] ходил я в Англии, [как и везде,] в

бороде (а бород в Англии не видать), в мурмолке[4] и простом русском зипуне, был на гуляньях, в многочисленных собраниях народа, бродил по глухим, но многолюдным и, как говорят, полудиким закоулкам Лондона и нигде не встречал ни малейшей неприятности. В то же самое время французы жаловались на неприятности, несмотря на то, что их платье было, по-видимому, гораздо ближе к английскому. Отчего такая разница? Причина очень проста. Я, как русский, ходил в одежде, французы по своему народному характеру ходили в наряде; а англичане не любят очевидных притязаний. Это — черта народного характера, которую можно хулить или одобривать, но которая ничего не имеет общего с неприязнию к иностранцам. Вообще, я думаю, что Англия равнодушна к иностранцам и этого осуждать не могу; но привет и ласки, с которыми на улицах, на пароходах и в лавках встречали англичане русских детей в их русском платье, заставляют меня даже предполагать, что это равнодушие несколько смешано с дружелюбием.

Говорят еще: «Англичане народ чопорный и церемонный». Опять ложное мнение. Правда, англичанин очень любит белый галстук и едва ли не прямо с постели наряжается во фрак; правда, он редко заговаривает с незнакомым и не любит, чтоб незнакомый с ним заговаривал; он представляет, наконец, какую-то чинность в обхождении, несколько похожую на чопорность. Но опять это должно понять, и обвинение исчезнет. Англичанин любит белый галстук, как он любит вообще опрятность и все то, что свидетельствует об ней. В бедности, в состоянии, близком к нищете, он употребляет невероятные усилия, чтоб сохранить чистоту; и комиссары правительства, в своих разысканиях о бедных [страдании низших классов], совершенно правы, когда рассказывают о нечистоте жилищ, как о несомненной примете глубочайшей нищеты. Поэтому белый галстук не то для англичан, что для других народов. То же самое скажу я и о фраке. Это не наряд для англичанина, а одежда, и одежда народная. Кучер на козлах сидит во фраке, работник во фраке идет за плугом. Можно удивляться тому, что самая уродливая и нелепая из человеческих одежд сделалась народною; но что ж делать? Таков вкус народный. Еще страннее и удивительнее видеть, когда люди [из другого народа] бросают свое прекрасное, свое удобное народное платье и перенимают чужое уродство: я говорю это мимоходом. Во всяком случае должно признать, что фрак чопорен у других и нисколько не чопорен у англичан, хотя он одинаково бестолков везде. Нельзя не признаться, что отношения

англичанина к незнакомому несколько странны: он неохотно вступает с ним в разговор. Конечно, и эта черта очень преувеличена в рассказах путешественников-анекдотистов; по крайней мере, ни во время путешествия по Европе, ни в Англии я не был поражен ею, вступал с островитянами в разговор без затруднения и находил иногда более труда развязать язык иному немцу, особенно графского достоинства, чем английским лордам; за всем тем я не спорю в том, что они менее приступны, чем наши добродушные земляки или говорливые французы. Трудно судить о народе по одной какой-нибудь черте. Англичанин, выходя из кареты, в которой он разменялся с вами двумя-тремя словами, очень важно подает вам свое пальто с тем, чтобы вы помогли ему облачиться. Вам это покажется крайней грубостью; но он ту же услугу окажет и вам. Таков обычай. Англичанин неохотно вступает с вами в разговор. Вам это кажется неприступностью, но во многом он скорее других готов дружиться с незнакомым и верит новому знакомому. Так, например, весьма небогатый англичанин, с которым я два дня таскался по горам швейцарским[5], встретив меня в Вене в совершенном безденежье, почти заставил меня принять от него деньги на возвратный путь и насилу согласился взять от меня расписку; а должно сказать, что все богатство, которое он мог при мне заметить, состояло в старом сюртуке и чемодане величиной в солдатский ранец. Англичанин вообще не очень разговорчив, он и подавно неразговорчив с иностранцем: это не чопорность и не церемонность. Смешно бы было взять на себя разгадку всякой особенности в каком бы то ни было народе, и я не берусь объяснить эту черту в англичанах; но, может быть, объяснение ее состоит в том, что слово в Англии ценится несколько подороже, чем в других местах; что о пустяках говорить не для чего, а о чем-нибудь подельнее — говорить с незнакомым действительно неловко в земле, в которой разница мнения очень сильна и часто принимает характер партий. Я не берусь доказывать, чтоб Англия ни в чем не имела лишней чопорности: это остаток очень недавней старины. Тому лет сорок общество во всей Европе было чопорно, а Англия меняется медленнее других земель; но на этом останавливаться не для чего, и мне кажутся решительно слепцами те, которые не замечают во многом гораздо более простоты у англичан, чем где-либо. Пойдите по лондонским паркам, даже по Сент-Джемскому, взгляните на игры детей и на их свободу, на группы взрослых, которые останавливаются подле незнакомых детей и следят за их играми с детским участием. Вас поразит эта простота жизни. Пой-

дите в Гайд-парк. Вот несется цвет общества на лихих статных лошадях, все блещет красотою и изяществом. Что ж? Между этими великолепными явлениями аристократического совершенства являются целые кучки людей, на каких-то пегих и соловых клячонках, которые точно так же важно разгуливают по главным дорогам, как и чистокровные лорды на своих чистокровных скакунах. Это горожане, богатые, иногда миллионные горожане. Что им за дело до того, что их лошади плохи и что сами они плохие ездоки! Они гуляют для себя, а не для вас; для своего удовольствия, а не для показа. Это простота, которой себе не позволят ни француз, ни немец, ни их архичопорные подражатели в иных землях.— Поезжайте в Ричмонд, в этот чудный парк, которого красота совершенно английская, великолепная растительность и бесконечная, богатая, пестрая даль, полусогретая, полусокрытая каким-то светлым, голубым туманом, поражают глаза, привыкшие даже к берегам Рейна и к прекрасной природе Юга. Тысячи экипажей ждут у решетки, тысячи людей гуляют по всем дорожкам; на горе, по широкому лугу, мелькают кучи играющих детей; хохот, веселый говор несется издали. Поглядите: все ли это дети? Совсем нет. Между детьми и с ними и отдельно от них играют и бегают взрослые девушки с своими ровесниками, так же весело и бесцеремонно, как будто дети, и они принадлежат если не высокому, то весьма образованному обществу. Они словно дома, и им опять, как ездокам в Гайд-парке, нет никакого дела до вас. Я это видел, и не раз. А где еще увидите вы это в Европе? И разве это не простота нравов? Сравните словесность английскую с другими словесностями, и то же опять поразит вас; сравните пухлую, фразистую, цветистую и кудрявую речь французского депутата с простым, несколько сухим, но энергическим и резким словом английского парламента. Вслушайтесь в эти шутливые выходки, в этот поток едкой иронии и в громкий, непритворный смех слушателей, и скажите потом, где простота? А Англия считается чопорною, а вечно актерствующая Франция простою. От слов перейдите к делу. Где делается оно простее и где такие малосложные средства дают такие огромные результаты? Где ум идет к цели так прямо? Человек триста собрались в большой комнате в вечных своих черных фраках, сидят кто как попал, почти в беспорядке; иной полулежит, иной дремлет; один какой-нибудь из присутствующих говорит с своего места: это парламент, величайший двигатель истории Англии. Человек пять-шесть съехались запросто, по-видимому, для того, чтобы истребить несколько

дюжин устриц: это директоры Ост-Индской компании, и за устрицами решаются вопросы, от которых будет зависеть судьба двухсот миллионов людей, дела Индии и Китая. Кстати об этой компании. Не могу не повторить тебе рассказа, слышанного мною в Англии. Обедал я у богача-негоцианта, занимающегося особенно усовершенствованием машин[6]. В небольшом числе посетителей был один старичок, некогда участвовавший в правлении компании. Говорили о том, о сем, зашла речь и об Ост-Индии и об ее управлении. Старичок рассказал следующее. «Тому лет двадцать пять генерал-губернатор сделал представление о недостаточном числе служащих в Ост-Индии. По его представлению, число их было значительно увеличено; недостаток оказался еще сильнее. Через три года новое представление и новое умножение администраторов, но недостаток в них оказался еще сильнее. Года через три опять то же, и опять тот же результат. Наконец, через несколько лет, входит новый г. губернатор с таким же представлением. Съехался совет директоров, и с ними множество членов компании. Предложение прочтено, и начались споры. Человека два жаловались на усиливающийся расход и хотели отказать в просьбе г. губернатора; но огромное большинство было за нее: доказывали необходимость усиления администрации, невозможность порядка и справедливости без нее, и особенно глубокую необразованность Индии, требующую сильной и строго дисциплинированной администрации. После трехчасового спора все согласились, кроме одного немудрого акционера, который до тех пор молчал. Спросили его мнения; он отвечал добродушно: «Господа, как я ни слушаю, я все-таки ничего не понимаю. Говорят, тому 12 лет было в Ост-Индии слишком мало администраторов; прибавили их число: недостаток оказался сильнее, чем думали; через три года опять прибавили столько же, потом опять столько же, а теперь просят еще больше, и все будет мало. Говорят, индейцы народ непросвещенный и непохожий на нас. В Индии я не бывал и не спорю с знатоками; но, по моему разумению, мы вошли в дурную колею: мы сажаем, сами того не зная, растения слишком многоплодные. Мы прибавим теперь администраторов, а года через два придется их число удвоить, и кончится тем, что к каждому непросвещенному индейцу мы приставим по два просвещенных англичан-администраторов; а между тем расход растет, дела путаются и акции упадают: недолго до беды. Мой совет вот каков. У индейцев совесть хоть и не похожа на нашу ученую совесть, а все же какая-нибудь да есть. Дадимте простор индейской совес-

ти, позовемте на помощь индейский ум да убавимте администраторов покуда наполовину. Авось будет лучше, а экономия будет покуда наверное». Все присутствующие переглянулись, рассмеялись и согласились. Опыт начат был с Цейлона: он удался. Совесть и умы были пробуждены, расходы убавлены, и дела пошли несравненно лучше». [Хозяин наш заметил на это: «Плоха фабрика, в которой вся сила уходит на тренье колес, а доход на их подмазку», и потом он и старичок налили себе по большому стакану мадеры, кивнули друг другу головою и выпили за здоровье друг друга.] Я тебе повторяю этот рассказ потому, что он в моем мнении резко характеризует английский ум и ход дела в Англии. Другие народы, как, например, французы, лезут на ходули, красуются, актерствуют [или путаются в многосложности хитрейших устройств] и слывут простыми. Англия везде идет просто, а слывет чопорною и искусственною, потому что имеет кое-какие обычаи странные и непонятные для путешественников: это бессмысленное и смешное поверье. Простота общественная не может быть без простоты частной жизни.

Говорят: «Англичане невеселы, страдают вечною скукою и наводят скуку на всех». Странное дело! Эта вечно скучающая земля исстари себя называет веселою, merry old England (старая веселая Англия). Должно быть, она не догадывается и не замечает, что ей скучно, а кому же бы лучше ее про это знать? Такое прозвище трудно приписать самолюбию. Самолюбие может уверить народ, что он красив, силен, нравственен и так далее; едва ли оно может, едва ли даже оно станет уверять его, что он весел. Конечно, можно предположить, что это старая поговорка, утратившая свой смысл; но и такая догадка была бы крайне произвольна. Где живее и многочисленнее народные игры? Где такое огромное стечение зрителей на всякую общественную забаву от благородной скачки конской, в которой участвует вся гордость аристократии, и от живописных регат* по Темзе, в которых спорят между собою университеты и города, до кулачного боя, в котором выражается вся упрямая энергия народа, и до петушиного и собачьего боя, в котором англичане радуются тому, что умели передать животным качества, давшие им самим такой великий перевес в их долгих борьбах с другими народами? Но веселость веселости рознь. Сдержанное чувство англичанина не для всех понятно, и чем пустее человек, тем менее способен он понимать истинную и глубокую веселость,

* Так называются состязания лодок.

как и всякое искреннее и глубокое чувство. Конечно, много страданий и забот прибыло с веками, много подлилось желчи к крови англичан, и много врезалось морщин на челе веселой Англии; но прежний характер еще не совсем изменился. Не все умеют отличить смех, крик, пляску от веселости истинной. Вечное зубоскаление пустой головы идет также за веселость. Иному кажутся веселыми утомительная ничтожность французского водевиля и эти мелкие шутки, которые никогда ни в ком не возбуждали полного, здорового, истинно веселого смеха; иной не умеет различить Сервантеса и Гоголя от Поль-де-Кока. Что с этим делать? Человек на человека не похож, и только крепкая и серьезная природа может сочувствовать истинной веселости. В салоне отроду никому никогда весело не бывало. Человек со смыслом поймет, что в Шекспире во сто раз более веселости, чем в Мольере; и тот, для кого из романов Диккенса и особенно из его сцен домашней жизни светит теплое солнышко сердечной радости, не поверит обвинению Англии в скуке. Вместо того, чтобы сказать, что Англия невесела, я бы сказал, что Англия незабавна, и слава богу! Знаешь ли ты, что веселость незабавна?

Говорят еще: «Англия — земля расчетов и промышленности, англичанин живет для денег и власти и только что для денег и власти. Это полный, воплощенный, торжествующий материализм». И такая нелепость сделалась тоже поверием. Недавно Кобден и товарищи его, после десятилетней борьбы, уничтожили систему пошлин на хлеб. Правда, и за это да будет им честь и слава, хотя цель их была чисто промышленная, не без примеси, однако, лучшего чувства, сострадания к бедным [рабочему классу]. Вот энергическая упорность англичан-промышленников; но из-за нее не следует забывать тридцатилетнюю борьбу Вильберфорса и его друзей, посвятивших всю жизнь свою и невероятные труды на освобождение негров, дорого стоившее и ничем еще не окупившееся для Англии. Ему, подвижнику человеческого и христианского чувства, да будет большая слава, и с ним вместе Англии, его родине! — Аркрайт прилагает паровые машины к бумагопряденью в большом виде, он обещает миллионы отечественной промышленности. Ему не верят, на него нападают те, которых он должен обогатить; ломают его машины, разбивают его фабрики; он принужден оставить Ланкастер и уходит в Ланарк, говоря: «Вам на зло обогащу вас», и английская торговля обогащается сотнями миллионов. Это славное проявление человеческой силы, но разве менее силы в борьбе, долго волновавшей шотландскую церковь, и в бес-

корыстных пресвитерах, оторвавшихся недавно от шотландского учреждения[7]? Разве не более еще силы в бедных священниках, которые, не зная ни покоя, ни отдыха, в продолжение двадцати или тридцати лет, ежедневно борются с волнами и метелями для того, чтобы носить утешение слова божиего полуодичавшим колонистам Канады? Виднее для всех усилия героев промышленности или политических партий, за ними следит с жадностию подражательная Европа; но величественнее и более достойна удивления энергия духовных начал, мало замечаемая остальным миром, который не думает им подражать и даже неспособен понимать их достоинство. Миллионы, сотни миллионов идут на торговые предприятия громадных размеров и невероятной смелости. Газетный люд, да близорукие путешественники, да засохшие народы глядят на это с завистию, трубят про это с коленопреклоненною досадою, да и начинают около себя водить глазами, придумывая, где бы найти миллионов хоть поменьше Англии, а все-таки вдоволь. И Англия славится единственно землею материализма, расчетов и денег, потому только, что ее подражатели в ней ничего другого не видят и видеть не умеют. Действительно, такая же предприимчивость торговли развилась в Бельгии и Голландии, развивалась в Северной Германии и даже во Франции. Размеры только поменьше; но десятки миллионов, употребляемых беспрестанно на безвозвратный расход религиозных учений пуританцев в бедной Шотландии, католиков и англиканцев в Англии (хоть, напр<имер>, в Лондоне, где около семи миллионов асс<игнациями> собрано в течение четырех лет на построение церквей), всех сект и миссионерских обществ, трудящихся по земному шару, десятки миллионов, употребляемых на благотворительность общественную и на благотворительность частную, в которой Англия уступает, может быть, одной России,— вот что принадлежит собственно характеристике Англии, а об этом-то и забывают. Духовные силы скрываются за силами вещественными.— Англия не жалеет денег для высоких целей и для общей пользы; но в этой земле корысти и расчетов люди не жалеют денег даже для своего удовольствия, и общество не жалеет их для удовольствия общественного. Например, в Лондоне, где так дорог каждый клочок земли, из самого центра города тянутся один за одним великолепные парки Сент-Джемский, Грин и Гайд-парк, и гулящий народ может идти с лишком семь верст по зеленому лугу под тенью старых дерев, не сворачивая ни вправо, ни влево. С другой стороны, почти в таких же размерах тянется прелестный парк реген-

та; далее, на восточном конце, собственно для бедных его жителей, город разводит новый парк Виктории, величиною в несколько сот десятин. Наконец, бесчисленные скверы* и парки лондонские, взятые вместе, занимают пространство более иной знаменитой столицы. Вот один пример из многих. Потом поглядите на парки, на сады, на дорогие заведения у землевладельцев больших и малых, на домики, которые так мило выглядывают из зелени, на всю роскошную уютность жизни, и вы догадаетесь, что деньги и расчет — не все для англичан. Я знаю, что и другие народы стали с недавнего времени перенимать у них и парки, и сады; но далеко, далеко подражателям до оригинала своего, и знаешь ли почему? По весьма простой причине. Зелень и лес — давнишняя любовь английского народа. Жизнь историческая заключила его в большие города; но в душе он и теперь житель села и страстный любитель древесных теней. Как русский человек поет чистое поле и мураву шелковую (Ах ты поле, поле чистое), так английская песня теперь говорит: Как весело, весело в тихом зеленом лесу (T'is merry, t'is merry in good green wood). Зато и деревья, которые полюбил англичанин, полюбили его, разрослись у него великолепными парками и рощами, дали ему густую тень и наслали чудные вдохновения на его поэтов, от старика Шекспира до наших дней.

Говорят: «Сила Англии в ее промышленности и торговле». Тут есть доля правды; но Англия не была торговою страною, когда в средние века она наступала на горло Франции и венчала своего короля на французский престол[8]; она не была землею торговою тогда, когда боролась с Испаниею, грозою всей Европы; когда при Кромвеле она предписывала законы всем державам Запада или когда клала непреодолимые преграды силе властолюбивого Людовика. В наше время она обратилась к промышленности под влиянием новых исторических законов, но царствует она в промышленности в силу той внутренней энергии, которая поставила ее так высоко в других областях человеческой деятельности. Уатт был только одним из лучей Ньютонова светила. Струя поэзии, так великолепно излившаяся в Шекспире, не иссякла и бьет еще богато из английской земли в Байронах, Скоттах и Диккенсах. Практическая сила Нельсонов, Куков и Клайвов, торговая смелость Аркрайтов растут на той же почве, на которой воспитываются Вильберфорсы, Говарды, Матьюсы и тысячи миссионеров. Оттого-то громадная фабрика, грустное яв-

* Площади с садами.

ление в целом мире, представляет в Англии какой-то характер смелой поэзии. Для самой Англии денежный вопрос важен только по необходимости, а всякий духовный вопрос важен по сочувствию. Душа, утомленная серьезным материализмом Германии и улыбающимся материализмом Франции, отдыхает в Англии и вместе с нею позволяет себе смеяться над ее Домбеями и над путешественниками, которые, кроме Домбеев, ничего в ней видеть не умеют.

Кажется, прав был рулевой на «Тритоне». Я полюбил его старую Англию; да видно, я любил ее и прежде, может быть, оттого, что ее имя происходит от угличан.

Но что же Англия? Мой ответ будет: это земля, в которой борются тори с вигами. По-видимому, определение мое не ново и не полно; но дело в том, что виги и тори, о которых так много говорят и пишут, совсем еще не определены и не имеют ничего общего с теми мыслями, которые мы привыкли с ними связывать. «Виг — либерал, друг человечества, свободы и успеха, враг всех монополий; тори — консерватор, враг [всякого движения вперед], всякой свободы, всякого усовершенствования, защитник всякой стеснительной привилегии и всех налогов возможных [падающих на большинство народа]» и пр. и пр. «Виг демократ, тори аристократ» и тому подобное. Такие понятия просты, удовлетворительны, дают право понимать газеты, говорить об Англии и даже, смотря по вкусам и выгодам, полюбить ту или другую партию, того или другого деятеля. Вообще такие понятия удобны. Жаль только, что они не дают нисколько возможности понимать дела и жизнь Англии и совсем непохожи на действительность. Виг, либерал, [друг свободы], тянется изо всех сил уничтожить свободу преподавания, которую отстаивает тори, как известно всем тем, кто следил за спором, поднятым во время Мельбурнова управления. Тори нападает на налог в пользу колоний и на привилегии колониальной торговли, а за них вступаются виги. Это видно было несколько раз во время спора о налоге на сахар. Виг, друг свободы и демократ, уличен в последнее время самими англичанами в том, что он ввел и долго поддерживал в Англии власть аристократическую, созданную по образцу Венеции, между тем как тори восставал против нее и боролся с нею. Централизация, всегда гибельная для свободного развития жизни во всех ее отраслях, находит постоянно защитников в вигах и врагов в ториях. «Тори консерватор, а виг друг прогресса», а между тем усовершенствования в законах, в учреждениях, в устройстве общественном произошли столько же от ториев, сколько от вигов. Это

можно доказать историею всего последнего столетия и даже самою историею парламентской реформы. Наконец, благородные голоса, в пользу человечества [и правды], против насилия и бессовестных завоеваний в Кабуле и Китае, раздаются чаще из рядов ористской партии, чем от вигов. [Стоит только вспомнить недавние происшествия в Кабуле и Китае[9], чтоб в этом убедиться.] Итак, обыкновенные понятия в вигах и ториях надобно бросить, как никуда не годные. В Англии эта запутанность понятий повела к тому, что самые названия виг и тори выходят из употребления; а между тем они имеют смысл, и смысл истинный, к несчастию искаженный определениями, основанными на поверхностном наблюдении и на явлениях совершенно случайных. Виги и тори считаются партиями политическими, и в этом величайшая ошибка. Согласно с характером самой Англии, земли гораздо более социальной, чем политической, должно признать в них партии социальные, и тогда внутренняя жизнь самой земли сделается понятною. Прибавим к этому характер религиозный английского общества, и тайна вигизма и торизма уяснится вполне. Но для этого надобно мне сказать тебе несколько слов об истории. История Англии требует полного пересмотра.

Саксонцы завоевали землю британцев в то же почти время, когда другие народы германские завоевали другие области Римской империи; но они завоевали ее иначе и с другою целию. Франку, лонгобарду и готу, издавна жившим жизнию дружинною, нужны были корысть и рабы. Саксонцу, привыкшему к земледелию, нужна была земля. Бесспорно, малая часть побежденных была обращена в рабство; но большая часть или погибла, или удалилась в западные области и продолжала борьбу. Это уже доказывается и тем, что почти все места и урочища Восточной и Средней Англии утратили свои прежние названия и получили названия саксонские. Победители разделили между собою землю и принялись за сельский труд. Они составили не аристократию, а народ и общины, управляемые общим вечем (виттагом). Дальнейшее развитие было испорчено многими историческими обстоятельствами и особенно междоусобиями и нашествием датчан. Аристократическое начало развилось. Саксонское царство пало под ударами французских норманнов; но подавленная саксонская стихия не утратила силы и некоторой самобытности. В ней победитель — норманн уважал нравственное достоинство, доказанное самим сражением при Гастингсе, в котором несчастный Гарольд оспаривал целый день победу против неприятеля, втрое мно-

гочисленнейшего[10]. Раздоры между норманнами снова возвысили значение саксонского народонаселения. Бароны вызвали его к новой жизни, для того, чтобы найти в нем опору. В этом деле особенно отличился хитрый, но смелый и энергический Монфорт Лейчестерский. Начатое баронами было продолжено по необходимости королями рода Плантаженетов, и особенно величайшим из них — Эдуардом Первым. Побежденный и победитель слились окончательно в один язык, в одну живую силу, и эту силу узнала Франция. С гордостью вспоминает англичанин, с досадою помнит француз имена Пуатье и Азинкура, где, по-видимому, горсть англичан побеждала огромные ополчения Франции[11]; но эта победа была делом не рыцарей, которых мужество было равно с обеих сторон. При английском рыцаре были зеленый кафтан линкольнского[12] стрелка и [бодрое] сердце вольное поселянина (йомана); при французском была толпа бездушных вассалов, годных только для резни и всегда готовых к бегству. Англия побеждала, потому что у нее, и только у нее, был народ. Страшная борьба Иорка и Ланкастера[13], погубившая столько родов норманнских, укрепила саксонцев. Свирепые дружины баронов резались между собою, но не смели грабить и губить поселян. Таково свидетельство французских летописцев, и оно напоминает русскому сердцу, что и наши галицкие князья просили польских магнатов щадить, во время войны, безоружные деревни. Жизнь Англии развивалась самобытно из своих собственных начал. По словам современных французов, англичанин гордился тем, что он управляется своим обычаем, а не римским правом. Ученый юрист романской Европы смеялся над этим, но история готовила оправдание обычая народного и торжество его над землями, управляемыми чужеземным правом. Борьба двух Роз кончилась, утомленная Англия отдохнула и окрепла под сильною рукою и тяжелою славою Тюдоров. Прошли и Тюдоры, и ожили все прежние начала, и два века с половиною создали теперешнюю Англию.

Таково было развитие народного начала. Еще важнее было начало религиозное. Кельты и кумры британские приняли христианство рано, в его полной чистоте, и содержали его с ревностию и любовью. Все споры Востока, все богословские учения отзывались в Британии и далекой Ирландии; церковное предание находило в них жарких и неколебимых защитников. От кельтских проповедников приняли веру скоты и пикты, хотя нет сомнения, что друидизм[14] и какая-то странная смесь христианства с друидизмом не были совершенно побеждены даже в самой Британии. Пришли саксонцы-идоло-

поклонники. Кельты-христиане погибли или бежали в горную область Кумберланда и Валлиса. Завязалась упорная и кровопролитная война; но, несмотря на нее, побежденные кельты нашли учеников в победителях-саксах. Успехи обращения были замедляемы народною враждою, но новая сила проповеди явилась с юга. Григорий Великий прислал Августина в Британию, и саксонцы послушались мудрого учителя: мало-помалу вся октархия[15] приняла христианство. Таким образом, вера просветила острова Британские, но обращение идолопоклонников кельтов и саксов не было похоже на обращение готфов, франков или лонгобардов. В Испании, Италии и Галлии победители-германцы принимали христианство из подражания, из случайных выгод, из расчетов политических, даже от соблазна римской жизни и римской роскоши: новые христиане были хуже старых язычников. Островитяне саксонцы и кельты приняли веру из убеждения и любви, и она приносила богатые плоды в их жизни духовной. Священные песни раздавались на языке народном, многочисленные богословские школы хранили чистоту учения и распространяли на всем Западе свет просвещения и строгость христианской жизни. Ирландия заслуживала имя Острова Святых; десятки царей и князей саксонских, в полном блеске силы и власти, бросали свет и власть и уходили в тишину монастырских келий; кельтские проповедники, такие, как Колумб или Галл, начинали обращение Германии в христианство, и великое дело, начатое ими, довершалось ревностью саксонцев Виллебродов и Бонифатиев. Таково было в Англии развитие духа религиозного; но, к несчастию, с самого начала борьба церкви кельтской, вполне независимой и православной, с учением римских проповедников, отчасти уже зараженных римскою односторонностью, посеяла семена раздора; потом торжество римской партии, хитрость монашеских орденов и полуфанатическая, полулукавая энергия таких людей, как Дунстан, подавили характер [чисто вселенский и] православный английской церкви: она допустила многие искажения и уже вполне никогда не поправлялась, хотя и получила снова некоторую свободу при последних царях саксонских. Завоевание норманнов было также торжеством римской власти, покровительствовавшей норманнам. Прежняя свобода, утраченная уже, проявлялась только в расколах лоллардов[16], в попытках к исправлению церковному Виклефа и ему подобных ученых. Вскоре и это сопротивление казалось побежденным, и целость римского католицизма утвержденною навек. Соединение сильной религиозной жизни с живым общественным началом в на-

роде (хотя и искаженным от упадка общины сельской) обещало, по-видимому, стройное и почти бесконечное развитие земле англосаксов; но семена неизбежного зла скрывались в этом крепком и здоровом теле.

Всякое общество находится в постоянном движении; иногда это движение быстро и поражает глаза даже не слишком опытного наблюдателя, иногда крайне медленно и едва уловимо самым внимательным наблюдением. [Полный застой невозможен, движение необходимо; но когда оно не есть успех, оно есть падение. Таков всеобщий закон.] Правильное и успешное движение разумного общества состоит из двух разнородных, но стройных и согласных сил. Одна из них основная, коренная, принадлежащая всему составу, всей прошлой истории общества, есть сила жизни, самобытно развивающаяся из своих начал, из своих органических основ; другая, [разумная] сила личностей, основанная на силе общественной, живая только ее жизнию, есть сила никогда ничего не созидающая и не стремящаяся что-нибудь созидать, но постоянно присущая труду общего развития, не позволяющая ему перейти в слепоту бездушного инстинкта или вдаваться в безрассудную односторонность. Обе силы необходимы; но вторая, отвлеченная и рассудочная, должна быть связана живою и любящею верою с первою, силою жизни и творчества. Если прервана связь веры и любви, наступают раздор и несогласие. Англия была землею христиански религиозною; но односторонность западного католицизма, восторжествовавшая вполне, обусловливала и вызывала протестантство. Оно родилось в Германии, пришло в Англию и было принято ею; но Англия, принимая протестантство, не познала его характера. Память о некогда свободной церкви и о недавних борьбах для сохранения этой свободы обманывала англичан: они уверяли себя, что они сохраняли неизменность, когда они явно изменялись или реформировались, отстраняя или отвергая то, что в продолжение долгих лет считали истинным, святым и несомненным; они верили в свой католицизм, даже когда были протестантами. Таково англиканство. Другие секты яснее сознали, глубже приняли, строже развили свободу протестантского скептицизма. Это религиозное движение обратилось немедленно в движение общественное. Разрознились и вступили в борьбу две разумные силы народа. Одна, органическая, живая, историческая, ослабленная уже упадком сельского общинного быта и бессознательно допущенным скептицизмом протестантства, составила торизм. Другая, личная и аналитическая, не верящая своему прошедшему, приготовленная уже издавна тем же упадком об-

щинного быта и усиленная всею разлагающею силою протестантства, составила вигизм.

Вот, любезный друг, определение этих двух слов, так часто употребленных и так мало понятых; в них, как ты видишь, заключается смысл не политический, а социальный; в них определение самой жизни английского народа.

Теперь тебе понятно будет, почему торизм, обессиленный и уже неуверенный сам в себе, принимал так часто характер мертвого и косного консерваторства, даже тогда, когда он старается развивать зародыши, уже лежащие в обществе; и почему вигизм, сила разлагающая, казался и кажется многим силою освобождающею даже тогда, когда он действительно стесняет жизнь. Это обман, но обман неизбежный при жалком состоянии общественной науки. Для наблюдателя, более просвещенного и беспристрастного, для человека русского, мертвящая сухость вигизма, когда он разрушает прошедшее, и его бесплодность и, так сказать, бездушие, когда он думает созидать, слишком явны. На дне его лежат скептицизм, не верящий в историю и не любящий ее, рационализм, не признающий законности в чувствах естественных и простых, не имеющих прямо логической основы, и разъединяющий эгоизм личности. От этого первый его взгляд (впрочем, это отчасти и его достоинство) обращается всегда на вещественную сторону всякого вопроса; от этого у него порою прорывается дикий эгоизм; от этого просвещение духовное он старается заменить просвещением внешним и чисто материальным; от этого, не любя множества центров общественных, данных органическим развитием истории, он старается отрывать от них человека и привязывать его прямо к математическому закону центра политического; от этого, разрывая связи естественные, он старается их заменить связями, по-видимому, менее строгими, но действительно менее свободными, именно потому, что они условны; от этого простоту совести и духа любит он заменять расчетливою полициею формы и т. д. Таков виг в его логической крайности, т. е. в радикале. Но этот суд был бы слишком строг в отношении к вигу вообще. По большей части виг все-таки немножко тори, потому что он англичанин.

Действительно, всякий англичанин — тори в душе. Могут быть разницы в силе убеждений, в направлении ума; но внутреннее чувство одинаково у всех. Исключения редки и вообще принадлежат людям, или совершенно увлеченным систематизмом мысли, или убитым нищетою и развращенным жизнию больших городов. История Англии не есть дело прошед-

шее для современного англичанина: она живет во всей его жизни, во всех его обычаях, почти во всех подробностях его быта. А стихия историческая — это торизм. Англичанин глядит с дружелюбною улыбкою на широкоплечих сторожей Тоуера с их пестрою и странною одеждою; он рассказывает с торжественным удовольствием, что вот эти сухие желтые сливы, которые он вам продает, точно так же сушились тому двести пятьдесят лет; он радуется на мальчиков Христова Гошпиталя, которые носят и теперь, как я уже сказал, синий балахон времен Эдуарда VI. Он ходит по длинным галереям Вестминстерского аббатства не с хвастливою гордостию француза, не с антикварским наслаждением немца; нет, он ходит с глубокою, искреннею, облагораживающею любовию. Эти гроба — это его семья, его великая семья; и это я говорю не об лорде, не о профессоре, а об ремесленнике, об извозчике, который целый день махает кнутиком по всем улицам лондонским. Торизма столько же в простом народе, сколько и в высших рядах общества. Правда, этот купец или ремесленник даст свой голос вигам: таково его убеждение о пользе общей или своей выгоде вещественной; но в душе-то он любит ториев. Он поддержит Русселя или Кобдена, но сочувствие свое даст он старику Веллингтону или Бентинку. Вигизм — это насущный хлеб; торизм — это всякая жизненная радость, кроме разврата кабачного или еще худшего разврата воксалов; это скачка и бой, это игра в мяч и пляска около майского столба, или рождественское полено и веселые святочные игры, это тишина и улыбающаяся святыня домашнего круга, это вся поэзия, все благоухание жизни. В Англии тори — всякий старый дуб, с его длинными ветвями, всякая древняя колокольня, которая вдали вырезывается на небе. Под этим дубом много веселилось, в той древней церкви много молилось поколений минувших.

То, что существует в Англии, то, что иностранцы называют учреждениями, не является торизму англичанина в виде учреждений. Это просто часть его самого, олицетворение его внутренней жизни, прошедшей или настоящей. Таково, во-первых, его отношение к монархии. Английская гувернантка, после тридцатилетнего отсутствия из Англии, не могла слышать песни «God save the King» («Боже царя храни») без того, чтобы не снять шапок с головы своих воспитанников[17], и она делала это совершенно бессознательно. Таково же отношение англичанина к закону. Он беспредельно уважает свой закон[; но почему? потому, что всякий закон английский есть английский вполне]. Точно так же и аристократия анг-

лийская не является англичанину чем-то отдельным или случайным: нет, это только часть, оттенок общего торизма. Имена Тальбот, или Перси, или Бедфорд не представляют идеи привилегии, или власти, или административной формы; нет, в этих звуках — Креси[18] и Пуатье, борьба баронов, давшая силу народу, народная жизнь и народные забавы, в которых всегда участвовал [и председательствовал] лорд; но более всего в них централизация самой деревенской жизни, разорванной после упадка общин и отчасти восстановленной силою земледельческой аристократии. Оттого-то бедный селянин спрашивает у вас с гордостью: «А видели вы парк лорда Марльбору?» — как будто бы это его собственный парк. Оттого-то малолюдство сел до сих пор в Англии имеет перевес над многолюдством городов, между тем как везде в Европе город подавил деревни. Но, как я уже сказал, аристократия является не учреждением, а произведением почвы и истории, частью торизма, а не самобытною и отдельною силою. Как учреждение, англичанин не понял бы или отверг бы ее. Это для меня ясно из разговора, в котором я был только слушателем. Сцена была парк с вековыми дубами. Оба разговаривающие — страстные тори. Предмет разговора — учреждение аристократии в других краях [и по преимуществу в такой земле, где она не имеет основы ни в истории, ни в чувстве народном][19]. Один из спорящих хвалит такое учреждение, основываясь на крепости самого начала. Другой, соглашаясь в этом, спросил: «Что крепче, железо или дерево?» — «Железо»,— отвечал первый.— «Ну, а укреплю ли я это дерево, когда вколочу в него железный кол?» Таков взгляд англичанина, и он справедлив. [Где аристократия не в общем духе, там она раздваивает общество и вызывает демократию.]

Я надеюсь, что ты теперь понял торизм. Впрочем, для большей ясности я могу тебе привесть пример из русской старины. Вспомни истинно поэтическое окончание прекрасной драмы К. С. Аксакова[20], перекличку стрельцов: «Славен город Москва, славен город Владимир» и т. д. Эта хвала русских городов, звучащая в темноте, на стенах Кремля, вкруг жилища царей, была чертою чисто ористскою (говоря в английском смысле). Весело было воину провозглашать славу других областей, весело ему было слышать славу своего родного города, и весело было жителю Москвы в тихую летнюю ночь слышать хвалу всей России. Это было не упражнение в отечественной географии, но голос народа, обнимающего своею любовию и уважением весь великий собор

своих городов[: вот где торизм, по английскому понятию].

И эта цепь предания не перерывается в Англии. Кроме того, что она поддерживается всем строем общества, неизменными обычаями и характером жизни домашней, она укрепляется и обновляется воспитанием общественным. Все великие рассадники наук в Англии восходят до глубокой древности; оба университета, Кембридж и Оксфорд, были свидетелями почти всей истории английской, особенно же Оксфордский, которого начало едва ли не связано с учреждениями саксонской эпохи. Их отдельная и строгая организация, их совершенная независимость от временных перемен, их самостоятельность, основанная на предании и хранящая предание, служат постоянным оплотом духу исторической жизни против произвола личного рационализма. Наука не скована: этого, кажется, не нужно доказывать. Кому неизвестно, что Англия не уступает почти никакой стране в отдельных отраслях наук, а в общности их превосходит все остальные земли Европы? Частным исключением можно, конечно, назвать превосходство Германии в философии; но, совершив много для человечества, философия германская, в силу своей собственной односторонности, дошла в Гегеле до своего крайнего результата, самоуничтожения, в приложениях же своих она принесла только сомнительные плоды в историческом анализе и истинно полезные, может быть, в одном анализе искусства: тут Германия владычествует, тут она действовала одна, и ее труд продолжается одною Россиею, дополняющею теорию о свободе художества теориею отношений художества к народу и самого художника к своим произведениям*; но это, как я сказал, частные и незначительные исключения. Наука цветет свободно в Англии, но она не ведет к раздору с жизнию. Рано начинается воспитание в домашнем кругу или в народных училищах. Ребенка вводит в науки разнообразная и богатая словесность, полная жизни, полная веры, полная старых сказаний и любви к старине, и в то же время не чуждая никаким новейшим открытиям. Это богатство и живость детской словесности происходят не от системы, но от той глубокой и трогательной любви к детскому возрасту, которая везде поражает путешественника в Англии и сама имеет корнем чистоту быта домашнего. Мало-помалу крепчающий ум доходит до высших коллегий[23] и до

* Разумеется, этого успеха искать должно не в прогрессистах, насвистывающих чужие мысли с чужого голоса, а в мыслителях самостоятельных, в Гоголе (письма)[21], в Жуковском (письмо о Слове)[22], в Ш<евыреве>, в А<ксакове> и других.

коллегий университета. Я не стану тебе рассказывать о плане преподавания; он не важен; важен общий характер самых коллегий и университетов. Сперва поражает тебя величие и архитектурная роскошь этих заведений, особенно в Кембридже; потом их древность, потом та глубокая тишина, которая их окружает. Много говорят о шуме и движении в Англии, они действительно изумительны; да где же в наше время не шумят и не движутся? Ничего не говорят о тишине английской, а она изумительнее шума Англии. В самой средине Лондона, в десяти шагах от вечных базаров Гольборнской улицы или Странда, поразило меня пустынное безмолвие Христова Гошпиталя, в котором тысяча четыреста учеников, или Линкольн-Инфилдса, огромного квартала, жилища адвокатов и ученых. Но ничто не может сравниться с величавою тишиною университетских городов. В тихий летний вечер, когда садящееся солнце освещает румяным светом все двадцать две коллегии старого Оксфорда с их готическими стрелками, с их стрельчатыми окнами и прозрачными аркадами, когда длинные тени старых дубов и каштанов ложатся на зеленые лужайки парка, и стада оленей резвятся по освещенному лугу и по теням, и сами мелькают как тени и доверчиво подбегают к университетским зданиям и к келиям студентов,— тогда, поверь мне, Оксфорд волшебнее самой Венеции. В Венеции роскошь и нега: над Оксфордом носится какая-то строгая и светлая дума. Верх дерева шумит и качается; в тишине и безмолвии растут и крепнут его вековые корни. Дисциплина университетская похожа на монастырскую, игры учеников имеют еще весь характер детских забав; но зато это долгое детство приготовляет здоровую и разумную возмужалость; зато из строгой тишины монастырской выходят те могущие и смелые умы, которые развивают в таких громадных размерах духовную и вещественную силу Англии и правят ею, сквозь шум и бурю торговой и политической жизни; зато Англии неизвестны эти целые поколения, которые в иных землях являются с таким полным бессилием на поприще деятельности, как мальчишки, безвременно убежавшие из родительского дома, в слишком ранних галстуках и фраках, с модными бадинками[24] в руке, с полным незнанием своей земли, с самодовольною пустотою в голове, с неспособностью к мысли самобытной и с хвастливою готовностью век свой насвистывать чужую песню, воображая, что она сложена ими самими. Редкий англичанин спросит у вас, видели ли вы Ливерпуль или Бирмингам; всякий спросит, видели ли вы Оксфорд и Кембридж.

Впрочем, главною основою английской жизни есть бес-

спорно жизнь религиозная. Сотни миссионеров, разносящих слово божие по всему земному шару, и проповедников, борющихся с неверием поверхностной философии, суть только проявление общего духа и общего стремления. Я видел церкви, наполненные благоговейными слушателями; я видел на улицах толпы простого народа, слушающие проповедь бедного старика, толкующего (может быть, и криво) тексты Священного писания; я видел кучки работников, занимающихся богословскими спорами во время воскресного отдыха, и это напомнило мне нашу святую, богомольную Русь. Направление ума народного отзывается в направлении избранных его деятелей. В старину великий Ньютон кончал поприще свое толкованием Апокалипсиса: в наше время поэты Соути, Кольридж, Вордсворт были двигателями вопросов религиозных; блистательный ум Арнольда, так рано развившегося (он семи лет писал драмы), посвящал себя богословским наукам (к несчастью, в крайне протестантском духе), и почти ни один из великих деятелей в Англии не оставался чуждым положительным вопросам религии. Вот чего, кроме Англии, нет уже нигде.

Из этого, разумеется, не следует, чтобы я выдавал английское воспитание за совершенство. В английском характере есть глубокое и весьма справедливое неверие в человеческий ум. Этим англичанин напоминает русского. Рациональность не входит в характер его. Иные посылают учиться в Англию рациональному хозяйству: это просто непонимание самого слова *рациональный*. Хозяйство английское, как и все в Англии, есть чисто опытное, так же как у нас, где в Перми променивают четверть ржи на четверть птичьего гуано, и где огородники ростовские дошли до совершенства, которое внушает зависть немцам. Опыт и соображение произвели чудеса в Англии, но они не дали и не могли дать характера рационального. Это в одно время и достоинство и недостаток. Можно пожалеть о том, что анализ философский так мало развит в Англии; быть может, во многом ускорен бы был ее успех, и много отстранено было <бы> ложных мнений; но зато, может быть, много и лжи вошло бы вместе с самоуверенностью ума. Я думаю, что неверие анализу и даже какой-то страх перед ним, замеченный мною несколько раз в образованных англичанах, происходит от внутреннего сознания, что скептицизм протестантский, ими допущенный, покачнул уже все основания внутренней жизни, и что строгий и безоглядный анализ был бы для них убийственен. Как бы то ни было, это слабость, и я ее признаю, хотя и предпочитаю ее

слепому суеверию немца, который думает, что односторонняя сила строгого логического процесса может не только доискаться до всякой живой истины, но и воссоздать ее,— или детскому суеверию француза, который воображает, что верхоглядное вдохновение ума может для него разоблачить все тайны жизни, общества и мира.

Точно так же должно признаться, что англичане, часто весьма образованные, выказывают неожиданное невежество на счет многих вещей в чужих землях и в жизни других народов; это особенно заметно, когда дело доходит до России. Об ней я слышал столько же нелепостей в Англии, сколько и в Германии, хотя они были высказаны с большим дружелюбием и меньшею самоуверенностию. Мне особенно памятен в этом роде один разговор весьма умного и образованного адвоката. Мы говорили об суде присяжных. Он очень ясно понял и оценил разницу, которую я показывал ему между мертвою коллегиальностью французского учреждения присяжных и духовностью английского приговора по единогласию; потом стал он говорить об излишней формальности гражданского судопроизводства в Англии. «Я с полным убеждением говорю,— сказал он,— что мы, адвокаты и дельцы, просто чума нашей родины (we are, sir, the plague of our country) и что я, читая историю нашу, никогда не мог сердиться на Кеда и Тайлера за то, что они нас вешали». Разумеется, я рассмеялся. Потом он изложил очень ясно, основываясь на фактах и примерах, что совесть имеет столько же права на разбирательство в делах гражданских, как и уголовных, и хвалил американцев (вещь редкая в англичанине) за то, что они ввели суд присяжных в делах гражданских. При этом случае он рассказал мне факт совершенно неизвестный. В тридцатых годах депутат одного из штатов предлагал ввести делопроизводство более формальное, как обязательное в тех случаях, когда того потребует один из тяжущихся. На это ему отвечали следующее: «От разбирательства по совести кто будет устраняться? Непременно тот, кто по совести не прав. Итак, премия будет в пользу бессовестности». Предложение было отвергнуто. Я передаю тебе этот факт только по авторитету моего собеседника; не знаю, справедлив ли он, но во всяком случае взгляд англичанина был весьма замечателен. После этого разговор наш [продолжался. Он] коснулся России. Приятель мой говорил умно, судил здраво[, хвалил Россию]; но я никак не мог понять, о чем он, собственно, говорит. Что же вышло? Он толковал о нашем старом судопроизводстве, об суде третьями[25] и проч.

и считал их современными. [Разумеется, я истолковал ему его ошибку и объяснил ему, что это все давно отменено для правильности.] Вот тебе рассказ, который показывает, как часто в англичанах соединяется незнание самых простых фактов с здравым и высоким пониманием духовных начал.

Я определил Англию землею, в которой борется торизм с вигами. Ты, может быть, скажешь, что это относится и ко всей Европе. Нет, любезный друг. Ни Франция, ни Германия не идут под это определение. Там нет и не может быть ториев. Там общество, созданное историею, отсело от нее, как caput mortuum*[26]. Истории уже нет в жизни, организма нет, общества с живыми началами нет. Это скопление личностей, ищущих, не находящих и не могущих найти связи органической. Франция не имела никогда народа. Она отвергла свое прошедшее, которое уже не могло существовать, и все-таки не нашла народа. Жак Боном никогда не жил общественною жизнию; она его и создать не может. Ты помнишь, что я это говорил и даже печатал давно[27]. Германия была некогда в этом отношении счастливее Франции. Ее погубил сначала полный разрыв областей, ее окончательно убили авлические[28] учреждения, коллегиальный материализм и бездушие камеральности[29]. Семья ничтожна как во Франции, так и в Германии. Веры же нет ни в той, ни в другой. Если ты хочешь найти ористические начала вне Англии,— оглянись: ты их найдешь и лучшие, потому что они не запечатлены личностью. Вот величие златоверхого Кремля с его соборами, и на юге пещеры Киева, и на севере Соловецкая святыня, и домашняя святыня семьи и, более всего, вселенское общение никому не подсудного православия. Взгляни еще: вот дух единомыслия, назвавший некогда Кузьму Минина выборным всего Московского государства, и ополчивший Пожарского, и увенчавший дело свое избранием на престол Михаила и всего рода его; вот, наконец, деревенский мир с его единодушною сходкою, с его судом по обычаю, совести и правде [внутренней]. Великие, плодотворные блага! Дай бог, чтоб мы всегда умели ценить их!

Крепок ли английский торизм? Равен ли бой его с вигами? Нет. Торизм, изначала запечатленный излишнею личностью (это заметно в аристократизме), носит в себе постоянно характер вигизма и всеразрушающей личности, логически развивающейся из протестантства; а протестантство было неизбежно. Тори чувствуют опасность свою, и многие знают ее источ-

* мертвая голова *(лат.)*.— *Ред.*

ник. Духовное лицо в Оксфорде спрашивало у меня: «Чем можно остановить гибельные последствия протестантства?» Я отвечал: «Откиньте римский католицизм!» Торизм английский, неверный самому себе, живет только чувством: за вигизм стоят рассудок и его логическая последовательность. Будущее Англии принадлежит ему.

И он подается вперед шаг за шагом, расширяя каждый день круг своего действия, завоевывая общее мнение, особенно в торговых округах и городах, подрывая жизнь и обычаи, развязывая личность и ее мелкую, самодовольную гордость. Он бывает часто во власти, и тогда народ хранит Англию от его разрушающей силы; но он продолжает свое дело, материализируя просвещение, разрывая связи предания, администрируя без меры и удвоивая администрацию, централизируя, губя живые начала или придавливая их под тяжестью формализма. Другие земли вызываются историею на великое поприще, другие народы явятся передовыми двигателями всемирного просвещения; если Англия не изменит теперешнего своего хода, а изменить его при теперешних данных она не может,— она послужит им уроком и наставлением. Из ее примера узнают они, как гибельно вечное умничанье отдельных личностей, гордых своим мелким просвещением, над общественною жизнию народов, как опасно [вредно уничтожение местной жизни и местных центров, как страшно] заменять исторические и естественные связи связями условными, а совесть и дух — [полицейским] материализмом формы[, и убивать живое растение под мертвыми надстройками]. Урок, может быть, не будет потерян.

Конечно, Англия еще крепка, много живых и свежих соков льется в ее жилах; но дело вигов идет вперед неудержимо. Звонко и мерно раздаются удары протестантского топора, разрубаются тысячелетние корни, стонет величавое дерево. Не верится, чтобы земля, воспитавшая так много великого, давшая так много прекрасных примеров человечеству, разнесшая свет христианства и славу имени божиего по отдаленнейшим концам мира, могла погибнуть; а гибель неизбежна, разве (и дай бог, чтобы это было), разве примет она новое духовное начало, которое притупило бы острие протестантского топора, залечило бы уже нанесенные раны и укрепило ослабленные корни. Но будет ли это?

Я взошел на английский берег с веселым изумлением, я оставил его с грустною любовью.

Прощай.

<ПО ПОВОДУ ГУМБОЛЬДТА>

Недавно Гумбольдт, говоря о судьбах рода человеческого, напал на гегелевское учение о необходимости, управляющей историческими происшествиями[1]. Гумбольдт говорит как защитник случайности и исторического партикуляризма[2]. Он прав в нападении своем на историческую систему Гегеля, ибо эта система ложна от начала до конца; но он не прав ни в форме нападения, которая слишком поверхностна, ни в выводах, которые, если бы были справедливы, отняли бы у науки все ее достоинство и даже право на имя науки.

Гумбольдт как будто бы не понял всей нелепости понятий Гегелевой школы о необходимости*. Вот ход гегелевской мысли. «Все, что есть действительно, то разумно и необходимо; следовательно, прошедшая история обусловливается тем, что существует в последующую эпоху, и так далее до наших дней, которыми, разумеется, обусловливается все прошедшее»[3]. Не нужно входить в разбор первого положения, которое само по себе уже не выдерживает критики. Если бы оно было даже и справедливо, ему все-таки не было бы места в изложении исторических наук. Оно обратило бы их в какую-то телеологическую[4] мистику, не заслуживающую от разумного существа ни внимания, ни изучения. Какое бы ни было понятие о необходимости вообще, всякая наука должна находить необходимость своих фактов в самой себе, а не в общих положениях, которые всегда остаются вне ее. Вся историческая система Гегеля есть не что иное, как бессознательная перестановка категории причины и следствия. Нет никакого сомнения, что всякое следствие обусловливает свою причину; но есть ли на свете человек со смыслом, который сказал бы, что причина истекает из последствий? Я гляжу на купол святого Петра[5], воздвигнутый Микеланджелом Буонаротти; из того, что я этот купол вижу, выходит явно, что он существует и что он построен, положен, Микеланджелом. В уме моем прошедшее обусловливается настоящим моим впечатлением.

* Отдавая полную справедливость огромным заслугам Гегеля на поприще философии и человеческого мышления вообще, я не могу не употребить строгого выражения в суде о системе, которая сбила с толку многих даровитых и достойных подвижников исторической науки. Безусловные поклонники Гегеля сочтут это, может быть, величайшею дерзостию; но оценка великого гения невозможна без ясного разумения его ошибок, и истинное уважение к трудам мыслителя совершенно невозможно при слепом и суеверном поклонении всем положениям его системы.

Я не мог бы видеть купола, если бы он не существовал. Я его вижу: следовательно, он существует. Вывод справедлив. Но если я скажу, что он построен, потому что я его вижу,— меня всякий здравомыслящий человек назовет сумасшедшим. Чтобы избегнуть такого нелепого и в то же время неизбежного вывода, у учеников Гегеля является по необходимости какой-то дух человечества[6], лицо живое и действительное, отдельное от личностей, составляющих род человеческий, развивающееся по строгим законам логической необходимости и обращающее все частные личности в иероглифы, символы или куклы, посредством которых оно поясняет само себе сокровенные истины своего внутреннего содержания. Личности, обращенные в куклы, повинуются тогда слепо внешнему закону, и история уже не знает и знать не хочет про логику их внутреннего развития, между тем как она одна только и имеет истинное значение. Это другая нелепость, вводимая, как я сказал, по необходимости для избежания первой, но вводимая, разумеется, не в ясных словах, а посредством ловких полуположительных, полуметафорических выражений. Таков весь процесс гегелевской истории. Очевидно, великий мыслитель смешал два пути, противоположные друг другу: путь синтетического развития и путь аналитического разумения; они друг с другом тождественны, но тождественны в обратном направлении, и переносить понятие необходимости из одной области мысли в другую — значит впадать в ошибку детскую, которую, по-видимому, не для чего было бы опровергать, если бы опыт не показывал, что нет такой явной ошибки, которая бы не могла, хотя на время, увлечь за собою даже самых умных людей. Вообще смешение пути аналитического с путем реального синтеза есть общий и постоянный порок почти всех немецких мыслителей. Они, по-видимому, не умеют различить факта от его разумения. Эта ошибка перешла от учителей к ученикам и беспрестанно подает повод к самым смешным и бессмысленным выводам. И великий ум Гумбольдта, точно так же, как и все его соотечественники, не понял этой ошибки: он имеет темное чувство лжи, скрывающейся в исторической системе Гегеля и его школы, но он не понял начала и сущности этой лжи*. Вывод из Гумбольдтовых слов и из нападения его на Гегеля возвращает историю к прежнему ее партикуляризму. Жалкий результат стольких умственных трудов!

---

* Заметим мимоходом, что Гегель эту ошибку перенес в свои рассуждения о математике, астрономии и т. д. Так, например, он объясняет причину движения Земли около Солнца формулою этого движения[7].

Гумбольдт почувствовал бедность своих выводов, и, вследствие этого чувства, грустно и робко намекает он на какую-то тень религиозных мыслей. Грустно становится и читателю видеть, как труден, как почти невозможен поворот всей этой старой германской школы к понятиям истинно религиозным и в то же время как она томится их отсутствием. Это заметно в великом Гете, в странной развязке его Фауста[8]; это заметно и в последних трудах старика Гумбольдта, современника Гете и близнеца его по глубине, гармонии и древнеэллинской стройности ума.

Вывод Гумбольдта бросает, как я уже сказал, науку историческую во все бессмыслие прежнего партикуляризма, и в какое время?

Есть эпохи, в которых медленное и почти незаметное развитие духовных начал, убеждений и мыслей, лежащих в основе человеческих обществ, скрывает от наблюдателя разумность самих исторических законов. Есть эпохи, в которых эти духовные начала, уже уличенные в односторонности, бессилии или лжи, как будто бы еще ищут обмануть строгую логику истории хитростью своих оборотов, притяжением к себе других, не свойственных им начал, союзом с чисто вещественными интересами и даже примирением с началами, совершенно противоположными. И тут еще наблюдателю нелегко дознаться истины. Но есть эпохи, в которых развитие духовных начал, правивших прошедшею историею, окончено; уловки их истощены, и неподкупная логика историческая произносит над ними свой приговор. В такие эпохи слепота непростительна.

Такова наша эпоха.

Никогда не было таких обширных, таких всеобщих потрясений без внешних и, можно сказать, без внутренних, в настоящем значении этого слова, бурь; никогда не было такого разрушения всех прежних начал без возникновения новых начал, к которым человек мог бы обратить глаза с желанием или надеждою; никогда не было таких волнений народных и такого всеобщего волнения без лиц, которые бы предводительствовали или управляли волнением. Правда, что в последнее время журнальная брань и общественный гнев отыскали каких-то Геккеров, Коссидьеров, Барбесов и др.[9]; но добросовестный наблюдатель знает, какую цену можно приписать и возгласам газет, и гневу салонов, мстящих за свой испуганный комфорт[10]. Стыдно было бы приписывать этим Геккерам, Коссидьерам, Бланам или Прудонам какое-нибудь значение: это мелкие и бессильные личности, которые заметны только потому, что окружены еще большим

бессилием; это пенка, всегда вскидываемая волнением. Правда, высказываются иногда кое-какие начала, к которым временно пристает беспокойная толпа; но что это за начала? Их проповедуют без добросовестной веры, к ним пристают без искренней надежды; они служили кое-где предлогом, но нигде не были причиною движения. Общества падают не от сильных каких-нибудь потрясений, не вследствие какой-нибудь борьбы: они падают как иногда старые деревья, утратившие весь свой жизненный сок и еще недавно выдержавшие сильную бурю, с громом и гулом падают в тихую ночь, когда в воздухе нет достаточного движения, чтобы покачнуть лист на свежих деревьях; они умирают, как умирают старики, которым, по народной поговорке,— *надоело жить*. Только умственно слепому позволено было бы не видать тут необходимости исторической.

Действительно, все или почти все поняли ее, более или менее явственно. Историк-партикулярист не знал бы, что и делать с нашею эпохою. Историческая необходимость современного явления ясна. Какие-то начала жизни общественной вымерли, чему-то изверилось человечество; но чему? это разумеют не все. Объяснения, взятые из общественной жизни западных народов, недостаточны, критика государственных форм недостаточна: Швейцарии так же мало посчастливилось, как Франции и Пруссии. Правда, что Западная Европа, по-видимому, старается отвергнуть неразумные формы, тяжелое наследие, завещанное ей германскими завоеваниями и феодализмом средних веков; но этим еще ничего объяснить нельзя. Общество восстает не против формы своей, а против всей сущности, против своих внутренних законов. Северная Америка находит так же мало поклонников, как и Порта Оттоманская или Испания Филиппа II[11]. Отжили не формы, но начала духовные, не условия общества, но вера, в которой жили общества и люди, составляющие общество. Внутреннее омертвение людей высказывается судорожными движениями общественных организмов, ибо человек — создание благородное: он не может и не должен жить без веры.

Современным явлениям, на которые теперь обращено всеобщее любопытство[12], предшествовало, тому лет десять назад, другое явление, которое было замечено весьма многими, но не всеми: это было сильное пробуждение интересов и вопросов религиозных[13]. Латинство и протестантство[14], казалось, были готовы снова вступить в бой; но ни то, ни другое не выдержало критики, сопровождающей всякое явление нашего века; ни то, ни другое не могло отвечать на задан-

ные ему вопросы. Интерес религиозный, по-видимому, погас; но раздор, пробужденный в душе человеческой и не примиренный разумным разрешением, должен был принесть свои плоды и принес их. Логика истории произносит свой приговор не над формами, но над духовной жизнию Западной Европы. Иначе и быть не могло. Как скоро оба духовные начала или, лучше сказать, обе формы одного и того же духовного начала[15], которыми жила и управлялась Европа в продолжение стольких веков, замолкли перед требованием критики, самая область духовная опустела, внутренний мир души исчез, вера в разумное развитие погибла, и жадное нетерпение вещественных интересов (отчасти законных) не могло признать перед собою никакого другого пути, кроме пути взрывов и насилия.

Людям Запада теперешнее его состояние должно казаться загадкою неразрешимою. Понять эту загадку можем только мы, воспитанные иным духовным началом.

Наука признала, что новый европейский мир создан христианством. Это справедливо вот в каком смысле. Христианство, в полноте своего божественного учения, представляло идеи единства и свободы, неразрывно соединенные в *нравственном законе взаимной любви*. Юридический характер римского мира не мог понять этого закона: для него единство и свобода явились силами, противоположными друг другу, антагонистическими между собою; из двух начал высшим показалось ему, по необходимости, единство, и он пожертвовал ему свободой. Таково было влияние римской стихии. Стихия германская, противная римской, удержала бы за собою другое начало, но этого быть не могло: она сама являлась в Западной Европе завоевательницею, насильницею. Вследствие своего положения она приняла в себя то же начало, которое принимала римская стихия вследствие своего внутреннего характера. Итак, Западная Европа развивалась не под влиянием христианства, но под влиянием латинства, т. е. христианства, односторонне понятого, как закон внешнего единства. Тот, кто понимает историю, может легко усмотреть постепенное развитие этого начала в идее всехристианства (tota Christianitas), понятого как государство, в борьбе императоров и пап, в крестовых походах, в военно-монашеских орденах, в принятии одного церковно-дипломатического языка (латинского) и т. д. Он увидит, что и вся жизнь Запада была проникнута этим началом и развивалась в полной зависимости от него, в иерархии феодальной, в аристократизме, в понятии о праве, в понятии о государственной власти и т. д. Для

того, кто только вытвердил историю по иностранным писателям, пришлось бы говорить слишком много. Поэтому мы и не станем здесь рассматривать историю Западной Европы с этой точки зрения.

Таков был первый период западной истории; второй был периодом реакции. Односторонность латинства вызвала противодействие, и мало-помалу, после многих неудачных попыток, после долгой борьбы, наступил период протестантства, одностороннего, как и латинство, но одностороннего в направлении, противоположном первому: ибо протестантство удерживало идею свободы и приносило ей в жертву идею единства. Иначе и быть не могло, ибо примирение было невозможно для Запада, воспитанного началом латинства, под условиями завоевания германского и юридической формальности римской. Вся новая история Европы принадлежит протестантству, даже в землях, слывущих за католические. Как идея единства латинского была внешняя, так и идея свободы протестантской была внешнею; ибо свобода, отрешенная от идеи разумного содержания, есть понятие чисто отрицательное и, следовательно, внешнее. Протестантство удерживалось в продолжение нескольких веков от совершенного самоуничтожения только посредством произвольных условий; но оно носило в себе семена своей собственной гибели, и этим семенам надобно было по необходимости развиться. Они развились. В области религии догматической протестантство исчезло и перешло в неопределенность философского мышления, т. е. философского скепсиса; в области жизни общественной оно перешло в то состояние беспредельного брожения, которым потрясен западный мир. Произвольные условия не могли устоять ни против требований разумной критики, ни против личных страстей; ибо условие произвольное не может заключать в самом себе собственного освящения; оно может только освящаться извне, а всякое начало освящающее было уже уничтожено протестантством. В наше время суд истории совершается и совершится над латинством и протестантством. Таков смысл современного движения.

До сих пор не являлось, и явиться не может, нового начала духовного, которое могло бы пополнить в душе человеческой пустоту, оставленную в нем конечным падением начала латино-протестантского. Все попытки (их было много) отыскать или создать такое начало были неудачны. Таков смысл явления и упадка всех систем, наделавших больше или меньше шуму под фирмою Овена или Сен-Симона, под именем коммунизма или социализма[16]. Все эти системы, порожден-

ные, по-видимому, вещественными болезнями общества и имевшие, по-видимому, целью исцеление этих болезней, были действительно рождены внутреннею болезнию духа и устремлены к пополнению пустоты, оставленной в нем падением прежней веры или прежнего призрака веры. Все они пали или падают вследствие одной и той же причины, именно той субъективной произвольности, на которой они основаны. Другим путем пришла к той же цели философия германская в лице своего представителя Гегеля или, лучше сказать, учеников его. Строгий (хотя и неполный) в своем анализе, ничтожный в своем синтезе, гегелизм в своем падении показал всю глубину духовной бездны, над которой уже давно, сама того не зная, стояла философствующая Германия; он обличил язву, которой исцелить не мог. Но в этом, бесспорно, заключается и великая заслуга. Все будущие попытки по пути чисто философскому невозможны после Гегеля; все будущие попытки вроде устаревшего овенизма или нового социализма[17] будут неудачны и ничтожны по тем же причинам, по которым были неудачны и ничтожны их предшественницы. Приговор над ними совершается современною нам историей; произнесен же он несколько лет назад в книге, нелепой по своей форме, отвратительной по своему нравственному характеру, но неумолимо-логической, в книге Макса Штирнера (Der Einzelne und sein Eigenthum)[18]. Эта книга, от которой с ужасом отступилась школа, породившая ее[19], о которой без глубокого негодования не может говорить ни один нравственный (sittlicher) немец, имеет значение историческое, не замеченное критикою и, разумеется, еще менее известное самому автору, значение полнейшего и окончательного протеста духовной свободы против всяких уз произвольных и налагаемых на нее извне. Это голос души, правда безнравственной, но безнравственной потому, что ее лишили всякой нравственной основы, души, беспрестанно высказывающей, хотя бессознательно, и возможность, и разумность покорности началу, которое бы было ею сознано и которому бы она поверила, и восстающей с негодованием и злобою на ежедневную проделку западных систематиков, не верящих и требующих веры, произвольно создающих узы и ожидающих, что другие примут их на себя с покорностью. Современная история есть живой комментарий на Макса Штирнера, фактический протест жизненной простоты против книжного умничанья, которое вздумало ее надувать призраками самодельных духовных начал, когда духовные начала, которыми она некогда действительно жила, уже не существуют.

Такова была воля промысла, или (если с нашей стороны слишком дерзко угадывать пути провидения) таков был смысл всемирной истории, чтобы человечество, не понявшее христианства или понявшее его односторонне, пришло путем отрицания к пониманию своей собственной ошибки. Бесполезные усилия отсталых мыслителей, бесполезные хитрости духовных правителей, унижающих веру до иезуитски-нищенского союза с страстями и партиями политическими, не воскресят и даже не продлят эпохи латино-протестантства. Прежняя ошибка уже невозможна, человек не может уже понимать вечную истину первобытного христианства иначе, как в ее полноте, т. е. в тождестве единства и свободы, проявляемом в законе духовной любви. Таково православие. Всякое другое понятие о христианстве отныне сделалось невозможным. Представителем же этого понятия является Восток, по преимуществу же земли славянские и в главе их наша Русь, принявшая чистое христианство издревле, по благословению божиему и сделавшаяся его крепким сосудом, может быть, в силу того общинного начала, которым она жила, живет и без которого она жить не может. Она прошла через великие испытания, она отстояла свое общественное и бытовое начало в долгих и кровавых борьбах, по преимуществу же в борьбе, возведшей на престол Михаила (как я уже сказал в одной из прежних своих статей)[20],— и, сперва спасшая эти начала для самой себя, она теперь должна явиться их представительницею для целого мира. Таково ее призвание, ее удел в будущем. Нам позволено глядеть вперед смело и безбоязненно.

Постигнув значение современных движений и призвание русской земли в истории всемирной, мы приходим к глубокому убеждению, что русская земля исполнит свое призвание; но в то же время и к вопросу, как может она его исполнить и какие органы в частной деятельности она может найти в наше время для выражения и проявления своих внутренних начал.

Этот вопрос порождает невольное и справедливое сомнение.

Только тот может выразить для других свои начала духовные, кто их уразумел для самого себя; только стройный и цельный организм духовный может передать крепость и стройность другим организмам, расслабленным и разъединенным. Мысль и жизнь народная может быть выражена и проявлена только теми, кто вполне живет и мыслит этою мыслию и жизнию. Таковы ли мы с нашим просвещением?[21]

В письме об Англии я сказал: «Правильное и успешное движение разумного общества состоит из двух разнородных, но стройных и согласных сил. Одна из них, основная, коренная, принадлежащая всему составу, всей прошлой истории общества, есть сила жизни, самобытно развивающейся из своих начал, из своих органических основ; другая, разумная сила личностей, основанная на силе общественной, живая только ее жизнию, есть сила, никогда ничего не созидающая и не стремящаяся что-нибудь созидать, но постоянно присущая труду общего развития и не позволяющая ему перейти в слепоту мертвенного инстинкта или вдаваться в безрассудную односторонность. Обе силы необходимы; но вторая, сознательная и рассудочная, должна быть связана живою и любящею верою с силою жизни и творчества. Если прервана связь веры и любви, наступают раздор и борьба»[22]. В Англии этот раздор наступил вследствие односторонности латинства, вызвавшей протестантство, и, может быть, еще вследствие других общественных причин. У нас наступил тот же раздор, но вследствие другого исторического развития.

Жизненная сила всего древнего русского общества, несмотря на треволнение его и на внутренний труд общин, силившихся слиться в одну великую русскую общину, долго не подавляла разумного развития личности. Пути мысли были свободны, все человеческое было доступно человеку (разумеется, по мере его знаний и умственных сил). Быть может, перевес первого, т. е. общественного, начала был несколько сильнее, чем следовало, вследствие внутренних смут, предшествовавших скреплению государства, и вследствие внешних гроз (татарской и литовской), требовавших сосредоточения и напряжения общественных сил для отпора; но область личной мысли была еще довольно обширна. Стихия народная не враждовала с общечеловеческим даже тогда, когда общечеловеческое приходило к нам с клеймом иноземным. Доказательством тому служит знание иностранных языков и особенно похвала этому знанию, призвание иностранных художников, охотное сближение с иноземцами даже духовного звания, влияние западного искусства на новогородскую иконопись, принятие многих западных сказок, знакомство с немецкими сагами из круга Нибелунгов (как видно из Новогородского летописца)[23], наконец, сочувствие с явлениями западного мира, отчасти заслуживающими этого сочувствия (например, с крестовыми походами), и многим другим. Кажется, подозрительность и вражда к западной мысли стали проявляться с некоторою силою после Флорентинского собора[24] и латинского насилия в рус-

ских областях, тогда подвластных Польше. Развились они вполне вследствие безумной и глубокой ненависти к русским людям, доказанной Швециею и купечеством и баронством прибалтийским; более же всего вследствие вражды и лукавства польских магнатов и латинского духовенства. Мало-помалу народная стихия стала являться исключительною и враждебною ко всему иноземному.

Область духа человеческого была стеснена; но такое стеснение, противное как истине человеческой, так и требованиям духа русского и коренным основам его внутренней жизни, должно было произвести сопротивление, доходящее до противоположной крайности. Борьба 1612 года была не только борьбою государственною и политическою, но и борьбою духовною. Европеизм с его злом и добром, с его соблазнами и истиною являлся в России в образе польской партии. Салтыковы и их товарищи были представителями западной мысли. Правда, в нравственном отношении они не заслуживали уважения. Иначе и быть не могло: нравственно-низкие души легче других отрываются от святыни народной жизни. Правда, люди, желавшие изменить старину, были в то же время изменниками отечеству, но это только была историческая случайность в их положении. В сущности же, их направление, произведенное случайным ожесточением народного начала, стеснявшего свободу мысли человеческой, было не совсем неправо. Сила русского духа восторжествовала: Москва освобождена, русский царь на престоле; но требование мысли, восстающей против стеснительного деспотизма обычаев и стихий местных, не осталось без представителей. Худшая сторона его выражалась в таких людях, как развратный беглец и клеветник Котошихин[25] или как Хворостинин, который говорил, что «русский люд так глуп, что с ним жить нельзя»[26]; но лучшая сторона того же требования находила сочувствие в лучших и благороднейших душах. Нет сомнения, что оно должно было получить со временем свои законные права; быть может, оно должно было впасть в крайность, потому что было вызвано противоположною крайностью. Как бы то ни было, оно нашло себе представителя, давшего ему полный перевес и быструю победу. Этот представитель, один из могущественнейших умов и едва ли не сильнейшая воля, какие представляет нам летопись народов, был Петр. Как бы строго ни судила его будущая история (и бесспорно, много тяжелых обвинений падет на его память), она признáет, что направление, которого он был представителем, не было совершенно неправым: оно сделалось непра-

вым только в своем торжестве, а это торжество было полно и совершенно. Нечего говорить, что все Котошихины, Хворостинины и Салтыковы бросились с жадностью по следам Петра, рады-радехоньки тому, что освободились от тяжелых требований и нравственных законов духа народного, что они, так сказать, могли расплясаться в русский пост. Та доля правды, которая заключалась в торжествующем протесте Петра, увлекла многих и лучших; окончательно же соблазн житейский увлек всех.

Таким образом, вследствие исторических случайностей совершился в России тот разрыв, который совершился в Англии вследствие неполноты и ложности ее духовных законов.

Одностороннее развитие личного ума, отрешающегося от преданий и исторической жизни общества: таков смысл английского вигизма. Таков смысл вигизма в какой бы то ни было стране. Характер его в общих чертах, показанных мною в письме об Англии, везде один и тот же; но за всем тем, направление общества в России (наш домашний вигизм) представляет значительное различие с английским, и эти различия, конечно, не в нашу пользу. Происходя от внутренней неполноты и ложности духовных законов, положенных историею в основании Англии, английский вигизм был естественным и, так сказать, законным развитием одной из ее стихий. Он оставался народным, он был связан с духовною сущностью земли даже тогда, когда отрывался от ее преданий и исторического прошедшего. Английский виг остается вполне англичанином: его быт, его внутренняя жизнь, даже наружный вид — все в нем английское; он еще не осудил себя на совершенное бессилие общественное и духовное. Иное дело вигизм нашего общества. Порожденный не внутренним законом духовной народной жизни, а только историческою случайностию внешних отношений русской земли и временным деспотизмом местного обычая,— он сначала явился протестом против случайного явления, но по закону, может быть необходимому, он сделался протестом против всей народной жизни, против всей ее сущности: он отлучил от себя все русское начало и сам от него отлучился. Бессильный, как всякая оторванная личность, лишенный всякого внутреннего содержания (ибо он был только отрицанием), лишенный всякой духовной пищи, ибо он оторвался вполне от своей родной земли,— он был принужден, и не мог не быть принужденным, прицепиться к другому историческому и сильному умственному движению, к движению Запада, которого он сде-

лался школьником и рабом. Это духовное рабство перед западным миром, этот ожесточенный антагонизм против русской земли, рассмотренные в продолжение целого столетия, представляют весьма любопытное и поучительное явление. Отрицание всего русского, от названий до обычаев, от мелочных подробностей одежды до существенных основ жизни,— доходило до крайних пределов возможности. В нем проявлялась какая-то страсть, какая-то комическая восторженность, обличающая в одно время величайшую умственную скудость и совершеннейшее самодовольствие. Конечно, эти крайности, по-видимому, принадлежат более первому периоду нашей европеизации, чем последнему; но последний, при большем бесстрастии, заключает в себе большее презрение и полнейшее отрицание всего народного.

Таковы последствия нашего общественного направления, нашего домашнего вигизма.

В предыдущих статьях я показал влияние этого направления на нашу науку, на наше искусство, на наш быт, или, лучше сказать, невозможность науки, искусства и быта при таком направлении. Повторение было бы бесполезно; но в такое время, когда, как я сказал, всемирная история, осудив безвозвратно те односторонние духовные начала, которыми управлялась человеческая мысль на Западе, вызывает к жизни и деятельности более полные и живые начала, содержимые нашею святою Русью, не мешает еще сказать несколько слов о том же предмете, дабы каждый из нас, читающих, пишущих и живущих в нашем просвещенном обществе, мог в беспристрастии совести своей определить, до какой степени он или окружающие его в состоянии быть органами русской жизни и русской мысли.

В прежних статьях я говорил о ничтожестве и о причинах ничтожества науки в России. Самый факт не подлежит сомнению: причины его ясны. Наука сама подвинуться не может, покуда не будет устранена причина ее мертвенности, т. е. тот внутренний разрыв, о котором я уже говорил; но любопытно видеть, с каким упорством она отстаивает свое благоприобретенное ничтожество и с каким жаром восстает она против всякой попытки, могущей возмутить ее умственный сон. Собственно наукообразное развитие нашего общества делится на два разряда. Большинство довольствуется издавна полученным направлением французской образованности и с тихим самодовольствием продолжает повторять старые уроки, перешедшие едва ли уже не в третье поколение, разнообразя их современными вариациями, взятыми из глубокомыс-

ленных французских журналов. По-видимому, в этом большинстве нет единства мнения, но действительные основы мнения одинаковы у всех; разницы же заключаются только в том, что для иного оракулом служит «La Presse», для другого «National», для третьего «Journal des Débats» и т. д.[27] Все это большинство можно заключить под общим именем школьников французских журналов. Меньшинство пошло гораздо далее: оно проникло в глубь немецкого просвещения. Тому лет двадцать, с полною верою в Шеллинга, оно субъектировало, объектировало и субъектобъектировало весь мир; потом, вместе с Гегелем отвергая чуть-чуть не с презрением поэтическую мечтательность Шеллинговой эпохи, оно, процессом феноменологии, высушивало тот же мир до совершеннейшего скелета или, лучше сказать, до призрака какого-то скелета, до бытия, тождественного небытию[28], и вдыхало ему снова жизнь и сущность посредством многосложного аппарата логических моментов. Прошла и эта эпоха. Умственная Германия протянула руку умственной Франции, которою пренебрегала чуть-чуть не полвека, и сливки нашего просвещения получили ту же закваску. Многоученое меньшинство, школьники немецкой философии, поступило вместе с немецкими университетами под те знамена, под которыми идет большинство,— под знамена французской журналистики. Где же плоды того умственного воспитания, которое это меньшинство получало из Германии и которое могло обмануть поверхностного наблюдателя? Где тот жар увлечения, который заставлял людей, не знавших немецкого языка, но желавших принадлежать к ученому меньшинству, цитовать вкривь и вкось авторитеты немецкие, непонятные для них самих, или томить публику сухими и темными формулами, убивающими всякое живое разумение? Где тот жар верования, который обращал других, более добросовестных и сведущих, в истинных мучеников науки, проводящих бессонные ночи в бесконечных прениях о философских отвлеченностях не только в теплом убежище дружественных салонов, но и на трескучих морозах петербургских или московских ночей?[29] Правда, есть люди, но они наперечет, которые вынесли из этого воспитания умственную деятельность, поставившую их на новые, самобытные пути мышления; большая же часть поносилась с мыслию, не оживившись ею, отстала от мысли, не додумав ее, и беспрестанно принимает из-за моря новые направления и, так сказать, новые временные верования с тою же детскою доверенностью, с которой она лепетала формулы немецкой науки. Для нее наукообразная форма германская была только модою,

и скорее петербургская щеголиха (пожалуй, хоть и львица) наденет платье, сшитое по третьегодней моде, чем наш книжник заговорит формулами или о формулах мышления, некогда бывшего предметом его боготворения. Разумеется, наука невозможна при таком направлении. Если же как-нибудь случайно выскажется какая-нибудь мысль, естественно родившаяся на русской почве,— полукнижное большинство и книжное меньшинство встречают ее одинаковою непонятливостью (очень естественною, потому что ум человеческий не без усилия вырывается из привычной своей колеи) и одинаковым недоброжелательством, происходящим также от весьма естественного желания сохранить неприкосновенность своего умственного сна. Все единогласно провозглашают новую мысль парадоксом (как в известной сцене «Горе от ума»: «Это странно что-то!»)[30], причем большинство объявляет, что новый парадокс не совсем благовиден (ибо наш общественный вигизм имеет сильное притязание на консерваторство и на торизм, не сознавая своего вигизма и не понимая, что торизм совершенно невозможен при полном разрыве с народом и народною жизнью). Меньшинство же хватает на скорую руку какое-нибудь пошлое возражение и бросает его, к общему удовольствию, в мир мелкой журналистики. Тем дело и поканчивается.

Этому был недавний пример. Один из тех весьма немногих людей, которым удалось вполне познакомиться с западною наукою, продумать ее и выйти на путь своебытного мышления, выразил недавно мысль, что *одна любовь* может служить основою общества и общественной науки[31]. Как была встречена эта мысль? Один из представителей книжного меньшинства или того, что можно назвать школьническою школою, выступил с проворным опровержением и стал доказывать, что на дело основания общества взаимная вражда годится так же, как и взаимная любовь[32]. Конечно, всякий здравомыслящий человек мог бы ему сказать, что вражда, во сколько она существует свободно, не может служить основанием ни для чего; что она должна быть подавлена или сдержана примирительным условием. Самое же условие обеспечивается или взаимною выгодою, или взаимным страхом условившихся; но ни страх, ни выгода не обеспечивают соблюдения условия, потому что они определяются только личным и случайным расчетом каждого из членов общества и сами по себе не могут дать условию характер правоверности. С другой стороны, как я уже сказал, никакое условие само собою святиться не может; оно получает характер святости

или правды только извне; следовательно, основою общества будет начало, освящающее условие, а не вражда. Итак, вражда может являться как случайность в составлении общества, но не может входить ни в каком случае в его норму; идея же взаимной любви может являться и в процессе развития общественного, и окончательною его нормою. Дело было ясно, и ничтожность возражения очевидна, а все-таки возражение пригодилось*. Таково было участие меньшинства.

Большинство с своей стороны отозвалось, что предполагаемое начало имеет, так сказать, характер пастушеский и наивно мечтательный и что оно предполагало какое-то общество святых. На это возражать нечего. В письме об Англии, говоря о соблюдении в ней воскресной тишины и о соблюдении постов во всех русских деревнях и собственно русских городах, я уже показал разницу между общественною нормою и произволом личности; но, разумеется, это различие еще не совсем ясно для многих. Таков был прием, сделанный читающею публикою мысли, заслуживающей другой оценки. Этой мысли, как единственного разрешения вопросов общественных, ищут и на Западе, но ее найти не могут; ибо она не дана Западу ни его общественным началом, основанным на вражде и завоевании, ни односторонностию и антагонизмом его отживших духовных начал; она не может возникнуть из произвола личного мышления, она должна иметь корни свои в духовном и общественном начале, в веровании для своего существования и в исторической основе общества для своего проявления. Это, наконец, была мысль вполне русская, и оттого-то она встретила такой радушный прием. Пример поучительный, но не единственный. Такой же прием был сделан попытке показать различие между высоким христианским понятием о личности и двумя западными понятиями о личности, как о совокупности всех случайностей, обставляющих человеческую личность, или о личности, как о числительной единице[33]. Такой же прием встретило определение различия между единодушием, как выражением нравственного единства, и большинством, как выражением

---

* Замечания мои об этом неудачном возражении нисколько не мешают мне питать истинное уважение к весьма даровитому возражателю. Если когда-нибудь в нем или во многих из его сотрудников, также весьма даровитых, является некоторая несостоятельность перед глазами строгой логики, то, конечно, это можно приписать недостатку самой школы, а не какому-нибудь личному недостатку ее членов.

физической силы или единогласием, являющимся как крайний предел большинства[34], и т. д. Очевидно, наука в теперешнем своем состоянии еще не может надеяться быть органом русской жизни и русской мысли.

Дело еще яснее в отношении к художеству. Ни искусство слова, ни искусство звука, ни пластика[35] в России не выражают еще нисколько внутреннего содержания русской жизни, не знают еще ничего про русские идеалы.

Разумеется, иначе и быть не может; ибо искусство невольное и, так сказать, незадуманное воплощение жизненных и духовных законов народа в видимые и стройные образы невозможно при отделении лица (как бы ни было оно одарено художественными способностями) от самой жизни народной. Отделенная личность есть совершенное бессилие и внутренний непримиренный разлад. Она до такой степени неспособна быть началом или источником художества, что всякое ее проявление уже расстроивает или искажает художественное произведение, в котором она выступает иначе, как разве покоряющаяся общему закону или страдающая от его нарушения. Бесспорно, какие-то мелкие струи русских начал пробегают в лучших произведениях нашего слова, но они очень незначительны, хотя их свежесть и блеск должны бы служить утешительным предвещанием для будущего развития. Заметим мимоходом, что всеобщий успех даже плохих произведений по одной из отраслей нашей словесности, близкой к требованиям народным, указывает довольно ясно на эти требования и что в этой же отрасли мы можем похвалиться таким красноречивым деятелем, которому равного не имеет современная и которому мало соперников может представить прошедшая история западного слова. Этим деятелем восхищался Пушкин, его изучал Языков[36].— В искусстве звука видно еще большее бессилие, и, за весьма немногими исключениями, ученая музыка одного из самых музыкальных народов в мире не заслуживает никакого внимания; весьма редкие попытки ее на народность свидетельствуют по большей части о совершенной скудости вдохновения и жалкой вялостью своей столько же напоминают о музыкальном настроении русской души, сколько песни Дельвига об ее выражении в слове.— Наконец, пластика не только не существует, но в своих бедных попытках на существование может служить наставительным уроком, в котором обнаруживаются причины несуществования и других художеств. Случайно зарождается в молодом человеке потребность выразить в образе видимой красоты что-то скрывающееся в душе его, но неяс-

ное для него самого. Благородные школы, основанные просвещенною любовью к искусству, открывают ему свои гостеприимные объятия,— и он с жаром принимает этот призыв. Тогда начинается бесконечное рисованье и лепление глазков, носиков, лиц, тел и групп; бесконечное изучение всяких идеалов, разумеется, кроме тех, которые молодой человек бессознательно носил в самом себе. Курс пластического искусства продолжается несколько лет, и ученик, окончив его с успехом и даже с некоторым блеском, выходит, запутанный, сбитый с толку, соблазненный стройностью чужой, когда-то жившей мысли, неспособный уже читать в своей собственной душе, утративший любовь к тому, что когда-то любил, и не приобретший никакой другой любви,— окончательно и навсегда неспособный быть художником. А развитие было возможно; но оно было возможно при одном условии, которое необходимо: именно, ученика не должно было отрывать от жизни народа. Во всяком периоде человечества, во всяком народе для пластики возможны только два рода: пластика бытовая (genre) и пластика духовная (икона). Говоря в прежней статье о школах живописи, я уже указал на зависимость их от народной жизни; это указание относилось по преимуществу к пластике бытовой, в которой заключаются все другие роды (так называемый исторический, ландшафт и проч.), кроме иконы. Высшее развитие этого высшего рода подчиняется отчасти тем же законам, но отчасти оно повинуется и другим законам, менее зависящим от случайности времен и народов. Икона не есть религиозная картина, точно так же как церковная музыка не есть музыка религиозная; икона и церковный напев стоят несравненно выше. Произведения одного лица, они не служат его выражением; они выражают всех людей, живущих одним духовным началом: это художество в высшем его значении. Разумеется, я не говорю о таком или таком-то напеве или о такой или такой-то иконе; я говорю об общих законах и их смысле. Та картина, к которой вы подходите, как к чужой, тот напев, который вы слушаете, как чужой напев,— это уже не икона и не церковный напев: они уже запечатлены случайностью какого-нибудь лица или народа. В Мадонне di Foligno[37], несмотря на все ее совершенство, вы не находите иконы. Не все бы так поставили ангела, почти никто так бы не поставил Христа: это итальянская затея великого Рафаэля, и она вас расстраивает, и она мешает картине быть образом вашего внутреннего мира, вашею иконою. Оттого-то икона в христианстве возможна только в церкви, в единстве церковного созерцания; оттого-то стоит она

(в своем идеале) так много выше всякого другого художественного произведения,— пределом, к которому непременно должно стремиться художество, если оно еще надеется <достичь?> какого-нибудь развития. По тому самому, что икона есть выражение чувства общинного, а не личного, она требует в художнике полного общения не с догматикою церкви, но со всем ее бытовым и художественным строем, так как века передали его христианской общине. Итак, пластика в обоих родах своих, бытовом и иконном, доступна русскому художнику единственно во столько, во сколько он живет в полном согласии с жизненным и духовным бытом русского народа; и воспитание художника, его развитие состоят только в уяснении идеалов, уже лежащих бессознательно в его душе. Об этом-то условии никогда и помину нет. Такова причина несуществования у нас пластики, и та же самая причина уничтожает у нас всякое другое художество.

Очевидно, искусство еще менее науки может служить выражением русской жизни и мысли.

Дело еще яснее в отношении к быту. Он весь составлен из мелочей, не имеющих, по-видимому, никакой важности; но кремнистые твердыни воздвигнуты из микроскопических остатков Эренберговых инфузорий, а из мелочных подробностей быта слагается громада обычая, единственная твердая опора народного и общественного устройства. Его важность еще недовольно оценена. Обычай есть закон; но он отличается от закона тем, что закон является чем-то внешним, случайно примешивающимся к жизни, а обычай является силою внутреннею, проникающею во всю жизнь народа, в совесть и мысль всех ее членов. О борьбе закона с обычаем сказал один из величайших юрисконсультов Франции: La désuétude est la plus amère critique d'une loi (строжайшая критика закона есть отвержение его обычаем)[38]. Об охранной силе обычая говорил недавно один остроумный англичанин, что в нем одном спасение и величие Англии[39]. Наконец, можно прибавить, что цель всякого закона, его окончательное стремление есть — обратиться в обычай, перейти в кровь и плоть народа и не нуждаться уже в письменных документах. Такова важность обычая; и бесспорно, всякий, кто сколько-нибудь изучил современные происшествия, знает, что отсутствие обычая есть одна из важнейших причин, ускоривших разрушение Франции и Германии. Обычай, как я уже сказал, весь состоит из бытовых мелочей; но кто же из нас не признается, что обычай не существует для нас и что наш

вечно изменяющийся быт даже не способен обратиться в обычай? Прошедшего для нас нет, вчерашний день — старина, а недавнее время пудры, шитых камзолов и фижм — едва ли уже не египетская древность. Редкая семья знает что-нибудь про своего прапрадеда, кроме того, что он был чем-то вроде дикаря в глазах своих образованных правнуков.— Знали ли бы что-нибудь Шереметевы про уважение народа к Шереметеву, современнику Грозного, или Карамышевы про подвиги своего предка, если бы не потрудилась народная песнь сохранить память об них, прибавив, разумеется, и небывалые дела?[40] У нас есть юноши, недавно вышедшие из школы, потом юноши, трудящиеся в жизни, более или менее, по своему школьному направлению или по наитию современных мыслей, потом есть юноши седые, потом юноши дряхлые, а старцев у нас нет. Старчество предполагает предание,— не предание рассказа, а предание обычая. Мы всегда новенькие с иголочки; старина у народа. Это должно бы нам внушить уважение; но у нас не только нет обычая, не только нет быта, могущего перейти в обычай, но нет и уважения к нему. Всякая наша личная прихоть, а еще более всякая полудетская мечта о каком-нибудь улучшении, выдуманная нашим мелким рассудком, дают нам право отстранить или нарушить всякий обычай народный, какой бы он ни был общий, какой бы он ни был древний. Этому доказательств искать не нужно: каждый в своей совести сознается, что я прав; но недавно этому был довольно забавный пример. Кто-то нашелся попечься о сохранении лесов в России: дело, без сомнения, полезное и даже нужное. Что же он придумал? Он предложил уничтожить *троицкую* березку, доказывая, что она-то и губит наши леса! Положим, что эта мысль могла прийти, по неопытности, городскому жителю, никогда не бывавшему в лесах; но нет сомнения, что даже и городской житель, если бы он имел сколько-нибудь уважения к обычаям народа, мог бы сделать справку, действительно ли этот обычай вреден, и тогда бы он узнал, что на казенной десятине здорового березового молодятника (полагая его в 5- или 6-летнем возрасте) растет нередко гораздо более 30 т<ысяч> молодых дерев, из которых едва ли одна тысяча может уцелеть до того возраста, в котором береза поступает на дрова*. Итак, каждая десятина березового молодятника, посредством очистки, совершенно

* Мною насчитано с лишком 40 т<ысяч> подбегов в семилетнем дубняке, который никогда так част не бывает, как березняк.

безвредной, может дать около 30 т<ысяч> дерев для семика и для троицына дня. Было ли же о чем говорить? Было ли из чего предлагать нарушение старого обычая? Такая выдумка в Англии невозможна была бы для самого закоренелого вига. Правда, с некоторого времени многие стали хлопотать о том, чтобы собрать и обнародовать обычаи народные. Такие собрания представят для времен грядущих любопытное печатное кладбище убитых обычаев. Очевидно, это ученая прихоть, нисколько не свидетельствующая об уважении. Конечно, неуважение может оправдываться совершенным неведением; но, с другой стороны, совершенное неведение не могло бы существовать без совершенного неуважения. Такая круговая порука делает великую честь нашему мнимому торизму.

Говоря о нашем неведении русского быта и обычая, я разумею не только его мелкие подробности, но и самые плодотворные, самые охранительные его черты. Недавно один весьма ученый и даровитый писатель, говоря о русских мирах, признал их первоначальною попыткою общественной жизни и объявил, что они не заключают в себе гражданственности, а только ведут к ней[41]. Я не смею думать, чтобы он хотел сказать, что деревня не государство. Эта истина так ясна, что он бы ее не стал ни придумывать, ни печатать. Если же он полагает (а другого смысла и придумать нельзя), что устройство миров есть форма полудетская или обветшалая для общения людского в тесных пределах, то жаль, что он не указал на ту, ему известную форму общения (разумеется, в тесных же пределах), которая бы была совершеннее нашего мира, с его общностью поземельного владения и с его открытым судом во всех делах гражданских, отчасти уголовных и даже семейных; ибо семья есть часть мира, но подсудимая миру. Правда, тот же писатель, недавно говоря о старой Руси и о вечевых решениях, сказал, что они составлялись без всяких правил и форм, а так себе, кое-как, как решение мирских сходок[42]. Этим-то и объясняется все дело. Вся ошибка писателя состоит в неуважении к сходке, весьма извинительном, потому что оно происходит от неведения, если бы это самое неведение могло быть чем-нибудь извинено. Но кто из его читателей осмелится его осудить? Вследствие полной разъединенности нашего вигистического общества, не все ли мы отошли так далеко от своей русской жизни, что не способны даже принять участие в мирской сходке? Я скажу более, что мы не имеем никаких понятий об юридическом начале, на котором основываются ее

решения. В этом никто из нас не усомнится. Это опять доказательство такого разобщения, которого никакой англичанин не только не мог бы придумать, но которому он едва ли бы мог поверить. Действительно же решения мирских сходок основываются или, по крайней мере, всегда стремятся основываться на своих юридических началах, которые не совсем доступны нашим юристам. Для пояснения своей мысли я расскажу случай, которому был свидетелем. Тому несколько лет назад ехал я осенью из Ельца, на своих, проселочною дорогою. Покуда кормили лошадей, вышел я на улицу, увидел собирающуюся сходку и пошел за народом, в надежде кое-что рассмотреть и (да простит меня мой читатель!), может быть, кой-чему поучиться. Сходка была собрана для раздела огородных земель. Толки продолжались часа два, и за ними последовало какое-то решение, которое, впрочем, ни для кого не занимательно, кроме самой деревни, в которой делились огороды. После толков, когда уже сходка собиралась расходиться, вышел молодой малой, лет 18, поклонился миру и бил челом на старика, своего двоюродного дядю, в обделе. Дело он представил в следующем виде: в одном доме жили трое родных братьев (в том числе старший, хозяин дома, тот самый, на которого он жаловался) и двоюродный брат, отец истца. Этот двоюродный брат вышел из дома и зажил своим хозяйством, когда еще дети его были малолетны; вскоре он умер. Молодой парень жаловался, что двоюродные братья обидели его отца. Старик стал доказывать, что это обвинение несправедливо и что четвертая часть дома была, как следовало, выдана покойнику. Молодой парень, признавая истину этого показания, говорил, что так как дом их торговал хлебом, семенем и шкурьем, то по торговым оборотам оставалось несобранных долгов тысяч до двух с половиною; что из них четвертая часть (около 600 рублей) следовала бы его отцу, который и получил бы ее, если бы был жив; но что так как она не была выплачена вдове (его матери), то она следует теперь ему и его братьям. Старик спорил, горячился и бранился; сходка слушала и молчала; кое-какие робкие голоса изредка говорили в пользу просителя. Старик, как я после узнал, был по своему достатку первый крестьянин по всей деревне. Молодой парень был, видимо, смущен и оторопел. Тут выступил крестьянин лет сорока и вступился за него. Он стал доказывать старику, что долги им почти все собраны и что четвертая часть деньгами или вещами следует его племянникам; голоса в толпе стали ему явственно вторить. Старик горячился и ругался все более и более.

Заступник молодого парня отвечал ему вежливо, но твердо; наконец, изложивши все дело, он стал повторять одно: «Грех обижать сирот,— заплати им». Старик, выведенный из терпенья, вскрикнул: «Что ты горланишь: заплати да заплати! нешто ты мне барин?» — «Коли прав, так и барин»,— отвечал адвокат. Ответ ошеломил старика. На такое слово не могло быть возражения: он это видел в глазах сходки, он это чувствовал в самом себе. Он помолчал, наконец махнул рукою и сказал: «Ну, как мир положит!» — и ушел со сходки. Я ушел также и помню, что ушел с веселым сердцем. Есть, видно, в старых обычаях, есть в стародавней сходке свои юридические начала. Правда, они рознятся от юридических начал, принятых за норму в других землях; но вспомним, что болонский юрист в средних веках смеялся над местным правом, принятым в Англии, а что этому праву во многом подражает теперь Европа. Но дело еще не кончено. Совесть овладела разбирательством факта только в отношении к его существованию. Очевидно, ей же подлежит и будет подлежать факт в отношении к его нравственности. Таким образом все усовершенствование права получит свое начало от быта и обычая славянских. Часть дела совершена, дальнейшая впереди. Но скажут мне: «Такие начала слишком неопределенны, не имеют юридической строгости» и т. д. и т. д. Я считаю подобные возражения довольно ничтожными. В первых формулах закона является действительно самый строгий юридический формализм; напр<имер>: «Кто убил, да будет убит»; но следуют другие возрасты права: начинается разбор, совершено ли убийство вольно или невольно, в полном ли разуме убившего или в безумии, нападая или в своей собственной защите, с преднамерением или в мгновенной вспышке, вследствие злости или от меры терпения, переполненной оскорблениями, и т. д. и т. д. Формализм исчезает все более и более. Пожимай плечами, болонский юрист! Право перестает быть достоянием школяра и делается достоянием человека; но такой возраст права возможен только в единстве обычного и внутреннего начала общества.

Как бы то ни было, очевидно, что в бытовом отношении всего яснее выказывается наша неспособность быть выражением русской жизни и русской мысли.

Таковы-то богатые плоды нашего всеобщего вигизма. Кажется, я их представил без преувеличения и без пристрастия. Итог неутешителен. В самое то время, когда всемирное развитие истории, осудив неполные и односторонние начала, ко-

торыми она управлялась до сих пор, требует от нашей святой Руси, чтобы она выразила те более полные и всесторонние начала, из которых она выросла и на которые она опирается,— выражение их является невозможным по недостатку органов. В этом отношении ясно, что Россия находится в несравненно более трудном положении, чем Англия, и что вигизм нашего общества несравненно хуже и ниже, чем вигизм, составляющий одну из социальных партий в Англии. Таков результат, который бы можно было вывести с первого взгляда.

Но на первом взгляде останавливаться не должно. Полное изучение вопроса дает вывод совершенно противоположный первому. Английский вигизм, необходимая протестантская реакция против односторонности римских начал, был необходимостью, был развитием неизбежным и законным; торжество его так же неизбежно, как торжество всякой вполне логической мысли. От этого, как я уже сказал, в Англии будущее принадлежит вигам[43],— если английская земля не примет извне других, более полных духовных начал. У нас совсем другое дело: наш вигизм есть следствие исторической и, так сказать, внешней случайности, нисколько не обусловленной нашими внутренними началами общественными или духовными. Плод временной случайности, он может иметь и значение и существование только временное; и не только нельзя сказать, чтобы будущее ему принадлежало, но можно смело сказать, что будущее для него не существует. Законный в своем случайном начале, бессмысленный в своем общем развитии, он приближается к своему падению. Его существование продлить не могут ни частные усилия, ни полудобросовестные парадоксы устаревшей любви к западным школам, ни общественное упорство, ни даже неподвижная сила общественной апатии и умственной лени. Логика имеет свои неотъемлемые права, и беспристрастный наблюдатель, радуясь будущему, может уже найти утешение в признаках настоящего. Возврат русских к началам русской земли уже начинается.

Под этим словом возврата я не разумею возврата наших любезных соотечественников, которые, как голубки, потрепетавши крылышками над треволненным морем западного общества, возвращаются утомленные на русскую скалу и похваливают ее твердость[44]. Нет, они возвращаются на святую Русь, но не в русскую жизнь; они похваливают крепость своего убежища и не знают (как и все мы), что вся наша деятельность есть не что иное, как беспрестанное подкапывание его

основ. К счастью, наши руки и ломы слишком слабы и бессилие наше спасает нас от собственной слепоты. Я не называю возвратом и того, не совсем редкого, явления общественного, которое может, пожалуй, сделаться и минутною модою, что люди, совершенно оторванные от русской жизни, но не скорбящие об этом разрыве, а в полном самодовольстве наслаждающиеся своим мнимым превосходством, важно похваливают русский народ; дарят его, так сказать, своим ласковым словом, щеголяют перед обществом знанием русского быта и русского духа и преспокойно выдумывают для этого русского духа чувства и мысли, про которые не знал и не знает русский человек. Чтобы выразить мысль народа, надобно жить с ним и в нем. Я говорю о другом возврате. Есть люди, и, к счастью, этих людей уже немало, которые возвращаются не на русскую землю, но к святой Руси, как к своей духовной родительнице, и приветствуют своих братий с радостною и раскаивающеюся любовью. Этот мысленный возврат важен и утешителен. Наука, несмотря на слепое сопротивление книжников и на ленивую устойчивость полукнижного большинства, не только начинает обращать внимание на истинные потребности русской жизни, но, освобождаясь мало-помалу от прежних школьных оков, уже показывает стремление к сознанию своих родных начал и к развитию истин, до сих пор бессознательно таившихся в нашей собственной жизни. Эти труды остаются не совсем без награды: им сочувствуют многие, им сочувствуют по всей земле русской и, может быть, еще более в ее дальних областях, чем в тех мнимых центрах нашего просвещения, которые до сих пор суть действительно только центры западного школьничества. Им сочувствуют даже некоторые просвещенные люди на Западе, готовые уважать нашу мысль, когда она действительно будет нашею собственною, а не простым подражанием мысли чужой. Успех искусства медленнее, чем успех науки. Разумеется, так и следует быть. Искусство требует внутреннего мира и внутренней полноты, которых у нас еще быть не может; но за всем тем в нем сильнее и сильнее начинает пробегать струя русской мысли. Никогда наш духовный мир, истинная потребность русской души, не оглашался теми чудными звуками и не обогащался теми глубокими мыслями, которыми отличается величайший из его современных деятелей[45]; никогда художество слова в его бытовом направлении еще не имело такого русского представителя, как в наше время[46]. Даже в искусствах пластических слышится и чуется тот же возврат. Даровитая молодость обращает глаза свои с любовью на тот строгий путь, кото-

рый некогда был открыт нам Византиею и после того прерван бурями нашей треволненной жизни. Просвещенная любовь к художеству, поняв высокое достоинство этого пути, хочет записать снова в русской живописи имя, некогда блестевшее в ее летописях основанием иконописной школы[47]. Наконец, люди более последовательные, понимающие связь бытовых мелочей с общим развитием мысленного организма, стараются хотя несколько приблизить свой домашний быт к жизни и обычаям русским. Кроме признаков положительных есть не менее утешительные признаки отрицательные. Другого имени дать нельзя тому рассвирепенью, с которым учителя и подростки отживающей школы подражательной бросаются на всю старую Русь. Это не простое заблуждение критики, сбившее с толку Каченовского и его учеников; нет, это страсть, и страсть очень явная. Один во всеуслышание отвергает в России существование общины[48], тогда как в истории русской нельзя понять ни строки без ясного уразумения общины и ее внутренней жизни; другой, назло всем преданиям и памятникам, уничтожает всю старорусскую торговлю[49], не замечая даже того, что, по его же показаниям, один Новгород платил ежегодно в великокняжескую казну (разумеется, с своей торговли) такую сумму, которая равнялась четвертой части окупа, взятого норманнами со всей Англии, и больше чем осьмой части самого огромного окупа, взятого теми же торжествующими норманнами с целой Франции; а кто не знает, что значит военный окуп? Наконец, третий взялся за неожиданное оправдание Иоанна Грозного и приписывает несчастное ожесточение его мягкого сердца мерзостям народа и бояр[50]. Правда, что он не нашел ни в оправдательных письмах самого Иоанна, ни в современных свидетельствах иностранных или русских ни тени факта в пользу своего тезиса,— но все равно! Старой Руси следовало быть виноватою, а журнальному читателю следует быть легковерным*. Такие явления могли бы показаться несколько оскорбительными и похожими на недобросовестное поругание памяти наших отцов, но школьные страсти заслуживают некоторого извинения. Злость, с которою нападают на старую Русь, носит на себе характер

* Зато как обрадован был автор этого оправдания, когда впоследствии ревностный и даровитый труженик науки стал объяснять казни Грозного борьбою бояр с властью царскою за право отъезда[51]. Я не могу вполне согласиться с г. Соловьевым; но во всяком случае его мысль, выраженная впоследствии, не имеет ничего общего с попыткою оправдать Грозного безнравственностью русского народа.

рассердившегося бессилья. Виновата старая Русь не в том, что была, а в том, что она есть и теперь и даже изъявляет надежду на будущее существование и развитие. Точно так же должно оправдать и печатные нападения на самую личность, на наружность и, так сказать, на домашние отношения людей, осмелившихся выразить свое сочувствие к русским началам и свою веру в них. Сердитое бессилье не может быть разборчиво в средствах. Этот отрицательный признак столько же утешителен, сколько и положительные.

Без крайнего ослепления или без того уныния, которое внушено было поборникам русских начал, духовных и народных, прежним торжеством подражательного школьничества, нельзя не заметить, что совершается, хотя и медленно (так, как и следует быть), переход в нашем общественном мышлении; но надежда не должна порождать ни излишнюю уверенность, ни ленивую беспечность. Много еще времени, много умственной борьбы впереди. Не вдруг разгоняется умственный сон, медленно переменяются убеждения; еще медленнее изменяются привычки, данные полуторастолетним направлением. Все дело людей нашего времени может быть еще только делом самовоспитания. Нам не суждено еще сделаться органами, выражающими русскую мысль; хорошо, если сделаемся хоть сосудами, способными сколько-нибудь ее воспринять. Лучшая доля предстоит будущим поколениям: в них уже могут выразиться вполне все духовные силы и начала, лежащие в основе святой православной Руси. Но для того, чтобы это было возможно, надобно, чтобы жизнь каждого была в полном согласии с жизнью всех, чтобы не было раздвоения ни в лицах, ни в обществе. Частное мышление может быть сильно и плодотворно только при сильном развитии мышления общего; мышление общее возможно только тогда, когда высшее знание и люди, выражающие его, связаны со всем остальным организмом общества узами свободной и разумной любви и когда умственные силы каждого отдельного лица оживляются круговращением умственных и нравственных соков в его народе. История призывает Россию стать впереди всемирного просвещения; она дает ей на это право за всесторонность и полноту ее начал, а право, данное историею народу, есть обязанность, налагаемая на каждого из его членов.

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ В РОССИИ

Для того, чтобы определить разумное направление воспитания в какой бы то ни было земле и полезнейшее влияние правительства на это воспитание, кажется, надобно прежде всего определить смысл самого слова: *Воспитание*.

Воспитание в обширном смысле есть, по моему мнению, то действие, посредством которого одно поколение приготовляет следующее за ним поколение к его очередной деятельности в истории народа. Воспитание в умственном и духовном смысле начинается так же рано, как и физическое. Самые первые зачатки его, передаваемые посредством слова, чувства, привычки и т. д., имеют уже бесконечное влияние на дальнейшее его развитие. Строй ума у ребенка, которого первые слова были: бог, тятя, мама,— будет не таков, как у ребенка, которого первые слова были: деньги, наряд или выгода. <...> Отец или мать, которые предаются восторгам радости при получении денег или житейских выгод, устраивают духовную жизнь своих детей иначе, чем те, которые при детях позволяют себе умиление и восторг только при бескорыстном сочувствии с добром и правдою человеческою. Родители, дом, общество уже заключают в себе бóльшую часть воспитания, и школьное учение есть только меньшая часть того же воспитания. Если школьное учение находится в прямой противуположности с предшествующим и, так сказать, приготовительным воспитанием, оно не может приносить полной, ожидаемой от него пользы; отчасти оно даже делается вредным: вся душа человека, его мысли, его чувства раздвояются; исчезает всякая внутренняя цельность, всякая цельность жизненная; обессиленный ум не дает плода в знании, убитое чувство глохнет и засыхает; человек отрывается, так сказать, от почвы, на которой вырос, и становится пришельцем на своей собственной земле. Таково было действие переворота, совершенного Петром Первым. Ошибка извиняется, может быть, многими обстоятельствами его времени, но повторять такую ошибку беспрестанно было бы непростительно. Школьное образование должно быть соображено с воспитанием, приготовляющим к школе, и даже с жизнью, в которую должен вступить школьник по выходе из школы, и только при таком соображении может оно сделаться полезным вполне.

Из этого определения воспитания следует, что оно есть де-

ло всего общества в обширном смысле слова и что оно, по-видимому, должно быть предоставлено самому обществу без всякого вмешательства правительственной власти: но такой вывод был бы несправедлив. Нет сомнения, что государство, признающее себя за простое или, лучше сказать, торговое скопление лиц и их естественных интересов, как, например, Североамериканские Штаты, не имеет почти никакого права вмешиваться в дело воспитания, хотя и они не дозволили бы воспитательного заведения с явно безнравственною целью; но то, что́ в государстве, подобном Северной Америке, является только сомнительным правом, делается не только правом, но прямою обязанностью в государстве, которое, как земля Русская, признает в себе внутреннюю задачу проявления человеческого общества, основанного на законах высшей нравственности и христианской правды. Такое государство обязано отстранять от воспитания все то, что́ противно его собственным основным началам. Такова разумная причина, из которой истекает необходимость прямого действия правительственного на общественное образование. Впрочем, это действие, как я сказал, есть действие только отрицательное. Право на действие положительное, по-видимому, сомнительно; но и это сомнение исчезает при внимательном рассмотрении. Во всяком обществе, кроме потребностей постоянных и общих, могут явиться потребности временные, частные, на которые еще оно отвечать не умеет. Для удовлетворения этих потребностей могут быть нужны учебные заведения, исключительные и временно необходимые до той поры, когда само общество вполне поймет свои новые задачи и будет в состоянии свободно удовлетворять свои новые требования. Это право бесспорно должно быть допущено всяким государственным законодательством. Таким образом, положительное вмешательство правительства в дело общественного образования так же законно, как и отрицательное его влияние; а все то, что́ составляет право правительства, составляет в то же время часть его обязанности. Итак, в число прямых обязанностей правительства, верно выражающего в себе законные требования общества, входят: устранение всего, что́ противно внутренним и нравственным законам, лежащим в основе самого общества, и удовлетворение тех потребностей, которых само общество еще не может удовлетворить вполне. Из этого положения следует, что правила общественного воспитания должны изменяться в каждом государстве с характером самого государства и в каждую эпоху с требованиями эпохи. В отношении к отрицательному влиянию правительства на

общественное образование должно заметить, что правительство, которое допустило бы в нем начала, противные внутренним и нравственным законам общества, изменило бы чрез то само общественному доверию. Поэтому, чтобы определить направление правительственных действий на воспитание, надобно прежде всего определить самый характер земли, которой судьба вручена правительству: ибо то, что́ может быть невинно или даже похвально в Англии, было бы вредно и даже преступно в Испании.

Внутренняя задача Русской земли есть проявление общества христианского, православного, скрепленного в своей вершине законом живого единства и стоящего на твердых основах общины и семьи. Этим определением определяется и самый характер воспитания; ибо воспитание, естественно даваемое поколением предшествующим поколению последующему, по необходимости заключает и должно заключать в себе те начала, которыми живет и развивается историческое общество. Итак, воспитание, чтобы быть русским, должно быть согласно с началами не богобоязненности вообще и не христианства вообще, но с началами православия, которое есть единственное истинное христианство, с началами жизни семейной и с требованиями сельской общины, во сколько она распространяет свое влияние на русские села...

Правило, что воспитание в России должно быть согласно с бытом семейным и общинным, указывает более на то, чего избегать должно, чем на то, что́ должно делать. Жизненных начал общества производить нельзя: они принадлежат самому народу или (в избежание слова, слишком часто употребленного во зло и слишком дурно понятого) самой земле, по выражению старорусскому. Можно и должно устранять все то, что́ враждебно этим началам, но развивать самые начала почти невозможно. Жизненное и историческое действие общества похоже на живые явления природы и, может быть, еще неуловимее их. Опасно вступать в эти многосложные и неосязаемые тайны и поручать механике и химии то, что́ поручено Промыслом законам, которых никто еще не постиг вполне. Всякая премия, назначенная добродетели, есть премия, предлагаемая пороку. Правительство, поощряющее подвиги бескорыстной доблести какою бы то ни было корыстною наградою, отравляет источник, который хочет очистить; правительство, которое берет семью под свое покровительство и опеку, обращает ее по-китайски в полицейское учреждение и, следовательно, убивает семейность. Нет никакой известной возможности развить или произвести чувство, связывающее

русского крестьянина с его общиною или русского человека с его семьею; но есть возможность подавить или уничтожить эти чувства. Хорошо направленное воспитание должно избегать всех тех мер, которые могли бы произвесть такое гибельное последствие. Сельское училище, даже высшее, не должно вырывать селянина из его общинного круга и давать излишнее развитие его индивидуальности. Все воспитание и все училища должны быть, во сколько возможно, соображены с условиями семейной жизни. Любовь к семье не внушается отвлеченными теориями кафедры: она растет и крепнет только привычкою к семейному быту. Хорошо рассчитанные местности для школ и хорошо распределенные вакации должны доставлять ученикам возможность возвращаться нередко в круг семейный или даже в круг чужой семьи, если нет своей. Семье, в лице ее старших членов, должен быть открыт доступ в самые недра училищ, ибо ни деканский присмотр, ни инспекторское подслушивание, ни ректорская поверка не могут заменить бдительного надзора семейного общества. Наконец, чисто семейному воспитанию должны быть возвращены права, которых оно теперь лишено. Ставить замкнутые и привилегированные школы вдали от центров русского народонаселения есть ошибка; обращать воспитание юношей в какую-то тайну для их семей есть дело неразумное; награждать премиями и привилегиями воспитанников, которые выросли на счет общества и правительства, и лишать всех выгод и прав тех, которые воспитаны на счет своей семьи и не стоили никаких издержек государству, было бы противно здравому смыслу везде, а в земле Русской это было бы прямым извращением ее коренных начал. <...>

Воспитание, как уже сказано, есть передача всех начал нравственных и умственных от одного поколения последующему за ним поколению. Все особенности местные заключаются в началах нравственных: об них уже говорено. Начала умственные заключают в себе знания, т. е. науку в строгом смысле и понимание науки. Эти начала имеют одинаковые требования везде, и правила для удовлетворения этих требований одинаковы во всех странах света, ибо они основаны на общих законах человеческого разумения.

Германия и особенно Англия держатся в отношении к воспитанию старых преданий и старой системы, оправданных опытом веков. Во Франции и в России борются две системы, совершенно противоположные друг другу. Одна система дробит знание на многие отрасли и, ограничивая ум каждого юноши одною какою-нибудь из этих отраслей, надеется до-

вести его до совершенства на избранном заранее пути, не знакомя его почти нисколько с остальными предметами человеческого знания. Это система специализма или, так сказать, выучки. Другая, принимая все человеческое знание за нечто цельное, старается ознакомить юношу более или менее с целым миром науки, предоставляя его собственному уму выбор предмета, наиболее сродного его склонностям, и пути, наиболее доступного его врожденным способностям. Это система обобщения, или, иначе, понимания. Обе системы имеют своих приверженцев; но, кажется, успех первой из этих систем ничему иному приписать нельзя, кроме пристрастия ума человеческого ко всему новому, ибо она так же мало оправдана опытом, как она мало согласна с общими законами разума. Страна, наиболее отличающаяся учеными и изобретателями-специалистами, Англия, почти не имеет специальных школ. Люди, прославившиеся самыми блистательными открытиями в отдельных отраслях наук и подвинувшие их наиболее вперед, никогда не были питомцами ранних специальных рассадников. Ньютоны и Лавуазье, Вобаны и Кегорны, Деви и Савиньи не были с детства отданы на выучку какому-нибудь одному мастерству в области наук. Нет сомнения, что и из специальных школ выходили изредка люди, с честию подвизавшиеся на избранном заранее пути; такие примеры бывали, но они крайне редки; сколько же примеров можно найти воспитанников специальной школы, заслуживших почетное имя в специальностях, совершенно чуждых их воспитанию, столько же и еще более можно найти примеров гениальных самоучек. Это исключения, а не правило; до сих же пор специальные школы посылают своих лучших учеников совершенствоваться в те страны, где или совсем нет школ специальных, или где они служат только пополнением общего просвещения. Таков опыт современный, и таков будет опыт всех времен.

Разум человека есть начало живое и цельное; его деятельность в отношении к науке заключается в понимании. Самые предметы, представляемые наукою, как и предметы видимого и осязаемого мира, суть только материалы, над которыми трудится понимание. Истинная цель воспитания умственного есть именно развитие и укрепление понимания; а эта цель достигается только посредством постоянного сравнения предметов, представляемых целым миром науки и понятий, принадлежащих ее разным областям. Ум, сызмала ограниченный одною какою-нибудь областью человеческого знания, впадает по необходимости в односторонность и тупость

и делается неспособным к успеху даже в той области, которая ему была предназначена. Обобщение делает человека хозяином его познаний; ранний специализм делает человека рабом вытверженных уроков. Самое богатство материалов, если они все принадлежат к одной какой-нибудь отрасли науки и не пробуждают дремлющей силы сравнивающего понимания, обращается в тягость: оно лежит бесплодным и свинцовым грузом в сонной голове, между тем как меньшее количество материалов, пробудившее деятельность ума с разных сторон и в разных направлениях, приносит богатые плоды и самому человеку, и обществу, которому он принадлежит. Так, несчастный ученик ремесленно-художественной школы, век свой трудившийся над рисованием орнаментов, никогда не нарисует и не придумает того затейливого орнамента, который шутя накинет в одно мгновение рука академика, никогда не думавшего о сплетении виноградных и дубовых листьев.

Иначе и быть не может. Умственная жизнь человека подчинена законам, подобным тем, которыми управляется его жизнь физическая. Так, кто желал бы воспитать известное число скороходов, носильщиков, кулачных бойцов и т. д., даст им всем сперва общее воспитание атлета, подчинит их общей диете и общим упражнениям, укрепит всю их мускульную систему и потом уже обратит их к предназначенным специальностям, согласуясь, сколько возможно, с их врожденными способностями: он достигнет своей цели. Но тот, кто сызмала, разделив воспитанников по будущему ремеслу на скороходов, носильщиков, бойцов, вздумал бы развивать в будущем скороходе единственно силу ног и дыхания, в будущем носильщике единственно крепость спины и в бойце мускулы руки, тот вырастит множество бессильных уродов, из которых едва ли один окажется сколько-нибудь способным к работе, на которую был предназначен. Никому и не придет в голову такое нелепое воспитание физическое. Отчего же так нераскаянно умничают над человеческим умом люди, которые посовестились бы позволить себе те же самые несообразности в телесном воспитании человека? В общественном отношении должно еще прибавить и следующее: человек, получивший основное образование общее, находит себе пути по обстоятельствам жизни; человек, замкнутый в тесную специальность, погиб, как скоро непредвидимая и неисчислимая в случайностях жизнь преградит ему единственный путь, доступный для него. Воспитание, основанное на разделении специальностей, необходимо сопряжено с привилегированными

школами, т. е. с монополиею, и эта монополия дает десять умных недовольных на каждого осчастливленного тупицу.

Специальность не может быть положена в основу воспитания. Твердою и верною основою может служить только просвещение общее, расширяющее круг человеческой мысли и его понимающей способности; но из этого не следует, чтобы это общее просвещение не имело своих степеней. Низшая сельская школа, приготовляя своих воспитанников в отношении к общим познаниям, разумеется, не должна и не может их доводить до такого развития, до какого они будут доведены в школах, служащих приготовлением к гимназии и университету. Познакомив ученика вкратце с великими очерками мироздания и подробнее с основаниями разумного христианства, т. е. православия, она или возвращает его к его сельскому труду, или переводит его в другую, высшую и более специальную школу, но ни в каком случае не пробуждает в нем бесполезного стремления к наукам отвлеченным, точно так же как она и не запутывает его головы поверхностными и, следовательно, всегда ложными понятиями о теории его сельской специальности, которую он уже узна́ет впоследствии, в высшей школе. Итак, степени общего просвещения, передаваемого ученикам в разных приготовительных училищах, могут быть весьма различны; но характер всех приготовительных школ должен быть одинаков: он служит расширению и обобщению мысли, а не размежеванию ее областей.

Исключение специальных направлений из училищ приготовительных или переходных не исключает специальности из воспитания вообще; оно допускает ее и даже признает ее необходимость, но определяет ей совсем иное место. Учение специальное не есть уже просто учение: оно уже есть дело жизненное, выбор, так сказать, первый подвиг гражданственности. Оно не начинает, а повершает воспитание общественное.

Вследствие таких соображений, из курса гимназического должна быть устранена исключительная специальность занятий; но так как в раннем возрасте отчасти уже выражаются умственные способности учащихся и их склонности, или еще чаще направление, данное им желанием родителей, то можно допустить разделение общего курса на два отделения, на отделение словесности и отделение математики. Предметы обоих курсов должны быть одинаковы, учение общее. Различие должно быть в экзамене. Характер отделений определяется преобладанием языкознания в одном и математики в другом. В обоих эти, отчасти специальные, занятия

должны быть сколько возможно менее направлены к практической цели и, следовательно, сколько возможно более заключены в области отвлеченного знания. Словесность должна по преимуществу обращаться к древним языкам, математика — к алгебраическим формулам. Задача переходного училища состоит именно в том, чтоб расширить и укрепить понимание, и этой цели может оно достигнуть только такою системою, которая доставляет труд уму и пищу размышлению. Преподавание языков живых и математики прикладной раскидывает мысль; преподавание языков древних и чистой математики сосредоточивает ее в самой себе. Одно изнеживает и расслабляет, другое трезвит и укрепляет. Тот, кто учится французскому и другим европейским языкам, приобретает только новое средство читать журналы и романы и лепетать в обществе на разных ломаных наречиях; тот, кто учится языкам древним, приобретает знание не языков, но самих законов слова, живого выражения человеческой мысли. Одного знания древних языков достаточно, чтобы русский человек превосходно овладел своим собственным языком, а знания многих живых языков достаточно, чтобы русский совершенно раззнакомился со всеми живыми особенностями родного наречия. Почти то же самое можно сказать и об математике. Чистая математика приготовляет человека к прикладной; прикладная делает человека почти неспособным к ясному уразумению законов чистой математики. Наконец, познание языков новейших и наук физических легко приобретается и по выходе из школы: сама жизнь помогает этому приобретению. Языки древние и чистая математика никогда уже не приобретаются тем, кого школа с ними не подружила. Учение по-видимому бесполезное в отношении практическом созидает людей крепких и самомыслящих; учение по-видимому чисто практическое воспитывает пустых повторителей заграничной болтовни. Итак, знание древних языков и знание математики умозрительной составит характер двух отделений гимназии; но, как уже сказано, преподавание в обоих отделениях должно быть одно и то же, и только при экзамене, по собственному желанию учеников, определяется различие между ними. Просящие экзамена по словесности экзаменуются строже в языках древних и легче в математике, которая считается для них предметом только вспомогательным; просящие экзамена по математике экзаменуются строже по алгебре и геометрии и легче по древним языкам, которые для них уже составляют учение только вспомогательное.

Гимназия есть училище переходное. С этой точки зрения

должно смотреть на нее, и в этом смысле должно направить в ней преподавание. Без сомнения, многие ученики могут отказаться от дальнейшего университетского образования; это возможно, но не для них должна быть разочтена внутренняя система преподавания. По всем соображениям, курс гимназический может быть вполне кончен в 6 годов или классов. Тот ученик, который с успехом выдержал выпускной экзамен 6-го класса, должен быть допущен в университет без повторительного испытания; для тех же учеников, которых собственная воля и обстоятельства или воля родителей не допускают до окончательного университетского образования, может с пользою быть сохранен 7-й класс, в котором учение должно быть уже чисто практическое и состоять из краткого курса отечественных законов, из некоторых начал наук физических и из уроков для усовершенствования в котором-нибудь из новейших языков, входивших в прежние шесть классов единственно как предмет вспомогательный.

Университет, как высшее изо всех государственных училищ, определяет значение всех остальных. Его процветание есть процветание всех, его падение — падение их. Плохой университет делает все остальные школы ничтожными, иные вследствие их прямой зависимости, другие вследствие того соревнования, которое заставляет даже специальную школу стремиться к совершенству, чтобы не уступить слишком явного первенства высшему учебному заведению. Итак, улучшение университетов должно считать предметом первой важности в деле образования общественного, и к нему должно прилагать всевозможные старания.

В недавнее время проявилось мнение, будто бы университеты вообще можно уничтожить[1]. Это мнение должно отстранить однажды навсегда, и оно отстраняется само собою при малейшем размышлении. Вопрос об уничтожении университетов тождественен с вопросом об общем направлении народного просвещения. Или все воспитание распадается на училища чисто специальные, или для высшего и всеобъемлющего образования должны существовать высшие училища, вмещающие в себе преподавание всех наук, связанных между собою одною общею мыслительною системою; но после того, что́ сказано о преобладании специализма, первого предположения уже и опровергать не нужно. С другой стороны, или общество должно давать бо́льшие преимущества и бо́льшую веру школам, замкнутым и огражденным от нравственного влияния и надзора семьи и самого общества, или на первой и высшей ступени оно должно поставить заведение, доступ-

ное его же надзору и его нравственному влиянию; но первое предположение противно здравой логике везде и противно нравственным законам в земле, которая признает семью главною своею основою и лучшею порукою своего преуспеяния и своего духовного достоинства. Итак, *необходимость университетов* и разумность их главных законов неопровержимы; остается только рассмотреть, какими путями могут они удобнее достигать своей цели.

Вообще люди, говоря об образовании в России, признают, что оно имеет более характер поверхностного всезнания, чем дельной специальности. Это мнение сильно распространено, но тем не менее вполне ложно. Без сомнения, дельную специальность встретить у нас не совсем легко; но не всезнание мешает ей развиваться, а чистое невежество, прикрытое лоском одной специальности, самой неопределенной и самой пустой изо всех. Эта специальность есть довольно полное знание современной беллетристики, т. е. чего-то среднего между промышленною словесностью и общественною болтовнею. Разумеется, эта специальность, резко отличающая наше общество, имеет какой-то обманчивый вид всезнания, но она соединяется по большей части с полным и совершенным невежеством во всех отраслях человеческого знания, начиная от практических законов отечественного языка до отвлеченностей математики или философии. Не излишняя общность знания мешает развитию специальностей; нет, эта мнимая общность, выдуманная, может быть, иностранцами, поверхностно изучившими русское общество, и охотно допущенная нашею хвастливою скромностью, не существует. Специальности у нас ничтожны просто потому, что общее знание у нас ничтожно, что уровень нашего просвещения весьма низок, что ум лишен всякой силы и всякого напряжения и что наше совершенное невежество прикрыто от поверхностного наблюдения только одною специальностью: знанием современной беллетристики.

Университеты наши еще так далеки от всезнания, что не все юристы в состоянии порядочно выразить свои мысли по-русски, а из математиков и медиков бóльшая часть не имеет никакого понятия об истории всеобщей или отечественной. Неизбежная и неотвратимая небрежность вступительных экзаменов допускает в университет воспитанников, весьма слабо приготовленных, а самый курс университетский, рассчитанный единственно на специальные требования отдельных факультетов, не пополняет и не может пополнить недостатков первоначального образования. Очевидно, вступительные экзамены не обеспечивают вполне университета от невежества сту-

дентов, и университет должен внутри себя найти средства к отвращению этого зла.

Еще в весьма недавнем времени курс университетский был годом короче теперешнего[2]; его продлили на год с намерением дать больший простор специальному учению. Соответствовал ли успех ожиданиям? Ответ должен быть отрицателен, если мы отстраним всякое предубеждение и всякий самовольный обман. Остроградские и Перевощиковы — ученики коротких курсов, и едва ли имеют они себе равных соперников в питомцах курсов четырехлетних. Лучших соперников они бесспорно еще не имеют. Факультеты, при удлиненном курсе, загромождены бесполезными кафедрами, развивающими мелкие специальности в специальности самой науки (напр<имер>, кафедры технологии, сельского хозяйства, аналитических функций, теории вероятностей и проч.); наука ничего не выигрывает, время улетает даром для учеников, общее просвещение не подается ни на шаг вперед, и щедрые пожертвования, делаемые правительством для благой цели, пропадают без всякой пользы. Скажем более: наука от введения пустых кафедр не только не выигрывает ничего, но решительно много теряет. Она теряет свою строгость, свою умозрительную важность и получает характер ремесленности; она теряет уважение учеников и сама приучает их к пустоте и легкомыслию. Все ненужные кафедры должны быть устранены или по крайней мере обращены в кафедры знаний вспомогательных, доступных любознательности немногих, но *не требуемых* от большинства, всегда равнодушного. Курсы должны быть снова сокращены на прежние сроки, и требования выпускных экзаменов должны быть преимущественно и даже почти единственно обращены на предметы общие и знания умозрительные. Так, например, зоология или ботаника не должны идти наравне с чистою математикою, или знание условных и случайных законодательств нашего времени — с строго логическим развитием римского права до искажения его неудачными попытками позднейшей Византии, которая желала ввести в стройное здание римских юристов нача́ла бесспорно высшие, но не умела и не могла дать им цельности и гармонии.

Сокращение курсов в отношении к учениям специальным должно быть с избытком вознаграждено развитием просвещения общего. Первые два года университетского учения должны быть посвящены таким предметам, которые равно необходимы всякому образованному человеку, к какой бы он специальности ни готовился. Таковы знания русского языка и рус-

ской словесности, история словесности всемирной и понятие об ее образцовых произведениях; история всеобщая в широких очерках, без мелких подробностей, нача́ла математики в их отношениях к мыслительной способности человека, и естественных наук в их отношениях к системе мира (т. е. космологии), наконец, и более всего учение церкви православной <...>. Многие из этих предметов уже знакомы слушателям из курса гимназического, но все являются на лекциях университетских с высшим и более всеобъемлющим значением. Таков должен быть приготовительный курс университетский для всех факультетов, кроме медицинского. Никто не должен быть от него освобожден. Исключения допускаются только для первых нумеров гимназии и училищ, равных гимназии, и для тех, которые, вместо общего вступительного экзамена, потребуют прямо экзамена переходного из приготовительного курса к курсам специальным. Таким исключением возвысится самое учение в гимназиях, и рвение лучших учеников получит значительную награду; а с другой стороны, правительство представит великое поощрение воспитанию домашнему, добро направленному и основанному на разумных началах. Главным же исключением из общего правила будет медицинский факультет. Медицина — не наука в строгом значении этого слова: она не имеет никаких умозрительных основ, и поэтому требования и назначение медицинского факультета совершенно различествуют от требований и назначения других факультетов, и на него должно смотреть не как на факультет университетский, но как на специальную школу, причисленную к университету для того, чтобы придать специальному преподаванию форму и значение несколько наукообразные. Студенты медицинские могут быть освобождены от обязанности слушать курс приготовительных наук и должны слушать только чтения об отечественном языке, о законе божием и об естественных науках.

Такое распределение курсов даст твердую основу образованию университетскому и уравняет между собою все четыре факультета.

Воспитание умственное, как уже сказано, имеет целью не только передачу частных познаний, но и общее развитие всей мыслящей способности. Его заключение есть обращение воспитанников к предметам специальным, и эти специальные предметы, признанные за необходимые, суть: слово человеческое — орудие и выражение его мысли, право — основа его общественных отношений, и математика — закон всего вещест-

венного мира. Таково теперь существующее разделение, и нет никаких явных причин к его изменению.

По окончании приготовительного курса студенты объявляют, к какой специальности они намерены обратиться, и уже экзаменуются согласно с своим желанием, т. е. строже по предметам избранного ими факультета и снисходительнее по другим; но этот экзамен принимается в соображение при экзамене выпускном, и те, которые из предметов посторонних получили слишком неудовлетворительные баллы, не имеют права на кандидатство и по своему факультету, кроме того случая, если бы они попросили дополнительного экзамена и выдержали его с успехом.

В самых факультетах направление учения должно соответствовать своим началам и основам. Все, не принадлежащее к специальности факультета, должно быть исключено. Так, напр<имер>, статистика и политическая экономия не должны существовать в факультете словесном, а теория красноречия не должна быть преподаваема в факультете права. С другой стороны, мелкие специальности науки должны быть совершенно устранены или должны быть преподаваемы только желающим. Такими мелкими специальностями называем технологию и сельское хозяйство в факультете математическом, частные и мелкие юриспруденции в факультете права, теорию и историю частных форм словесности в факультете словесном. Точно так же должны быть совершенно отстранены все лекции о теориях, не необходимых для полного образования человека ученного по предмету, им избранному, хотя бы сами теории и представляли много поучительного и любопытного. Студент теперешнего курса чистой математики теряет едва ли не половину своего времени на слушание теории аналитических функций и теории вероятностей, между тем как теория вероятностей в смысле науки составляет только часть учения о разрешении высших уравнений и входит в нее по необходимости; а из теории аналитических функций приходится сказать на последней лекции: «Вот попытка знаменитого Лагранжа, желавшего заменить Ньютоновы дифференциалы; попытка была остроумна, но никуда не годилась, и вы можете забыть ее хоть завтра, нисколько не теряя возможности быть великим математиком». Такие злоупотребления времени и труда должны быть отстранены навсегда. Взамен многих совершенно бесполезных лекций должны поступить лекции еще не существующие, но необходимые для полного развития математического ума. Таковы: история математики и объяснение законов мысли, скрывающейся под ви-

димою вещественностью алгебраической формалистики. Этому гениальный Ньютон дал, сам того не зная, прекрасный пример в своей бессмертной биномии, но пример его нашел мало последователей в формалистах алгебры, не понимающих даже разницы между строго мыслительным ходом науки и ее слепою ощупью, между глубоким созерцанием английского математика в его биномии и бессмысленным приложением тригонометрической формулы к решению высших уравнений, сделанным остроумием француза[3]. Точно так же история естественных наук, с их удачами и неудачами, с показанием их строгих выводов, их былых и теперешних гипотез, их прежних ошибок и теперешних пробелов, необходима для пополнения курса в том отделении математического факультета, которое посвящено наукам естественным. Факультет юридический не полон без истории права, рассмотренной с логической точки зрения, и факультет словесности не существует без кафедры коренного наречия, санскритского, и без истории философии.

Есть люди, которые боятся смелого полета мысли, привыкшей к отвлеченностям. Это пустой страх, не основанный ни на каких данных и ни на каком опыте. Наука серьезная и многотребовательная отрезвляет страсти и приводит человека к разумному смирению; только пустая и поверхностная наука раздражает самолюбие и внушает человеку требования, несоразмерные с его заслугами. Наука в высших курсах университета не может быть слишком глубокою и всеобъемлющею: ей нужна *свобода мнения и сомнения,* без которой она лишается всякого уважения и всякого достоинства; ей нужна откровенная смелость, которая лучше всего предотвращает тайную дерзость.

Таковы должны быть направления и характер университетских курсов. Они будут значительно разниться от ныне существующих и будут гораздо более соответствовать истинным требованиям общественного образования. Многие перемены должны также быть введены в порядок и внутреннее устройство университетов. Вступительные экзамены останутся те же, но от них увольняются все ученики гимназий и училищ, равных гимназиям, выдержавшие успешно выпускные свои экзамены. В приготовительном курсе экзамена с курса на курс быть не должно. Переходный экзамен от общего курса к специальным факультетам необходим для всех слушателей этого приготовительного курса; он дозволяется всем молодым людям, воспитанным дома, требующим прямо этого высшего экзамена; но в нем поставляется правилом, что по

каждой отрасли наук новоступающего испытывает не тот профессор, который ее преподавал в первоначальном курсе. От переходного экзамена увольняются первые нумера гимназических воспитанников. Они вступают из гимназий прямо в факультеты. Успешно выдержанный переходный экзамен дает в общественной службе университетским студентам и всем посторонним права и выгоды, предоставляемые лучшим гимназистам. Специальные курсы продолжаются три года, но лишний год дозволяется всем студентам, которых успехи могли быть замедлены или болезнию, или обстоятельствами домашними, а иногда и посторонними занятиями. В специальном курсе отменяются все экзамены и весь счет годовых баллов, на основании которого, в противность здравому смыслу, ученик, улучшавшийся с года на год, становится иногда ниже ученика, который был старателен в первые годы и несколько нерадив в последний. Этот счет, по-видимому, создан только для упражнения секретаря университетского в четырех правилах арифметики и для возбуждения досады, часто весьма разумной, в студентах. Выпускной экзамен дает по-прежнему степень студента или кандидата, смотря по успехам. Экзамены должны быть весьма строгими, и, для того чтобы они могли быть строгими, все положения, наказывающие неуспех как преступление, должны быть отменены. Ни один добросовестный профессор, ни один честный человек не решится приговорить (как бы следовало по теперешнему положению) молодого человека к наказанию за то, то он нетвердо знает греческие спряжения или какое количество ситца выделывается ежегодно на английских фабриках. В этом уверены все студенты. Испытания обращаются в пустую форму, и мера, придуманная для того, чтобы экзамены были как можно строже, совершенно уничтожает экзамен.

Испытания на высшие ученые степени могут оставаться без изменения; к ним должны быть допускаемы все без исключения. Иностранцы всегда пользовались в России правом экзаменов на степень доктора, и нет никаких разумных причин, почему то, что́ дозволяется уроженцу Йорка или Эдинбурга, было бы воспрещено человеку, воспитавшемуся в Иркутске, Тифлисе, Воронеже или в степном поселке[4]. Наконец, следует прибавить, что, по моему мнению, вход на лекции должен быть открыт *всем* без исключения. Этого требует польза науки и образования общественного; этого требует нравственная справедливость, не дозволяющая, чтоб учение детей было тайною для родителей; этого требуют выгоды самого правительства, приобретающего в надзоре общества вер-

нейшую поруку в дельности и безвредности самого преподавания. Точно так же должно давать и экзаменам на высшие степени или по крайней мере диспутам величайшую общедоступность: вход должен быть свободен, возражение свободно. Всякое ограничение этой свободы должно быть устранено. Без нее испытание кандитата на ученую степень делается ничтожным, и таково оно отчасти теперь, когда и кандидат за своею кафедрой, и возражатели на своих стульях спорят друг с другом как будто под страхом уголовного следствия или гайнауского суда[5]. В самых семинариях понимают, что возражатели на диспуте не могут стесняться постановлениями и учением церкви. Это простое требование здравого смысла.

Таков, как кажется, должен быть устав университетов. В университетах же заключается главный двигатель всеобщего просвещения, и они должны быть признаны не только на слове, но и на деле высшими изо всех учебных заведений, из которых ни одно не должно равняться с ними в правах и преимуществах.

Сказав свое мнение об училищах и преподавании наук, я считаю себя обязанным заметить, что точно так же как воспитание не начинается школою, точно так же оно и не кончается ею. Последний и высший воспитатель есть самое общество, а разумное орудие общественного голоса есть *книгопечатание*. Вред, происходящий от злоупотребления книгопечатания, обратил на себя внимание многих и сделался в последнее время предметом страха почти суеверного. Книгопечатание, как самое полное и разнообразное выражение человеческой мысли, в наше время есть сила, и сила огромная. Как сила, оно может произвести вред, и вред значительный, хотя мнение об этом вреде вообще очень преувеличено и ему приписываются такие явления, которые или вовсе, или почти вовсе от него не зависели. Но из того, что какая-нибудь сила может произвести гибельные последствия, должно ли ее умерщвлять? Если бы бог дал слабому человеку такое могущество, конечно, нашлись бы люди, которые вздумали бы уничтожить те силы, которые, появляясь в виде бурь и землетрясений, разрушают великие города и опустошают целые цветущие области: эти люди из благих намерений убили бы жизнь природы, и спасаемых ими братий, и свою собственную. То же самое должно сказать и о книгопечатании. Люди, восстающие против него, не догадываются, что в их собственной голове из мыслей, которые они считают своею собственностию, едва ли сотая принадлежит им и не почерпнута прямо или

косвенно из того источника, который они хотели бы иссушить. Всякая мелочность и подавно мелкий страх должен быть отстранен от общественного управления везде и по преимуществу в таких высших державах, как Россия.

Книгопечатание может быть употреблено во зло. Это зло должно быть предотвращено цензурою, но цензурою не мелочною, не кропотливою, не безрассудно-робкою, а цензурою просвещенною, снисходительною и близкою к полной свободе. Пусть унимает она страсти и вражду, пусть смотрит за тем, чтобы писатели, выражая мнение свое, говорили от разума (конечно, всегда ограниченного) и обращались к чужому разуму, а не разжигали злого и недостойного чувства в читателе; но пусть уважает она свободу добросовестного ума. Цензура безрассудно строгая вредна везде (этому Австрия служит примером и доказательством: закормленная, запоенная и одуренная Вена была в 1848 году хуже Берлина и Парижа); но цензура безмерно строгая была бы вреднее в России, чем где-либо. По милости божией, наша родина основана на началах высших, чем другие государства Европы, не исключая даже Англии: ими она живет, ими крепка. Эти начала могут и должны выражаться печатно. Если выражение их затруднено и жизнь словесная подавлена, мысль общественная, и особенно мысль молодого возраста, предается вполне и без защиты влиянию иноземцев и их словесности, вредной даже в произведениях самых невинных, по общему мнению. Так, например, письма из Парижа в «Revue etrangère»[6], в которых старый аристократ облизывается при воспоминании об ужинах Людовика XV, хуже в своих нравственных последствиях, чем жалкий бред Консидерана или остроумное и страстное безумие Прудона. Я скажу более: иностранная словесность сама по себе, без противодействия словесности русской, вредна даже в тех произведениях, которые, по общему мнению, заслуживают наибольшей похвалы и особенного поощрения. Для русского взгляд иностранца на общество, на государство, на веру превратен; не исправленные добросовестною критикою русской мысли, слова иностранца, даже когда он защищает истину, наводят молодую мысль на ложный путь и на ложные выводы, а между тем, при оскудении отечественного слова, русский читатель должен поневоле пробавляться произведениями заграничными. Но скажут: строгость цензуры никогда не может падать на произведения безвредные или полезные. Это неправда. Можно доказать, что излишняя цензура делает невозможною всякую общественную критику, а общественная критика необходима для са-

мого общества, ибо без нее общество лишается сознания, а правительство лишается всего общественного ума. Но если бы даже это было правдою, то и тогда вред был бы неисчислим. Честное перо требует свободы для своих честных мнений, даже для своих честных ошибок. Когда, по милости слишком строгой цензуры, вся словесность бывает наводнена выражениями низкой лести и явного лицемерия в отношении политическом и религиозном, честное слово молчит, чтобы не мешаться в этот отвратительный хор или не сделаться предметом подозрения по своей прямодушной резкости: лучшие деятели отходят от дела, все поле действия предоставляется продажным и низким душам; душевный разврат, явный или кое-как прикрытый, проникает во все произведения словесности; умственная жизнь иссякает в своих благороднейших источниках, и мало-помалу в обществе растет то равнодушие к правде и нравственному добру, которого достаточно, чтобы отравить целое поколение и погубить многие, за ним следующие.

Такие примеры бывали в истории, и их должно избегать[7].

<ПРЕДИСЛОВИЕ К «РУССКИМ НАРОДНЫМ ПЕСНЯМ»>

Археологические разыскания обращают на себя в наше время внимание ученого мира. Германия, Франция, Англия отыскивают следы своей древней поэзии и памятники своей прежней жизни. Земли славянские следуют тому же примеру. Разумеется, и мы не могли ему не последовать; но должно сознаться, что на сей раз подражательность, которая так часто вводит нас в ошибки, навела нас на направление полезное. Действительно, археологические исследования, бросившие столько света на древнюю историю и историю средних веков Европы, оказавшие столько пользы землям славянским, в которых они укрепили ослабевшую национальность, должны быть и будут много полезнее у нас, чем где-либо.

Конечно, нельзя отрицать великого поэтического достоинства в песнях о Нибелунгах и об сильных богатырях древней Германии, нельзя спорить об историческом достоинстве произведений народной поэзии, собранных трудолюбием таких

людей, как Фориель; но должно признаться, что, обогащая мир художества и науки, они не вносят ничего живого в самую жизнь. Язык немецкий или французский не примет уже в себя новых животворных стихий из языка труверов[1] или поэм о Гудруне; мысль не получит нового настроения; быт не освежится и не окрепнет. Minimi кентских саксов[2], товарищей мифического Генгиста, груды каменного угля, открытые в римских плавильнях (открытие удивительное при молчании римских писателей о каменном угле), вдохновенные песни Аневрина или Лливарк-Гена[3], неожиданные следы великого значения васков[4] в Южной Франции, любопытные рукописи средневековых монастырей, сказки Вандеи[5] или Бельгии (которых значение еще совсем не оценено), все сказочные или исторические песни о богатырях или героях Германии, все миннезингеры[6] и певцы городские принадлежат к тому же разряду приобретений, к которому относятся камни Ниневии[7], гиероглифы долго безмолвствовавшего Египта, утешительные для ученого, поучительные для пытливого ума, почти и можно даже сказать — вполне бесполезные для бытового человека.

Иное дело археология в землях славянских. Тут она явилась силою живою и плодотворною; тут пробудила она много сердечных сочувствий, которые до тех пор не были сознаны и глохли в мертвом забвении, возобновила много источников, занесенных и засыпанных чужеземными наносами. Чех и словак, хорват и серб почувствовали себя родными братьями — славянами; с радостным удивлением видели они, что, чем далее углублялись в древность, тем более сближались они друг с другом и в характере памятников, и в языке, и в обычаях. Какая-то память общей жизни укрепляла и оживляла много страдавшие поколения: какая-то теплота общего гнезда согревала сердца, охладевшие в разъединенном быте. Шире и благороднее стали помыслы, тверже воля, утешительнее будущность. Важнее же всего та истина, добытая из археологических исследований, истина, еще не всеми сознанная и даже многими оспориваемая с ожесточенным упорством, что вера православная была первою воспитательницею молодых племен славянских и что отступничество от нее нанесло первый и самый жестокий удар их народной самобытности. Полное и живое сознание этой истины будет великим шагом вперед: оно не минует. Богатые плоды уже добыты наукою для современных славян; но впереди можно смело ожидать жатвы еще богатейшей.

Что же сказать об археологии России? Разумеется, она принесла и приносит нам ту же пользу, которую она при-

несла нашим южным и западным соплеменникам, но этим не ограничивается ее действие. Нет, она сама изменяет свое значение и получает новое, еще высшее: она не есть уже наука древностей, но наука древнего в настоящем; она входит, как важная, как первостепенная отрасль в наше воспитание умственное, а еще более сердечное. Наши старые сказки отыскиваются не на палимпсестах[8], не в хламе старых и полусогнивших рукописей, а в устах русского человека, поющего песни старины людям, не отставшим от старого быта. Наши старые грамоты являются памятниками не отжившего мира, не жизни, когда-то прозвучавшей и замолкнувшей навсегда, а историческим проявлением стихий, которые еще живут и движутся по всей нашей великой родине, но про которые мы утратили было воспоминание. Самые юридические учреждения старины нашей сохранились еще во многих местах в силе и свежести и живут в преданиях и песнях народных*. Наука о прошедшем является знанием настоящего, и, углубляясь в старину и знакомясь с нею, мы узнаем современное и сживаемся с ним умом и сердцем. Зато и труды археологические, начатые у нас подражателями западного мира, сделались теперь по преимуществу достоянием людей, связанных глубокою и искреннею любовью с нашей святою Русью.

---

* *Примечание.* Так, например, однажды, входя в комнату, в которой кормилица, родом из сельца Солнушкова, Московской губернии, укачивала мою дочь, я услышал тихую колыбельную песнь, которая меня удивила. Слова ее мною были записаны, и вот ее содержание.

Ребенок зовет другого ребенка в гости играть и веселиться вместе:

Ты куколка, я куколка;
Ты маленькая, я маленькая,
Приди ко мне в гости и т. д.

Другой отвечает:

Я радешенька б пошла,
Да боюся тиуна.

Первый возражает:

Ты не бойся тиуна,
Тиун тебе не судья:
Судья нам владыка.

Замечательно такое ясное сознание подсудимости малолетних епископам, а не тиунам: видимо, *мнимый дикарь*, житель русских сел, прежде эпохи нашего великого просвещения знал, до некоторой степени, и законы свои, и судей своих...

Благодарение им! Они помогают нам совершить великий шаг в своем перевоспитании; они обогащают нас источником благородных и душевных наслаждений. Многого лишило нас ложное направление нашего просвещения. Введением стихий иноземных в языке и быте оно уединило так называемое образованное общество от народа: оно разорвало связь общения и жизни между ними.— Вследствие этого у нас составился сперва искусственный книжный язык, черствый и педантский, испещренный школьными выражениями, холодный и безжизненный. Мало-помалу он стал изменяться. Место школьной пестроты заступила пестрота слов и, особенно, оборотов, взятых из современных языков иностранных; черствость, тяжелая важность и пышная растянутость заменились вялою слабостью, ветреною легкостью и болтливым многословием: но и прежняя книжность не вполне потеряла свои права, украшая новую легкость старою неуклюжестью и слабую пошлость школьною важностью*. Наконец вся эта книжная смесь уступила место новому наречию. Созданное в гостиных, в которых недавно еще говорили только по-французски и теперь еще говорят наполовину не по-русски, обделанное и подведенное под правило грамотеями, совершенно незнакомыми с духом русского слова, похожее на речь иностранца, выучившегося чужому языку, которого жизни он себе усвоить не мог, мертвое и вялое, оно выдает себя за живой русский язык: воздушная и нарумяненная кукла, подделанная под одушевленного и здорового человека. Но вот раздается песнь народная, сказывается старорусская сказка, читается грамота прежних веков, и слух почуял простое слово человеческое, полное движения и мысли, и на душу повеяло дыханием жизни. Таково на нас действие старины; но почему? Потому, что у нас долго не было старины, потому, что ее действительно нет и теперь. Шла жизнь простая и естественная, волнуяся, боряся и изменяясь в некоторых формах, но сохраняя свой коренной и основной тип средь борьбы, волнений и изменений,— и вдруг, так сказать, в один день она сделалась стариною вся, целиком, от одежды до грамоты, от богатырской сказки и веселой присказки до той духов-

* Разумеется, должно из этого суждения отчасти исключать лучших писателей. Карамзин совершенствовался по мере того, как вчитывался в русскую старину. Вообще язык поэзии лучше прозы[9], но все-таки, даже в своей чудной сказке о золотой рыбке, Пушкин еще далек от своих образцов.— Из прозы один только язык некоторых духовных произведений отличается высоким достоинством.

ной песни, лучшего достояния русского народа, которая дарит свои высокие утешения сельской хате и смеет явиться в городские хоромы только в печати, как любопытное воспоминание об утраченном настроении русской души. Но, к счастию нашему, то что называем стариною мы, заговорившие на всех иностранных наречиях и на все иностранные лады, не для всех сделалось стариною: оно живет свежо и сильно на великой и святой Руси. Мы, люди образованные, оторвавшись от прошедшего, лишили себя прошедшего; мы приобрели себе какое-то искусственное безродство, грустное право на сердечный холод: но теперь грамоты, сказки, песни языком своим, содержанием, чувством пробуждают в нас заглохнувшие силы; они уясняют наши понятия и расширяют нашу мысль; они выводят нас из нашего безродного сиротства, указывая на прошедшее, которым можно утешаться, и на настоящее, которое можно любить. Обрадованное сердце, долго черствевшее в холодном уединении, выходит будто из какого-то мрака на вольный свет, на божий мир, на широкий простор земли родной, на какое-то бесконечное море, в котором ему хотелось бы почувствовать себя живою струею. Благодаренье археологической науке и ее труженикам!

Две песни и две сказки[10], которые здесь напечатаны, записаны с словесного предания в разных местах России. Они далеко не равного между собою достоинства; но все четыре заслуживают внимания.

Первая песня, названная разбойничьею, очевидно, принадлежит к эпохе довольно поздней. Предполагая даже, что слова *кареточка, дорога Петинская* и *Петербургская* могут быть сочтены за вставки и искажения, критика должна признать, что самый предмет, весь характер и многие слова указывают на произведение XVII века. Трудно сказать, к какому именно разряду удальцов должно приписать разбойника, о котором говорит песнь: к тем ли разбойникам, которые, вследствие своих собственных пороков, а отчасти общественных неустройств, нарушали все законы и грабили по большим дорогам и рекам России, нападая на села и даже на маленькие города с смелостью, часто безнаказанною; или к тем удальцам, менее преступным против законов отечества, но не менее виновным перед законом веры и совести, которые, оставляя в покое своих сограждан, довольствовались грабежом областей, пограничных с Россией. И об тех и об других сохранилися песни. Иногда довольно трудно различить между удалым казаком и смелым разбойником; но в прилагаемой пес-

не, кажется, умирающий разбойник принадлежит к худшему разряду преступников. За всем тем песня, замечательная по живописности языка, заслуживает внимания в том отношении, что показывает, как чувство веры часто еще сохранялося даже в разгаре самых злых страстей. Черта важная, хотя принадлежащая не одной России; черта в одно время утешительная, ибо указывает на возможность исправления и покаяния, и в то же время крайне печальная, ибо обличает неясность понятий и запутанность мысли, при которых страсти и обстоятельства завлекают так легко человека в самые тяжкие преступления.

Первая сказка об Ваське Казимировиче своими анахронизмами, так же как самым именем богатыря, обличает или довольно позднее сочинение, или значительные искажения, введенные переходом сказки из уст в уста. По всей вероятности, оба предположения справедливы. Сказка же сама, весьма замечательна по необыкновенно живому языку и бойким его оборотам, по блистательной легкости рассказа и по какой-то особенной веселости, весьма редкой в рассказах и поэзии многострадавшей земли. Несмотря на то, что рассказ носит имя Васьки Казимировича, действительный герой сказки — Добрыня Никитич: он является лицом второстепенным, как и в большей части старых сказок, лицом веселым, беззаботным, ветреным, бесхитростным, но зато и нисколько не разумным. Если бы можно <было> сравнивать поэтические циклы, совершенно различные по характеру, то критику позволительно бы было найти сходство между Добрынею и старшим сыном Эймона. Добрыня Никитич принадлежал, очевидно, к княжескому родству: в этом отношении сказка верна истории. Отчество всегда сопровождает его имя; самое имя редко является в виде сокращенном или уменьшительном. Дружинник высокого происхождения, пользуется он особыми правами. Разгул его свободен и ни чем не стеснен. Добрыня любит роскошь, к которой приучило его княжеское родство. Он ищет приключений ради самых приключений, готов всегда драться ради потехи боевой. Более смелый наездник, чем сильный воин, он всегда подвижен, всегда молод; но русское чувство (не в укор будь сказано некоторым, впрочем весьма достойным, писателям, говорившим о наших сказках) дало беззаботному богатырю мягкость и человеколюбие, которое резко отделяет русского от татарина, равно жестокого как к иноплеменным, так и к своим товарищам и подданным. Сказка в высокой степени замечательна.

Об святочной песни и об ее достоинстве говорить нечего. Едва ли найдется такой читатель, который бы не понял простую прелесть ее языка, чувство любви и благоговения, которым она вся проникнута, то эллинское поклонение красоте, которое служит ей основою, и благоуханную грацию всех ее подробностей; но так как мы отвыкли от смелых и сжатых оборотов народной поэзии, я считаю необходимым сказать, что выражения: *Не заря ли тебя молодца спородила?* и т. д., выражения, принадлежащие к языческому миру, значат просто: не пришлец ли ты с неба, не принадлежишь ли к сонму богов? Эти выражения показывают, что язычник-славянин верил возможности общения с миром небесным и явлению богов на земле, приписывая им сверхъестественную красоту. Читая русскую песню, надобно всегда помнить способность и склонность народа выражаться с сжатостью, для нас почти недоступною; его понятливость не нуждается в многословии: так, например, говоря, что кудри завиваются серебром, золотом и жемчугом, песня не думает сравнивать волос с металлами или с камнями, а говорит: волосы завивались в кудри дорогие, как серебро, золото и жемчуг. Таковы смелые обороты нашего народного языка: вялое наречие наших гостиных не смело бы их употребить, и наше обленившееся воображение едва ли бы их приняло.

Бесспорно, изо всех четырех стихотворений, здесь напечатанных, первое место занимает сказка об Илье Муромце. Эта сказка носит на себе признаки глубокой древности в создании, в языке и в характере. Самый важный эпический тон соединен в ней с теми легкими сатирическими намерениями, которые так свойственны народной поэзии. Простота и живописность соединены в равной степени: ни один анахронизм, ни одно явное искажение не нарушают художественного наслаждения.

По эпохе, в которую эта сказка была сочинена, она кажется древнее всего собрания Кирши Данилова[11], за исключением, может быть, сказок о Дунае Ивановиче и об Волхве-богатыре. Ни разу нет упоминания об татарах, но зато ясная память о козарах, и богатырь из земли Козарской, названной справедливо землею Жидовскою[12], является соперником русских богатырей; это признак древности неоспоримой. В действии является уже не отдельный какой-нибудь богатырь, а целая богатырская застава, которой атаман Илья Муромец. Эта застава принадлежит, вероятно, княжеским пограничным стражам, хотя имя князя не упоминается нигде.

Стоит она на лугах Цицарских*, под горою Сорочинскою: оба названия указывают, если не ошибаюсь, на южные области за Киевом. Застава временно распущена: богатыри, составляющие ее, разъехались по своим делам; один только податаман Добрыня, везде сохраняющий свой характер, тешится благородною охотою за гусями и лебедями у синего моря, да атаман Илья ездит по степям, оберегая пределы своей земли. Возвращаясь с охоты, Добрыня наезжает на след богатырский и по *ископыти* (это слово несправедливо принято за *пыль*; оно действительно значит *глыба,* вырванная конским копытом) узнает след козарского богатыря. Он собирает своих товарищей. Решаются наказать смелого пришельца; но бой должен быть честный, одиночный. Илья Муромец не советует высылать на опасный бой ни Ваську Долгополого (дьяка или грамотея) — его погубит неловкость, ни Гришку Боярского сына — его погубит хвастливость, ни известного Алешу Поповича — его погубит алчность к корысти: приходится отправляться Добрыне, княжескому сроднику. Добрыня, тип удалого наездника, не отказывается. Кажется, в нем воображение народных поэтов олицетворяло дружину варяжскую, и его постоянная вражда со змием, до такой степени свойственная его лицу, что ему случается убивать трехглавых змиев даже тогда, когда об них и не думает (см. сказку о Ваське Казимировиче), указывает, может быть, на предание скандинавское о Сигурде-змиеборце*. Но сила Добрыни не соответствует его смелости. Он выехал в поле, в серебряную трубочку высмотрел богатыря, вызвал его на бой, но, когда увидел его страшную силу, спасся бегством от неравной схватки. Некому выручать честь заставы, кроме одного уроженца села Карачарова, старого Ильи Муромца. Он выехал на бой, также разглядел богатыря, только не в трубочку серебряную, а в кулак молодецкий: вызвал его и сразился. Долго

---

* Цицарскими землями старые летописи называют область Византийскую.

* *Примечание.* Критика, которая стала бы сомневаться в возможности такого знакомства с сагами скандинавскими, была бы весьма недальновидна. Новгородская летопись говорит о Феодорике Великом, называя его Дитрихом Бернским. Впрочем, сходство с Сигурдом может быть основано на причине, совершенно обратной влиянию скандинавскому. Не должно забывать, что Сигурд, или немецкий Слофрид,— гунн, из гуннской земли, что за него мстит Этцель, царь Суздальский, также гунн, что род его гибнет на Востоке и что он имеет явное мифическое сходство с Ингви Фрейром, богом придонским.

борются соперники, равные силою, но неловкое движение Ильи роняет его наземь. Козарин садится ему на грудь, вынимает кинжал и посмеивается над непобедимым стариком. Не падает духом Илья; он знает, что судьбы божии не назначили ему погибнуть в сражении; он должен победить, и, действительно, у крестьянина Ильи «лежучи на земли, втрое силы прибыло»*: одним ударом кулака вскидывает он противника на воздух, и потом отрубленную его голову везет на заставу, замечая только товарищам, что «он уже тридцать лет ездит по полю, а такого чуда не наезживал». Спокойное величие древнего эпоса дышит во всем рассказе, и лицо Ильи Муромца выражается, может быть, полнее, чем во всех других, уже известных сказках. Сила непобедимая, всегда покорная разуму и долгу, сила благодетельная, полная веры в помощь божию, чуждая страстей и — неразрывными узами связанная с тою землею, из которой возникла. Да и не ее ли, не эту ли землю Русскую олицетворило в нем бессознательно вдохновение народных певцов? и у нее на груди, как богатырь козарский у Ильи, сидел татарин и литвин и новый завоеватель всей Европы; но «не так у святых отцов писано, не так у апостолов удумано»[13], чтобы ей погибнуть в бою. Была бы только в себе цельна, да знала бы, откуда идет ее сила!..

И вот кончаю я, как в старых присказках, желанием, чтобы эти произведения народной поэзии были прочтены «молодым людям на утешенье, а старым на разум».

<ПРЕДИСЛОВИЕ К «РУССКОЙ БЕСЕДЕ»>

Любезный читатель!

«Русская беседа» просит твоего благосклонного внимания. Всякий журнал имеет свой характер, свое значение, свой образ действия. «Беседа» определяет свое значение самым

* Рекомендуем этот стих грамотеям, пишущим правила для употребления деепричастия: они, вероятно, обвинят народную сказку в галлицизме.

именем своим. Простая, искренняя, непритязательная русская беседа обо всем, что касается просвещения и умственной жизни людей. Кажется, тут и объяснять нечего: все остальное узнается из дальнейшего хода журнала. Оно и так; но все же приятно, прежде вступления в какую бы то ни было беседу, узнать хоть сколько-нибудь направление и характер собеседников. «Русская беседа» понимает это естественное желание с твоей стороны, любезный читатель, и постарается удовлетворить ему, сколько возможно.

В «Русской беседе» ты встретишь людей, искренно любящих просвещение, от которых услышишь дельное или приятное слово, но которые более или менее разногласят между собою в мнениях касательно важных и отчасти жизненных вопросов; при всем том «Беседа» постоянно сохранит единство характера и направления. Какие бы ни были различия в мнениях почтенных и радушно принятых гостей, домашний кружок связан единством коренных, неизменных убеждений. Полное изложение их и приложение ко всем предметам мысли и знания — впереди; беглый очерк их встретишь ты в следующих строках.

Когда народ получает от другого первые начала письменности, просветитель передает ученику собственную свою азбуку или возникает новая, более сообразная с звуковыми потребностями новопросвещаемого народа. В первом случае являются нелепые сочетания согласных, как у славян, принявших латинские буквы, или *эс, це, га* немцев, или множество изофонетических знаков, как у французов (напр<имер>, 24 манеры писать звук in и 28 манеров писать звук an), или, наконец, та уродливая письменность английская, в которой буквы ставятся, кажется, не для того, чтобы показать, какие звуки следует произносить, а для того, чтобы читатель знал, каких звуков он произносить не должен. Во втором случае является азбука разумная, как, например, наша кириллица. В первом случае народ принимает грамоту, во втором грамотность. Точно то же является и при всякой передаче просвещения от народа к народу. Новопросвещаемая земля может получить в деле просвещения данные и выводы уже готовые и, так сказать, вытвердить их на память или получить ту искру просвещенной мысли, которая должна впоследствии разгореться светлым и чистым огнем, питаемым родными материалами. Но последний случай составляет весьма редкое исключение. Обыкновенно народ-просветитель (хотя бы он был действительно просветителем только в отношении к положительному знанию) поражает таким блеском глаза́ своих

учеников, что все явления его умственной и нравственной жизни, все даже внешние особенности его вещественного быта делаются предметом суеверного поклонения или безрассудного подражания. Таково было отчасти влияние народов романских на племена германские. Самолюбивая Англия обезьянничала перед Италиею, а в Германии еще Фридрих II презирал немецкий язык. То же явление повторилось и у нас, только в размерах гораздо бóльших, потому что Запад уже развил все свои умственные силы, а мы были в совершенном младенчестве в отношении к знаниям, которые мы получили от своих европейских братий. Соблазн был неизбежен. Но время течет; но мысль, ознакомившаяся с просвещением, избавляется от суеверного поклонения чужому авторитету по мере того, как получает большее уважение к своей собственной деятельности. Наступает период критики. Прошедшее со всею его невольною ложью отстраняется не с негодующим упреком, а с добродушною, иногда и горькою улыбкою. Дальнейшее самоуничижение перед мыслию иноземною делается уже невозможным для всего народа и смешным в тех лицах, которые еще не хотят или не могут понять требований современных. Безграничное доверие к учителю и его мудрости очень любезно в ребенке и часто свидетельствует о богатом запасе любознания, оно сносно в отроке, оно нестерпимо в человеке взрослом, ибо служит признаком слабоумия или по крайней мере пошлости.

Когда русское общество стало лицом к лицу с западною наукою, изумленное, ослепленное новооткрытыми сокровищами, оно бросилось к ним со всею страстию, к которой только была способна его несколько ленивая природа. Ему показалось, что только теперь началась умственная и духовная жизнь для Русской земли, что прежде того она или вовсе не жила, или по крайней мере ничего такого не делала, чтобы стоило памяти в роде человеческом. Но действительно было совсем не то, русский дух создал самую русскую землю в бесконечном ее объеме, ибо это дело не плоти, а духа; русский дух утвердил навсегда мирскую общину, лучшую форму общежительности в тесных пределах; русский дух понял святость семьи и поставил ее, как чистейшую и незыблемую основу всего общественного здания; он выработал в народе все его нравственные силы, веру в святую истину, терпение несокрушимое и полное смирение. Таковы были его дела, плоды милости божией, озарившей его полным светом православия. Теперь когда мысль окрепла в знании, когда самый ход истории, раскрывающей тайные начала общественных явлений,

обличил во многом ложь Западного мира и когда наше сознание оценило (хотя, может быть, еще не вполне) силу и красоту наших исконных начал, нам предлежит снова пересмотреть все те положения, все те выводы, сделанные западною наукою, которым мы верили так безусловно; нам предлежит подвергнуть все шаткое здание нашего просвещения бесстрастной критике наших собственных духовных начал и тем самым дать ему несокрушимую прочность. В то же время на нас лежит обязанность разумно усвоивать себе всякий новый плод мысли западной, еще столько богатой и достойной изучения, дабы не оказаться отсталыми в то время, когда богатство наших данных возлагает на нас обязанность стремиться к первому месту в рядах просвещающегося человечества.

Таковы, любезный читатель, убеждения, которые «Русская беседа» должна выражать; содержанием же для нее может служить всякий предмет, относящийся к умственной жизни человека в ее личных или общественных проявлениях. В кругу общих интересов человечества и оставаясь верными правилу: «Homo sum, nihil humani a me alienum puto»*, издатели будут всегда давать первое место тому, что будет прямее относиться до нашей отчизны и ее умственной жизни. Это разумеется само по себе; но происшествия нынешнего времени, оправдывая наши давнишние и не раз высказанные сочувствия, послужили, вероятно, уроком для всякого русского человека. В те дни, когда вся Европа оглашалась криками неистовой вражды против нас, когда все дышало злобою, голос сочувствия услышали мы только от своих братий по крови — славян и братьев по вере — греков; но не голос только слышали мы, а видели дело, видели подвиг любви, бестрепетно встречающей смерть за братьев. Рядом с интересом отечества «Русская беседа» посвятит особое внимание всему тому, что будет иметь отношение к жизни народов славянских и народа греческого. Она считает долгом хоть словом благодарить их за любовь, которую они запечатлели своею кровию.

Форма «Беседы»... Но как исчислить формы человеческой беседы? Критика, рассуждение, исторический рассказ, повесть, стихи — все входит в ее состав. Разумеется, будут в издании

---

* Я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо *(лат.)*.— *Ред.*

отделы; но тебе, конечно, случалось не раз, любезный читатель, проводить с друзьями вечера, на которых не было рассказано ни одного анекдота, не пропето ни одной песенки, и все-таки вечера оставляли в тебе приятные и добрые впечатления, и ты не роптал, а был доволен. Приложи же это правило к нашей «Беседе», и если какого отдела не найдешь, скажи себе, что, видно, не было на этот раз анекдотического или стихотворного вдохновения, и поставь: *не имеется,* как ставят в грамматиках, когда какой-нибудь формы недостает в глаголе. Слово: *не имеется,* право, лучше пошлой повести и плохого стиха.

Предметом «Беседы» будут, как уже сказано, служить все разнообразные проявления умственной жизни человека; но не должно забывать, что самая умственная жизнь получает все свое достоинство от жизни нравственной. Ее современная слабость отзывается в том, что можно назвать пустодушием европейского просвещения. Вопросы нравственные должны присутствовать при разрешении почти всех умственных вопросов. Поэтому не удивляйся и не гневайся, если иногда услышишь слово несколько строгое, даже, может быть, несколько оскорбительное для уха, избалованного крайнею нежностию нашей печатной словесности. «Беседа» не считает себя вправе обходить требования нравственной правды. Без сомнения, стараясь разрешать, сколько возможно, старые или новые вопросы, беспрестанно представляемые жизнию и мыслию человеческою, она нисколько не льстит себя надеждою на безошибочность решения. Она даже позволит себе, может быть и нередко, ставить новые, еще не разрешенные вопросы, в полной уверенности, что вопросы неразрешенные далеко не бесполезны: они будят деятельность ума и готовят его к будущему разрешению. «Беседа» не обещает ни безошибочности, ни всезнания, но обещает искренность и добросовестность; от тебя же просит внимания и беспристрастия, дабы общий труд мог совершаться успешно: ибо все, как пишущие, так и читающие, одинаково сотрудники в деле знания, в деле просвещения, в деле жизни.

«Русская беседа»

РАЗГОВОР В ПОДМОСКОВНОЙ

Ольга Сергеевна, Анна Федоровна, Николай Иванович Запутин, Иван Александрович Тульнев

Ольга Сергеевна. Ведь вы не совсем правы к Виктору Гюго.

Запутин. Да разве Иван Александрович бывает когда-нибудь прав в суждении о французских поэтах?

Ольга Сергеевна. По-моему, он почти всегда не прав; но уж особенно к Гюго он вовсе несправедлив, а я как-то особенно люблю стихотворения Гюго.

Тульнев. Этим дело пусть и кончится: обещаюсь оставить его в покое.

Ольга Сергеевна. Очень верю я вашим обещаниям! Только стоит всмотреться в вашу улыбку, так сейчас заметишь, как вы искренни. Признавайтесь, какую хотели вы еще злость сказать.

Тульнев. Может быть, никакой.

Ольга Сергеевна. Не верю, не верю и не верю. Признавайтесь и не сердите меня.

Тульнев. Хорошее положение! Не признáюсь, рассердитесь за молчание. Признáюсь, рассердитесь за дорогого поэта.

Ольга Сергеевна. Ну, вот видите, была же злая мысль. Уж лучше высказывайте!

Тульнев. Не рассердитесь?

Ольга Сергеевна. Ну, да нет же, не рассержусь. Вы нарочно отмалчиваетесь, чтобы меня сердить.

Анна Федоровна. Пожалуйста, не сердите ее! Я вижу, что у нее уж и вправду ножка сердится.

Тульнев. Каюсь... Я думал с внутренним восхищением о двух стихах Виктора Гюго:

La France est le géant du monde,
Cyclope dont Paris est l'oeil*[1].

Эта Франция в виде кривого великана, этот город Париж вместо глаза во лбу у кривого: ведь это образ истинно поэтический.

---

* Франция — исполин мира, Циклоп, у которого глаз,— Париж.

Ольга Сергеевна. Ну, скажите! Это, по-вашему, добросовестно? Докопались до какого-то стиха...

Тульнев. А по-вашему, он хорош?

Ольга Сергеевна. Перестаньте и не прерывайте! Оттого, что один или два стиха неудачны, так уж и Гюго никуда не годится! По-вашему, это доказательство?

Анна Федоровна. В этом и я согласна с тобою. Я от Ивана Александровича таких доказательств не ожидала.

Тульнев. Да помилуйте, я и доказывать ничего не думал. Обещался даже прекратить разговор, а так как-то вспомнил два стиха.

Ольга Сергеевна. Может быть, даже я виновата, что заставила вас их повторить. Не правда ли?

Запутин. Ну, уж признайтесь, не совсем без хитрости кончили вы спор злым воспоминанием.

Тульнев. Признайтесь же и вы: если бы вы в ком из наших поэтов, с именем сколько-нибудь известным, встретили такое дикое уродство, были бы вы так же снисходительны? Да и найдете ли вы такие два стиха у которого-нибудь из них? Подумайте, поищите!

Запутин. Вдруг не вспомнишь.

Тульнев. Вообразите, если бы кто Россию вздумал прославить в стихах и представить ее одноглазым Циклопом.

Запутин. А вы хотите сказать, что мы глядим в оба?

Тульнев. Ну, этого, собственно, я говорить не хотел; но... оставимте покуда свое. Опять пойдут споры, а я человек мирный, как наше время.

Запутин. Именно, как наше время, до первого задора.

Тульнев. Как-то Франции не счастливится в сравнениях ее поэтов. Ведь любят же они ее, эту belle France...

Ольга Сергеевна. А я не люблю вашего голоса при этом слове.

Тульнев. Вы нынче придирчивы. Я очень добросовестно хотел заметить, что, несмотря на эту любовь искреннюю, глубокую, исключительную, как-то они не придумают ничего истинно прекрасного, с чем бы сравнить Францию. Кажется, всех удачнее воспел ее Barbier, да и тот ничего лучшего не придумал, с чем бы ее сравнить, кроме... кобылы. Вот уж опять вы на меня гневно взглянули, а разве я не прав?

O Corse à cheveux plats que ta France était belle
Sous le soleil de Messidor!

C'était une cavale indomptable et rebelle,
Sans frein d'acier, ni bride d'or*[2].

Запутин. Стихи, по вашему мнению, дурны?

Тульнев. А таким сравнением вы были бы довольны для России?.. И что такая-то она была кобыла, и что ездили, ездили и заездили?

Запутин. Ну, полноте, что это за мысль?

Тульнев. Видите сами, что не нравится.

Ольга Сергеевна. С вами нельзя ни о французских поэтах, ни о Франции говорить. Сколько раз я закаивалась.

Тульнев. И всегда сами начинаете.

Ольга Сергеевна. Это просто оттого, что вы человек несносный.

Тульнев. И неевропейский. Да как же мне и быть европейцем? Ведь я родился в тех местах, которые французский же стихотворец характеризовал:

Lieux où finit l'Europe et commence l'Asie**[3],

хоть я и не совсем знаю, где, собственно, искать этих мест.

Запутин. Кажется, нетрудно.

Тульнев. И не легко. Я уже думал об этом, разбирал, где тут цепи гор от Севера к Югу, и который азиатский и который европейский берег Урала и Волги, и какие стихии народные и границы государственные, и какие начала просвещения европейского и азиатского; а все-таки дело остается темным.

Запутин. Скажите, что тут было: невозможность или нежелание?

Тульнев. Судите сами: по геологическому построению...

Ольга Сергеевна. Прошу уволить меня от геологии.

Тульнев. Будь по вашему приказу! Посмотрите по законам языкознания: индо-европейский отдел языков начинается санскритским, общим...

Ольга Сергеевна. Если уж речь дошла до санскритского языка, то мы уйдем. Пожалуйста, не сердитесь: я вам верю на слово, что вы не нашли тех мест, où finit l'Europe et commence l'Asie. Да что же, по-вашему, Европа

---

* О плосковолосый корсиканец, как хороша была твоя Франция под солнцем Мессидора! То была кобылица <неукротимая и необъезженная, без стальных удил и без золотой узды> *(франц.).— Ред.*

** Места, где кончается Европа и начинается Азия *(франц.).— Ред.*

и Азия одно и то же? Все это деление выдумка, и в географии все люди сбились с толку? Не смейся, Анет: я того и жду, что нам Иван Александрович с друзьями докажет, что мы сами не знаем, где живем.

Анна Федоровна. Кажется, мы не обязаны им верить на слово. Скажите, Иван Александрович, как же это нет границ между Азией и Европой? Неужели вы не шутите?

Тульнев. Право, мне кажется, что в этом делении много произвола. Отвергать его я, пожалуй, не стану; но есть деление, которое, может быть, важнее этого полупроизвольного размежевания без живых урочищ: это деление по началам жизни и просвещения. Между Европою и Азиею есть область...

Запутин. Так, так! Простите меня, я перебил вашу речь; но признайтесь, ведь ясно, куда вы клоните разговор. Россия и мир Восточный не принадлежат собственно ни Азии, ни Европе и так далее. Ольга Сергеевна, Анна Федоровна! Как вы думаете, не туда ли речь клонилась?

Ольга Сергеевна. Кажется.

Анна Федоровна. Я вижу по добродушному смеху Ивана Александровича, что он уличен.

Тульнев. Признаюсь.

Запутин. А из этой теории опять бы возникла речь о народности и самобытных началах.

Тульнев. Может быть.

Запутин. К чему это? К чему все эти толки о народности? Послушайте, вы знаете, что я недоволен статьею в «Московских ведомостях»[4]; вы знаете, что в ней многое, а уж особенно одно местечко, мне крепко не по сердцу; но есть хоть одно слово дельное. Выражений, собственно, я не помню, но смысл тот, что народность крепкая не требует подпоры, а слабой не подопрешь и кокетничать с нею не для чего. К чему же об ней и толковать? Пустите ее на волю судьбы и собственной силы. Есть что́ в ней доброго и здорового, оно само скажется, и скажется тем естественнее и сильнее, чем менее вы будете с нею *нянчиться и носиться,* как с хилым ребенком.

Тульнев. В ваших словах есть доля правды, но что же делать? Что у кого болит, тот о том и говорит.

Ольга Сергеевна. Как! Вы признаетесь, что это у вас болезнь?

Тульнев. У нас — без сомнения.

Ольга Сергеевна. У кого же, у нас? Не у вас ли

одних? Ведь вы одни заговорили об народности и все толкуете об ней.

Тульнев. Вы правы, да не совсем. Не мы, современники, начали: уж Ломоносов, лучший и ревностнейший труженик русского просвещения, горячий и почтительный ученик западной науки, чувствовал права́ народности и немало за нее спорил, и с той самой поры спор не прекращался. Вид спора менялся, вопросы ставились новые, взгляд расширялся и уяснялся; но одно и то же дело продолжалось до нашего времени.

Запутин. Вы, вероятно, признаетесь, что немаловажным эпизодом в этой истории была борьба Шишкова с Карамзиным, и, кажется, тогдашний представитель европеизма был не совсем под силу представителю народности.

Тульнев. Тем более чести самому делу, что, при таком неравенстве талантов, борьба еще была возможною. Впрочем, мы не стыдимся Шишкова и его славянофильства. Как ни темны еще были его понятия, как ни тесен круг его требований, он много принес пользы и много кинул добрых семян. Правда, почти все литераторы той эпохи, все двигатели ее были на стороне Карамзина; но не забудьте, что Грибоедов считал себя учеником Шишкова, что Гоголь и Пушкин ценили его заслуги, что сам Карамзин отдал ему впоследствии справедливость и что самый русский по языку изо всех русских прозаиков вышел, по собственному признанию, из школы Шишкова.

Анна Федоровна. Кто же это?

Тульнев. Автор «Семейной хроники»[5].

Запутин. Да, вы очень счастливы этим приобретением.

Тульнев. Вы говорите об нем, как о случайности. Да разве оно случайно? Разве вы думаете, что то русское слово, живописное и живое, которым вы наслаждаетесь при чтении книги, изданной в нынешнем году, не коренится в русском слове, которым автор говорил с исключительной и гордой любовью от самого детства? Разве вы думаете, что воображение, чувство, мысль и их выражение срослись у него в одно неразрывное целое в один день? По-вашему, говори с утра до ночи на всех языках Вавилонского столпотворения, думай на всех этих языках (ведь человек думает же словом), и вдруг когда захочешь, начни думать и говорить на своем родном языке, как будто век другого и не знал: вчерашний француз будет сегодняшним русским вполне и внесет в свою речь все благоухание детских воспоминаний и молодой жизни, всю живость сочувствий души с природою и при-

роды с душой человеческою и все богатство слова и оборотов, в которое облеклись прошедшая жизнь и дума народа? Ведь вы этого не думаете; так зачем же говорите вы о славянофильстве нашего автора, как о случайности?

Анна Федоровна. Послушайте, Николай Иванович, мне кажется, Иван Александрович прав.

Запутин. Не стану спорить, может быть, он и прав теперь, а главное: он говорил вам с поэтическим одушевлением, между тем как вы знаете, что я не очень способен к поэзии, хоть и чувствую ее. Что прикажете делать? Я просто поклонник логики и доволен своим божеством. Позвольте возвратиться в его область. Мы отклонились от вопроса. Почему сказали вы по случаю народности: «Что у кого болит, тот о том и говорит», и согласны ли вы с «Московскими ведомостями», что здоровая народность не требует ухода, как хилый ребенок?

Тульнев. Я, право, не знаю, что мне и сказать на первый вопрос ваш. Неужели вы не чувствуете, что самый спор наш, что самый вопрос, вами поставленный, уже заключает в себе ответ? Да, мы больны своею искусственною безнародностью, и если бы не были больны, то и толковать бы не стали о необходимости народности. Подите-ка, скажите французу, или англичанину, или немцу, что он должен принадлежать своему народу; уговаривайте его на это, и вы увидите, что он потихоньку будет протягивать руку к вашему пульсу с безмолвным вопросом: «В своем ли уме этот барин?» Он в этом отношении здоров и не понимает вас, а мы признаем законность толков об этом предмете. Почему? Потому что больны.

Запутин. Ведь и в «Московских ведомостях» сказано, что ни в Англии, ни во Франции, ни в Германии не думают об отыскивании народности.

Тульнев. Сказано, да без смысла. Вывод-то очень прост, но критик его не сделал: ни в Англии, ни во Франции не думают о народности, потому что там нет чужих стихий; а у нас думают, потому что они есть. Послушайте, ведь не вы писали статью?

Запутин. Конечно не я: вы в этом уверены.

Тульнев. Очень уверен, а то и толковать бы не стал. Вы не хуже меня знаете, что от Клопштока до Фихте и Шиллера включительно шла в Германии борьба, и борьба упорная; что тогда там отстаивали и отстояли народность, не в жизни политической только, а в жизни художеств, науки и быта; что торжество было не совсем легко и что сам

Фридрих был полуфранцуз и презирал Германию. Да что мне вас учить? Редактору «Московских ведомостей» не случилось читать историю литературной Германии: его и винить нельзя; но вы должны со мною согласиться.

Запутин. В этом, разумеется, я согласен: факт исторический в вашу пользу. Вы видите, что я добросовестно спорю и умею соглашаться, когда противник прав.

Тульнев. Я иного от вас не ожидал; мы с вами знакомы не со вчерашнего дня. Ну, так видите: тогда Германия была больна безнародностью и говорила о народности, и выходит по-моему: «Что у кого болит, тот о том и говорит». А что же об нас толковать? Вспомните, что у нас положено, по предложению Анны Федоровны, условие не говорить по-французски.

Ольга Сергеевна. Это Анета надо мною подшутила: она знала, как тяжело мне это условие.

Запутин. Помнится мне, Иван Александрович, что в предисловии к «Русской беседе» было сказано что-то об эпохе, в которой Германия отказывалась от себя.

Тульнев. Было; но по случаю этой эпохи я бы вам сказал свою мысль, да вы, пожалуй, вооружитесь против меня: лучше не скажу.

Ольга Сергеевна. Нет, нет, не вооружимся. Говорите! Я обещаю, что не вооружусь, и Анет обещает.

Анна Федоровна. Пожалуй, обещаю.

Ольга Сергеевна. И Николай Иванович обещает?

Запутин. Ну, я не очень обещаюсь.

Тульнев. Я и так скажу. Посмотрите на Германию. Она более всех других народов Европы отказывалась от народности своей, даже отчасти стыдились себя, и что же?.. Разве это временное отречение было бесплодно? Нет: Германия награждена тем, что, когда она возвратилась к самопознанию и самоуважению, она принесла из эпохи своего уничижения способность понимать другие народы гораздо лучше, чем француз, англичанин или итальянец. Она почти открыла Шекспира[6]. Мы также от себя отрекались, уничижались более чем Германия, во сто раз более. Я надеюсь, я уверен, что, когда мы возвратимся домой (а мы возвратимся — и скоро), мы принесем с собою такое ясное понимание всего мира, которое и не снится самим немцам. Но смотрите, это между нами, не употребляйте во зло добровольного признания.

Запутин. Я не признаю ни странствования, ни необходимости возврата, ни особенно необходимости холить свою народность. Крепка она, так не в опасности; слаба, так бог

с нею! В истории одно правило: «Vae victis». Виноват, mesdames, что сказал слово по-латыни. Это значит: «Горе побежденным».

Анна Федоровна. Латинское слово прощается, а французское нет.

Ольга Сергеевна. Как я рада: не я первая обмолвилась.

Запутин. Да что же я сказал?

Ольга Сергеевна. Mesdames.

Запутин. Нечего делать: признаю свою вину. Но я повторяю опять свое возражение. Из чего поддерживать народность? Если она слаба, она осуждена, и ничто ее не спасет; если сильна, ничто не погубит. В обоих случаях заботы бесполезны.

Тульнев. Сейчас мы говорили о примере Германии и, кажется, видели, что в ней заботы были небесполезны; но мне кажется, бесполезно говорить о пользе или бесполезности самой заботы. Она — простое и естественное выражение любви к мысли и к людям. Позвольте мне вам повторить слово простого русского человека. Был на площади Кремлевской спор между православными и раскольниками. Православный, кончив свою речь с доказательствами, прибавил: «Я знаю, что придет час, и вы все приобщитеся к нам». Один из раскольников отвечал ему: «Если ты это знаешь, что же ты теперь хлопочешь, когда еще час не пришел?» Ответ был превосходен: «Глупый, глупый ты человек! Если бы сын мой был погружен в какой-нибудь великий порок и сказано бы мне было свыше, что он к вечеру покается, я все-таки уж с утра начну его уговаривать и умолять: ведь это действо любви».

Анна Федоровна. Какое чудное слово! Да вы, верно, сами его выдумали.

Тульнев. Верьте мне: мы таких слов и выдумывать-то не умеем. Право, наша народность стóит-таки чего-нибудь. Впрочем, это дело стороннее, а вот что несомненно. Во-первых, пример самой Германии показывает, что небесполезно заботиться об укреплении народности; во-вторых, если бы даже доказано было, что она восторжествует собственными силами (в чем я, разумеется, не сомневаюсь), то все-таки каждый из нас, верящих в ее необходимость, обязан и ускорить это торжество, и дать ему характер полного сознания, и облегчить самую тяжесть борьбы, которая раздвояет внутреннюю жизнь человека.

Запутин. Иначе сказать: вы хотите придать силу на-

родности, которой вы не очень-то доверяете. Признайтесь, что так.

Т у л ь н е в. Уж конечно не так. Никому из нас не входит в голову ни малейшего сомнения на счет окончательного торжества народности; но каждый час дорог: в каждый час погибают следы, дорогие следы прежней жизни, заветы прекрасной старины. Сознай мы ее достоинство тому лет сто раньше, и сколько спасли бы мы любопытных преданий, затейливых сказок, чудных песен, которые теперь утратились, а могли б и нас радовать и поучать, да и Германиею были бы приняты с благодарностью в какое-нибудь новое собрание der Stimmen der Völker*[7]. Опять скажу: в нас нет ни тени сомнения. Сомневаться, уцелеет ли русская народность! Да это так смешно, что, право, никому в голову прийти не сможет. Совсем не в том дело.

З а п у т и н. А в чем же?

Т у л ь н е в. Я уже вам сказал; но скажу больше, только, пожалуйста, не обидьтесь. Все наши слова, все наши толки имеют одну цель, цель *педагогическую*. Вас, или, простите, не вас, но людей безнародных, хотелось бы нам предостеречь от гибельного подражания. Несколько поколений блуждали в пустыне: зачем же и другим также бесплодно томиться?

З а п у т и н. Очень, очень вам благодарны; но, признаюсь, особенного томления мы не чувствуем...

Т у л ь н е в. Жаль.

З а п у т и н. Жалейте, если хотите; но я не вижу, об чем вы жалеете. Где видели вы или видите безнародность? Положим, вы русские люди...

Т у л ь н е в. Далеко еще не русские.

З а п у т и н. Так и жалейте о себе! А мы считаем себя русскими, и русскими вполне. Я, право, не уступлю никому в любви к России и никак не считаю себя менее русским, чем кто бы то ни был. Конечно, мы позволяем себе думать, что образованность европейская усвоена нами недаром, что она сколько-нибудь порасширила наши понятия, посмягчила наши нравы, поочистила наше умственное и духовное существо, поставила нас, наконец, повыше темной массы. Вы качаете головой, вы несогласны; но таково наше убеждение. Из этого следует ли, что мы уж и нерусские, что у нас нет ни русского ума, ни русского сердца? На этот вывод, на это произвольное обвинение мы никак не согласны; и вам не-

* голосов народов *(нем.).— Ред.*

легко будет нас переубедить, разве бы вы доказали нам, что русское и невежественное, русское и безграмотное одно и то же и что оно-то и дорого. Но на это, вероятно, вы не согласитесь; да этого про вас, конечно, никто и не подумает.

Тульнев. А это, однако, пишут и печатают.

Запутин. Полноте, кто может такую нелепицу говорить? Ведь мы здесь все люди порядочные.

Тульнев. Я с своей стороны скажу вам: кто сомневается в вашей любви к России? Разве не известно хоть бы о вас, как вы ей служили на двух поприщах, военном и гражданском? Дай ей бог побольше таких слуг! Вы сами знаете, что это не комплимент, а говорится искренно; но любовь любви рознь. Я видел, да и вы видали, иностранцев, которые были готовы умереть за Россию, и даже более, не решались нигде жить, кроме России, а все же и вы, и я считали их иностранцами. Скажите же просто: по чему, вне круга чувств и дел гражданских, можете вы себя считать русским? Или еще иначе: есть ли в вашей жизни, в ваших обычаях, в ваших привычках, в вашей наружной одежде, во всей целости вашего существа что-нибудь, что вы сами могли бы назвать русским, кроме имени и происхождения?

Ольга Сергеевна. Как же? Мы вместе с Николаем Ивановичем были нынешний год на блинах.

Анна Федоровна. Не смейся, Ольга! Иван Александрович почти то же скажет и об нас.

Запутин. Не знаю, право, что на это сказать: эдак... собственно... то есть отличительно русского...

Тульнев. Видите, что вы сами в душе со мною согласны.

Запутин. Ведь и французы, и англичане, и немцы нашего времени сошлись во всех привычках жизни наружной: таков век наш, век общеевропейской жизни; а вы не лишаете их права считать себя вполне принадлежащими своей родине...

Тульнев. Постойте: вы сами знаете, что это не возражение. Во-первых, каждый из этих народов внес свою долю в общий обычай, и этот обычай у них дело общее, а мы ничего не вносили в него, и он совершенно чужой; да и сверх того, неужели вы вправду считаете себя столько же русским, сколько мистер Блосом англичанин или фон Винтерблат немец?

Анна Федоровна. Какой это Винтерблат? Не тот ли самый, который, по обычаю Австрии, уступал место сыну, потому что сын целым поколением благороднее отца, и который

повторял вам то отвратительное слово австрийского сановника?

Тульнев. Именно тот самый, который повторял: Erst als Baron wird der Mensch geboren; alle Anderen werden geworfen*. Именно тот.

Ольга Сергеевна. Хорош!

Тульнев. Хорош или дурен, все равно: что в нем порок и что достоинство, до нас не касается. Я говорю — все в нем, хорошее или дурное, принадлежит его народности. Скажем ли то же о себе? Имеем ли на то право? Самые споры о народности служат доказательством в мою пользу, и вы признали его силу. Наше положение исключительно, и мы должны в этом сознаться. Только этого я и прошу.

Запутин. Я принимаю ваше заключение, однако же с некоторыми оговорками. Происхождение значит же что-нибудь...

Тульнев. Позвольте: оговорка эта вовсе ничтожна; да вы и сами ее выговариваете с какою-то весьма понятною робостию; вы чувствуете ее несостоятельность. Помните вы наших двух знакомых, из которых один родился, а оба воспитывались в Париже? Что было в них русского? Сами знаете, что ничего.

Запутин. Правда, но они слова русского не знали.

Тульнев. Итак, значение имеет не происхождение, а язык. Что же? Много говорим мы, много думаем мы по-русски? Есть чем похвалиться. Да и слово-то наше разве русское вполне? Ведь слово не в лексиконе одном (а и тот у нас оскудел) и не в грамматике (которая, впрочем, у нас построена бог весть как и для какого языка); оно в самом отношении мысли и чувства к звукам, служащим выражением для них. Больше того: слово народное не в одних словах, а во всех народных обычаях, сочувствиях, обрядах, во всем быте народа. Язык, конечно, отчасти не позволит нам вовсе оторваться от родины и быть совершенно похожими на наших парижских знакомых; но, право, недалеко ушли мы от них.

Запутин. Пусть так: я принимаю ваше заключение без оговорок. Да-с, я допускаю, что мы гораздо менее принадлежим русской народности, чем просвещенные англичане, французы или немцы своей народности. Неужели вы думаете, что такое заключение меня озадачит или оскорбит? Совсем нет.

Тульнев. Я понимаю, что ваша добросовестность долж-

---

* Баронессы рожают, низшие мечут.

на была вас привести к признанию безнародности нашей образованной братии, а о дальнейших выводах можно поговорить.

А н н а Ф е д о р о в н а. Я вас перебью; ведь признание-то Николая Ивановича грустное признание. Неужели вам не тяжело чувствовать и знать себя как-то одиноким на земле? У всякого человека есть что-то, о чем он может сказать: «Наши, наш или даже мой народ», а у вас этого нет. Мне кажется, до слез было бы больно, если бы я должна была сознать также одиночество.

О л ь г а С е р г е е в н а. А по мнению Ивана Александровича, и ты должна то же сказать, как и все мы. Не прогневайся; а если уж гневаться, так на него, а не на меня!

Т у л ь н е в. Это печальная истина; но степени отчуждения далеко не одинаковы для всех, и Анна Федоровна, может быть, менее всех нас должна быть обвинена в этом недостатке.

О л ь г а С е р г е е в н а. А я?

Т у л ь н е в. Оставимте вопросы личные: в них толку нет.

З а п у т и н. Хоть мне и очень неприятно являться в дурном свете перед вами, а особенно перед Анной Федоровной, но я не хочу ни скрывать истины, ни умалчивать моего взгляда на нее. Я опять признаю, что мы менее принадлежим русской народности, чем образованные англичане или французы своей народности.

Т у л ь н е в. То есть почти вовсе не принадлежим ей.

З а п у т и н. Пожалуй, я и тут спорить не стану. Так я же вам скажу, что вы это считаете несчастием, бедою, нравственным пороком, а я так считаю это истинным счастием, достоинством и превосходством перед всеми другими.

А н н а Ф е д о р о в н а. Что вы это говорите?

З а п у т и н. Да-с, я это говорю и повторяю. У меня нет ни поэтической восторженности, ни романтических затей; я просто, как вы знаете, сухой, практический логик, туманов не люблю, а гляжу делу прямо в глаза. Народность есть ограничение общечеловеческого, а только общечеловеческое и дорого. Чем менее оно во мне ограничено, тем лучше, да-с. В этом отношении я себя считаю выше и англичанина, и француза, и немца. Они стеснены, сжаты, съежены своею народностию, а я отрешен от нее и радуюсь. Моя интеллектуальная свобода шире, мои общечеловеческие сочувствия и понимания объемистее. Весь мир человеческий мне доступен во всем своем бесконечном просторе и даже во временных правах своих тесных национальностей; я понимаю всякую отдельную культуру ума; я смотрю с некоторым со-

чувствием даже на всякую аберрацию человеческой мысли и стóю выше их в полной свободе своих общечеловеческих выводов.

Тульнев. Весело разговаривать с человеком таким, как вы. У вас ум строго логический. Вы принимаете все выводы из своих данных, не увертываетесь от них (как это многие делают), не хитрите перед другими и самим собою и смело идете своею дорогою от причин к следствиям, которые из них истекают законно. Вы верны своему мнению и поэтому ставите наше образованное общество выше всех других.

Запутин. Постойте; общечеловеческое в наше время доступно стало везде многим образованным, и те, точно так же, как мы, отрешились от своей народной ограниченности.

Тульнев. Пусть оно и так; у нас такое отрешение обычнее, как вы сами признали, и, следовательно, умственное превосходство нашего общества не подлежит сомнению.

Запутин. Хотя бы и так! Пожалуй.

Тульнев. Странны тут два обстоятельства. Первое то, что, при таком логическом сознании нашего превосходства, в нас так мало самоуверенности и что мы постоянно до сего времени принимаем от других, а не налагаем на них, формы и обычаи; и второе то, что при таком превосходстве мы так мало показываем изобретательности и так мало способствуем общему успеху просвещения, а между тем стоим во главе его, по вашему мнению.

Запутин. Я вам на это скажу: учения у нас мало; даже пособий и средств к учению мало. Вы говорите русскому народу, чтобы он сохранял народность; а ему просто надобно говорить: учись!

Тульнев. Да кто же советует народу сохранять народность? Кому пришла в голову такая блажная мысль? Это говорится образованным или, лучше сказать, говорится образованным другое: «Видите, друзья, что вы ничего не можете истинно дельного придумать, что вы в общем ходе человеческого знания бесплодны. Причина вашей бесплодности, вашей или, лучше сказать, нашей ничтожности в науке — отсутствие народной стихии. Старайтесь жить сами, если можете, и по крайней мере не тяните других в ту мертвую область, в которой погибают ваши собственные силы». А если что говорится народу, то не говорится: «Не учись!», а говорится: «Учись, да притом не забывай». Смысл всего толка о народности ясен: зачем же представлять его превратно? А лучше объясните-ка нам разгадку той странности, о которой я вам сейчас говорил. Как же это мы так высоко

стоим над всеми тесными национальностями вследствие своего отрешения от своей национальности и так мало содействуем общему ходу просвещения?

З а п у т и н. Опять скажу: учения мало, пособий и средств к учению мало.

Т у л ь н е в. Итак, мы находимся в области общечеловеческого знания по отречению от своих народных начал и ничего в ней не производим, потому что еще не доучились. Мы отреклись, чтобы знать, да притом и не знаем. Положение незавидное!

З а п у т и н. Не то; а нас, знающих, мало.

Т у л ь н е в. Пожалуйста, не говорите о числе. Много мелких областей найду я вам в Европе, где число ученых (разумеется, не пропорционально, а в общем итоге) меньше и много меньше нашего, а производительность ученая много выше нашей.

А н н а Ф е д о р о в н а. Неужели вправду мы так мало сделали для наук?

Т у л ь н е в. Спросите лучше у Николая Ивановича.

О л ь г а С е р г е е в н а. Николай Иванович, что же вы молчите? А еще говорите, что по своей... как вы это сказали?.. да, по общечеловеческой высоте мы умственно превосходим других?

З а п у т и н. Видите, тут можно много сказать: всех причин и не придумаешь; а одно остается все-таки твердым и несомненным. Дорого только общечеловеческое — истина. Национальное есть ограничение общечеловеческого, и разумный человек не может и не должен искать ограниченности, когда может владеть полнотою интеллектуальной свободы. Таков девиз образованных русских людей.

А н н а Ф е д о р о в н а. По-вашему, выходит: образованных не русских людей, а только разве рожденных в России.

О л ь г а С е р г е е в н а. Благодарствую, Анет; а вот еще говорят, что мы, женщины, к логике неспособны: ведь это логика.

Т у л ь н е в. И даже превосходная. Но позвольте рассмотреть положение, утвержденное Николаем Ивановичем, и испытать его крепость. Народность теснее общечеловеческой области; кто же об этом спорит? Человек должен стараться приобрести все общечеловеческое,— опять никто не спорит. Следовательно, он должен освободиться от всего народного. Вот тут-то и вся завязка, и я говорю, что это *следовательно* не следует и ни на чем не основано.

Запутин. Как же так не следует?

Тульнев. Конечно, не следует. Сперва общечеловеческое является как предмет познавания и справедливо ставится выше частного народного; а потом вдруг общечеловеческое является, как противоположное народному в орудии познавания, в уме человеческом. Да где же тут логика? Тут народное может быть противупоставлено только личному, потому что мы познаем, сколько мне известно, личным, а не общечеловеческим умом.

Запутин. Да и не народным.

Тульнев. Конечно. Народное начало является только как первый воспитатель ума личного, и вопрос должен быть поставлен следующим образом: народность служит ли пособием или делается помехою личности при восприятии общечеловеческого? Верно ли мое определение? Довольны ли вы им?

Запутин. Вполне.

Тульнев. Я знаю, что с этим вопросом связан еще другой; но о том после. Начнемте с начала. Хорошо бы было для нас, если бы мы представляли в себе чистый разум, отрешенный от всякой случайности. Тогда бы вечная истина всего сущего и истина общечеловеческая воссоздались бы в нашем понимании, как в великом зеркале, достойном самой истины и способном отражать все ее лучи во всей их чистоте. Но мы не таковы. Каждый из нас не что иное, как личность, охваченная тесною рамою своей случайной определенности, зеркало мелкое и окрашенное краскою своих частных способностей и наклонностей. Так ли?

Запутин. Это ясно.

Ольга Сергеевна. Пожалуй, для вас ясно: вы ведь тоже рылися в немецких философах, а для нас нужно бы было пояснее.

Тульнев. Добрая школа для ума — эта немецкая философия. Самая борьба с нею, которая, разумеется, возможна только при полном ее изучении, приучает ум к строгости, которой не дает никакое другое занятие; но я выражусь совершенно просто. Ум человеческий, даже самый обширный, крайне ограничен и не может надеяться на безусловное постижение общечеловеческой истины.

Ольга Сергеевна. Вот это понятно для всех.

Тульнев. Хорошо! Все истины науки, за исключением дважды два четыре (горение есть соединение сгораемого с кислородом и тому подобное), передаются нам от других людей в формах, образах, выражениях, определенных теми народностями, к которым эти люди принадлежат, и, следователь-

но, каждая народность отражается в нас. Точно то же и с нашею народностию. Но если мы даем ей тот вполне свободный и естественный доступ, на который она имеет неоспоримое право, она, по самой полноте и разнообразию своих прикосновений к нашему уму, захватывает его полнее и шире, чем другие. Что же? Это несчастие? Это обеднение? Очевидно, нет. Мы ее познаем полнее, но из этого следует ли, чтобы мы другие понимали у́же? Хорошо бы было, если бы и все народности, то есть отражение общечеловеческого во всех народных формах, было нам так же доступно; но это невозможно. Брошу ли я алмаз потому только, что я всех алмазных копей не могу перевести в свою шкатулку? Это было бы безумием.

Запутин. Сравнение не доказательство.

Анна Федоровна. Сравнение, кажется, служило только объяснением для Ивана Александровича. Было при сравнении и доказательство; что же вы на него не отвечаете?

Запутин. Оно благовидно, но, конечно, не решительно.

Тульнев. Я это сам знаю; но всматривайтесь глубже. Многообразна жизнь человека в народе; она свою долю общечеловеческого достояния, ею схваченную и выраженную в слове и быте, складывает в стройное, живое и сочлененное целое; и человек, принимая в себя всю эту жизнь, кладет стройную и сочлененную основу своему собственному пониманию. Все остальное, переходя в этот уже готовый организм, с ним совоплощается, ассимилируется (если угодно), обогащает его, но не дробит и не убивает духа. То же самое вне жизни народной, принятое прямо от других народов с их народными формами, дробится в какую-то калейдоскопическую пестроту разнородных начал и никогда не складывается в живое и полное целое.

Запутин. А работа собственного, личного ума? Вы ее ставите ни во что?

Тульнев. Именно ни во что. Жизнь личная, отвлеченная от общества народного, сама по себе так скудна, так малообъемиста, что она не может переработать в одно целое материалы, доставляемые ей великими личностями — народами. Ее критика есть критика случайного произвола, а не критика организма, отделяющего пищу, ему естественную, из случайных материалов, сообразно с своими жизненными законами. Личный ум человека складывает материалы, полученные от народов, в каком-то библиотечном порядке и сам дробится по полкам своей собственной библиотеки на отделы, скажем: немецкой философии, английской общественности,

французских полусочувствий с человечеством и прочее, сам бегает по своей библиотеке и, не съютив в себе ничего цельного, ничего не производит, да и, по правде сказать, ничего и не думает. Думание требует некоторой цельности в мыслящем существе. Своя народность заменилась не общечеловеческим началом, а многонародностью Вавилонскою, и человек, не добившись невозможной чести быть человеком безусловно, делается только иностранцем вообще, не только в отношении к своему народу, но и ко всякому другому и даже к самому себе. Каждый отдел его мозга иностранен другому.

Запутин. Очень вам благодарны: вы нам отказываете даже в мыслящей способности.

Тульнев. Не в способности, а в силе; и не вам, а увы! нам всем. Вот причина, почему мы в такой ничтожной мере содействуем общему ходу ума человеческого. Да послушайте еще: вы логик, вы математик; подумайте о следующей причине. Ни один из живых народов не высказался вполне. Его печатное слово, его пройденная история выражают только часть его существа; они, если позволите такое слово, не адекватны ему. Невысказанное, невыраженное таится в глубине его существа и доступно только ему самому и лицам, вполне живущим его жизнью. Образованный иноземец, француз или немец знает все то, что мы знаем, то есть высказанное народами, то есть их неполное, неадекватное выражение, и сверх того знает свой народ вполне, внутреннею своею жизнию; а мы знаем только неполное выражение всех народов и более ничего. Очевидно, мы беднее всякого образованного иноземца, и много беднее на все то количество мысли и жизни, которые выскажутся в будущем слове и будущей истории каждого народа, а это бесконечно много. Вот опять отчего мы так слабы умственно; вот отчего мы принуждены быть прихвостнями европейской мысли. Ведь все это просто, как математическая формула.

Анна Федоровна. Мы обе все это поняли, кроме одного словца.

Тульнев. Вероятно, *адекватный*?

Анна Федоровна. Именно: зачем вы употребляете такие слова, которых не поймешь?

Тульнев. Хотел я употребить русское, в версту. Да вы лучше ли бы поняли меня?

Ольга Сергеевна. Что́, Анет, поняла?

Тульнев. Это почти то же, что вровень. Что скажете вы, Николай Иванович? Согласны ли вы со мною?

З а п у т и н. Мне кажется, вы ищете многосложных объяснений тому, что очень просто. Мы не доучились и, следовательно, не можем еще подавать науку вперед. Прежде чем других поведешь, надо их догнать. Надобно знать не зады только, а идти в уровень с современною наукою.

Т у л ь н е в. Догнать современную науку, которая с каждым днем сама подается вперед? Да вы, я думаю, шутите. Кто в уровень с современною наукою? Такого человека нет и быть не может на земле. Все ученые — ученики друг у друга постоянно, и по тому самому сотрудники, и всякой идет своим путем. Только мы одни своего пути не пролагаем. Мы всегда догоняем и никогда не догоним просто потому, что всегда ступаем в чужой след; а почему мы так ступаем, я вам, кажется, показал в чисто логических выводах.

А н н а Ф е д о р о в н а. Повторите, пожалуйста, если можно, вкратце.

Т у л ь н е в. Другие имеют внутреннюю целость, а мы нет. Другие знают внешним образом явление чуженародных мыслей, а свою народную жизнь знают знанием живым и внутренним; а мы и себя, как и других, знаем только скудным знанием внешним. Следовательно, они бесконечно богаче нас умственною силою, а мы не хотим искать в себе того богатства, которое нас бы разом поравняло с ними и, вероятно, выдвинуло бы нас еще далеко вперед.

З а п у т и н. Известное притязание русского воззрения на науку.

Т у л ь н е в. Конечно. От вас, разумеется, я не услышу вопроса: есть ли русская арифметика или русская астрономия? Вы человек истинно просвещенный и знаете, к каким наукам может относиться различие воззрения. Вы знаете, что оно не может касаться тех наук, которых предмет есть простое изучение внешних законов, и относится во всяком случае только к тем наукам, которых предмет связан с нравственными и духовными стремлениями человека. Поэтому позвольте вас спросить: почему же в них не может быть народного воззрения? (Оставим покуда слово русское в стороне.)

З а п у т и н. Мне кажется, ответ очень прост: везде истина одна, и взгляд на нее у всех должен быть один.

Т у л ь н е в. Но всякая истина многостороння, и ни одному народу не дается ее осмотреть со всех сторон и во всех ее отношениях к другим истинам. Иная сторона или отношение иному народу недоступны по его умственным способностям или не привлекают его внимания по его душевным

склонностям. Я говорю: народу, а не лицу; ибо, кажется, показал вам, почему лицо всегда находится в связи с своим народом и вне этой связи бесплодно. Такова тайна исторической судьбы, еще не вполне разгаданная, но несомненная в своем проявлении. Общечеловеческое дело разделено не <по> лицам, а народам: каждому своя заслуга перед всеми, и частный человек только разрабатывает свою делянку в великой доле своего народа. Такова его частная заслуга. Вы сомневаетесь в возможности народного воззрения? Хорошо! Что ж? Если бы французское направление высшего общества в Германии отстоялось, был бы Шеллинг, был бы Гегель? Как по вашему мнению? Вы знаете, что нет. А между тем истина философская одна, как и всякая другая истина. Посмотрите! Шеллинг и Гегель переведены, их читают; а из миллионов французов или англичан сколько людей понимают их? Сколько ценят? Два, три, много десяток. И вы скажете, что француз или англичанин создал бы ту систему, которая так мало доступна его пониманию, когда она уже создана?

Запутин. В ваших словах есть много вероятного, но ведь не все науки философия; большая часть далеко не так многосложна и не допускает такого различия воззрений.

Тульнев. Полноте; вы сами знаете, что нет почти ни одной науки, которая была бы так одностороння, чтобы не допускала множества различных взглядов. Да, они возможны даже отчасти в том, что мы готовы считать точными науками. Не всякому сказал бы я это, но вам могу сказать, и вы поймете меня. Теория волн в физике и теория атомов в химии не носят особенных характеров? Они не указывают на различия народов? Эйлер не должен был быть немцем, и Дальтон не должен был быть англичанином? Скажите сами.

Запутин. Остроумно, нечего сказать.

Тульнев. Скажите откровеннее: справедливо. Вникните во все, что мы говорили, и вы не только признаете, что народное воззрение возможно почти во всех науках, но еще признаете, что никакое другое воззрение невозможно, а возможна только безнародная слепота (что нами и доказывается постоянно с успехом). Ведь и слепой может рассказывать со слов зрячего, что тот видел; но вслушайтесь, и вы сейчас заметите, что человек не свое пересказывает, а чужое.

Запутин. Строго судите вы и, признайтесь, даже чересчур строго. Сам я знаю, что мы очень еще мало сделали; но уж не так же мало.

Тульнев. Не так мало? Да как же еще меньше? Скажите мне хоть одну теорию, одну мысль, один отрывок учения, которым мы обогатили европейскую образованность. К чему нам себя обманывать? Лучше ясно понять причину теперешней скудости, понять нашу болезнь да искоренить ее из своей собственной души и жизни.

Запутин. Да, не правда ли? Пора искоренить нам из своей души наше сочувствие ко всему человеческому, нашу любовь к человечеству вообще, все то, чем еще живет в нас стремление к прогрессу, нашу радость при успехах других народов, наше горе при их горе? Не так ли?

Тульнев. По правде сказать, не мешало бы нам поберечь радость и горе для домашнего обихода.

Анна Федоровна. Неужели вы бы хотели, чтобы мы были бесчувственны ко всему, что не прямо относится к нам самим и к русскому народу?

Тульнев. Простите меня; но вы мне напоминаете довольно забавный ответ одного бесстыдного гуляки. Жена у него была в загоне, дети без призора, ну и дом в том виде, какой можете вообразить. Ему старый дядя попрекал за такое нерадение и прибавил: «Ты своих детей не любишь».— «Что ж делать, дядюшка? Я берегу свою любовь для рода человеческого». Как вы думаете? Менее бы он любил род человеческий, если бы поболее любил жену и детей?

Запутин. Иван Александрович любит говорить притчами.

Тульнев. Пожалуйста, не льстите мне; ведь это во мне было бы русское свойство. Я рад, что вы перевели вопрос на сочувствие. Эта та другая сторона, о которой я намекнул и которая связана с первою. Я сам показал логическую причину скудости, бессвязности и бесплодности нашего понимания, а теперь посмотрим на другие причины. Только боюсь, не утомил ли вас разговор наш, Ольга Сергеевна.

Ольга Сергеевна. Нет, нет; знаете... Это все так ново. Я и не думала, чтоб вопрос об народности был так серьезен. У нас думают все, что это просто мода, какая-то затея сла... Я было и забыла, что вы не любите слышать, когда вас так называют.

Тульнев. Не люблю, потому что криво толкуют прозвище, которое не нами же и выдумано; а впрочем, я шучу: мне совершенно все равно, как зовут; только бы понимали. Мы было начали о сочувствии и любви. Сочувствие, любовь: это великие слова; но ведь им надобно быть не словами только, а делом. Любовь есть чувство живое по пре-

имуществу; она есть самая жизнь. Пожалуйста, не говорите мне о любви к отвлеченностям, ни о любви к готтентотам или к североамериканцам, когда нет любви искренней и сердечной к ближайшему ближнему, той любви, в которой нет снисходительности, но которая вся есть любящее смирение.

Анна Федоровна. Благодарствуйте за это слово: мне что-то такое давно в голову приходило, да я никогда сказать этого не умела.

Тульнев. Бог вам дал чувство, а мне далось, может быть, только слово. Ваш удел завиднее. Видите ли, Николай Иванович? Странную мы проделку сделали с душою человеческою (кто именно, все равно), а разграфили мы ее в такой административный порядок, что про целость ее мы никак не вспомним, да и она не вспомнит, если нам поверит; вот тут понимание, вот тут чувство, вот то, вот другое. А на деле-то она, право, не похожа на нашу таблицу: она живое и недробимое целое. Только любовью укрепляется самое понимание.

Запутин. Уж по крайней мере в этом чувстве вы нам не откажете. Сами вы признали, что не можете отказать нам в любви к России, а неужели вы откажете нам в любви к истине, к добру, к правде? Нет! Пусть вы, может быть, и правы в отношении к пониманию (я должен сказать, что вы ловко защитили свое дело), но уж позвольте, тут вы на нашей почве. Тесен объем вами проповедоваемой любви, тесен ее горизонт; шире наши сочувствия, наши требования ненасытимее. Да, вы любите старину, вы любите обычаи, обряды, так сказать, физиономию частной жизни, которая вас окружает. Мы любим прогресс, мы любим будущее, мы любим человечество.

Тульнев.

Я то люблю, что́ сердце греет,
Что́ я могу своим назвать[8].

(Жаль этого чудного таланта! Рано он угас: много бы сказал прекрасного.) Что же бы вы подумали, если бы кто стал утверждать, что он любит всех жителей планетарной системы? Постойте: ваша речь впереди... Что бы вы сказали, если бы кто горевал о том, что тифус свирепствует на Юпитере, ну, или хоть в Калифорнии, а не заботился, не мрут ли дети корью в его деревне? Видите: любовь не довольствуется отвлеченностями, призраками, родовыми названиями, географическими или политическими определениями: она жива и лю-

бит живое, сущее. Не говорите ей о будущем селянине, усовершенствованном по последнему рецепту заморского мыслителя: это был бы только вкус, и не более. Говорите о мужичке в его курной избе, в его красной рубахе, с его, может быть, и неусовершенствованною сохою. Вот тут она себя узнает, тут любовь. Поймите меня: я беру черты русские, но говорю о всякой земле. Любовь просит сближения, общения, размена чувств и мысли, одним словом, она не гуляет иностранкою в своем собственном народе.

Запутин. И не хочет даже и подумать о других, обо всем человеческом братстве?

Тульнев. Напротив, она до него-то и доходит посредством тесной связи с ближайшим братством. Не верю я любви к народу того, кто чужд семье, и нет любви к человечеству в том, кто чужд своему народу. А душа не мозаика и не дорожный ящик с перегородками. В ней все силы находятся в связи и зависимости друг от друга. Только в любви жизнь, огонь, энергия самого ума. Она дает ему побуждения к деятельности и труду, крепость в преодолении препон, проницательность и объем его взглядам, она созидает человека; а только человек и понимает все человеческое. Сама же она требует для себя сочувствия, общения и, следовательно, погружения в жизнь своего народа... Вот видите, я вам показал сперва, что народность одна только дает нашему уму материал самой мысли, посредством которого человек может поравняться с людьми, принадлежащими иной народности; а сверх того ясно, что она одна только воспитывает и силу для этого соперничества.

Запутин. По-вашему, самая умственная деятельность человека определяется областью его народной жизни и народных воззрений: далее он и не может, и не должен идти. Это не очень утешительно для гениальных натур. Вероятно, они попросят простора более.

Тульнев. Пределы эти кажутся вам тесными, а в них уместились и Гомер, и Данте, и Шекспир, чистейшие представители своей народности. Заметьте, пожалуйста, что чем человек полнее принадлежит своему народу, тем более доступен он и дорог всему человечеству. Я бы сказал, что это несколько странно, если бы всякий из нас не замечал того же самого в отдельных лицах. Чем крепче и определеннее личность человека, тем более обыкновенно внушает он сочувствия.

Анна Федоровна. Мы, женщины, очень часто замечаем, как мало привлекательного в характерах пошлых, в

которых нет ничего определенного. Не знаю даже, не грешим ли мы несколько излишнею оценкою людей с твердою волею и оригинальностью ума.

Ольга Сергеевна. Ах, милая! Да что же кому в том, кто похож на фабричное изделие?

Анна Федоровна. О тебе, друг мой, и говорить нечего: ты с ними просто невежлива. Но позвольте, Иван Александрович, ведь народность не определяет же границ частному уму и его стремлениям; мне кажется, такой взгляд был бы односторонен.

Тульнев. Зачем же давать такое тесное значение моим словам о народности? Я говорил о ней, что она лучший воспитатель личному пониманию, что она служит единственною основою всего его развития, одна может быть для него источником силы, и силы плодотворной; но из этого следует ли, что она должна держать его в пеленках? Она есть начало общечеловеческое, облеченное в живые формы народа. С одной стороны, как общечеловеческое, она собою богатит все человечество, выражаясь то в Фидии и Платоне, то в Рафаэле и Вико́, то в Бе́коне или Вальтер Скотте, то в Гегеле и Гете; с другой стороны, как живое, а не отвлеченное проявление человечества, она живит и строит ум человека. В то же время она, по своему общечеловеческому началу, в себя принимает все человеческое, отстраняя чуженародное своею неподкупною критикою, тогда как отдельному лицу нельзя не поддаваться самым формам чуженародности и не смешивать их с той общечеловеческой стихиею, которая в них таится; но человек, воспитанный в народности, растет и крепнет, разумно богатится всем богатством человеческого мышления, законно расширяет ее прежние пределы, а иногда доходит до законного отрешения от ее ненужных случайностей. Впрочем, такое отрешение всегда опасно, даже когда оно является как сознательное отрицание; оно бессмысленно и убийственно, когда оно является как дело невежества. А таково оно у нас.

Запутин. Такое невежество или незнание невозможно.

Тульнев. Не только возможно, но крайне обыкновенно; ибо знание дается только жизни, не отделяющей себя от народного быта со всеми его прихотливыми особенностями. Заметьте, пожалуйста, жизни, а не ученой наблюдательности; ибо всякий живой народ есть еще невысказанное слово.

Анна Федоровна. Которое, не правда ли, надобно слушать не ухом, а душою?

Запутин. Конечно, в этом с вами Иван Александрович спорить не станет. Хорошо и то, что он по крайней ме-

ре позволяет людям выходить за пределы народности. Он тем самым признает, что общечеловеческое служение выше того служения, которого круг ограничивается народом и его интересами.

Т у л ь н е в. Вы опять впадаете в ошибку, произвольно отделяя то, чего отделять не должно. Служение народности есть в высшей степени служение делу общечеловеческому. Конечно, были особенные случаи, в которых человек возвышался до служения общечеловеческой, божественной правде, помимо народа своего. Но к чему о них говорить? Или лучше: имеем ли мы право о них говорить? Где та общечеловеческая мысль, которой мы служим? Где это высокое поприще? Побережемте великие слова для великих дел, и особенно не забудем одного обстоятельства: чем более человек становится слугою человеческой истины, тем дороже ему его народ. Тот, кто себя всего посвятил высочайшему изо всех служений, кто более всех отверг от себя тесноту своего народа, сказал: «Я хотел бы сам лишиться Христа, только бы братья мои по крови к Нему пришли»[9]. Никто не произносил никогда сло́ва любви пламеннее этого слова. Но дело наше не искание цели для деятельности человеческой, а определение того, что нужно, чтобы человеку быть действительно способным к какой-нибудь деятельности. Без народности человек умственно беднее всех людей, и сверх того он мертвее всех людей.

З а п у т и н. Что, Ольга Сергеевна, ведь не в лестной картине нарисовал Иван Александрович своих противников?

О л ь г а С е р г е е в н а. Я признаюсь, что за всем тем я не чувствую оскорбления, а чуть-чуть не убеждение.

Т у л ь н е в. За странным призраком погнались у нас многие. Общеевропейское, общечеловеческое!.. Но оно нигде не является в отвлеченном виде. Везде все живо, все народно. А думают же иные себя обезнародить и уйти в какую-то чистую, высокую сферу. Разумеется, им удается только уморить всю жизненность и, в этом мертвом виде, не взлететь в высоту, а, так сказать, повиснуть в пустоте. Чему смеетесь вы, Ольга Сергеевна?

О л ь г а С е р г е е в н а. Как же не смеяться? Ведь это *Магометов гроб*[10].

[З а п у т и н. Так, я этого должен был ожидать. Сколько я ни замечал, я всегда видел одно и то же. Женщины всегда переходят на сторону того мнения, которое сейчас защищает Иван Александрович; к несчастью, они переходят не надолго.

О л ь г а С е р г е е в н а. Вы платите злостью за слово, ска-

занное без всякой злости. Я, право, рассмеялась невольно, да и проговорилась.

Тульнев. А замечание Николая Ивановича справедливо, да и быть не может иначе. Женщины живут простее нас, ближе к жизни бытовой. Потаскается наш брат по белу свету, отвыкнет от своей родной жизни, чем его воротишь? А женщина? Кажется, вот она совсем отстала от России, всю себя обратила во что-то, чему другого отечества нет, кроме парижского модного магазейна. <Но> поехала в деревню, побывала с детьми раз двадцать в лесу, на сельском хороводе, послушала с ними вечерком долгие, прекрасные песни русские и воротилась сердцем в родную Русь, и ожила. Оттого-то и разговор ее убеждает. Мы говорим, а собеседницы наши слышат, может быть, не наши слова, а голос милых своих воспоминаний и убеждаются красноречием — только не нашим. Слава богу, хоть мы и сильно с толка сбились, и все еще сбиваемся, да сердце женщины спасет ум мужчины.

Запутин. Не слишком гордитесь. Вы далеко не всех привели к своим убеждениям.

Тульнев. Не о всех же я и говорю.

Запутин. Странное дело, что никогда не слыхать было более попреков безнародности, как в наше время, и, по-моему, никогда они не были так мало заслужены. Мода ли, или чувство необходимости, или какая другая причина, все равно: но никогда так ревностно и так постоянно не изучали Россию, как теперь. Чего бы, кажется, еще требовать?

Тульнев. Никогда, с другой стороны, безнародность не выступала с такой гордой самоуверенностью. Да неужели народность состоит в предмете изучения? Какой-нибудь Герман или Грот изучает Грецию, другой там изучает Рим. Что ж из этого? Хорош бы был Герман на агоре или какой-нибудь Миллер на форуме. Есть что-нибудь в них из эллинской или римской жизни? А мы, право, похожи на них, но наше положение еще хуже. Там народы сказали свое последнее слово, выяснились вполне: их понять легко. А себя мы понять не умеем, потому что по жизни мы сделались чужими своим началам, а сами эти начала еще не высказались. Право, посмотришь иногда на труды наших ученых, и станет досадно. Сидит ученый, колдует на старых пергаментах или актах печатных, скликает тени, и вот они сходятся: нечего сказать, славный собор. Мужи новгородские, бояре московские, седые дьяки, сельский люд с своими старостами, все готовы на ответ. А что ж наш ученый? Точно князь Луповицкий[11]

на сходке: и слышит не то, и понимает не то, и записывает не то. Лучше бы уж и не собирал. Вот как казнится человек за свои грехи. Впрочем, мы все-таки всем благодарны за добрые намерения.

Запутин. А решение-то не нравится приверженцам квасного патриотизма.]

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ Т. И. ФИЛИППОВУ

Милостивый государь Тертий Иванович!

Я обращаюсь к вам, как к сотруднику «Русской беседы», но не знаю, не ошибаюсь ли. Не отступились ли от вас все прочие сотрудники, не удалили ли вас общим мирским приговором по русскому стародавнему обычаю? Прошу вас не оскорбляться таким предположением. Важный петербургский журнал так определительно объявил, что у вас ничего нет общего с остальными сотрудниками «Беседы», так решительно предписал им удалиться от вас, чтобы не подпасть ответственности за нетерпимость, выказанную вами в разборе комедии г. Островского, что едва ли они решились, едва ли даже могли ослушаться. Как совершился приговор, афинским ли записыванием на раковинках или просто словом устным, я не знаю, но, вероятно, он уже совершен, и совершен торжественно. Ведь предписание дано было важным журналом, а составлено и провозглашено — кем? Да, подумайте только, кем? Человеком, который объявляет во всеуслышание, что он вам даже отвечать не может, потому что для такого спора «или вы должны выучиться всему тому, что знает он, или он должен забыть все, что знает». (Правда, тут же он признает в г. Самарине некоторые права на равенство с собою, но это, очевидно, только признак скромности с его стороны, да и г. Самарин едва ли решится принять на себя какое бы то ни было соучастие в познаниях великого незнакомца.)[1] Итак, вы видите, какой и коликий муж предписал сотрудникам «Беседы» отказаться от вас. Скажите, когда вы прочли такое предписание, не охватил ли вас ужас? Не пробежал ли у вас мороз по коже? Смелы же вы. Мне так и вчуже стало за вас страшно. Все мои знакомые, все

деревенские соседи уверены, что громовые слова, поразившие вас, произнесены не русским каким-либо писателем (где у нас найти столько учености?). Нет! их произнесла какая-нибудь колоссальная знаменитость европейская, выучившаяся по-русски — собственно, для изречения приговора над вами. (Не сам ли многоведатель Гумбольдт? Это моя догадка: что вы об ней скажете?) Очевидно, сотрудникам «Беседы» приходится повиноваться. Нашелся было кто-то, который вздумал уверять нас, что статья «Современника» написана не европейскою знаменитостью, не многоведателем Гумбольдтом, а просто весьма неизвестным русским автором, который, скромной фиалке подобный, расцветает журнальными статейками в тени своего собственного темненького имени,— но этому никто не поверил: этому быть нельзя. Есть же предел всякому человеческому самохвальству, даже самохвальству журнального писателя.— Отойди, Израиль, в палатки свои и отступись от грешника! — Вероятно, приговор этот уже исполнен над вами. Вы видите, милостивый государь, что мое предположение очень вероятно и нисколько не оскорбительно для вас, ибо оно основано не на признании какой-нибудь вины за вами, а на невольном благоговении перед сокрушающим величием вашего судьи в «Современнике». За всем тем, как ни вероятна моя догадка, так как ваш остракизм не объявлен, я еще считаю себя вправе обратиться к вам, как к участнику в «Русской беседе», не скрывая, впрочем, удивления своего к мужеству или упорству других сотрудников, которые еще медлят исполнением приговора, произнесенного великим Анонимом.

Вы навлекли на себя грозу, и, позвольте сказать, отчасти подело́м. Пишете вы о комедии, пишете вы статью в журнале, положим, трехмесячном, но все-таки журнале, и вздумали затронуть нравственный вопрос, да еще и затронуть его не так как-нибудь слегка, а затронуть глубоко, серьезно, искренно. Я спрашиваю у вас самих: водится ли это, делается ли это в других журналах, принято ли это в литературном обычае? Вы знаете, что нет. Ведь вы должны же понимать, что такие вопросы прямо могут коснуться совести читателя, отчасти встревожить и, может быть, даже расстроить ее; а какое имеете вы на это право? Или вы думаете, что затем подписываются на журнал, чтоб, прочитав его, повесить голову да задуматься над своей душою? Вы скажете, что это бывает кое-где. А где, например? Во Франции ли, у нас ли? Нет, даже и не в Германии. Так и вам не следовало заводить нового обычая. «On ne se prépare pas à

la lecture d'un journal, comme à un examen de conscience»*,— сказала при мне одна дама, и очень мило сказала. Вот ваша первая вина.

Вторая не легче. Пришла вам несчастная мысль коснуться вопроса нравственного, вопроса живого, крайне щекотливого, можно сказать, задорного — женской эмансипации и ее проповедников, а в особенности великой проповедницы Жорж Санд. Не могли ли вы, даже разрешая вопрос по-своему, сделать какие-нибудь исключения в пользу страстных натур, гениальных умов, непонятых женщин, душ вольнолюбивых, угнетенных мелкою пошлостью ежедневной жизни? Такими исключениями всякий мог бы воспользоваться и смотрел бы снисходительнее на вашу теорию; но вы не умели или не хотели подготовить себе таких простых, облегчающих обстоятельств. Еще более: вы употребили, и не раз, выражения крайне грубые и неприличные — грех, разврат и даже мерзость. Вы так наивно виноваты, что мне даже жаль вас. Позвольте мне у вас спросить: если мы будем употреблять такие резкие слова, к чему же служит прогресс, к чему цивилизация, к чему смягчение нравов, к чему, наконец, весь девятнадцатый век? Знаете ли, к какому разряду людей вы приписываетесь? Приехал как-то в Петербург москвич (славянофил, что ли) в бороде, в русском платье; был где-то на большом вечере, и вдруг какая-то милая петербургская дама, вся в кружевах (ну, просто вся блеск и трепет, как где-то сказал Гоголь), обратилась к нему, прося от имени многих разрешения бросить мужей. Что ж вы думаете? Медведь отказал, не позволил даже петербургским женам бросать своих петербургских мужей. Вы не верите, не верю и я. Но посмотрите: это напечатано в «Le Nord»[2], в январе нынешнего года, в письме из Петербурга[3]. Пусть это шутка, пусть даже насмешка насчет московских славянофилов и их неумытной[4] (шутник скажет *неумытой*) строгости; все-таки видно, что про них идет такая слава. И к этим-то людям вы приписываетесь! Им не след на большие вечера, а вам не след в журнал, даже трехмесячный! Начинаете ли вы понимать свое преступление?

Есть еще третья вина, но та уж полегче. Вы находите, что правило для разрешения одной из форм вами поставленного вопроса яснее выражается в простой крестьянской, можно сказать, мужицкой песне[5], чем в произведениях современной западной словесности, и что непросвещенный народ вер-

* «К чтению журнала не готовятся, как к экзамену совести» *(франц.)*.— *Ред.*

нее хранит нравственное понятие, чем цивилизованное общество, которое мы обыкновенно принимаем за образец. Непростительно! Но эта последняя вина падает не полною тяжестью на вас; она разделяется по всем сотрудникам «Русской беседы»: например, г. Аксаков в «Луповицком»[6] и г. Самарин в разборе статьи г. Великосельцева[7] очевидно впадают в одинаковое с вами заблуждение. (Кстати, я слышал, что один журнал готовит возражение против г. Самарина и защиту г. Великосельцева: весело бы поглядеть на такое признание в единомыслии.) Как бы то ни было, вы сами видите, что журнальный гром не мог не упасть на вашу голову.

Критика у нас не без греха; да и где же она без греха? Все же кто-нибудь из записных критиков мог бы заметить верность, с какою вы разобрали художественные недостатки натуральной школы; мог бы оценить справедливость вами поставленного положения, что «натуральная школа, по своему дагерротипному характеру, непременно должна быть запечатлена рабскою пошлостью и не может никогда возвыситься до художественного творчества, которое одно только способно постигнуть и выразить духовную свободу жизни». Далее, кто-нибудь мог бы сказать читателю, как высоко вы поставили вопрос *о самоуважающей себя любви* и как ясно вы показали, что «она полагает пределы своим правам не вследствие какого-нибудь внешнего закона, но вследствие собственного своего уважения к самой себе»[8]. Мысль новая, благородная и выраженная вами с достоинством, соответствующим самому предмету. Все это могли бы признать журнальные критики; скажу более: некоторые сначала признавали это в разговорах, но скоро спохватились. Вы так провинились перед цивилизациею, что вам потачки делать не следовало. «Разругай его, душа Тряпичкин!»

Поступлено по хлестаковскому рецепту. Иные приветствовали вас тем почти бессловесным криком, которому мы видели образец; другие, более хитрые в диалектике, стали придираться к подробностям. У них Жорж Санд (еще недавно одна из великих представительниц потребностей века) вдруг стала как-то совсем особняком. Дела нет до того, что вы просили в своей статье, чтобы вам показали, «что Жорж Санд есть явление частное, возникшее вне всякой связи с образованием Запада». Этого вам доказывать не стали, а просто сказали: «Это голословно, назло всякому здравому смыслу,— и потом,— ругай, душа Тряпичкин». Неловко показалось сразу оправдывать Санд, так пусть она покуда останется явлением совершенно самостоятельным! Критики не видят какой бы

ни было зависимости ее от исторической жизни Европы. Они не видят ничего общего между ею и одним из известнейших произведений высшего представителя Германии, Гете («Wahlverwandschaften»*); между ею и Марионою[9], воспетою Виктором Гюго, и Манонoю[10] и Нинонoю[11], которых прославляла словесность и которых уважали современники; между ею и всею литературой Италии средневековой (Боккаччио, Ариосто и пр.) и французскими фаблио, и всею литературою труверов, которые опять восходят до песен о Ланселоте и Тристане[12], а нисходят до Бальзака, Сю и почти всех современных романистов Франции; ничего общего между нравственными понятиями Жорж Санда и всеми известными именами от Свентобольдов Лотарингских и Вильгельмов Нормандских, Энциев, Манфредов, Транстамаров, Дюнуа, герцогов Бургонских и прочих до герцогов Менских и далее; ничего общего между Жорж Санд и всею европейскою историей, которой почти нельзя давать читать благовоспитанным детям, если желаем избегнуть вопросов о Розамундах, Агнесах Сорель и других равно почетных исторических лицах; ничего общего между обычаями и кодексом сандовских героинь и сижисбеизмом[13] Италии, и галантерееюФранции, и гражданским разводом Наполеона по несогласию нравов[14] (par incompatibilité d'humeur), и наполеоновским же предположением о многоженстве в колониях, и церковным разводом почти всех реформатских[15] земель, который сам Бунзен называет: ein legalisirter Ehebruch**; наконец, нет ничего общего между взглядом Жорж Санд и почти всеми мыслителями, учениями и школами современного Запада! Критики тут не видят ничего общего, никакой круговой поруки или солидарности в быте, словесности, истории, гражданских и даже церковных законах. Сильненько же незнание журнальных критиков! Право, уж лучше бы им было опровергать вас примерами жены рыцаря Карадока, Женевьевы Брабантской или Гризельды[16]; да видно, они и про тех не знают.

Нашлись критики еще похитрее: оставляя в стороне весь вопрос художественный и нравственный и отношения Жорж Санд к Западу, они напали на вас за другое. «Не имели вы, дескать, права искать норму русских понятий об обязанностях жены в браке в простой бытовой песне; да и песня та не представляет чистого и высокого нравственного настроения, а содержит только утешительные надеж-

---

* «Избирательное сродство» *(нем.).— Ред.*

** легализированная супружеская измена *(нем.).— Ред.*

ды на лучшее будущее в жизни земной». Действительно, песня, уговаривая несчастную жену к терпению, обещает ей лучшее будущее на земле; но чего же и ждать от бытовой песни? Разве не естественно человеку, когда он старается укрепить шаткую волю своего ближнего в искушениях жизненного подвига, прибавить к слову «потерпи!» или «борись!» несколько слов надежды, хотя бы и сомнительной, на лучшее будущее? Действительно также, отдельная песня не документ. Есть чудная песня пьяной бабы: «Верея ль моя, вереюшка!» — и все-таки не следует думать, чтобы пьяные бабы находились в особенной чести у русского народа. Конечно, вы искали в песне не документа, а указания; но имели ли вы на это право? Это другой вопрос. Быть может, вы думали, что вас оправдает общее сознание и что нормальное значение самой песни скажется всякому, кому сколько-нибудь знаком голос русской души. Вы в этом были неправы. Вы думали, что нет ни одной стародавней песни, где жена неверная представлялась бы как предмет достойный сочувствия; что нет ни одной старорусской сказки (о переводных и говорить нечего), в которой бы сандовская героиня требовала уважения и любви от слушателя; что в наших местнических спорах и родословных (за исключением, может быть, одной сомнительной) нет ни Энциев, ни Транстамаров; что наши старые законы духовные и гражданские могут в этом отношении выдержать самый строгий разбор; что, наконец, во всей нашей старой истории и во всех летописях (быть может, охраняемых от пятен народною стыдливостью) не найдешь ни Сорелей, ни Розамунд и что поэтому вы имели право смотреть на песню, которую привели, как на довольно верное выражение нравственного русского взгляда. Это все правда, все ясно до очевидности; но вы все-таки не правы: вы забыли о душе Тряпичкине и его всегдашнем, вольном или невольном, незнании. Когда человек говорит *не знаю,* можно ему верить; когда скажет *знать не знаю*, сомнение весьма позволительно. И в словесности нашей есть, при огромном незнании, очень порядочная доля знать-не-знайства. (Существительное это соответствует глаголу игнорировать.) «Как этому делу пособить?»,— спрашивал я недавно одного деревенского соседа. «Дайте незнанию книги в руки, а знать-не-знайство привяжите к позорному столбу общественного мнения, единственному позорному столбу, который бы не был позорен для общества»,— был его ответ. Совет, кажется, хорош.

Выразив свое мнение насчет нападений, которым вы подверглись, прошу у вас позволения сделать с своей стороны

критическое замечание на вашу статью и развить несколько мыслей, связанных с этим замечанием; замечание же само касается главной нравственной идеи, вами выраженной: *о самоуважении любви* и истекающих из него обязанностях.

Я отдаю полную справедливость правилу, вами постановленному: «Истинная любовь отказывается от своих собственных прав на счастие всякий раз, когда это счастие должно бы было быть куплено постыдным торгом с совестью. Тогда самоотречение любви есть естественное последствие ее уважения к своей собственной святыне»[17]. Я не привожу самых ваших слов, но, кажется, верно передаю их смысл. Конечно, не найдется ни одной благородной души, которая бы вам в этом не сочувствовала; но мне кажется, вы не довели своей мысли до полного ее логического развития. Причину самоотречения находите вы не во внешнем законе, но в самоуважении любви к себе: это прекрасно! Но в то же время ее самоуважение выражается в уступке закону, который как будто от нее не зависит,— ей внешен. По крайней мере так кажется из ваших слов, и в этом я нахожу вашу мысль не вполне развитою. Самые законы, которым любовь, по-видимому, уступает, суть, по моему мнению, обязанности, истекающие из ее собственной основы, и нарушение их было бы искажением ее собственного значения. Так желал бы я пополнить вашу мысль.

Любовь, как требование притязательное и себялюбивое, любовь, ставящая цель в лице любящем, есть еще неотрешившийся эгоизм. Она может, как и всякая другая страсть, доходить до исступления, разгораться до безумия, опьянять до бешенства. Но в этой степени она не имеет еще ни благородства, ни нравственного достоинства. Какое бы ни было ее напряжение, она не заслуживает еще имени любви. Английский язык (сколько мне известно) один из новых европейских языков выразил эту первую степень любви словом: to like*. Оно выражает любовь человека к предметам низшим, неодушевленным или неразумным, или к другому человеку, признаваемому еще, как средство наслаждения, а не как цель. Истинная любовь имеет иное, высшее значение. Предмет любимый уже не есть средство: он делается целию, и любящий уравнивает его с собою, если не ставит выше себя; иначе сказать, признавая его уже не средством, а целию, он переносит на него свои собственные права, часть своей собственной жизни ради его, а не ради самого себя.

---

* нравиться *(англ.).— Ред.*

Таково определение истинной, человеческой любви: она по необходимости заключает уже в себе понятие духовного самопожертвования. Без сомнения, всякая деятельность исходит от человека, от его внутренних требований и, следовательно, имеет в себе характер эгоистический; но в любви она переходит на высшую степень, на степень *самоотрицающегося эгоизма*. Оттого-то, и только оттого, любовь есть нравственнейшее чувство, к какому только способно духовное существо, высшее, к чему только может стремиться человек. Если есть какая-нибудь обязанность в стремлении к совершенству, если есть какое-нибудь благородство в человечестве, если есть, наконец, какая-нибудь истина в понятиях о нравственности и добре, очевидно, что любовь есть тот высший закон, которым должны определяться отношения человека к человеку вообще или лица разумного ко всему роду своему. Но этот закон, всем предлежащий, многих к себе привлекающий, исполним для весьма малого числа избранных душ. Таково внутреннее тяготение эгоизма и сравнительная слабость добрых начал. Человек, стремящийся к исполнению высокого закона, которого красоту он сознает, и не находящий в себе достаточной силы, ищет для осуществления его (хотя в тесных пределах) пособия внешнего. Это внешнее пособие находит он в земном счастии, доставляемом ему союзом с лицом другого пола, вследствие того первоначального закона, который разделил род человеческий на две половины, взаимно пополняющие друг друга как в вещественном, так и в духовном отношении. Счастье само не есть цель союза, но пособие грубому человеческому эгоизму для полнейшего осуществления высшего закона любви, принимающей чужую человеческую личность не средством наслаждения, а целию полнейшей нравственной жизни. Из союза, представляющего в чете тип самого рода человеческого, возникает для нее целый новый мир, так сказать, новый род человеческий в семье, и кровная, естественная связь придает слабости человеческой столько сил, что она доходит (хотя, повторяю, в тесных пределах) до самоотрицания эгоизма, то есть до искренней, истинной и деятельной любви. Из этого самого понятно, что те немногие, которые могут жить для закона деятельной всечеловеческой любви без всякого внешнего пособия, были бы неправы, вступая в союз бесполезный для высшей цели их жизни: ибо личность, с которою бы они сочетались, не была бы для них целью, но поставлена бы была на унизительную (и возвратно унижающую) степень средства к наслаждению или так называемому счастию. То, что возвышает средних,

было бы падением для высших. Самая семья была бы стеснением их всечеловеческой любви.

Но та же самая семья есть тот круг, в котором для людей обыкновенных, то есть почти для всего человечества, осуществляется, воспитывается и развивается истинная, человеческая любовь; тот круг, в котором она переходит из отвлеченного понятия и бессильного стремления в живое и действительное проявление. Очевидно, что всякое нарушение этой семейной святыни есть нарушение самого закона любви. В детях оживает и, так сказать, упокоивается взаимная любовь родителей; и, конечно, не преувеличено бы было сказать, что они в своих детях любят каждый не самого себя, а друг друга. В то же время взаимная любовь родителей и детей представляет тип той высокой человеческой любви, которая в роде человеческом соединяет поколение с поколением; а разрыв между родителями, уничтожая связь их с детьми, представляет безобразное и безнравственное явление разрыва между человеческими поколениями; а не должно забывать, что внутренняя нравственность каждого поколения заключается по преимуществу в той любви и в тех надеждах, которые оно обращает на поколение грядущее. Скажите: если бы человек смотрел только на окружающее его современное, если бы он не надеялся, с теплым чувством любви, что всякая человеческая истина полнее осияет поколения грядущие, кто бы не впал в уныние и не просил бы бога сократить неблагодарный подвиг жизни земной? Итак, нарушение святыни семейной есть нарушение всех законов любви человеческой.

Вот, милостивый государь, как я желал бы пополнить вашу мысль. Мне кажется, что из предыдущего ясно выводится мое первоначальное положение: *что законы, которым любовь личная, по-видимому, уступает, суть не что иное, как обязанности, истекающие из ее собственной основы, и что нарушение их было бы искажением ее собственного значения.* <...>

Итак, какие бы ни были вера или безверие проповедников учения, связанного с именем Жорж Санда, оно остается одинаково безрассудным и одинаково отвратительным, разве б оно отрицало сразу всякое нравственное понятие. (В этом случае оно, по крайней мере, не заслуживало бы упрека в антилогизме.) Но, произнося такой безусловный суд, я не могу не рассмотреть обстоятельств, облегчающих нравственную вину целой школы. В чем же состоят они? Не в согласии ли с общественным мнением? Крайняя нравственная шаткость общественного мнения по этому вопросу на Западе уже ука-

зана мною; но эта шаткость не есть оправдание для людей, которые выдают себя за мыслителей, ибо они около себя же, в своем же обществе находят струю мысли более здравую и разумную. Шаткость мнения объясняет только возможность школы, а не оправдывает ее учений, не снимает ни малейшей части вины с ее представителей. Или в огромном распространении женской безнравственности по всему западному обществу? Итак, проповедь порока будет тем невиннее, чем более порок распространен. Проповедовать кривосудие, где оно обычно, взятки в том обществе, в котором они преуспевают, будет извинительно. Или в самой тягости нравственного закона? Но тогда надобно несколько распространить пределы слишком тесной проповеди. Ее надобно обратить против всякого самопожертвования, совершаемого ради какого бы то ни было нравственного закона. К низости в жизни надобно прибавить проповедь низости. Признаюсь, обо всем этом без некоторого омерзения трудно говорить.

Всякое ложное учение находит наказание в своих собственных выводах, и, разумеется, так называемая эмансипация женщин не может избегнуть общего закона. Я уже сказал, что всякий разрыв духовного союза, соединяющего человеческие четы, имеет прямым последствием уничтожение духовной связи между поколениями и разрушение всех нравственных основ, на которых зиждется самое усовершенствование рода человеческого; но прямые последствия такого разрыва между поколениями отразятся не одинаково на судьбе женщины и мужчины. Совершись он, и род человеческий распадается на две половины, на женщину вообще и мужчину вообще. Мужчина отчасти освобождается от детей, женщина лишается детей; и в наступившей борьбе рабство духовное и вещественное делается единственно возможным уделом слабейшей половины человеческого рода, ибо дети суть единственная ограда, ограда священная и несокрушимая, которая спасает слабость женщины от буйной энергии мужского превосходства. Личная эмансипация каждой женщины (в сандовском смысле) была бы приговором рабства для всех женщин. Таковы бытовые последствия теории, столь же нелепой, сколько безнравственной, и я счел бы небесполезным обличение ее безумия, хотя, как вы видели, основываю ее осуждение на других, высших началах.

Но неужели она не имеет никакого оправдания, т. е. неужели она не опирается ни на какое здравое и доброе чувство в душе человеческой? Ее успех, даже временный, был бы невероятен, если бы не было какой-нибудь правды

в ее основе или, лучше сказать, если бы не было какого-нибудь нравственного повода к ее существованию. И действительно, он есть в самом быте современного общества. На это законное оправдание ложной теории слишком мало обращают внимания, и позвольте мне сказать, что вы сами, намекнув на него, намекнули слишком легко.

Все учение об эмансипации женщин лежит на двух началах: на чувстве справедливости, которого законности и святости отрицать нельзя, и на той нравственной слабости, которая, не решаясь на строгий приговор против порока, готова распространить его пределы, чтоб уничтожить по крайней мере несправедливость привилегии, даруемой обществом на пользование этим пороком. Учение о законности разврата для женщины оправдывается общим развратом мужчин, и давнишний жизненный обычай связан логически с новою теориею. Вглядитесь, прошу вас, беспристрастно в тот вопрос, который скрывается за слабыми умствованиями или соблазнительными вымыслами целой школы. Какие права мужчины на разврат? На чем основана его постыдная привилегия? На большей слабости воли? Этого никто сказать не смеет и не решится. На больших искушениях? Это чистая ложь, ибо разврат женщины происходит всегда от разврата мужчины и, сверх того, гораздо извинительнее уже и потому, что мужчина свободнее управляет своею судьбою, чем женщина. На том, что мужчина носит на себе многие другие обязанности, которые не лежат на женщине и которые выше обязанностей семейных? И это низость и нелепость! Предположим даже, что есть обязанности выше семейной святыни. Неужели права на разврат (и следовательно, на порок вообще) возрастают с расширением круга общественных и гражданских обязанностей? Неужели праведный судия имеет право на мелкое мошенничество, и правая рука может без упрека передергивать карты, потому что левая ее товарка повреждена в сражении? Такие права были бы затейливою наградою за мужество гражданское и военное. На том, что женский разврат вносит более расстройства в быт семейный? Самое это предположение неверно, и если справедливо, то справедливо только в отношении семьи к законам гражданским. Но кто же подчинит свое счастие постановлениям условным или вздумает временными учреждениями ограничивать нравственные права, которые или вовсе не существуют, или существуют вечно?

Поставьте себя на место защитников женской эмансипации. Перед ними общий разврат мужчины и почти общее осуждение женского разврата. Эти два явления логически отри-

цают друг друга; и поэтому следует узнать, которое же из них более согласно с действительными, хотя и невысказанными, убеждениями общества. Разврат мужчины предполагает разврат женщины. Какое же понятие имеет мужчина об отношениях женщины к нему в этом союзе? Считает ли он их невинными? Тогда, осуждая женщину, он лицемер из личных выгод. Считает он их порочными? Тогда кто же он сам? Перенеситесь в другую, более привычную сферу нравственного суда над поступками людей и произнесите приговор. Человек, который пользуется пороком другого человека, усугубляя его нравственное унижение для своих личных выгод, есть и считается подлецом. Такой вывод неизбежен и неотразим. Что же должно думать об общественном мнении в этом вопросе? Легче предполагать мягкое и своекорыстное лицемерие, пользующееся временными убеждениями и выдающее их за неизменные правила нравственности для своих собственных выгод, чем ту бездушную подлость, которая в одно время признает вечные, нравственные законы и сознательно ругается над ними. Следовательно, очень понятно, почему могло или должно было возникнуть мнение, что общество современное в глубине своих убеждений нисколько не осуждает безграничного права женщины на свободу жизни. Действительно, те, которые осуждают разврат женщин, не произнося такого же строгого приговора против разврата мужчин, замолвливают слово в пользу низости и подлости душевной.

Итак, школа Санда права против общей неправды. Нинона могла с полною справедливостью называть себя честным человеком (je suis un honnête homme,— говорила она); и я не знаю, почему Лукреция Флориани[18] не была бы очень милым мужчиною и даже очень почтенным джентльменом. Разумеется, это не переменяет нисколько их отношения к высшему понятию о нравственности, но отнимает у общества право суда над ними по тому же закону, по которому продавец краденых вещей не может произносить нравственного приговора над воришками, снабжающими его лавку предметами выгодной торговли.

Явление женских эмансипационистов было неизбежно. Когда общество живет в явной лжи, на слове признавая какой-нибудь закон, а на деле бессовестно и сознательно нарушая его, и когда обличители, во имя высшей правды, потворствуют неправде низким молчанием, тогда, вследствие неизбежной исторической логики, возникают обличители другого рода, обличители во имя самого порока, принимающие явление бы-

товое за признанный закон и притягивающие к нему, для его оправдания, другой нравственный закон, еще признаваемый обществом (как, напр<имер>, в теперешнем случае,— чувство справедливости). Легко бы можно показать такую историческую логику в деятельности Вольтера, Руссо и энциклопедистов, в их успехах; и точно то же видим мы в сравнительно слабейших деятелях, какова Жорж Санд. Новая ложь учения права перед старою ложью; но тут является опять новый закон, обличающий самих обличителей. К их делу не всякая человеческая природа пригодна. Души чистые и благородные, сознавая общественную ложь, не смеют доводить ее до ее крайних (хотя, по-видимому, и законных) последствий. Могущественная логика их ума робко останавливается перед непобедимым чувством внутренней красоты, перед скрытою любовью к своей собственной чистоте душевной: они остаются благородно непоследовательными. Нужен некоторый запас душевной грязи, чтобы человек довел до крайних последствий систему, принимающую какую-нибудь общественную ложь или общий порок за признанный закон. В этом случае новый обличитель находит в своем внутреннем сочувствии к нравственному злу ту силу и смелость, которых недоставало душам более возвышенным и чистым. Таков характер гениальных деятелей XVIII века, Вольтера и Руссо; таковы же свойства и Жорж Санда. Отдавая полную справедливость ее великим художественным способностям, восходящим иногда до безукоризненного творчества (например, в «Чертовой луже»), эстетическое чувство всегда сознавало какую-то примесь грязной струи почти во всех ее произведениях. Эта струя грязи разлилась полным разливом в «Записках» Жорж Санд, всплывая над всеми прикрасами лицемерной чувствительности и восторженности. Без всякой необходимости, без всякого внешнего принуждения, без спора, без тяжбы, без житейских нужд, которые так часто извиняют даже и непохвальное, эта женщина объясняет падение, в котором не кается и которого даже не сознает, чем же? Мерзостью родного брата, которого выставляет напоказ ради потехи читателя и таскает на позор ради собственного возвеличения. Таково явление, таково самообличение дрянной порочности, перед которым один из наших журналов, разгорячившись в нежном восторге, восклицает: «Пусть кто-нибудь бросит свой злой и грешный камень в эту женщину»[19]. Право, не мешало бы знать, что некоторое, хотя бы и слабое, развитие нравственного чувства нужно даже и для оценки художественных произведений.

Но какая бы ни была ложь и безнравственность теории, какой бы ни был душевный разврат ее представителей, как скоро она обличает какую-нибудь общественную порчу или бытовой разврат противупоставлением (хотя и несправедливым) какого-нибудь нравственного закона, она не может не принесть добрых плодов для человеческого развития. Таков исторический закон. Самое зло личное делается орудием добра в бесконечной мудрости божьего промысла. Вопросы, на которые человек смотрел с непростительным легкомыслием, получают приличную им важность и значение, когда от разрешения их, правильного или неправильного, зависит самая судьба общества. Так и теперь, смелый протест целой школы, более или менее явно поднявшей знамя женской эмансипации, не пройдет без следов. Он не прав перед нравственным законом, он совершенно прав перед жизненным обычаем. За него справедливость, чувство вполне законное и христианское. Для общества предстоит впереди выбор неизбежный: или расширение пределов дозволенного разврата на женщину, или подчинение мужчины строгости нравственного закона; а необходимость выбора возвысит общий строй жизни во избежание совершенного падения. Я знаю, что дряблая слабость современного общества не вдруг поверит возможности лучшего и более здравого обычая в будущем; но такое неверие в возможность добра ничего не доказывает: оно есть не что иное, как последствие и казнь преобладающего зла. Я уверен, что заговорят о неисполнимости закона, о невозможности борьбы: пустяки и ложь растленной жизни! Стоит только признать борьбу со страстями невозможною, и она делается невозможною, закон неисполнимым, и он не исполним. Выбор неизбежен, ибо он требуется во имя справедливости. Если кто скажет, что женщина откажется от предлагаемого права на унижение, чтобы сохранить уважение к самой себе, я думаю, что сколько-нибудь честный мужчина откажется от исключительной привилегии на подлость, чтобы не быть презрительным в своих собственных глазах. Опять повторяю: таков исторический закон. Ложным своим началом не может торжествовать никакая ложная теория: она всегда бывает обязана своим временным успехом присутствию в ней некоторой правды, противупоставляемой общественной неправде. Такова причина успеха энциклопедистов в XVIII веке. Вольтер брал против лжехристианства современной ему жизни оружие из христианской истины. В деле Каласа[20], в деле двух молодых людей, осужденных за богохульство[21], и во многих других случаях он был более христианином, чем его против-

ники. Руссо и подавно. Прошли года; об них, как об учителях, никто уже не говорит, кроме какой-нибудь французской мумии, которую смерть забыла потому, что никогда не видала в ней действительных признаков жизни; но многие истинно христианские начала осуществились в обществе потому только, что они уяснились в упорной борьбе, и учителя зла сделались бессознательным орудием добра. Не думаете ли вы, что какой-нибудь нравственный закон, подобный тому, о котором я сейчас говорил, выразился в индейской мифологии, по которой злые духи, иногда торжествуя, всегда обязаны своим торжеством какому-нибудь оружию, добытому из хранилища богов?

Были в жизни христианского мира догматические ереси, и они имели временный, часто огромный, успех; последствием же их было яснейшее сознание самих догматов веры. Без сомнения, будущие века покажут, что таково же назначение и теперь преобладающих латинства и протестантства. Точно так же, кажется мне, есть и временные ереси христианского чувства; ими особенно богато наше время. И они пройдут не без пользы для человечества; ибо, заставляя человека глубже вникать в нравственные вопросы, они уясняют самое чувство христианства и готовят ему более полное торжество во всех областях жизни частной, общественной и гражданской.

Вот, милостивый государь, те мысли, которые мне пришли в голову по поводу вашей статьи. Если вы сочтете их достойными помещения в «Беседе», поместите их. Не думаю, чтобы резкость и строгость в моих суждениях испугали ее... Мне кажется, она не очень склонна к пощаде и сама не просит снисхождения. Примите, м<илостивый> г<осударь>, и пр<очее>.

Тула

РАЗБОР ТРАГЕДИИ БАРОНА Е. Ф. РОЗЕНА «ЦАРЕВИЧ»

В драматическом произведении важны по преимуществу характеры лиц, проявление этих характеров в действии и

верность языка как в отношении к лицам говорящим, так в отношении к той минуте, в которой они говорят. Я ограничусь разбором трагедии барона Розена только по этим трем предметам.

Первенствующими характерами являются у него, как и следует, Иоанн, сын его и Годунов. Почти одинакую важность придал он князю Бельскому, на что, разумеется, он имел полное право. Разбирать согласие характеров в драме с теми же характерами в истории считаю я излишним. То же самое скажу я отчасти и о действии. Историческая муза так часто была обличена во лжи, что поэт всегда вправе ее оподозрить; и сверх того, задача поэзии по сущности своей так различествует от исторической задачи, что между ними критика не может требовать большого согласия. Народная поэзия, всегда искренняя и верная художественному началу, служит нам в этом случае великим уроком. То самое происшествие, которое составляет предмет трагедии бар. Розена, рассказывается народною песнию по-своему и наперекор всем свидетельствам. Фантазия народа спасла царевича через Шереметева или Романова; она не терпела сыноубийства. В выборе Романова, как спасителя сына Иоаннова, скрывался, может быть, еще глубокий эпический замысел; но как бы то ни было, поэзия в сказке дала нам свидетельство своей свободы, и современный поэт может творить независимо и от прагматической истории, и от народного вымысла. Я обращу внимание только на внутреннюю правду характеров и действий.

Иоанн у г. бар. Розена вспыльчив до безумия, более вспыльчив, чем зол; он подозрителен до крайности, труслив, изредка мелко хитер, очевидно туп ко всякому нравственному чувству и в то же время бессмысленно набожен; но в нем нет ни одной черты, которая бы дала ему право являться в поэзии: ни государственных видов, ни глубоких убеждений, ни сильной и постоянно действующей страсти, ни даже того блистательного и софистического ума, в котором, конечно, никто отказать не может автору письма к кирилло-белозерским монахам. Он является орудием для трагедии, но не трагическим характером. Главная же, кажется мне, ошибка автора состоит в том, что он отодвинул всех царедворцев, достойных такого царя, и, выдвинув вперед только два почти идеальные лица, Годунова и Бельского, сделал Иоанна вдвое более отвратительным и в то же время почти вовсе непонятным. Кругом него нет ни той атмосферы, которую он должен был создать, ни той, которой действия могли бы служить

ему объяснением, если не оправданием. Нельзя, однако, не заметить в словах Иоанна одного многозначительного места в разговоре с сыном о разнице в отношениях человека к духовной идее власти и к вещественным опасностям. Выражения несколько темны; но мысль сама заключает в себе много глубины, поэзии и истины.

Более трагически задуман царевич. Природа хорошая, добрая, нежная, не лишенная силы и некоторого душевного величия, но разбитая и раздробленная неотразимым чувством испорченной молодости; носящая в себе какой-то неясный приговор против себя и своего рода и бессильно стремящаяся к устранению этого праведного приговора. Создание этого характера приносит честь поэту и искупает с лихвою некоторые мелкие недостатки, напр<имер>, излишние повторения о своем бесстрашии, не совсем вероятное незнание лиц и происшествий, относящихся к годам его отрочества и первой молодости, и даже неполную определенность общего очертания.

Трагическая идея лежит также в основе характера Годунова. Благородная и нравственная природа, любящая добро, но принужденная достигать доброй цели не прямыми путями, а хитростями и мало-помалу привыкающая любить хитрость и кривые пути до того, что теряет чувство правды и самую любовь к добру. Такая задача, бесспорно, способна к трагическому развитию, несмотря на некоторую мелкость в замысле характера. Одно из великих бедствий, которыми долго отзываются в жизни народов такие цари, как Иоанн IV, без сомнения, то, что они развращают лучших людей и приучают их к криводушию в деле и словах. Гроза, породившая безнравственную привычку, уже миновалась, а привычка остается и искажает всю жизнь человека, подпавшего искушению непрямых путей и непрямых слов. Некогда честный человек, но имеющий от природы ум тонкий и изворотливый, может сделаться виртуозом лжи. Автор показал глубокую наблюдательность в тех сценах, в которых Годунов, уже втайне желающий венца (как Макбет), готовится к хитрости, вследствие которой гибнет царевич. Он и сам не знает, чего он действительно хочет. Сам себя он уверяет, что он идет жертвовать собою за царевича и действительно подвергается <опасности> смерти, но в то же время слышна какая-то плутня души, которая питает непризнаваемую надежду, что жертвою-то будет другой, а не он. Все эти черты задуманы прекрасно; но хитрости Годунова придуманы, как мне кажется, неловко, сколько в отношении к роковому свиданию ца-

ревича с отцом, столько и в отношении к Бомелию (в «Прологе»).

Вовсе неудавшимся считаю я характер кн. Бельского. Мне, т. е. читателю, вовсе не нужно знать, верен ли он истории; но внутреннее чувство не дозволяет представлять идеально добродетельным лицом человека, который всегда спал в комнате царя Ивана Васильевича IV. Для мало-мальски благородной души это было бы казнию хуже Мезентиевой. Если художник считает это возможным, мне кажется, он не вполне вдумался в самый характер жизни при дворе Иоанна. Если же мое чувство несправедливо, то художник не прав в том, что он не удалил возможности подобного чувства. При Иоанне чистый человек мог быть военачальником, судьею, советником в делах государственных; но не мог быть ни жильцом его спальни, ни его другом, ни фанатическим поклонником его. А все это соединено в Бельском. Или такое противоречие действительно невозможно, или художник должен был показать возможность примирить то, что по-видимому непримиримо.

Кроме этих главных характеров является еще один, довольно замечательный, характер сестры Годунова, жены младшего царевича Феодора. Лицо это обрисовано слабо, для хода пьесы оно вовсе бесполезно; но оно не лишено некоторого поэтического достоинства. Сцена между Ириною и братом, в которой слышатся воспоминания прежней жизни, *лучшая по языку сцена* изо всей драмы. Сама Ирина представляет как будто еще неиспорченную молодость Годунова и напоминает о Феодоре, ее муже, этом странном лице, которое в самой истории является как будто гробовая лампадка, внезапно затеплившаяся над угасающим родом Рюриковичей Московских.

Прочие второстепенные лица вовсе незамечательны.

Действия трагедии слабее задуманы, чем характеры. Трудно даже назвать оное действием. Такое название предполагает движение вперед; в драме же оно ограничивается, так сказать, колебанием на одном месте. Царь не убил сына при первой ссоре; он и во второй не убил бы его (таково указание самого автора), если бы не вбежал Годунов. Итак, ничто не созрело, ничто не двинулось вперед. Странные и полувраждебные отношения между царем и царевичем, хорошо задуманные, не развились нисколько. Кн. Грязной легким намеком усилил их. Кн. Бельский твердым словом оправдания отчасти устранил их. Ни в отце, ни в сыне нет внутренней работы страсти и мысли, которая дала бы преж-

ним отношениям более решительный характер. Дело кончается случаем, неловким появлением Бориса, да и сам Борис входит по недогадке, которая (по мнению автора) должна быть понятна зрителю. Очевидно, в художественном смысле тут действия нет. Прятание Бориса наперекор советам людей, знающих Иоанна, и желанию царевича слабо оправдано тем, что будто опасности при том царевичу не будет, потому что Иоанн за один раз не убивал никогда более одного человека, а сперва ему придется убить Бориса. Не говоря о неверности исторической, тут есть еще неверное понятие об том, на что решиться может человек безумно запальчивый, каким представлен Иоанн в драме. Вся пружина придумана слабо; но ход пьесы особенно подлежит критике по другой причине. Катастрофа не имеет определительного значения художественного. Она не катастрофа в смысле историческом, ибо смерть царевича не оставляет по себе большого огорчения в зрителе; она не катастрофа в смысле нравственном, ибо внутренняя жизнь Иоанна очевидно не потрясена и не наказана. Вся развязка остается просто несчастным случаем, происшедшим от вспыльчивости — а не более. Характеры, не говорю те, которые даны историею, но даже те, которые замышлены автором, допускали совсем иную трагическую развязку.

Наконец, язык драмы, как мне кажется, создан по ложной системе. Он не имеет ни благозвучности, ни поэтического изящества. Архаизмы, как, напр<имер>, слова *вырь*, *навье* и тому подобные, показывают желание верно выразить речь тогдашней эпохи; но этому желанию принесены в жертву существенные требования поэзии, живость слова, соответствие его выражаемым чувствам и страстям и самая ясность его.

<К СТАТЬЕ «О ВИЗАНТИЙСКОЙ ЖИВОПИСИ»>

Помещая эту статью, замечательную как в отношении к истории художества, так и в отношении к пониманию его, не можем не прибавить некоторых сомнений или оговорок. Вообще, кажется, что достоинство византийской живописи все еще не вполне оценено автором. Говорится, например, о соз-

дании типов и в то же время об отсутствии художества, вполне замещенного ремеслом. Но что же такое тип? Почему такой-то очерк признан был типом? Ведь это не официальное, не правительственное признание. Очерк был оценен, одобрен, нашел сочувствие, следовательно, выразил мысль и чувство не только живописца, но и других. Разве это не художество? И таких типов много: значит, целый мир художества возникал,— положим, при плохой технике. Таково наше убеждение и таков, кажется, законный вывод из фактов, признаваемых автором, но вывод, который он же отрицает. Далее: вероятно ли, чтобы та свежесть фантазии, которая создала св. Софию[1] и другие великолепные здания, ставшие с недавнего времени предметом благоговейного изучения, вовсе не высказалась в живописи? Нет: именно она высказалась и создала те типы, от которых хотя и дошли до нас только копии, однако же копии, дышащие еще величием утраченных оригиналов. Наконец, нам кажется, что слово *страдание*, которым автор характеризует христианское искусство, не совсем верно. Святое семейство, Вознесение, прославленный святой и т. д. не чужды, конечно, христианскому искусству и едва ли характеризуются словом *страдание*. Характеристика нового искусства, по преимуществу христианского, не есть *страдание*, но *нравственный пафос*, которого страдание не может ни помрачить, ни победить. Таковы оговорки, которые, по общепринятому нами правилу, мы не могли не прибавить к прекрасной статье г. Э. Д.-М.

<О ДРАМЕ Г. ПИСЕМСКОГО «ГОРЬКАЯ СУДЬБИНА»>

Драма г. Писемского («Горькая судьбина») взята из русской жизни. Содержание ее и завязка очень просты.

Богатый мужик, проживши несколько лет в Петербурге, возвращается в свою деревню и находит, что жена его, которая за него вышла против воли, в отсутствие его родила незаконного ребенка. Отец этого ребенка — помещик той самой деревни, к которой принадлежит крестьянин. Бурмистр, употребляющий во зло доверенность помещика, под предлогом защищения жены от побоев мужа, хочет увести ее из дома — в помещичий дом. Жена, обрадовавшись такому предложению,

берет с собою ребенка; муж, оскорбленный во всех своих правах, вырывает ребенка из ее рук и, в порыве бешенства, убивает его. Затем он убегает в лес. Наезжают следователи. Чиновник от губернатора старается обвиноватить помещика, чиновники от дворянства стараются его от дела отстранить; и те и другие действуют противузаконно. Убийца отдается в руки правосудия и всю вину принимает на себя. Его берут под стражу и уводят.

Лица характеризованы верно. Муж — предприимчивый, трудолюбивый торговец, нрава крутого и сурового, вышедший из дома отцовского, чтобы не быть под начальством отца, женившийся против воли невесты, сознающий свои права и свои достоинства, чувствительный к оскорблению и способный к сильным взрывам страсти, так же как и к некоторого рода раскаянию.

Жена — глупая, вовсе не имеющая сочувствия к мужу и неспособная уважать его добрые качества, заведенная в преступную связь без всякой другой причины, кроме нелюбви к мужу и увлечения внешностью и волокитством помещика.

Мать — плаксивая баба, признающая виновность дочери, слабо раздраженная ее поступком и сильно боящаяся зятя.

Помещик — человек добрый, с чувством чести, но слабый против себя, так же как и против других, сознающий свою вину и в то же время неспособный к истинному раскаянию, развратный и пьяный из праздности.

Его зять — предводитель уездный, человек безнравственный, довольно хитрый, неспособный понимать чувства действительно благородные, но охраняющий приличия и сословные интересы.

Дворянские чиновники — трусливые, бесхарактерные и падкие к деньгам.

Из коронных чиновников — стряпчий, лакомый до взяток, и следователь от губернатора, старающийся преимущественно дать важность следствию, чтобы доказать свое рвение, к тому же плохо знающий законы, своевольный, грубый ко всем и постоянно нарушающий закон при самом следствии.

Бурмистр — негодяй, вор, издавна привыкший потакать страстям помещика и пользоваться его ленью и пороками для угнетения крестьян.

Из прочих лиц, являющихся мимоходом, замечателен только постоянно пьяный старик, бывший когда-то ремесленником в Петербурге, лгун и хвастун.

Все эти характеры верны, просты и хорошо выдержаны.

Речь довольно жива, проста и народна. Крестьянское наречие носит на себе печать какой-то местности и передает читателю убеждение, что оно схвачено верно и согласно природе.

Таковы, по моему мнению, достоинства этой драмы, в которой по-видимому заключаются все стихии художественного произведения.

С другой стороны, нельзя не признать и следующего: женщина, жена крестьянина, около которой собирается все происшествие, просто дура, не внушающая к себе никакого сочувствия.

Крестьянин, муж ее, отталкивает от себя всякое участие зрителя или читателя тем, что сам нисколько не сознает нравственных своих отношений к браку и относится к жене просто как к законной и неотъемлемой собственности. Его верность даже в отсутствии и уважение к своей семейной или домашней чести лишены всякой внутренней и нравственной основы и по тому самому являются скорее как отметки в добром аттестате, чем как начало какого бы то ни было действия в нем самом или сочувствия к нему других.

Таким образом, два главные лица недостатком в них внутренней жизни убивают весь интерес драмы.

Верность речи имеет характер чисто внешний. Нет ни одного чувства и ни одного слова, которые определительно можно было бы назвать неверными или неуместными; но зато нет ни одного чувства, ни одного слова, которое бы казалось вырвавшимся из самой жизни или подсказанным ею. Речи кажутся просто записанными из допроса, в котором спрашивали у разных лиц: «Что вы тогда-то говорили?» Они отвечают добросовестно, стараясь вспомнить все, что сказали, даже вспоминают почти все свои слова, и показания их верны; но действительно все эти слова нисколько не похожи на те слова, которые они говорили во время самых происшествий: они холодны и мертвы.

Отношения автора к своей драме кажутся более похожими на отношения дьяка, производившего следствие, чем на отношения художника-творца. Он равнодушен не только к лицам, но и к самому нравственному миру, в котором они движутся, и к самому нравственному вопросу, около которого должен был сосредоточиться весь интерес.

Таким образом, вся драма содержит в себе все стихии художественного произведения и в то же время составляет крайне нехудожественное целое.

<ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕСНЯМ, ПОМЕЩЕННЫМ В СТАТЬЕ г-жи КОХАНОВСКОЙ>

1

Хотите ли, братцы, старину скажу,
Старину скажу, да небывалую,
Небывалую, да и неслыханную?
Уж как на море, братцы, овин горит,
Овин горит, да все со репою,
Со репою, да все со красною;
По поднебесью, братцы, медведь летит,
Во когтях несет да он коровушку,
Он коровушку да чернопеструю,
Чернопеструю да белохвостую;
По чисту полю да корабли плывут,
Корабли плывут, да все сено везут. <...>

Кажется, это не просто затейливая ложь, а ряд загадок, которых смысла уже мы отгадать не можем, отчасти уже и оттого, что нам неизвестны целые системы народных мифов. Это особенно ясно в отношении к явлениям небесным и к астрономии. Овин, горящий над морем с красною репою, почти наверное закат солнца. И теперь есть загадка о ночном, звездном небе; поэзии в ней мало, но есть, несомненно, оправдание нашей догадки:

Погляжу в окошко, полно репы лукошко.

2

Вечóр поздно три роты шло.
Ладо, ладо!
Первая рота Московская,
Другая рота Литовская,
Третья рота Турецкая.
А в Турецкой барабаны бьют,
А в Литовской трубы трубят,
А в Московской девка плачет,
Замуж не хочет.
Что не батюшка выдавает,
Что не матушка снаряжает,
Что не братцы в поезде,
Не сестрицы в свашеньках:
Выдавает светёл месяц,
Снаряжает красное солнце,
Частые звезды в поезде,
Вечерняя заря в свашеньках.

В предыдущей песне не может не поразить читателя странное сопоставление роты турецкой, литовской и московской, впрочем без вражды и борьбы между ними. В первых двух — звук труб и барабанов, в третьей — девица плачет. Положим, что девица ушла за московским ратником (может даже быть, что *рота* тут заменила слово *рать*) и плачет неутешно; да к чему Турка и Литва? Если мы вспомним, что при Хмельницком был именно вопрос, за кем идти Малороссии, вопрос, решенный в пользу Москвы, но не без разногласия и не без горя для многих,— кажется, мы придем к тому заключению, что в песне содержится иносказание. Девица — плачущая Малороссия, идущая по собственной воле, но с болью сердечною. Вероятно, песня сложена была не друзьями Москвы, а партиею или противною, или сомневающеюся. Странно может казаться, что песня эта великорусская, а не малорусская, но все собрание украинских песен по ритму, ладу, технике и отчасти чувству носит на себе весьма сильный оттенок малорусской народности. По всей вероятности, песни переходили часто из одного наречия в другое, и то же самое могло встретиться и в теперешнем случае. Наконец, можно даже предположить, что вся песня сложена просто русским полунасмешливым наблюдателем. Во всяком случае, смысл остается тот же.

3

Я из рук, из ног коровать смощу,
Из буйной головы яндову скую,
Из глаз его я чару солью,
Из мяса его пирогов напеку,
А из сала его я свечей налью.
Созову я беседу подружек своих,
Я подружек своих и сестрицу его,
Загадаю загадку неотгадливую.
Ой, и что таково:
На милóм я сижу,
На милóва гляжу,
Я милым подношу,
Милым подчеваю,
А и мил пер'до мной,
Чтó свечою горит?
Никто той загадки не отгадывает.
Отгадала загадку подружка одна,
Подружка одна, то сестрица его:
— «А я тебе, братец, говаривала:
Не ходи, братец, поздным-поздно,
Поздным-поздно, поздно вечером».

Странная песня и уродливая во всех отношениях. Отрицать ее подлинности нельзя, хотя бы даже она была только местною; но такая же точно песня записана и в других местностях, следовательно, она довольно общая в великорусской земле. Предполагать позднейшее изобретение нет причин, ни по тону, ни по содержанию: окончание загадкою даже как будто указывает на древность. Что же это такое? Гнусное выражение злой страсти, доведенной до исступления? Тон вовсе не носит на себе отпечатков страсти, и его холодность делает песнь еще отвратительнее. Сравним с нею разбойничью песню, кончающуюся стихами:

На ноже сердце встрепенулося,
Красна девица усмехнулася —

и разница станет очень явною. Как песня, эта песня не имеет ни смысла, ни объяснения: она невозможна психически и невозможна даже в художественном отношении. Как же объяснить ее существование? Просто тем, что она вовсе не песня в смысле бытовом.

Северная мифология в своей странной космогонии строила мир из разрушенного образа человеческого, из исполина Имера, растерзанного детьми Бора; восточные мифологии — из мужского или женского исполинского образа, часто смотря по тому, кто был убийца-строитель, божество мужское или женское. То же самое можно отчасти угадать в мифологии египетской и индийской; но, оставив в стороне гадательное, мы знаем, что на Севере и на Востоке космогонический рассказ был именно таков. Кости делались горами, тело землею, и всеми ее произведениями и всем началом питания, кровь морями, глаза либо морскими водоемами, либо чашами светоносными, месяцем и солнцем (что, впрочем, представляет довольно странное соединение образов). Такой процесс космогонический был, вероятно, и у нас. Мифологические рассказы при падении язычества теряли свой смысл и переходили либо в богатырскую сказку, либо в бытовые песни, либо в простые отрывочные выражения, которые сами по себе не представляют никакого смысла. Таково, напр<имер>, описание теремов, где отражается вся красота небесная, или описание красавицы, у которой во лбу солнце, а в косе месяц и т. д. Песня, о которой мы теперь говорим, есть, по-видимому, не что иное, как изломанная и изуродованная космогоническая повесть, в которой богиня сидит на разбросанных членах убитого ею (также божественного) человекообразного

принципа. Так, напр<имер>, Рутрен и Сати[1] поочередно друг друга убивают в разных сказаниях. Этим легко объясняется и широкое распространение самой песни, и ее нескладица, и это соединение тона глупо спокойного с предметом, по-видимому, ужасным и отвратительным.

Процесс космогонический имел опять свой обратный ход. Сперва, как мы сказали, природа строилась из разбитого человеческого образа,— это то, что мы предполагаем в вышесказанной песне. Потом божественное из природы возвращалось в маломир (микрокосм), в человека. Это «Голубиная книга»[2] в ее окончании. Таково, думаем, вероятнейшее объяснение явления, которому, кажется, другого и придумать нельзя.

<ПИСЬМО В ЧУЖИЕ КРАЯ О РАСКРЕПОЩЕНИИ ПОМЕЩИЧЬИХ КРЕСТЬЯН>

М<илостивый> г<осударь>. Ваше издание изо всех изданий наших дней более других уделяет внимания внутренним делам в России. Может быть, вы не откажете мне в одолжении дать место письму по этому предмету, которое я позволяю себе отправить к вам.

В недрах моей родины совершается жизненное преобразование (нет надобности добавлять, что я говорю про освобождение крестьян), и Европа может только с любопытством следить за видоизменениями, через которые должен пройти этот поистине европейский вопрос. Живое любопытство есть; но будет ли оно доброжелательным?

Такое сомнение может показаться неожиданным в век, считающий себя (и не совсем без основания) достигшим довольно высокой степени духовного и общественного развития; а между тем выражения некоторых изданий, читаемых и уважаемых в Европе, делают более чем законным это сомнение.

Однако мы не можем допустить мысли, что недоброжелательство, выразителем которого делаются эти издания (среди них и «Times»), вызвано открыто выраженным желанием России выступить на путь более широкий и более чело-

веколюбивый, чем тот, по которому, как казалось, она шла до сих пор. Подобное предположение было бы оскорбительным для самой человеческой природы, а мы не хотели бы клеветать даже на того, кто выступает, как наш враг. Гораздо проще поверить, что недоброжелательство, выражаемое в настоящем случае, есть только следствие враждебной привычки, сложившейся раньше тех обстоятельств, которые дали ему случай проявиться. Хотя сама по себе эта враждебность несправедлива, все же она не без оправданий.

Под влиянием различных исторических причин и собственных народных особенностей, Россия стала одной из самых первостепенных держав: ее земельные владения необъятны; ее средства, уже подвергавшиеся испытанию, неистощимы; то, что таится в ней, как можно угадывать, еще значительнее; ее голос, всегда имеющий значение, не раз был решающим в европейских делах. Вот уже и совершенно достаточно причин, чтобы возбудить зависть; ибо, к сожалению, человек завистлив и как существо личное, и как существо общественное. Несмотря на это, таково благородство человеческой души, что она особенно возмущается против могущества внешней силы, когда оно не сопровождается и, так сказать, не освящается некоторым нравственным превосходством. Россия, эта внешними силами превосходящая едва ли не все другие европейские страна, как казалось, даже не имела права на нравственное значение: она была страна рабовладельческая. Таким образом, мне кажется совершенно естественным враждебное чувство, питаемое к ней иноземцами.

Я хорошо знаю, что некоторые утверждали, будто ей не идет название рабовладельческой страны; что до сих пор законом допускаемое в ней крепостничество не есть рабовладение. Я признаю это; я знаю, что крепостное состояние сильно отличается от рабства и что, придерживаясь строгого смысла законов, можно его защищать благовидными доводами. Но я утверждаю также, что крепостное состояние наших крестьян превращается в рабство по неизбежно вытекающим последствиям, которые должен был допустить и даже утвердить закон или, более того, которые закон не может ни выследить, ни обуздать и которые через то сделались составными частями обычного права.

<РЕЧИ, ПРОИЗНЕСЕННЫЕ В ОБЩЕСТВЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ>

I

**Ответ председателя,
сказанный действительному члену И. В. Селиванову
на его вступительное слово
в заседании 4 февраля 1859 года**

Приветствуя вас своим сочленом, Общество любителей российской словесности уже тем самым свидетельствует, м<илостивый> г<осударь>, что оно признает всю законность той отрасли словесности, которой представителем вы являетесь между нами. Да, обличительная литература есть законное явление словесной жизни народа; я скажу более, она — не только законное явление, но явление необходимое и отрадное. Она не есть произведение прихоти или раздражения каких-нибудь отдельных лиц,— она есть в одно время выражение скорбящего и негодующего самопознания общественного. Я позволю себе сказать, что она есть как будто публичная исповедь общества; ибо, нападая на отдельные злоупотребления, клеймя иногда частные типы, она есть голос общества, обвиняющего себя в существовании, в возможности этих типов и этих злоупотреблений в его недрах. Таково всегда значение обличительной словесности, присущей всякому свободному и не вконец испорченному обществу. Но есть минуты (и думаю, что такова минута, в которую мы живем), когда это значение становится еще выше и святее,— минуты, когда, отряхнув многолетний и тяжелый сон мнимого и обманчивого самодовольства, общественная жизнь рвется и волнуется всеми силами, а иногда и всею желчью, накипевшими в продолжение долгого молчания или в слушании хвалебных гимнов официального самохвальства. В эти минуты, м<илостивый> г<осударь>, обличение есть священный долг для литературы. Ее голос есть признак освобождающегося дыхания, и в то же время есть глубокий стон, если я так смею сказать, из сердца и подоплеки народной. Но, к несчастию, должно прибавить, что долго владычествовавшее и мгновенно прекращающееся преобладание какого бы то ни было нравственного зла и стеснения остав-

ляет после себя глубокие следы, которые не могут исчезнуть или изгладиться мгновенно. Всякое общественное зло, как и всякое общественное добро, действует не только как сила временная на одно какое-нибудь поколение: оно действует еще как сила воспитательная на поколение последующее. Многолетнее молчание, налагаемое официальным самохвальством на общественное самообличение, развращает надолго нравы самой литературы: пробудившись и освободившись, она еще долго не может сознать и определить границы своих обязанностей и своих прав, и часто беззаконную дерзость принимает она за законную свободу. Таков закон естественной необходимости, и мы не должны удивляться тому, что он проявляется и в жизни нашей словесности. Смело высказываю упрек именно потому, что вы ему не подлежите, хотя действуете в той области, к которой упрек этот относится. Многие прискорбные явления подтвердили бы, если нужно, мои слова; более же всего и грустнее всего подтверждаются они у нас проявлением печатной клеветы в разных ее видах.

Недавно ходил и печатался в журналах протест литераторов, любителей просвещения, против такой статьи в одном из петербургских журналов, которая была очень похожа на клевету[1]. В этом протесте я не участвовал не потому, чтоб я не признавал его справедливости, но единственно потому, что мне казалось странным и смешным протестовать против одного частного случая, тогда как наши периодические издания беспрестанно представляют другие примеры клеветы в самых разнообразных видах. Не говорю о многих более или менее явных примерах и позволю себе привести один из самых замечательных. Вышла повесть, писанная, как кажется, весьма молодым человеком, только выступающим на поприще словесности[2]. В этой повести рассказано подлинное дело из нашей судебно-административной жизни; имена действующих лиц изменены слегка, но так, что их невозможно не узнать. Говорят, что обстоятельства дела представлены весьма верно: так говорят, но кто же поручится за верность изложения? Опровергать рассказ, оправдываться нет никакой возможности для обвиненных, ибо они обвинены косвенно, намеками, под измененными именами: тут уже есть возможность клеветы, ибо нет возможности оправдания. Но всмотритесь глубже. Дело рассказано не так, как оно рассказывается при судебном разбирательстве, при котором допускается только изложение фактов. Повесть требовала иного,— изложения самых побуждений, движений душевных, всего

подспудного, всего гадаемого, всего недоступного для человеческого правосудия; следовательно, всего того, чего никто не имеет права объявлять во всеуслышание народное: тут уже есть постоянная возможность лжи и клеветы. Следствие было произведено дурно, решение было нелепо, пусть так; но следствие было дурно, может быть, по бестолковости следователя, решение нелепо по нелепости судей. Быть может, был и подкуп, были и другие причины, столь же преступные; но этих незасвидетельствованных подкупов, но этих безнравственных причин, но всех этих угадываемых и, может быть, вовсе небывалых мерзостей автор доказать не может, а обвиняемый опровергать не может. Все это помещено для интереса повести: тут есть уже не только возможность, но почти полная неизбежность клеветы. Еще далее. Кроме мужчин — дурных чиновников, может быть, преступных администраторов и судей, являются и женщины, их жены, их сестры, их дети, и все эти женские лица обозначены почти неизмененными фамилиями, представлены то смешными, то отвратительными, то в высшей степени безнравственными. Беззащитные женщины таскаются на позор, топчутся в грязь, обращены в посмешище; спрашиваю: с какого права? С какого права казнит писатель-сплетник, по всей вероятности, писатель-клеветник, несчастную жену чиновника за то, что чиновник дурен, или жену откупщика, потому что откупщик — человек бесчестный, или жену поверенного, потому что поверенный плут? Я называю это явление отвратительным. Но, может быть, все эти женские лица — изобретение сочинителя и непохожи на действительных жен, сестер, дочерей лиц, выведенных на позор. Может быть, это знают в губернии, где произошло описанное в повести дело. Пусть будет так; но эти следователи, эти судьи, эти откупщики действительно женаты, имеют семьи — жен, сестер, дочерей; для читателя, которому сделались известными и худо скрытые имена, и подробно рассказанное происшествие, естественно вообразить, что и семьи описаны верно, скажу более — неестественно вообразить противное. Спрашиваю: можно ли вообразить форму более гнусной сплетни, более отвратительной клеветы?

Как же принято такое явление? Какой урок получил молодой писатель? Поступок, достойный того, что было названо в одном московском издании позорным столбом общественного мнения[3], награжден был знаками одобрения, почета и, кажется, публичным обедом, описанным в газетах. Я позволил себе, я счел даже обязанностию строго осудить по-

ступок, назвать его заслуженным именем и даже сказать, какой уголовный награды он был достоин; но я весьма далек от того, чтобы строго осудить или самого писателя, как говорят, весьма молодого человека, или его крайне неосторожных одобрителей. Все они увлечены были, без сомнения, тем давно накопившимся и недавно нашедшим голос чувством негодования против неправды, которое все-таки обещает нам доброе будущее. Они были увлечены нетерпеливым порывом к добру, порывом, который иногда забывает, что к добру идти надо добрыми и строго обсужденными путями. Они впали в ошибку потому, что у нас нет еще литературных нравов. Этому, и только этому, могу я приписать и другие явления печатной клеветы в нашей словесности: иначе следовало бы отозваться об них с слишком глубоким презрением. Вот, м<илостивый> г<осударь>, те опасности, которыми окружено в наше время поприще обличительной литературы. Я говорю об них свободно перед вами, нашим новым избранным сочленом, потому что они не могут существовать для такого достойного деятеля, как вы. Я знаю, что эти опасности не могут быть устранены никакими внешними средствами; я знаю, что всякие внешние средства, устраняя временное зло, может быть, усиливают его начало, потому что мешают свободному созданию литературных нравов. Я глубоко убежден, что только свободная, елико возможно свободная, гласность может очистить нашу умственную атмосферу, возвысить нравственное настроение писателя и читателя, устранить зло в настоящем, сделать его невозможным в будущем; но я позволю себе выразить желание, чтобы все просвещенное общество, как читатели, так и писатели, подвинулись как можно скорее вперед по доброму и разумному пути. Пусть писатели поймут, что они имеют право на типы пороков и злоупотреблений, а не на частные лица, кто бы они ни были; что обвинительный намек есть низость, потому что он не допускает оправдания, и что словесный меч правды не должен быть никогда обращаем в кинжал клеветы. Дай бог, чтобы и читатели поняли, что одобрение нравственных промахов в писателе с их стороны есть также преступление против достоинства слова и против достоинства общественной жизни. Тогда только та отрасль словесности, которая вами избрана вследствие благородного стремления к добру, принесет те добрые плоды, которые она, конечно, принесет в ваших руках.

II

**Ответ председателя,
сказанный действительному члену
графу Л. Н. Толстому
на его вступительное слово
в заседании 4 февраля 1859 года**

Общество любителей российской словесности, включив вас, граф Лев Николаевич, в число своих действительных членов, с радостью приветствует вас, как деятеля чисто художественной литературы. Это чисто художественное направление защищаете вы в своей речи[4], ставя его высоко над всеми другими временными и случайными направлениями словесной деятельности. Странно было бы, если бы общество вам не сочувствовало в этом; но позвольте мне сказать, что правота вашего мнения, вами столь искусно изложенного, далеко не устраняет прав временного и случайного в области слова. То, что всегда справедливо; то, что всегда прекрасно; то, что неизменно, как самые коренные законы души,— то, без сомнения, занимает и должно занимать первое место в мыслях, побуждениях и, следовательно, в речи человека. Оно, и оно одно, передается поколением поколению, народом народу, как дорогое наследие, всегда множимое и никогда не забываемое. Но, с другой стороны, есть, как я имел уже честь сказать, постоянное требование самообличения в природе человека и в природе общества; есть минуты, и минуты важные, в истории, когда это самообличение получает особенные, неопровержимые права и выступает в общественном слове с большею определенностию и с большею резкостию. Случайное и временное в историческом ходе народной жизни получает значение всеобщего, всечеловеческого уже и потому, что все поколения, все народы могут понимать и понимают болезненные стоны и болезненную исповедь одного какого-нибудь поколения или народа. Права словесности, служительницы вечной красоты, не уничтожают прав словесности обличительной, всегда сопровождающей общественное несовершенство, а иногда являющейся целительницею общественных язв. Есть бесконечная красота в невозмутимой правде и гармонии души; но есть истинная, высокая красота и в покаянии, восстановляющем правду и стремящем человека или общество к нравственному совершенству.

Позвольте мне прибавить, что я не могу разделять мнения, как мне кажется, одностороннего, германской эстетики. Конечно, художество вполне свободно: в самом себе оно находит оправдание и цель. Но свобода художества, отвлеченно понятого, нисколько не относится к внутренней жизни самого художника. Художник не теория, не область мысли и мысленной деятельности: он человек, всегда человек своего времени, обыкновенно лучший его представитель, весь проникнутый его духом и его определившимися или зарождающимися стремлениями. По самой впечатлительности своей организации, без которой он не мог бы быть художником, он принимает в себя, и более других людей, все болезненные, так же как и радостные, ощущения общества, в котором он родился. Посвящая себя всегда истинному и прекрасному, он невольно словом, складом мысли и воображения отражает современное в его смеси правды, радующей душу чистую, и лжи, возмущающей ее гармоническое спокойствие. Так сливаются две области, два отдела литературы, об которых мы говорили; так писатель, служитель чистого художества, делается иногда обличителем, даже без сознания, без собственной воли и иногда против воли. Вас самих, граф, позволю я привести в пример. Вы идете верно и неуклонно по сознанному и определенному пути: но неужели вы вполне чужды тому направлению, которое назвали обличительною словесностию? Неужели хоть бы в картине чахоточного ямщика, умирающего на печке в толпе товарищей, по-видимому равнодушных к его страданиям[5], вы не обличили какой-нибудь общественной болезни, какого-нибудь порока? Описывая эту смерть, неужели вы не страдали от этой мозолистой бесчувственности добрых, но непробужденных душ человеческих? Да,— и вы были, и вы будете невольно обличителем.

Идите с богом по тому прекрасному пути, который вы избрали! Идите с тем же успехом, которым вы увенчались до сих пор, или еще с большим, ибо ваш дар не есть дар преходящий и скоро исчерпываемый; но верьте, что в словесности вечное и художественное постоянно принимает в себя временное и преходящее, превращая и облагораживая его, и что все разнообразные отрасли человеческого слова беспрестанно сливаются в одно гармоническое целое.

III

Речь
по случаю возобновления
публичных заседаний Общества,
читанная председателем
в публичном заседании 26 марта 1859 года

М<илостивые> г<осудари>! Много прошло времени с тех пор, как Общество любителей российской словесности в последний раз приглашало слушателей к открытому заседанию; но деятельность Общества и внимание жителей Москвы к его действиям ослабли гораздо прежде. Было время, когда наше Общество вносило живые и плодотворные стихии в московскую жизнь,— и Москва следила за ним с теплым участием и вниманием. Тому уже более 30 лет: десять лет возраставшего ослабления в деятельности и с лишком 20 лет как будто бы полного усыпления.

Тридцать лет! Немалый срок времени в жизни человеческой! Целое поколение в историческом летосчислении. В продолжение этих 30 лет развилась во всей своей художественной красоте деятельность Пушкина и тех блистательно даровитых людей, которых таланты могли доставить им самостоятельную славу, но подчинялись превосходству предводительствовавшего их гения. В это время началось и кончилось поприще великого деятеля в мире искусства, сочетавшего в себе славу Малороссии, своей родины, с славою Великоруссии, которой слово он выбрал, как орудие своего поэтического духа. В это время промелькнула слишком рано угасшая звезда Лермонтова. Не говорю о других, более или менее даровитых писателях, которые в продолжение того же времени трудились не без достоинства на поприще словесности. Чему же приписать более чем тридцатилетнее бездействие или полное молчание Общества? Я знаю, что можно бы их объяснить из внешних причин[6]. Такого рода объяснение было бы несколько лестно и весьма легко. Его кажущаяся справедливость могла бы даже придать ему вид объяснения вполне удовлетворительного; но признаюсь, м<илостивые> г<осудари>, что объяснение какого бы то ни было явления в жизни общественной или даже частной из чисто внешних причин всегда кажется мне сомнительным и едва ли когда-нибудь исчерпывает истинные причины явления.

Я думаю, что причин должно искать в самой нашей умственной жизни и ее истории. Те внешние обстоятельства,

которые, по-видимому, мешали жизни нашего Общества, не уничтожили же частной деятельности тех блистательных и гениальных художников, которых я уже назвал; они не помешали нашей словесности в последние 30 лет стать во многих отношениях выше 30-летия предшествовавшего. Почему же могли они мешать деятельности Общества? Повторяю, я думаю, что это явление происходило от причин не внешних, но внутренних.

Странна судьба нашей словесной жизни в новом периоде России. Когда, по-видимому, вся жизнь разделилась на две части, когда вся умственная деятельность замкнулася в одних высших сословиях, а низшее было отодвинуто в мрак невежества и почти бесправного угнетения, из этого же низшего сословия вышел человек, который создал новую словесность. Но гений крестьянина Ломоносова, пробужденный в своей деревне умственною деятельностью эпохи допетровской, развился уже под влиянием дела Петрова и не внес в словесность ни одной из стихий, среди которых выросла его молодость, кроме той личной силы, которую он из них же почерпал. Ломоносов вышел из низшего сословия, но, к несчастию, обогатил только высшее. Жизненный разрыв был им украшен и скорее, может быть, упрочен, чем примирен. Жизненные интересы оставались чужды Ломоносову. Сын низшего сословия, он не внес в свою поэзию ни одной из его нужд, ни одного из его страданий, ни одной из его радостей, ни одного из его поверий. Украшение высшего сословия, в которое вступил по праву своего гения, он как литератор остался чужд всем вопросам, глубоко волновавшим это сословие и его самого. Так, например, мы знаем, что царствование Елисаветы было ознаменовано ожесточенною борьбою против немецкого влияния. В этой борьбе участвовали и общество, и духовная кафедра, и сам Ломоносов; и обо всем этом нет ни помину в литературных его произведениях. Характер отвлеченности и чуждого нам академизма запечатлел самые начала новой литературы; но так оставаться не могло, иначе погибла бы сама словесность.

Действительно, наступила другая эпоха. Жизнь общественная взяла свои права. Лучший и высший представитель поэзии в екатерининское время, Державин, есть в то же время общественный деятель в полном смысле слова. Правда, он не может без восторга называть Фелицу; но Фелица была предметом восторга и любви во всех краях России. Он сопровождает победы нашего войска и наши завоевания торжественными одами; но эти победы и завоевания были истин-

ною радостию для всех русских. Измаильский штурм, очаковская зима, пожар Чесмы казались происшествиями не только политической жизни народа, но и частной жизни каждого русского: Румянцевы и Суворовы делались именами нарицательными. И всем нашим славам был отзыв в полудиких, но могучих стихах Державина (я называю их полудикими, потому что он гораздо менее служит художеству, чем Ломоносов). Но Державин не льстец: его резкое, смелое слово бьет и клеймит общественный порок, бьет и клеймит временщиков, и более всех полудержавного временщика, которого с великодушием и правдивостию поэта он потом простил и увенчал, назвав его «великолепный князь Тавриды». Фонвизин в своих комедиях борется с общественными слабостями и пороками; слово гражданина постоянно слышно у Болтина. Наконец, вся литература, от Державина до Княжнина и Николева, несмотря на свои формы, или вовсе необработанные, или нелепо академические, носит на себе характер деятельности общественной. В ранней молодости, выросши под влиянием другого направления, я часто слушал с удивлением речи стариков, совершенно чуждых литературным интересам, о словесности прежних годов. Я удивлялся их почтению к именам, по-видимому вовсе не достойным славы. Загадка разгадалась для меня позднее, когда я понял, что они жили во времена словесности действительно серьезной, действительно русской,— во сколько тесное общество высшего сословия может считаться представителем всей русской жизни. Эту сторону екатерининской словесности мало оценили. Самодовольная, самонадеянная критика 30-х и 40-х годов, вооружаясь против художественной отвлеченности нашей словесности, обвинила всю ее целиком в академизме и не заметила преобладающей стороны екатерининской эпохи. «Слона-то она и не заметила!» Впрочем, другого ждать нельзя было от этой односторонней и близорукой критики, которая, однако же, в свое время была небесполезна. Петербургская литература еще и теперь не пережила этой жалкой критической эпохи; но она, к счастию, никогда не была вполне господствующею в Москве.

Наступила опять новая эпоха. Словесность потеряла свой общественный характер. Чем объяснить это? Тем ли, что Екатерина кончилась, так сказать, прежде своей смерти и что после наступило время крайне неблагоприятное? Такое объяснение было бы очень неудовлетворительно. Наше столетие началось под самыми счастливыми условиями. Мысль вызывалась к деятельности, слово освобождалось: Делольм печатался по повелению самого государя; а мысль и слово уходили

от общественной жизни, как бы чуждаясь всякого в ней участия. Правда, прежние деятели устарели; почему же не являлось новых, когда не было недостатка ни в таланте, ни в некоторой теплоте душевной? Причина такому явлению лежала в самом движении нашей образованности. По мере, как просвещение стало подаваться вперед, по мере, как мы более и более сближались с Европою, просвещающееся общество все далее отходило от начал русского быта и от самой ее исторической жизни, которую оно осуждало своим равнодушием к ней. Вследствие постоянного и скорбного сравнения с Европою литератор или уходил в самого себя и в свои скудные мечтания, воспевая то свое собственное чувствительное сердце, то луну, то Эрота и Муз, или обращался к родине с резким и прямым отрицанием. Сама история России в это время получает характер новый. При Екатерине Россия существовала только для России, при Александре она делается какою-то служебною силою для Европы. Здоровое общественное движение стало невозможным. Литература, несмотря на форму, которая совершенствовалась со дня на день, несмотря на некоторые блестящие таланты, была несравненно мельче в своем общественном настроении, чем в екатерининское время.

Между тем какой-то жизненный жар проходил по всей России. Борьба наша с величайшим завоевателем новейшего времени и с силами народа, напряженными недавним переворотом, во многих отношениях напрягала и наши силы; но направления плодотворного они найти не могли. Никогда не было в нас такого внутреннего уничижения, никогда такой страстной подражательности. Без преувеличения можно сказать,— и мои детские воспоминания подтверждают для меня показания людей, бывших тогда немолодыми,— что находились в России, не в одном Петербурге, не в одной Москве, но даже в отдаленных ее провинциях, из мужчин и женщин фанатики наполеоновской славы, которые, по горячей преданности, достойны были стать в ряды ворчунов старой гвардии. Эти фанатики Наполеона заменились позднее фанатиками Франции и Запада во всех их разнообразных переменах. Своя жизнь, русская, была для них пошлостью. Могла ли при этом словесность иметь общественное значение?

За всем тем, как я сказал, было в России какое-то брожение внутренних сил, был какой-то жар, не получивший еще направления, было какое-то стремление к совокупному действию. Повсюду составлялись кружки, более или менее явные, признанные или полупризнанные, для разных целей;

и все это двигалось в свете или полумраке не вовсе без жизни, хотя и не с полною жизнью. Словесность, которой интересы сильно затрагивали общество, несмотря на крайнюю мелочность ее проявлений, составила также несколько кружков, из которых, без сомнения, самый замечательный был известный Арзамас. А в 1811 году любовь Москвы к литературе создала и наше Общество, под именем Общества любителей российской словесности.

Через год загремела такая гроза, какая не разражалась в новейшее время ни над одним из новых государств. 500 000 войска вступили в Россию; но я об этом говорить не стану: кто этого не знает?

Не вся ль Европа тут была?
И чья звезда ее вела?[7]

Москва сгорела, и через полтора года русские вступили в Париж. Подвиг был подвигом всей земли русской; и слава его, разумеется, отразилась на всех ее сословиях и по преимуществу на высшем. Естественная гордость пробудилась во всех. На время первенство перешло от Франции побежденной к России-победительнице. Такие происшествия и такая слава отечества не остаются без действия на мысль и дух даже тех людей, которые, во многих отношениях, отчасти уже чужды отечеству. Умственная деятельность усилилась; показались даже проблески, но слишком короткие, сочувствия с делом общественным, как видно из издания, проявившегося под именем «Духа журналов»[8]. К этому времени принадлежит лучшая деятельность нашего Общества, оживленного по преимуществу горячим участием первого его председателя, Прокоповича-Антонского.

Но это временное оживление было обманчиво. В глубине души и мысли просвещенного сословия таилась та болезнь, о которой я уже говорил, болезнь сомнения в самой России. Время инстинктивного, полудетского самодовольства, едва озаряемого началами образованности, которое характеризовало эпоху екатерининскую, миновало. Россию беспрестанно и невольно сравнивали с остальною Европою, и с каждым днем глубже и горше становилось убеждение в превосходстве других народов. Действительно, что создали мы в науке, что в художестве? Где наши заслуги пред человечеством? Где даже наша история? Правда, что в то же время уже являлось бессмертное творение Карамзина и русские начинали знакомиться с минувшими судьбами отечества; но сама эта История носит на себе все признаки отчуждения от истин-

ной жизни русского народа: бесплодное желание рядить наше прошедшее в краски и наряды, занятые от народов других, высказывается на каждой странице ее. Как художник, Карамзин чувствовал величие России; как мыслитель, он никогда не мог его определить для самого себя; а мысль, однажды пробужденная, требует ответа прямого и не довольствуется обманами искусства, не вполне верующего в самого себя. Временное оживление стало ослабевать, совокупная деятельность становилась со дня на день более невозможною и наконец прекратилась вовсе. Силы, характеризовавшие уже начало столетия, развивались все более и более. Все одиночнее становился писатель-художник, все отрицательнее к обществу становился писатель-мыслитель.

Наша духовная болезнь истекала из разрыва между просвещенным обществом и землею. Выражалась она глубоким сомнением этого общества в самом себе и в земле, от которой оно оторвалось. Это сомнение было законно и разумно; ибо, оторвавшись от народа, общество не имело уже непосредственного чувства его исторического значения, а в сознании оно не подвинулось настолько, чтобы понять его умом. Как всегда бывает, душевная болезнь выражалась всего более в людях передовых. Конечно, художники, движимые особенными, им только принадлежащими силами и одаренные особенным внутренним видением, не теряли вполне веры в свое отечество и не отказывались от искусства. Гений продолжал творить свое гениальное. Но мучительна была эта жизнь; но глубоко было в самих художниках чувство, что они трудились над формою и лишены были истинного содержания. Таковы были признания Баратынского; таково убеждение Пушкина, по преимуществу выраженное в его последней, наиболее зрелой, эпохе. Художник, во сколько он был мыслитель, становился постоянно поневоле, так же как и вся мысль общества, в чисто отрицательное отношение к русской жизни. Высший всех своих предшественников по фантазии, по глубине чувства и по творческой силе, Гоголь разделил ту же участь. В первых своих творениях, живой, искренний, коренной малоросс, он шел не колеблясь, полный тех стихий народных, от которых, к счастию своему, Малороссия никогда не отрывалась. Глубокая и простодушная любовь дышит в каждом его слове, в каждом его образе. Правда, в наше время нашлись из его земляков такие, которые попрекнули ему в недостатке любви к родине и понимания ее[9]. Их тупая критика и актерство неискренней любви не поняли, какая глубина чувства, какое полное поглощение в быт своего народа

нужны, чтобы создать и Старосветского помещика, и великолепную Солоху, и Хому Брута с ведьмою-сотничихою, и все картины, в которых так и дышит малороссийская природа, и ту чудную эпопею, в которой сын Тараса Бульбы, умирающий в пытках за родину и веру, находит голос только для одного крика: «Слышишь ли, батьку?»,— а отец, окруженный со всех сторон враждебным народом и враждебным городом, не может удержать громкого ответа: «Слышу!» Впрочем, я не стану говорить ни об этой тупой критике, ни об актерстве народности, не понимающем малороссиянина Гоголя. В иных отношениях был Гоголь к нам, великорусам: тут его любовь была уже отвлеченнее; она была более требовательна, но менее ясновидяща. Она выразилась характером отрицания, комизма, и, когда неудовлетворенный художник стал искать почвы положительной, уходящей от его приисков, томительная борьба с самим собою, с чувством какой-то неправды, которой он победить не мог, остановила его шаги и, может быть, истощила его жизненные силы. Жизнь его всем известна. Об отношениях же его к родной области и к России я позволю себе сказать следующее мое убеждение. Гоголь любил Малороссию искреннее, полнее, непосредственнее; всю Русь любил он больше, много требовательнее, святее. Над его жизнью и над его смертью, так же как в другом отношении над жизнью и смертью любимого им Иванова, задумается еще не одно поколение.

Я сказал, что любовь Гоголя выражалась к нам отрицательно; разумеется, еще отрицательнее было направление Лермонтова, которого, впрочем, после Пушкина и Гоголя едва ли бы я должен называть.

Думаю, м<илостивые> г<осудари>, что я довольно ясно высказал вам причины, почему никакое общество, никакая совокупность словесной деятельности не могли существовать в большей части той эпохи, об которой я говорю. Всякая совокупность требует начал положительных, ибо отрицание есть начало разъединяющее и уединяющее. Нечего и упоминать об конце этой эпохи, в котором те же причины продолжали действовать и, усиленные внешними обстоятельствами, довели нашу словесность до такой степени, что общий ее обзор мог бы заключиться в трех коротеньких, всем известных словах: «Я слышу молчание»[10].

Я сказал о главной струе и главном направлении мысли в нашем просвещенном обществе; но самое зло вызвало противодействие. Нашлись люди, которые усомнились в правоте общего сомнения. Они решились вглядеться в вопрос

прямо и смело, не скрывая от себя ни его видимой правоты, ни его серьезности. В коротких и, может быть, несколько резких словах выражу я тот смысл, который они поняли в общественном мнении о русской земле. Земля большая, редко заселенная, прожившая или пространадавшая бессмысленную историю, ничего не создавшая, не носящая никаких особенных зачатков и семян для человечества,— вот Россия. По правде сказать, на что такая земля нужна богу или людям? Это — или явление, принадлежащее натуральной истории и фавне[11] северного полушария, или много-много человеческий материал, может быть пригодный на то, чтобы оживиться чужой мыслию и сделаться проводником этой чужой мысли к другим, еще более удаленным и еще скуднее одаренным племенам[12]. Вот, м<илостивые> г<осудари>, как мне кажется, довольно точное выражение того скепсиса, того внутреннего сомнения, которое составляло действительную болезнь и действительную историю нашего умственного просвещения в первой половине нашего столетия. Я сказал, что наконец родилось сомнение в правоте этого сомнения. Не может, подумали иные, такая материальная сила развиться в человечестве без самостоятельной силы духовной. Нет, русский народ не просто материал, а духовная сущность. Не может духовная сущность самостоятельная не содержать в себе зачатков, отличающих ее от всех других и назначенных, чтобы пополнить или обогатить все другие.

Вот как вкратце можно, кажется, выразить убеждение, вступившее открыто в борьбу с прежним сомнением.

Борьба этих двух умственных настроений, оправдываемых логическим развитием мысли и, без сомнения, получивших начало от того разрыва в народном составе, об котором я говорил, эта борьба осталась небесплодною; и в то время, когда, по-видимому, беднело художество и замолкала словесность, наше сознание двигалось вперед довольно быстрыми шагами. Конечно, борьба еще не кончена; но я думаю, что болезнь, угнетавшая внутреннюю деятельность русского ума, несколько утратила свою силу. Если она долго останавливала наши шаги вперед, если она похитила много дорогих жертв, то мы не должны забывать, в каких глубоких тайниках души она скрывалась и как губительно подтачивала она самые начала бодрости и надежды жизни духовной. История, думаю я, со временем признáет, что много человеческих племен исчезло с лица земли единственно оттого, что невольно и инстинктивно задали они себе вопрос: нужны ли они богу или людям,— и не нашли себе

удовлетворительного ответа. Впрочем, к счастию, у нас весь вопрос происходил только в недрах высшего сословия, а народ оставался незатронутым в спокойствии своей исторической силы.

Общество наше открылось снова и, надеюсь, под условиями более благоприятными, чем прежде. Сначала, как я сказал, сословие, изменившееся вследствие Петровской эпохи, не чувствуя внутреннего разрыва общественного, жило и двигалось с какою-то гордою радостию, в чувстве новой государственной силы и нового просвещения. Потом,— при невольном сравнении с действительно образованными странами,— оно почувствовало свою слабость и усомнилось, не в себе (что было бы разумно), но в русской земле, что было справедливым наказанием за разрыв с нею. Тогда развилась та душевная болезнь, которая сделала нас неспособными ни к какой совокупной деятельности. Позже наступило время лучшего сознания, и, не исцелив прежнего общественного разрыва, не сросшися с родною землею, мы по крайней мере начали приобретать ее умом. Знаю, что это еще весьма мало, что мы должны ее приобрести жизнию для того, чтобы была возможна творческая деятельность в области искусства и общественного быта. Это дело всех и каждого. Но шаг, уже совершенный, имеет свою важность, и я полагаю, что мы стали не совсем неспособными к совокупному действию.

Будет ли наша деятельность плодотворна, будет ли от нее какой успех, про то скажет будущее. Во всяком случае, успех зависит от двух условий. Надобно, во-первых, чтобы все просвещенное общество принимало участие в нашем деле; а во-вторых, чтобы мы были достойны этого участия. Участие просвещенного общества заметно будет тогда, когда это сословие действительно признáет, что самое литературное слово не есть дело только отдельного лица, не есть достояние какого бы то ни было более или менее тесного кружка, но что оно достояние всей русской земли, всего русского народа; когда это сословие будет искренно дорожить всяким успехом русского слова, когда оно будет радоваться его свободному выражению и скорбеть о каждой его невзгоде, считая ее оскорблением своего собственного достоинства и своих собственных прав. Таково должно быть участие всех образованных людей. А мы, с своей стороны, будем достойны этого участия тогда, когда мы не будем употреблять этого литературного слова для целей личных и своекорыстных, не будем смотреть на него, как на орудие для страстей злых, низких или нечистых, и не будем унижать его лестью (я не говорю уже о грубей-

ших и, так сказать, пережитых формах лести), лестью самой литературе, так мало выражающей сущность русского духа, или лестью всему обществу, в котором так мало еще согласия с сущностью русской жизни.

Я назвал литературное слово достоянием русского народа. Разумеется, я знаю, что народ никому не передает всецело своего достояния; но мы должны, м<илостивые> г<осудари>, почтительно хозяйничать тою частью сокровища, которая досталась на нашу долю. Короче сказать, сохраняя уже утвержденное название «любителей российской словесности», мы постоянно должны помнить, что мы «служители русского слова».

IV

Речь о причинах учреждения Общества любителей словесности в Москве, читанная в публичном заседании 26 апреля 1859 года

М<илостивые> г<осудари>! Деятельность каждого человека или общества, кажется мне, всегда бывает тем живее и плодотворнее, чем менее самая область этой деятельности зависит от случайности и чем более, напротив, она связана с разумными законами исторического развития. В первый раз, когда я имел честь председательствовать в нашем публичном заседании, я старался показать, что не случайность, а самый ход нашего просвещения в прошедшее пятидесятилетие управлял судьбою Общества нашего; позвольте теперь заметить, что самое место, в котором составилось и ныне возобновилось оно, также указано было не случаем, а историческим законом. Как коренной москвич, я могу, конечно, легко увлекаться естественным пристрастием, но постараюсь стать на высоту бесстрастного исторического понимания.

Недаром признавал уже Ломоносов, уроженец и житель не московский, что писанное и говоренное слово общественное в России есть слово не только русское, но собственно московское[13]. То же самое говорил Карамзин[14]. То же самое еще недавно обратило на себя внимание одного из наших сочленов, Николая Васильевича Берга, во время его странствования по России, во время его пребывания в армии, во время кровавых дней Севастопольской борьбы[15]. Где бы мы ни были, от границ старого Галича и Финляндии до островов Северо-Западной Америки, везде, где раздается слово

русское как слово общественной мысли, общественного просвещения, мы находимся в области речи собственно московской. Быть может, на западе и юго-западе ей еще суждено перейти теперешние пределы и сделаться живою, мысленною связью для всех наших разрозненных братьев, славян. Но какое бы ни было ее будущее и как бы мы об нем ни гадали, во всяком случае можно признать, что и теперешний удел ее уже довольно славен и велик. Не случайность назначила этот удел Москве и ее наречию.

История России, м<илостивые> г<осудари>, представляет три довольно резко отделенные периода. Первый есть период Киевской Руси. Тогда уже великая наша земля представляла сильные начала единства: единство веры и церковного управления и единство правящего рода. Род признавал главою своею старшего из своих членов, сидящего «во стольном городе, во Киеве»; ему подчинялись младшие, и в этом подчинении заключалось политическое единство. Русская земля была тогда союзным государством (ein Bundesstaat). Это время уделов. Но внутреннее единство земли еще не существовало, не проникало всего ее организма. Слабо было подчинение младших родичей старшему. Рыхла и почти несознана была связь между областями. Новогородец не отстаивал Киева от половцев. Киевлянин не проливал крови за Новгород в битвах против финна и шведа (разумеется, я говорю о земстве, а не о кочевой княжеской дружине). Нужда в общей русской речи еще не могла быть сознаваема. Неполнота единства постоянно грозилась перейти и наконец перешла в разъединение. Наша Русь из союзного государства обратилась в государственный союз (из Bundesstaat в Staatenbund). Удел сделался выделом, и удельная система продолжала существовать только внутри этих новых государств-выделов. Разумеется, тут не могло и быть стремления к общей речи. Наконец, законы внутреннего развития и уроки, данные игом внешним, приготовили начало нового полного единства. Выступила на историческое поприще Москва. Под свой стяг стянула она мало-помалу всю Великую Русь: в ней узнали свою силу наши предки, русские прежних веков. До Москвы Русь могла быть порабощена, русский народ мог быть потоптан иноземцем. В Москве узнали мы волю божию, что этой русской земли никому не сокрушить, этого русского народа никому не сломать. Слово московское сделалось общим русским словом.

Я говорю, м<илостивые> г<осудари>, что такое единство не было случайностью, не было чем-то наложенным изв-

не; я говорю, что недаром ряд земских соборов обозначил эпоху московского единодержавия. Какая бы ни была форма и как ни было часто или редко повторение соборов (ибо к формам и случайностям я равнодушен), я утверждаю, что Москва была признана, в широком смысле слова, городом земского собора, т. е. городом земского сосредоточения. Таково свидетельство истории. Когда пресекся род Грозного, как бы в наказание за его кровавые казни; когда промысл позволил России впасть в бездну почти беспримерных бедствий, как бы за то, что она могла произвести такого владыку, первым сознанием России было, что ей нужен царь. Но Москва взята... Зачем изменяется временно сознание народное; зачем земля, которая так глубоко чувствовала потребность в едином царе, не приступает к выбору? Зачем ополчения городов низовых и всех других, поднявшихся за свободу великой родины, зачем, говорю я, забывают они свою задачу? Зачем не созываются земцы в какую-нибудь свободную еще область? Ответ простой — Москва в руках врага: нет города для великого собора, и выбор царя еще невозможен. К Москве, к ее освобождению, как к необходимому условию будущего единства, обращаются все силы русской земли; и только на ее освобожденном пепелище выбирают царя, для которого уже приготовлен город собора, город мысленного сосредоточения земли. Вот почему московское слово стало общерусским словом и почему Москва сделалась его всеми признанным центром.

Так в течение XVII века царили цари и державствовала Москва, одинаково избранные и признанные волею всей земли русской. С началом XVIII века наступила новая эпоха. Государственная власть переместилась в другую область, область новую, завоеванную мечом той же Москвы. Старина обратилась в воспоминание, прошлое прошло. Оно, кажется мне, м<илостивые> г<осудари>, не прошло, но только видоизменилось. Постараюсь быть беспристрастным в отношении к современному так же, как я был беспристрастным в отношении к прошедшему.

Взгляните на все страны Европы: каждая имеет столицу — одну. Наша русская земля имеет две столицы, признанные государством и жизнию народною. Как ни странен этот факт, но он существует, и следует понять его смысл. Одна столица есть, несомненно, столица государства; что же другая? Скажем ли об ней, что «это только тень великого имени» (stat magni nominis umbra)[16]? Нет.

Наши мыслительные соседи, немцы, уже заметили и внес-

ли в науку, как несомненное, деление права на право личное, право общественное и право государственное. Это деление недавно еще более уяснил в его теории и в приложении к праву русскому ученый профессор Московского университета, г. Лешков, заслуживший своим прекрасным трудом одинаковую благодарность юристов и историков[17]. Деление права соответствует, без сомнения, делению самих жизненных отправлений, трем областям деятельности: частной, общественной и государственной. Между первою и последнею, т. е. между частною и государственною, лежала бы бездна, если бы эта бездна не была наполнена общественною деятельностью. В целом мире сферы деятельности частной одинаковы и одинаково бесцветны: для нее совершенно все равно, какое государство ее охраняет и обеспечивает, только бы охраняло и обеспечивало. Не такова деятельность общественная. Выходя из жизни частной, она выражает все оттенки, все особенности земли и народа и обусловливает государство, делая его таким, а не иным; она дает ему право, она налагает на него обязанность быть самостоятельным, выделиться из других государств. С ее уничтожением, если бы такое уничтожение было возможно, государство теряет всю свою силу; оно падает и не может не падать, потому что уже не имеет причины быть, потому что, как я сказал, собственно личная деятельность всегда равнодушна к охраняющему ее государству, лишь бы охраняло ее. Она должна пасть по справедливости, потому что человек, лишенный одного из законных своих наследий,— жизни общественной,— будет естественно примыкать к какому-нибудь другому государству, в котором он свое наследие находит вполне: ибо в своей частной деятельности человек есть лицо только опекаемое или оберегаемое, в жизни же общественной — он зиждитель и в известной мере деятель и творец исторических судеб. Свято и высоко значение деятельности государственной. Государство, внешнее выражение живого народного творчества, охраняет его от всякого внешнего насилия, от всякого внутреннего временного потрясения, могущего нарушить его законный и правильный ход. Без него область деятельности общественной была бы невозможна; ибо она была бы беззащитною перед напором других народов, вооруженных государственными силами, и невозможною внутри самой себя, потому что, по несовершенству человеческому, она бы постоянно нарушалась всякими личными злыми страстями, требующими принудительной силы для своего укрощения, между тем как сама область общественной деятельности, по своему коренному характеру, есть только область мысли, мира и до-

бровольного согласия. Итак, говорю я, свято и высоко призвание государства, хранящего жизнь общественную и обусловливающего ее возможность. Как живой органический покров охватывает оно ее, укрепляя и защищая от всякой внешней невзгоды, растет с нею, видоизменяясь, расширяясь и прилаживаясь к ее росту и к ее внутренним видоизменениям. Чем более в нем мудрости и знания своих собственных выгод и своего собственного значения, с тем большею чуткостью слышит оно, с тем большею ясностию видит оно все разнообразие жизни общественной, с тем большею гибкостью прилаживается оно к ее формам и к ее историческому росту, охватывая ее как бы живою бронею и постоянно укрепляясь ее живыми силами. Таково отношение государства к жизни общественной,— государства в его нормальном и здоровом развитии. История учит нас, что в болезненных явлениях, предшествующих падению народов, эта деятельность извращается и ищет какого-то развития отдельного, враждебного народной жизни и, следовательно, невозможного. Живой покров обращается в какую-то сухую скорлупу, толстеет и, по-видимому, крепнет от оскудения и засыхания внутреннего живого ядра; но в то же время он действительно засыхает, дряхлеет и наконец рассыпается при малейшем ударе. Это какой-то исторический свищ, наполненный прахом сгнившего народа. В других органических формах мы замечаем, что область частной деятельности, рассыпанная в равной мере по всему пространству государства, не требует и не может иметь центра. Область деятельности государственной необходимо требует крепкого сосредоточения, и оно имеет его на Руси. Почтительно скажем мы об нем: «Ему же честь, честь». Наконец, духовная деятельность общества, развиваясь, созидает себе местные центры и потом, для полного своего собора, для полной мысленной беседы, совокупляется в одно живое сосредоточение. Мне кажется, такова Москва, таково ее живое и официально признанное значение. Вот почему сохраняет она свое имя столицы.

Да, м<илостивые> г<осудари>, чем внимательнее всмотримся мы в умственное движение русское и в отношения к нему Москвы, тем более убедимся мы, что именно в ней постоянно совершается серьезный размен мысли, что в ней созидаются, так сказать, формы общественных направлений. Конечно, и великий художник, и великий мыслитель могут возникнуть и воспитаться в каком угодно углу русской земли; но составиться, созреть, сделаться всеобщим достоянием мысль общественная может только здесь. Русский, чтобы сду-

маться, столковаться с русскими, обращается к Москве. В ней, можно сказать, постоянно нынче вырабатывается завтрашняя мысль русского общества. В этом убедится всякий, кто только проследит ход нашего просвещения. Все убеждения, более или менее охватывавшие жизнь нашу или проникавшие ее, возникали в Москве. Этим объясняются многие явления, которые иначе объясниться не могут: например, то, что иногда человек, не оставивший после себя никакого великого труда, никакого памятника своей деятельности, пользовался славою во всем пространстве нашего отечества и действовал, прямо или косвенно, на строй умов и на убеждения людей, никогда с ним не встречавшихся в жизни,— или то, что люди, которые сами не трудились на путях словесности, но по своему положению могли здесь содействовать или вредить ее успехам, получали всеобщую известность, тогда как другие, действовавшие на том же поприще, но в иных областях, оставались не известными никому, кроме тех, с которыми они находились в прямых сношениях,— или то, наконец, что иногда человек, ни по занятиям, ни по положению не участвовавший в движении словесности, получал некоторую славу в краях, даже отдаленных от Москвы, только потому, что около него здесь собиралась живая и серьезная беседа. Вам все эти примеры известны. Мысль возникает или вырабатывается в Москве и переносится уже в другие русские области; там, если эта мысль одностороння, она уже, так сказать, донашивается и иногда изнашивается в тряпье и лохмотья, когда она уже давно брошена и забыта у нас. Для убеждения в этом стоит только вспомнить весь ход журналистики русской и все направления, преобладавшие в ней поочередно, и даже имена ее замечательнейших двигателей от самого начала нынешнего столетия. В этой постоянной совещательности, которая составляет характеристику московской умственной жизни, находится и причина постоянной борьбы мнений в московской словесности и необходимого, хотя, может быть, грустного ожесточения, которым эта борьба часто сопровождается; ибо, к несчастью, добро никогда не является без сопровождения зла, истекающего из одного с ним источника. Я сказал, что вся история нашей журналистики и нашей словесности свидетельствует истину моих слов; а в доказательство позвольте вам напомнить, что еще недавно, когда началось великое и благотворное движение умов по важнейшему из общественных вопросов, одна Москва для него создала новые журналы и живым разменом мысли подвинула его вперед к будущему законному разрешению[18]. Теперь же, когда дру-

гое, бесконечно важное нравственное движение возникает в общественной жизни народа (я разумею то, что иные ошибочно называют обществом трезвости, а что скорее можно назвать *согласием общего отрезвления*)[19], к Москве же обращаются вопросы о том, какая именно тайна заключается в этом движении и какие проявляются в нем силы и побуждения. Вам, м<илостивые> г<осудари>, это известно, уже потому что такой запрос я имел честь представить вам, запрос, присланный издали писателем, не принадлежащим Москве и не связанным никакими особенными связями ни с нею, ни с нашим Обществом. Так было и так будет всегда.

Те же самые законы проявляются и во всех других европейских странах; но везде общественное сосредоточение совпадает с центром государственным, у нас же нет; или иначе: везде одна столица, у нас две. Толковать о том, что, собственно, лучше, едва ли будет разумно. Явления исторические следует принимать таковыми, каковыми они даются историей, уже и потому, что их невозможно переменить; но если я не ошибаюсь, действительно та особенность, которою отличается русская земля от других в этом отношении, едва ли не представляет некоторых преимуществ. Мы знаем (и в этом, конечно, никто спорить не станет), что в развитии органических тел специализация органов есть всегда доказательство высшей степени организации; а приложение этого закона к общественному факту, об котором я говорю, может быть легко оправдано следующими соображениями. Жизнь государственная есть жизнь по преимуществу практическая, постоянно тревожимая и изменяемая волнением или изменением обстоятельств случайных. Характер ее заключает в себе по необходимости преобладание условности, вещественности и принудительности. Жизнь общественная, напротив, есть жизнь мысли, общественного самовоспитания, свободной совещательности. Резкая очерченность всех форм принадлежит государственности. Общественность избегает всех слишком определенных очертаний. Требование настоящего, современного ежедневно составляет все для государства; область же общественной деятельности почти вся заключается в поступательном движении вперед, в развитии, в стремлении к будущему. Когда две такие разнородные стихии встречаются в одной местности, движутся постоянно, так сказать, бок о бок,— та, которая вещественно сильнее, более практична и прямее связана с интересами настоящего, должна вносить тревогу в стихию менее вещественную и менее определенную. Забота и волнение ежедневных требований, побуждений, страстей,

соблазн приложения и практической деятельности возмущает невольно чистоту того мысленного движения, которое должно совершаться в покое и в некотором самоуглублении общественного духа. Постоянное и всегдашнее легко уступает увлечениям временного и случайного. Поэтому деятельность общественная едва ли может сохранять свою чистоту, если она совпадает с центром государственным.

Правда, что зато самая тревога и волнения ежедневности дают жизни какую-то видимую живость и веселость, и в этом отношении Москва не может соперничать ни с одной из столиц Европы. Она, м<илостивые> г<осудари>, город невеселый; но эта внешняя веселость столичной жизни не имеет ничего общего с истинною, светлою, внутреннею веселостию жизни разумной: она, собственно, принадлежит только столицам и никогда не может принадлежать всему народу, всей стране, какой бы то ни было. Москва может обойтись без того, без чего обходится русская земля. Правда и то, что постоянная тревога жизни практической будит мысль и дает ей какую-то особенную бойкость и подвижность; но эти качества редко бывают соединены с серьезною и сильною напряженностию. Зыбь и быстрая перебежка воды происходит на отмелях, а не на глубинах. И у нас, м<илостивые> г<осудари>, нет, без сомнения, в мысли той проворной, суетливой, скачущей деятельности, которая принадлежит многим столицам; но я думаю, что можно сказать об мысли в Москве то самое, что Дант говорит об глазах одного из героических лиц своей поэмы: Gli occhi nel muover onesti e tardi (глаза в движении медлительны и честны)[20]. Мне нравятся и такие глаза, и такое движение мысли. Наконец, вспомним, что всякая местность имеет свой неизбежно тесный эгоизм; Москва в этом отношении, конечно, не отличается ни от какой другой местности. Пусть же этот эгоизм остается безоружным и безвластным в смиренном, хотя бы и невольном, равенстве с эгоизмом всякой другой местности в русской земле. Только при этом смирении может быть устранено всякое соперничество и всякая борьба себялюбивых страстей; только при нем может и будет совершаться в столице общественного мышления вполне дружеская, братская, доверчивая беседа всех областей с нею и друг с другом. Мне кажется, что мы можем быть довольны своим уделом и не должны завидовать никакой столице в мире.

Слово, м<илостивые> г<осудари>, есть совершеннейшее орудие мысли и общения между людей. Если мне удалось сколько-нибудь показать значение Москвы, как столицы этого

общения для всей земли русской, как места ее общественного сосредоточения, как города ее мысленного собора, понятно будет и то, что в ней должно было возникнуть Общество любителей русского слова. Нам остается стараться, чтобы само Общество было достойно и той многозначительной местности, в которой оно явилось, и того великого дела, которому оно посвящает труды свои.

V

Речь председателя, читанная в публичном заседании 2 февраля 1860 года

М<илостивые> г<осудари>, в первый раз в нынешнем году имея честь председательствовать в публичном заседании нашего Общества, считаю небесполезным оглянуться на явления, которыми ознаменовалась в прошлом году деятельность русского слова.

Добром и злом помянется прошлый, 1859 год. Когда я говорю злом, то уверен, что каждый из наших слушателей немедленно уже вспомнил о горестной потере, понесенной нашей словесностию в лице Сергея Тимофеевича Аксакова. Его место в художестве отчасти уже признано; но его значение в истории русского слова, думаю, не всеми еще сознано. Мужественная простота его языка с каждым днем будет более и более оценена и будет более и более действовать на русских писателей. В скором времени надеемся мы видеть переводы из древних, в которых простая русская речь передает и живость, и изящество речи аттической. Я глубоко убежден, что этот шаг, от которого можно ожидать дальнейших и прекрасных плодов, совершится опять под влиянием движения, данного этим нашим незабвенным художником. Были попытки, была даже как будто какая-то школа, старавшаяся изгнать язык книжный и заменить его простотою нашего общественного разговорного языка; но эта простота не имеет ничего общего с тою, о которой я говорю. Общественно-разговорный язык так же чужд истинно русской речи, как и книжный, даже более, и, сверх того, он не имеет ни той твердости, ни той определенности, к которой стремился и которой иногда достигал книжный язык. Временная попытка обратить общественный разговор в письменную русскую речь, к счастью, останется бесплодною так же, как и все попытки так называемого общества наложить свой характер

на то великое целое, которого оно составляет такую малую часть. Глубокое чувство истинной русской речи составляет особенный характер языка в произведениях С. Т. Аксакова, и оно-то, пробудив в нас несколько заглохшее сочувствие к этой речи, сулит нашей словесности лучшее будущее. Смерть, которую я осмелюсь назвать слишком раннею, несмотря на лета покойного С. Т., прекратила его личную деятельность; но я твердо уверен, что эта деятельность отразится на всей нашей словесности и внесет в нее живую и животворную стихию.

К счастию, не злом одним можем мы помянуть прошлый год. Он вывел на поприще нашей словесности новый блестящий талант в повествовательном роде. Никогда, может быть, со времени нашего бессмертного Гоголя, не видали мы такой светлой фантазии, такого глубокого чувства, такой художественной истины в вымысле, как в произведениях, подписанных именем г-жи Кохановской. А ее печатные статьи о Пушкине и о критике одной из ее же повестей доказывают, что в ее художественных произведениях мы видим не простые и, так сказать, дико растущие плоды творчества, но произведения сильного художественного таланта, постоянно направляемого и оберегаемого тонким и строгим анализом[21]. Многого можно ожидать от соединения таких двух замечательных способностей.

Поэт, уже давно известный русским читателям, г. Полонский, обогатил прошлого года нашу словесность новою поэмою, шутливым эпосом, в котором игра и жизнь детского воображения так искусно и непринужденно скрывают под цветами поэзии ироническую, но небесчувственную наблюдательность, что мы можем смело признать это произведение за одно из тех, которых временный успех есть только начало твердой и непреходящей славы. Я не думаю, м<илостивые> г<осудари>, чтобы иностранные литературы могли представить в этом роде много таких произведений, которые можно было бы поставить выше «Кузнечика» г. Полонского.

Не упоминаю о нескольких мелких стихотворениях, явившихся тоже в течение прошлого года, произведениях разных авторов, с разными достоинствами. Они принесли свою долю в сокровищницу нашего русского слова, но упоминать о них в подробности считаю ненужным.

Русская проза обогатилась в прошлом году многими занимательными произведениями. Кроме г-жи Кохановской, явились у нас весьма замечательные произведения писателей уже известных. «Обломов» внес даже в наш разговорный

язык новое выразительное слово *обломовщины* и тем самым доказал свое художественное достоинство. «Дворянское гнездо», глубоко обдуманная повесть, прибавило новый блеск имени, уже всеми нами любимому. К прошлому же году можем мы причислить роман г. Писемского «Тысяча душ», появившийся отдельно в начале прошлого года. Как бы мы ни судили об этом произведении, самое множество критик, которым оно подало повод, и самое разномыслие об нем ставят его в число замечательных явлений. Не называю многих других повестей, не лишенных, впрочем, художественного таланта.— Менее счастлива была словесность драматическая. За весьма немногими исключениями, принадлежащими г. Островскому, можно сказать, что театр более прославился торжествами хореографии, чем произведениями человеческого слова.

В области языкознания прошлый год видел продолжение всем известного труда г. Востокова[22]; в этнографии — превосходные исследования г. Гильфердинга о наших южных братьях[23] и г. Ламанского о славянах в Малой Азии, Африке и Испании[24]; в истории — продолжение труда г. Соловьева[25], «Норманнский период» г. Погодина[26], плод многих и строгих трудов, которых дальнейшего развития ожидает наука. Явились также многие частные и любопытные исследования об отдельных исторических и общественных вопросах. Из этих исследований некоторые сделаются, со временем, настольными книгами для истинных ученых. Отдельное появление истории Хмельницкого и Стеньки Разина г. Костомарова[27] заслуживает также быть упомянутым. Наконец, смело можно сказать, что появление шестого тома Устрялова[28] и вызванные им критики составят эпоху весьма важную в нашем понимании Петровской эпохи.

Богаче самих исторических произведений был в прошлом году отдел отысканных и изданных памятников. Между ними, без сомнения, первое место принадлежит памятнику, изданному нашим сочленом, г. Бессоновым[29]. Писанный во время царя Алексея Михайловича славянином, гостившим и терпевшим невзгоду у нас, он свидетельствует о тех вопросах, которые уже ходили в русском обществе еще до Петра. В нем слышна будущая реформа, хотя вовсе не та, которую осуществила история; в нем обличается ложное мнение тех из наших современников, которые готовы утверждать, что тупой и мертвый застой был характеристикою русской земли в допетровское время. Требование новой жизни и крепкой государственной организации соединяется в нем с глубокою враждою ко всему иноземному, но, к несчастию, также с непо-

ниманием наших истинно русских начал. Чему бы мы ни приписывали последнее обстоятельство,— тому ли, что писавший был сам человек нерусский, тому ли, что уже тогда служилое сословие утратило истинное разумение народной жизни,— факт этот весьма многозначителен. Более же всего этот памятник поучителен тем, что он показывает, как далеко в истории таятся корни того, что мы привыкли называть панславизмом, или, разумнее, славянолюбием, получившим у нас не совсем дружелюбное название славянофильства, от которого, впрочем, не отказываются его сторонники. Как бы то ни было, памятник, изданный г. Бессоновым, так же важен в отношении к умственной жизни России, как «Записки» Ко<то>шихина к жизни административной и государственной.

«Записки» Марковича открыли нам много неизвестного в летописях Малороссии. В отношении же новейшего времени приобрели мы истинное сокровище в «Записках» Державина; к ним должно присоединить «Записки» Энгельгардта, отрывки Щербатова, сведения довольно полные о Дашковой, о Новикове, о Сперанском, о загадочной княжне Таракановой и множество других исторических памятников, более или менее важных, напечатанных в повременных изданиях, а особенно в «Трудах Общества истории и древностей российских». История наша все более и более разоблачается, и даже в отношении к последнему времени можно сказать, что нет тайны, которая не сделалась бы явною. Так и следует быть, ибо истина требует света.

Значительная, может быть слишком значительная, часть нашей словесности поглощается журналистикой. Прошлый год увидел появление многих новых журналов. Из них первое место, бесспорно, принадлежит «Вестнику промышленности», изданию, которое и созидает, и образует для себя целый круг читателей серьезных, деловых, которого значение должно увеличиваться с каждым днем. Журнал «Русское слово»[30], не по объему только, занял, кажется, первое место между журналами петербургскими. Но не всем новым повременным изданиям посчастливилось. Одно из них, может быть более всех подававшее надежд, вышло не с попутным ветром в море: корабль потерпел крушение у самой пристани[31].

Некоторые другие издания остановились также или вследствие воли редакторов, или по обстоятельствам, от них не зависящим. К концу года прекратилось повременное издание, бесспорно, самое серьезное изо всех, поднимавшее немало литературных бурь, верно служившее своему направлению, для

которого, так сказать, оно завоевало право гражданства[32]. Прекращение этого издания вызвало выражение сожаления и сочувствия даже от многих его противников, и эта черта приносит некоторую честь нашей литературе. Жалок тот, кто так мало сознает в себе достоинства, что не может отдать справедливости другому только потому, что он его противник.

Но деятельность повременных изданий у нас не прекратилась: к концу года уже объявлены были, а теперь уже и явились многие новые журналы, о которых еще говорить нечего. Заметим только, и заметим с удовольствием, с радостью, что особенное оживление, по изданиям повременным, видно в высшей изо всех областей человеческого слова, области духовной. Явление это — явление утешительное. Его причины, без сомнения, надобно искать в потребности, которую чувствовали все уже давно; но потребность эта сделалась необходимостью с тех пор, как узнали, что границы России далеко еще не суть границы русского слова и русского книгопечатания.— Собирая в один итог всю словесную деятельность прошлого года, мы, кажется, должны прийти к тому заключению, что хотя он не был ознаменован редкими и великими явлениями словесности, но не был он заклеймен и скудостию; сказать яснее выражением статистики: он принадлежал к среднеурожайным годам, об которых всегда можно вспомнить с удовольствием. Но перечень печатных изданий не обнимает всей словесной деятельности прошлого года. 1859 год был особенно богат явлениями непечатаными и даже неписаными. Почти во всех русских губерниях раздавались речи, вызванные величайшим из всех современных вопросов, вопросом, которого важность не вполне еще оценена, ибо немногие догадываются, что форма его разрешения будет иметь значение всемирное. Те речи, которые им вызваны, не назначались к печати, а люди, произносившие их, не просились в ораторы; но в слове слышен был голос серьезный, голос расчетов и соображений, голос убеждений, а иногда и страсти (ибо, к счастию или несчастию, без страсти человек быть не может). Этим словом пробуждалось сознание, уяснялась мысль, призывался ум к деятельности. Многие, без сомнения, из моих слушателей, помнят те громкие восторги большинства, ту меткую, твердую, горячую или ироническую защиту меньшинства в тех губерниях, где им пришлось быть свидетелями борьбы. Всего этого мы забывать не должны: да будет позволено приветствовать этих отсутствующих, а может быть и присутствующих, собратий наших, стоявших словом за дело собратий, не искавших ни известности, ни славы, но трудившихся на

одном поприще с нами, часто с блистательным искусством[33].

От обзора словесности перехожу к краткой истории нашего Общества. Вам известны, м<илостивые> г<осудари>, наши заседания частные и заседания публичные, и то радушное и теплое сочувствие, которым Москва встретила наши первые шаги. Приступая к изданию наших Трудов, мы полагали, что имеем право печатать их за нашею собственною цензурою. Причины этого убеждения всем известны из печатных наших протоколов, но об этом праве поднят был вопрос, для нас неожиданный. Решение Главного цензурного комитета было не в нашу пользу. Общество обратилось со всеподданнейшею просьбою, подписанною почти всеми наличными в Москве членами, к государю императору; но окончательно г. министр просвещения отношением от 18 января уведомил нас, что государь император признал нашу просьбу не подлежащею удовлетворению. Я представил Обществу в заседании отношение г. министра, содержащее решение нашего дела; оно внесено в наш протокол к исполнению. Итак, дело кончено, и Обществу предстоит только обсудить, найдет ли оно, при новых условиях, полезным и удобным печатание своих трудов.

От перечня явлений литературной жизни я перехожу к самой области, к которой они принадлежат — к гласности. Известно вам, как недавно получила она у нас больший простор. По-видимому, такая перемена должна была встретить общее одобрение, ибо расширение прав всех есть расширение прав каждого; но не так было на деле. Причина тому очень проста. В обществе всякая перемена причиняет всегда какой-то невольный страх. С старым, уже известным, свыклись; новое еще неизведано и пугает, как все неизвестное. Я думаю, что много есть доброго в этом естественном опасении перед всякою новизною, несмотря на то, что оно представляется иногда в виде несколько смешном. Как бы то ни было, я говорю всем известное, утверждая, что расширение гласности встречено было далеко не общим сочувствием. Благоразумная перемена не могла, однако, со временем не приобрести в свою пользу общественного мнения. Так и случилось. Я не думаю, чтобы словесность воспользовалась гласностию вполне с тем достоинством и разумом, которого можно бы от нее желать, и всякий из нас может, вероятно, вспомнить такие явления, которые могли бы обесчестить самую гласность. За всем тем именно в течение прошлого года произошла значительная перемена. Огромное большинство, еще в конце третьего года вопиявшее

против расширяющейся свободы слова, теперь желает и просит ее. Это выразилось больше еще в губерниях, чем в столицах; но и в этом случае, радуясь перемене, мы не должны себя обманывать. Нет сомнения, что некоторые, некогда защитники гласности, теперь выказывают к ней какое-то неблаговоление. Можно бы подумать, что у нас к гласности делаются особенно склонными все те, которые, по выражению Петра I, «не в авантаже обретаются», а что те, которые надеются свою мысль провести без гласности, охотно без нее обходятся. Поневоле приходит желание спросить у всероссийского общества: во что оно верит, и верит ли оно во что-нибудь искренно? За всем тем нельзя не заметить некоторого успеха и, как я уже сказал, именно в прошлом году. Счастлив он был для нас в отношении государственном. На юге побежден неприятель, долго утомлявший наше войско. Сломана преграда, долго останавливавшая развитие благосостояния в лучших русских областях. Кажется мне, что и внутри нас нанесен удар другому, более опасному неприятелю, надломлена преграда, еще больше мешавшая нашему развитию: этот неприятель, эта преграда — наше равнодушие, или, так сказать, наша сонливость в деле общественном. Знаю, что сделано еще немного, знаю, что вовсе не нанесено удара другому, еще более опасному неприятелю — нашему равнодушию в деле собственного воспитания; но есть уже видимый успех в сочувствии к общему делу. Его отрицать нельзя, и этим успехом мы обязаны подвижникам слова.

Поэт сказал:

Благословенны те мгновенья,
Когда, в виду грядущих лет,
Пред фимиамом вдохновения
Священнодействует поэт[34].

Он говорил о поэзии. Я думаю, что некоторое благоговейное почтение нужно и всякому человеку, когда он служит слову и словом. М<илостивые> г<осудари>, тот, кто служит слову, служит величайшему из всечеловеческих дел.

VI

Речь председателя, читанная в публичном заседании 6 марта 1860 года

М<илостивые> г<осудари>, в последнее публичное заседание наше сообщал я вам о перемене, происшедшей в ус-

ловиях нашей деятельности. Вам известно, что в этом деле ни одного шага не было сделано без совета и согласия Общества, и надеюсь, что все те, кому наши протоколы известны по ведомостям, видели, с каким прямодушием и откровенностию ходатайствовали мы о выгодах, которыми мы пользовались столько лет и которые по тому самому привыкли считать своим правом. После неуспеха я просил вас уволить меня от звания председателя; но в частном заседании нашем, февраля 6-го, ваш единодушный и дружный голос утвердил за мною это звание. Он снял с меня всякий кажущийся упрек; он выразил ваше доверие и, смею сказать более, выразил ваше сочувствие...

Снова председательствуя в нашем публичном заседании, я счастлив тем, что могу поздравить наше Общество и гг. членов, не участвовавших в частных заседаниях, с успехами и приобретениями, сделанными нами в последнее время. Наш сочлен, В. И. Даль, захотел соединить с именем нашего Общества честь и, скажу более, славу многолетнего своего предприятия — Русского словаря. Ревностный и просвещенный наш сочлен, А. И. Кошелев, доставил Обществу средства для этого дорогого и трудного издания. Любитель русского слова, известный по своим исследованиям в истории народов славянских, В. А. Елагин отдал в распоряжение нашего Общества богатое собрание русских песен, составленное его покойным братом и нашим сочленом, Петром Васильевичем Киреевским. Не нужно, м<илостивые> г<осудари>, вам напоминать, какая была в покойном Петре Васильевиче любовь к просвещению, а особенно как горяча была любовь его к русскому народу и русскому слову. Плод этой горячей любви, плод многолетних трудов, сокровище собранных им песен, не нуждается в похвалах: оно хотя и не напечатано, но известно в России и даже ученым нашим братьям-славянам, вне ее пределов. Для издания этих песен Общество назначило комиссию, в которой обещался принять деятельное участие передавший их нам Василий Алексеевич Елагин[35].

В нынешнем заседании услышите вы отчет В. И. Даля о той задаче, которую он себе поставил при составлении словаря, о форме, которую он избрал, о самой цели его многотрудного дела. Конечно, никто не может лучше самого автора объяснить его взгляд на труд, им совершенный; но позвольте мне от себя сказать несколько слов, которых он не скажет. Богатство слов и верное их определение составляют, бесспорно, великое достоинство в словаре, но еще важнее

внутренний его характер. Словарь В. И. Даля резко отличается от всех, появившихся прежде его: это будет словарь не языка книжного и письменного, но языка устного; не языка мертвого, а живого; в нем выступит ясно и отчетливо все богатство, вся своеобразность, вся затейливость русского слова. В нем, в порядке букв, увидим не простое собрание слов, но самую ту живую мысль, которую привыкли называть языком народным.

Другой стороне той же живой мысли, стороне грамматической, посвятил себя наш сочлен, К. С. Аксаков, и мы надеемся вскоре увидеть издание его труда[36]. Такие явления, каковы лексикон языка, его грамматика и собрание народных песен, не только составляют приобретения, но могут сделаться памятниками, эпохами истории словесности; им нельзя не порадоваться, и если эти прекрасные начинания получат полное совершение, то мы можем надеяться, что русские люди признают за нашим Обществом некоторые права на уважение и благодарность.

VII

Речь в заседании 30 марта 1860 г.

М<илостивые> г<осудари>!

Нынешнее заседание наше будет особенно посвящено чтениям о внутренних явлениях жизни русского народа. Правда, предмет, выбранный К. С. Аксаковым, имеет характер исторический и поэтому как будто внешний, ибо действительно всякая история народа по большей части движется и живет более во внешних явлениях, чем в явлениях внутреннего духа. Но во-первых, история племени славянского отличается от всех других тем, что она более всех управляется внутренними, мысленными, духовными побуждениями. Так, например, судьба старшего из славянских государств — государства Велико-Моравского, обусловлена была разъединенностью его религиозного состава; так вся геройская история Чехии сосредоточивается около мученика Гуса; так в наше время судьбы наших западных и южных братий-славян еще вполне вращаются около таких же внутренних вопросов. Слово, слово человеческое, высшее проявление человеческого разума, составляет их связь, их скрепу и силу. Филолог для них имеет всю важность общественного деятеля, грамматика и лекси-

кон — это силы политические; но, с другой стороны, разъединенность в вере составляет слабость тех же народов, и апостол слова божия, который собрал бы их в едину молитву, собрал бы их в единый народ. Во-вторых, эпоха, которую выбрал наш почтенный сочлен К. С. Аксаков, отделяется ясно от всех других эпох. По воле промысла государство, внешняя историческая форма в России, разлетается, и остается что-то без организации, без образа, без внешнего скрепления, раскинутое по необъятному пространству, по-видимому, крайне непривычное к самодействию и к самоуправлению — это русский народ, и на это бессильное тело, которое едва ли и телом назвать можно, налетают со всех сторон враги сильные, мужественные, не знающие совести, не дающие пощады. Собраться, сочлениться, отстояться от неприятеля, определить себе настоящее, дать себе возможность будущего,— все эти задачи должно разрешить разом. Мы знаем, что они были разрешены. История рассказала нам всю внешность этого великого и, можно сказать, неслыханного дела. Но история рассказывает нам только внешнее движение и, так сказать, механические явления происшествия. Силы, управлявшие им и сделавшие невозможное возможным, надобно угадать и воссоздать внутренним пониманием, т. е. самым редким из всех даров, необходимых для полной исторической критики. Грустно сказать, что нам нужно воссоздавать умом, что нужно угадывать эти внутренние силы. Казалось бы, что им надобно бы быть живущими и присущими в нас и теперь, как и тогда; казалось, стоило бы нам взглянуть внутрь себя, чтобы понять наших предков и побуждения, управлявшие их думами, и те понятия, которые они хотели осуществить. Но вам самим известно, как далеко ушли мы, так сказать, от самих себя. По редким, рассеянным приметам должны мы отыскивать свое прошлое, как какой-то чуждый нам мир. Многие уже писали об этой эпохе, и многие, вероятно, еще будут обращаться к ней в надежде разгадать ее прежде, чем она будет вполне понята, прежде, чем мы скажем: «Это так было, это иначе быть не могло; так думал, того хотел народ русский». Опыт, предлагаемый К. С. Аксаковым, затрагивает, как вы видите, глубочайшие вопросы нашей внутренней исторической жизни.

Еще глубже, еще духовнее те вопросы, к которым обращает нас почтенный сочлен П. А. Бессонов. Русский раскол! Как мало по-видимому и как много действительно говорится в этом слове. Грубейшее невежество, борода, кафтан, ссора с приходским священником и бумажная война с чиновником, оканчивающаяся золотым миром,— вот и все. Нет, это

не совсем все. Мы так привыкли к своей земле русской, что и не замечаем, как громадны размеры всего того, что в ней делается и творится, в добре или зле. Русский раскол! Возьмите его в его трех главных отделениях, забывая даже на время об его мелких (впрочем, вовсе не мелких) отростках, и вы имеете числительную массу, равную, пожалуй, Испании или тому, чем бы хотелось быть Пьемонту. Сама эта численность уже заслуживает внимания. Потом подумайте, как широки его действия. От Риги до Казани, от Ледовитого моря до Черного моря и Кавказа, а потом почти сплошною массою до Тихого океана и до границ Китая! Не говорю уже о том, что он перешел и границы России, в Молдавии, Турции, Австрии — это уже сравнительно ничего. Теперь, когда наступает и непременно наступит, в силу исторических развитий, не только русских, но и всемирных, время более широкой и полной жизни народной, подумайте, как важно значение такой многочисленной и так широко действующей массы. Как важен для внутренней русской истории, а по воздействию и для истории других народов, вопрос: сколько в этой массе ковкости или упругости, сколько способности к организации или склонности к призванию внешней силы для своей опеки, иначе, сколько начал общественных или государственных; наконец, сколько стремления к просвещению или оттолкновения от него! Пусть этот раскол по своим основаниям и признаем мы, в большей части его форм, не имеющим в себе будущности: это относится только к его, так сказать, догматической внешности и замкнутости; но ведь он, даже исчезая, оставит по себе поколения, приготовленные особенным образом, оставит особенное настроение в уме миллионов, а эти-то приготовления, это-то настроение умов и составляют действительные исторические силы. Предмет, которого коснулся П. А. Бессонов, как вы видите, сам по себе заслуживает глубокого внимания; к занятиям же Общества он принадлежит особенно потому, что наш почтенный сочлен представляет нам раскол в его словесно-художественном выражении.

<...> IX

Речь в заседании 28 апреля 1860 года

М<илостивые> г<осудари>!

В предпоследнее заседание имел я честь вам объявить о некоторых литературных предприятиях, которые связаны с

деятельностью нашего Общества. Словарь Влад. Ив. Даля уже поступает в печать, и я прошу вас обратить внимание на образцовый листок, который дает понятие о наружном виде всего издания. Комиссия, назначенная для приведения в порядок и для издания Сборника песен П. В. Киреевского, имела несколько заседаний, и часть первого отдела уже готова к печати. Наконец, почтенный сочлен наш К. С. Аксаков издал первый выпуск своей «Грамматики», которую он посвятил нашему Обществу. Труд этот уже известен мне из рукописи и корректурных листов; но критический его разбор был бы здесь неуместен, а похвала могла бы казаться с моей стороны пристрастною. Я считаю, однако же, своим правом и некоторым образом обязанностью сказать несколько слов о характере и цели самого труда.

Немало уже вышло русских грамматик и опытов грамматики, но до сих пор все эти грамматики и опыты, как ни различны были между собою, имели одну общую и весьма характеристическую черту: все они имели целью не изучить русский язык, но создать правильный русский язык. Все видимые прихоти живого языка, разнообразие его форм, не объясненные до сих пор изменения флексий, все то, наконец, что не подходило под законы, принятые сочинителями этих грамматик, признавалось недостойным существовать, неправильностями в языке, ошибками в речи народной. Беспрестанно, читая эти грамматики, можно было вспомнить слова французской географии: «Моску, которую русские неправильно называют Москва» (Moscou, que les Russes nomment improprement Moscva). Гг. грамматики думали, что русские, проживающие в России (позвольте употребить счастливое выражение, напечатанное в «Московских ведомостях» в статье «Из Ниццы»[37], в которой нас приглашают построить в Ницце храм во имя народного самолюбия), они думали, что эти русские дурно говорят по-русски, и хотели их выучить и говорить как следует. Покойный Языков, смеючись, называл грамматику г. Греча ортопедическим институтом для русского языка. Общею целью всех грамматик казалось создать такие правила, по которым иностранец или русский, воспитанный иностранцами, мог бы легче выучиться языку русскому. Это были издания для употребления европейцами, напоминающие старые издания французских классиков для употребления дофинам[38] (ad usum Delphini). Скажу мимоходом, что и действительно признанные отношения наши к Европе были во многом похожи на отношения товарищей дофина к их великому патрону. Бывало, когда дофин шалил — товарища

секли. Как бы то ни было, а несомненно то, что все грамматики старались всего более сблизить русский язык с прочими европейскими наречиями и таким образом облегчить его изучение. В последнее время такое направление несколько изменилось, но и затем печать книжничества и мнимой правильности оставалась неизгладимою.

Наш почтенный сочлен К. С. Аксаков пошел совершенно иным путем. Он отправился от убеждения, что русский народ имеет и искони имел полное и непререкаемое право на свой язык, или, лучше сказать, он признал язык тем, что он есть,— словесным выражением народа. Действительно, русское слово не есть какой-нибудь случайный сросток разноначальных и разнохарактерных народностей, как, например, языки французский, итальянский или английский, но живое проявление мысли самобытной и самоправной, и русскому человеку так же мало можно сказать: «Так говори», как мало можно сказать: «Так думай». Поэтому в употреблении надобно искать самих форм, а в формах можно только угадывать их законы. Так, например, в первом уже выпуске находим мы права, признанные за формою родительного падежа на *у* глухое, и форму предложного падежа на *у* с ударением, которые К. С. Аксаков считает не чем иным, как падежом дательным, употребленным в особенном смысле. Но этого недовольно: признание формы и даже признание законности, основанной на употреблении, еще недостаточно. Мыслитель требует сознания тех умственных законов (иногда изменяемых законами благозвучия), на которых основывается признаваемая им форма. Он требует внутренней логики языка в его флексионных изменениях. Всякий язык самобытный представляет словотворческую силу ума человеческого в особенностях его народного проявления. Грамматика частная тут соприкасается с грамматикою общею, точно так же, как всякая отдельная система философская составляет только часть общего развития человеческого ума. Эта особенная сторона труда нашего почтенного сочлена составляет его главнейшую характеристику. Конечно, великое для него счастие было то, что предметом его изучения был русский язык, и я думаю, можно даже сказать, что только из особенностей русского языка могла возникнуть и ясно представиться самая мысль, руководившая автором. Язык наш, м<илостивые> г<осудари>, в его вещественной наружности и звуках есть покров такой прозрачный, что сквозь него просвечивается постоянно умственное движение, созидающее его. Несмотря на те долгие века, которые он уже прожил, и на те исторические слу-

чайности, которые его отчасти исказили или обеднили, он и теперь еще для мысли — тело органическое, вполне покорное духу, а не искусственная чешуя, в которой мысль еле может двигаться, чтобы какими-то условными знаками пробудить мысль чужую. Каждое отдельное слово имеет свою физиономию, свое особенное движение, свидетельствующее об его внутреннем содержании. Меняется мысль, меняется и флексия; имя живого предмета имеет свои законы, имя мертвого — законы другие, так что можно, в переносном смысле, оживить и омертвить слово, подчинив его тем или другим законам. Нет в русском языке ничего или почти ничего осадочного или кристаллического: все волнуется, дышит, живет. Выразить, выяснить эту особенность, посредством ее выделить русский язык из всех других языков и в то же время связать его с другими посредством общих законов человеческого словотворящего ума — такова была задача, которую себе поставил автор. Задача новая и трудная. Как он ее исполнил, какого достиг успеха, не мое дело здесь разбирать. Но я позволю себе сказать с одним древним писателем: «Magnum sane foret potuisse, non indecorum est tentasse» (успеть — была бы великая слава, но и попытаться уже немалая честь)[39].

В нынешнем заседании М. П. Погодин намерен сообщить новые документы, полученные им, по делу несчастного царевича Алексея Петровича[40]. Из них вы увидите, как много нового, неизвестного, еще можно открыть во внутренности русской жизни, несказанного, еще незаданного историею. Но ученый, добросовестный и сочувственный исследователь дела царевича, конечно, не нуждается в том, чтобы я пополнял или уяснял его выводы.

Наконец, М. Н. Лонгинов представит биографию, взятую не из высокого круга исторических знаменитостей, не из жизни государственной, но из нашей московской, так сказать, домашней жизни — биографию Петра Яковлевича Чаадаева. Почти все мы знали Чаадаева, многие его любили, и, может быть, никому не был он так дорог, как тем, которые считались его противниками. Просвещенный ум, художественное чувство, благородное сердце,— таковы те качества, которые всех к нему привлекали. Но в такое время, когда, по-видимому, мысль погружалась в тяжкий и невольный сон, он особенно был дорог тем, что он и сам бодрствовал, и других побуждал; тем, что в сгущающемся сумраке того времени он не давал потухать лампаде и играл в ту игру, которая известна под именем: «жив курилка». Есть эпохи, в

которые такая игра есть уже большая заслуга. Еще более дорог он был друзьям своим какою-то постоянною печалью, которою сопровождалась бодрость его живого ума. Разгадку этой печали, истекающей не из случайностей его жизни, а из чисто нравственных причин, узнаем мы из самой биографии и из особенности его внутреннего направления. Нет сомнения, м<илостивые> г<осудари>, что он был человек весьма замечательный; но чем же объяснить его известность? Он не был ни деятелем-литератором, ни двигателем политической жизни, ни финансовою силою, а между тем имя Чаадаева известно было и в Петербурге, и в большей части губерний русских, почти всем образованным людям, не имевшим даже с ним никакого прямого столкновения. Известны были и утренние его съезды по понедельникам, и размен мысли, происходивший на этих беседах. Почему подобные явления в других местах не получали такой известности? Причина весьма проста. Он жил, он умственно действовал в Москве, и в этом нельзя, кажется, не видать подтверждения тому, что я имел счастие излагать вам в одном из прошлогодних заседаний,— тому, что, где бы ни был центр государственный, Москва не перестала и никогда не перестанет быть общественною столицею русской земли.

К СЕРБАМ. ПОСЛАНИЕ ИЗ МОСКВЫ

Много получили вы, братья, милостей от господа бога в последние годы: свободу от нестерпимого ига народа дикого и неверного[1], самостоятельность и самобытность в делах общественных, возможность мирного и безмятежного жития, возможность развития умственного, нравственного и духовного, согласно с духом просветившего нас христианства, и, наконец, возможность содействовать благу меньших братий ваших наставлениями и примерами вашими. Таких счастливых приобретений достигли вы собственным мужеством, отчасти также содействием и сочувствием единокровного, единоверного вам народа русского, более же всего благословением бога, устроившего обстоятельства политической жизни для прекращения бедствий и унижения, которыми испытывал он в продолжение веков вашу веру и терпение.

Таким божьим милостям не могли бы мы не порадоваться, когда б они посетили и всякий другой, вполне нам чуждый, народ; но никому не можем мы сочувствовать так, как вам и другим славянам, особенно же православным. Никакой иноземец (какой бы ни был он добрый и благомыслящий) не может в этом с нами равняться: ибо для него вы все-таки чужие, а для нас, сербы, вы земные братья по роду и духовные братья по Христу. Нам любезен ваш наружный образ, свидетельствующий о кровном родстве с нами; любезен язык, звучащий одинаково с нашим родным языком; любезен обычай, идущий от одного корня с нашим собственным обычаем. И так искренно и от глубины души благодарим мы бога за милости, которые он вам ниспосылает, и просим, дабы он продлил и увеличил ваше благоденствие и прославил вас всякою истинною славою блага духовного и преуспеяния общественного пред всеми народами.

Доброе начало положено вами.

Великое ваше терпение под многовековым игом, блистательное мужество в час освобождения, более же всего разум и чувство правды, которые недавно вас освободили от правителя, мнимого защитника и истинного изменника сербского народа[2], останутся навсегда незабвенными. Такие прекрасные начала обещают и прекрасное будущее. Народ сербский, внушивший уже почтение другим народам, не унизит никогда своего достоинства. Но мы знаем, что после испытаний, чрез которые вы уже прошли, предстоят вам другие испытания, не менее опасные, хотя, по-видимому, и менее тяжелые. Свобода, величайшее благо для народов, налагает на них в то же время великие обязанности; ибо многое прощается им во время рабства, ради самого рабства, и извиняется в них бедственным влиянием чужеземного ига. Свобода удвоивает для людей и для народов их ответственность перед людьми и перед богом. С другой стороны, счастие и благоденствие преисполнены соблазна, и многие, сохранившие достоинство в несчастиях, предались искушениям, когда видимое несчастие от них удалилось и, заслужив божие наказание, навлекли на себя бедствия хуже тех, от которых уже избавились. Всякие внешние и случайные несчастия могут легко быть побеждены; часто даже, испытывая народную силу, они ее еще укрепляют и воспитывают для будущей славы; но пороки и слабости, вкравшиеся в жизнь и душу народа, раздваивают его внутреннюю сущность, подрывают в нем всякое живое начало, делаются для него источником болезней неисцельных и готовят ему гибель в самые, по-видимому, цветущие годы его

благоденствия и преуспеяния. Поэтому да позволено будет нам, вашим братьям, любящим вас любовью глубокою и искреннею и болеющим душевно при всякой мысли о каком-нибудь зле, могущем вас постигнуть, обратиться к вам с некоторыми предостережениями и советами. Мы старше вас в действующей истории, мы прошли более разнообразные, хотя не более тяжелые испытания, и просим бога, чтобы опытность наша, слишком дорого купленная, послужила нашим братьям в пользу и чтобы наши многочисленные ошибки предостерегали их от опасностей, часто невидимых и обманчивых в своем начале, но крайне гибельных в своих последствиях; ибо опасности для всякого народа зарождаются в нем самом и истекают часто из начал самых благородных и чистых, но не ясно сознанных или слишком односторонне развитых. Посему просим вас, братья, не обвинять нас в гордости, как людей, надеющихся на свою мудрость, для преподавания вам каких-нибудь уроков, но верить в нашу братскую любовь, которая не хочет, чтобы знание, приобретенное нами посредством многих и горьких опытов, оставалось для вас бесполезным.

Первая и величайшая опасность, сопровождающая всякую славу и всякий успех, заключается в гордости. Для человека, как и для народа, возможны три вида гордости: гордость духовная, гордость умственная и гордость внешних успехов и славы. Во всех трех видах она может быть причиною совершенного падения человека или гибели народной, и все три встречаем мы в истории и в мире современном. Самый разительный пример гордости духовной находим мы не в Риме (где все духовное является более предлогом, чем началом), но в позднейших или нынешних греках. Богу угодно было избрать их язык для прославления своего имени в Священном писании и их самих для распространения веры в мире. Незабвенна память их мучеников, незабвенна слава их духовных учителей. От них просветились многие народы; и мы, славяне, от них получили лучшее свое достояние, истинное знание бога и спасителя нашего, свободное от всякой ереси и лжи, которыми помрачены народы западные. Никогда без благодарности и без искреннего благоговения не могли бы мы вспомнить такие великие труды и заслуги греков; но от этих самых заслуг возгордились они безумно. Славу своих прежних подвижников переносят они на себя и, наряжаясь в нее, превозносятся перед другими народами и презирают братьев своих о Христе. Веру, которой некогда служили их предки, считают они как бы не общею для всех исповедующих ее, но своею, греческою, и себя единственными

сынами церкви, а других как будто рабами и приемышами. Из этого гибельного начала проистекает ненависть их ко всем другим народам, не согласным с их неуместными притязаниями, и в особенности к нам, славянам; желание порабощать нас или держать нас в рабстве турецком, чтобы через турок над нами господствовать; вражда против нашего языка, который, если бы могли, они изгнали бы из храмов божиих и из священнодействия церковного, в противоположность их же первоучителям; и, наконец, такое ожесточение, что православный грек становится тяжеле племенам славянским, чем турок-магометанин. Это известно всему миру. Конечно, и другие страсти, как-то корыстолюбие и любовь к власти, примешиваются к вражде греков против славян; но начало ее есть духовная гордость, вследствие которой они, как евреи в древности, готовы считать себя единственными избранниками божиими, а все другие народы чем-то низшим и созданным для служения избранному племени, греческому. Таковы в них плоды духовной гордости: вражда ко всем народам и умственная слепота, не позволяющая им видеть свои собственные выгоды: дай бог, чтобы они исправились от такого страшного порока! Мы и теперь любим их, как братьев и учителей наших; но как еще ревностнее стали бы мы тогда заботиться о их благе и даже проливать нашу кровь за них, забывая всякое зло и помня только об их заслугах и о великой божией благодати, данной их предкам!

Духовной гордости греков соответствует умственная гордость всех западных народов. Богу угодно было оградить их от таких бедствий, которые обрушились на Грецию и на племена славянские, и облегчить им преуспеяние в развитии наук, художеств и гражданственности. Они воспользовались милостию божиею и достигли высокого развития умственного; но, ослепленные своими успехами, они, с одной стороны, сделались (как известно) вполне равнодушными к высшему благу — вере и коснеют в слепоте духовной, а с другой — сделались не благодетелями остального человечества (к чему были призваны), но врагами его, всегда готовыми утеснять и порабощать другие народы. Горький опыт слишком ясно доказал это славянам; да и в целом мире корабли европейских народов считаются не вестниками мира и счастия, а вестниками войны и величайших бедствий. Какова надменность англичанина или любого немца (как бы ни было мелко и ничтожно его собственное отечество), каково презрение его ко всем остальным народам мира, каково желание попирать ногами все их права и обращать их в бессильные орудия своей ко-

рысти,— знают все. Гибельное семя дает и гибельный плод, и вражда западных народов, особенно же англичан и немцев против всех порождает естественную и справедливую ненависть во всех народах против них. Таково наказание гордости умственной.

Обращаясь к вам, братья наши, с полною откровенностию любви, не можем мы скрыть и своей вины. Русская земля, после многих и тяжких испытаний от нашествий с Востока и Запада, по милости божией освободившись от врагов своих, раскинулась далеко по земному шару, на всем пространстве от моря Балтийского до Тихого океана, и сделалась самым обширным из современных государств. Сила породила гордость; и когда влияние западного просвещения исказило самый строй древнерусской жизни, мы забыли благодарность к богу и смирение, без которых получать от него милости не может ни человек, ни народ. Правда, на словах и изредка, во время великих общественных гроз, на самом деле душою смирялись мы; но не таково было общее настроение нашего духа. Та вещественная сила, которою мы были отличены перед другими народами, сделалась предметом нашей постоянной похвальбы, а увеличение ее — единственным предметом наших забот. Умножать войска, усиливать доходы, устрашать другие народы, распространять свои области, иногда не без неправды,— таково было наше стремление; вводить суд и правду, укрощать насилие сильных, защищать слабых и беззащитных, очищать нравы, возвышать дух — казалось нам бесполезным. О духовном усовершенствовании мы не думали; нравственность народную развращали; на самые науки, о которых, по-видимому, заботились, смотрели мы не как на развитие богом данного разума, но единственно как на средство к увеличению внешней силы государственной и никогда не помышляли о том, что только духовная сила может быть надежным источником даже сил вещественных. Как превратно было наше направление, как богопротивно наше развитие, уже можно заключить и из того, что во время нашего ослепления мы обратили в рабов в своей собственной земле более двадцати миллионов наших свободных братий и сделали общественный разврат главным источником общественного дохода. Таковы были плоды нашей гордости. Война,— война справедливая, предпринятая нами против Турции, для облегчения участи наших восточных братий[3], послужила нам наказанием: нечистым рукам не предоставил бог совершить такое чистое дело. Союз двух самых сильных держав в Европе, Англии и Франции, измена спасенной нами Австрии

и враждебное настроение почти всех прочих народов заставили нас заключить унизительный мир: пределы наши были стеснены, военное наше господство на Черном море уничтожено. Благодарим бога, поразившего нас для исправления. Теперь узнали мы тщету нашего самообольщения; теперь освобождаем мы своих порабощенных братий, стараемся ввести правду в суд и уменьшить разврат в народных нравах. Дай бог, чтобы дело нашего покаяния и исправления не останавливалось, чтобы доброе начало принесло добрый плод в нашем духовном очищении и чтобы мы познали навсегда, что любовь, правда и смирение одни только могут доставить народу, так же как и человеку, милость от бога и благоволение от людей.

Без сомнения, гордость сил вещественных по самой своей основе унизительнее, чем гордость умственная и гордость духовная; она обращает все стремление человека к цели крайне недостойной, но зато она не столь глубоко вкореняется в душу и легко исправляется, уже и потому, что ложь ее обличается первыми неудачами и несчастиями жизни. Бедственная война нас образумила; твердо надеемся, что и успехи (когда богу угодно будет нас утешить ими) не вовлекут нас в прежнее заблуждение.

И вы, братия наши сербы, легко можете подпасть такому же искушению в отношении к другим, нашим общим братиям. Перед иными можете вы превозноситься, видя их слепоту в деле богопознания, перед другими — видя их порабощение, перед многими — видя их слабость. Но подумайте, что у вас лучшее богопознание не от вас самих, а от милости божией: отцы ваши завещали вам православие, как иным завещали ересь, а сохранять истину легче, чем возвратиться к истине от наследственной лжи. Тут есть великая причина к радости и благодарению, но нет повода к гордости. Также и порабощение, хотя и горькое, не дает повода к пренебрежению. Успех в борьбе часто зависит от обстоятельств, которых самое отчаянное мужество победить не может. Не долго ли рабствовали вы сами? Не долго ли рабствовала Русская земля перед татарами? И вот господь освободил сперва нас, а потом и вас; а болгаре, которых царство славилось далеко, теперь под игом[4]; и чехи, которых подвиги достойны были всякого удивления, преклоняют голову пред чужеродным владычеством[5]. Такова воля божия теперь, но будущее неизвестно: ибо хотя, по несчастию, большая часть славян порабощена чужой власти, но по мужеству своему они все достойны свободы. Также и слабость племени не оправдывает пренебрежения, ибо часто слабые и незамечательные в мире делают-

ся самыми крепкими орудиями воли божией. Поэтому не оскорбляйте братьев презрением, которое несноснее самого угнетения, но помните, что они вам равны, хотя менее счастливы. Вы, по милости божией, православные, свободные и сильные, искренним дружелюбием привлекаете к себе слабых, порабощенных и ослепленных. Пусть всякий славянин, из какого бы края он ни был, видя вашу к нему братскую любовь, будет готов вас подкреплять доброжелательством, сердечным сочувствием и союзом на деле. Таков закон божий, и такова даже ваша собственная выгода. Бог устроил современные нам судьбы мира так, что лучшая из человеческих добродетелей,— братолюбие,— есть в то же время единственное спасение для славян и единственная сила, могущая освободить их от врагов и утеснителей, которых, вы сами знаете, и называть не нужно. Благодарим его святую волю.

Мы знаем, что есть славянские племена, которые еще ничем не прославились, между тем как вы уже исстари можете хвалиться многими блистательными подвигами; но и тут нет повода к гордости; ибо подумайте! Хотя уже и в прежнее время вы отличались мужеством, но сколько в летописях ваших разврата, измены, междоусобного кровопролития, братоубийств и даже отцеубийств, чем и язычники гнушаются! Не явно ли, что святая вера, озарившая ваших предков, не проникла в сердца их и не сделалась, как следовало, для них источником святости и добродетели? За их пороки и через эти самые пороки господь бог наказал их на многие поколения. Это говорим мы, конечно, не с тем, чтобы оскорбить вас, наших дорогих и уважаемых братий, но с тем, чтобы, отстранив всякую гордость и уразумев как свои собственные вины, так и наказания божии, вы стремились вперед ко всякой добродетели и всякой честной славе, достойной народа христианского, и приобрели от всех почтение и любовь, чему, как мы уже сказали, доброе начало вами положено.

Поистине, сербы, великие милости даровал вам бог, бóльшие, думаем, чем вы сами знаете. Телесное здоровье есть одно из лучших благ для человека; но цену этого блага узнаёт он, когда лишится его или когда изучит чужие болезни и сравнит их с своим собственным здоровым состоянием. Так и вы можете узнать свои преимущества только по сравнению с недостатками других обществ (а на такое сравнение вы еще не обращали внимания) или по откровенному признанию самых этих обществ, узнавших из опыта свои болезни и их причины. Пусть это знание послужит вам предостережением, дабы вы могли избежать ошибок, которых другие на-

роды избегнуть не умели, и дабы, перенимая доброе и полезное, вы не заразились злыми началами, часто примешанными к добру и вовсе незаметными для неопытного глаза.

Первое, важнейшее и неоценимое счастие ваше, сербы,— это единство ваше в православии, то есть в высшем знании и в высшей истине, в корне всякого духовного и нравственного возрастания. Таково ваше единство в вере, что для турка слова «серб» и «православный» кажутся однозначащими. Этим лучшим изо всех благ более всех должны вы дорожить и охранять его, как зеницу ока: ибо действительно, что́ есть православие, как не зеница ока внутреннего и духовного?

Не насилием посеяно христианство в мире; не насилием, а побеждая всякое насилие, возросло оно. Поэтому не насилием должно быть охраняемо оно, и горе тем, которые хотят силу Христову защищать бессилием человеческого орудия! Вера есть дело духовной свободы и не терпит принуждения; вера же истинная побеждает мир, а не просит меча мирского для торжества своего. Поэтому уважайте всякую свободу совести и веры, дабы никто не мог оскорблять истину и говорить, что она боится лжи и не смеет состязаться с ложью оружием мысли и слова. Ревнуйте к чести божией не робостью и сомнением в ее могуществе, но смелостью и спокойною уверенностью в ее победе.

Но с другой стороны, имейте всегда в виду значение и достоинство веры. Весьма ошибаются те, которые думают, что она ограничивается простым исповеданием, или обрядами, или даже прямыми отношениями человека к богу. Нет: вера проникает все существо человека и все отношения его к ближнему; она как бы невидимыми нитями или корнями охватывает и переплетает все чувства, все убеждения, все стремления его. Она есть как будто лучший воздух, претворяющий и изменяющий в нем всякое земное начало, или как бы совершеннейший свет, озаряющий все его нравственные понятия и все его взгляды на других людей и на внутренние законы, связующие его с ними. Поэтому вера есть также высшее общественное начало; ибо само общество есть не что́ иное, как видимое проявление наших внутренних отношений к другим людям и нашего союза с ними.

Здоровое общество гражданское основывается на понятии его членов о братстве, правде, суде и милосердии; а эти понятия не могут быть одинаковыми при различных верах. Еврей и магометанин исповедуют единого бога, как и христиане; но одинаковы ли их понятия о правде и милости с нашими? Конечно, скажут, что они не знают ни таинства

святой и присноПоклоняемой троицы, ни любви божией, спасшей нас через Христа, и что, следовательно, различие между ими и нами слишком велико; но мы знаем, что и у христиан, кроме истинной православной церкви, нет ни вполне ясного понятия, ни вполне искреннего чувства братства. Это понятие, это чувство воспитывается и крепнет только в православии. Недаром община, и святость мирского приговора, и беспрекословная покорность каждого перед единогласным решением братьев — сохранились только в землях православных. Учение веры воспитывает душу даже без общественного быта. Папист[6] ищет власти посторонней и личной, как он привык ей покоряться в делах веры; реформат[7] доводит личную свободу до слепой самоуверенности, так же как и в своем мнимом богопознании: таков дух их учения. Один только православный, сохраняя свою свободу, но смиренно сознавая свою слабость, покоряет ее единогласному решению соборной совести. Оттого-то и не могла земская община сохранить свои права вне земель православных; оттого и славянин вполне славянином вне православия быть не может. Сами наши братья, совращенные в западную ложь, будь они паписты или реформаты, с горем сознаются в этом. То же окажется и во всех делах суда и правды и во всех понятиях об обществе; ибо в основе его лежит братство.

Да будет же всем полная свобода в вере и в исповедании ее! Да не терпит никто угнетения или преследования в деле богопознания или богопоклонения! Никто, хотя бы он был (чего боже избави) совратившийся с пути истинного серб! Да будет он вам все еще братом, хотя несчастным и ослепленным! Но да не будет уже он ни законодателем, ни правителем, ни судьею, ни членом общинного схода: ибо иная совесть у него, иная у вас. Великий апостол языков говорит: «Не стыдно ли вам, христианам, судиться перед язычниками? Пусть судят между вас братья». Поэтому иноверец должен быть для вас, как гость, охраняемый вами от всякой неправды и пользующийся всеми вашими правами в делах жизни частной, но не должен быть полноправным гражданином или сыном великого сербского дома, судящим с братьями в делах общественных. Бог избавил вас от внутреннего разъединения: не допускайте такого разъединения в самых недрах совести народной и общественного духа. Горько нам подумать, что не все славяне православны. Верим, что и они со временем все просветятся истиною; любим их душою и всегда готовы протянуть им руку братства и помощи против всех; но думаем, что они таким исключением оскорбиться не могут,

и сами, по любви к вам, не захотели бы внести семена раздора и разномыслия в ваше общество.

Есть между вами богатые и бедные, точно так же, как сильные и слабые, здоровые и немощные, умные и глупые; но что̀ бы вы сказали о законе, по которому велено бы было такому-то быть богатым, а такому-то бедным, или такому-то быть сильным, а такому-то быть слабым, или такому-то умным, а такому-то глупым? Разумен ли был бы такой закон и согласен ли с христианством? Не все ли вы люди? Не все ли вы славяне? Не все ли сербы? Счастливы вы перед всеми народами в том, что всякий серб смотрит на серба как на брата равного ему, и нет между вами высшего или низшего, кроме службы обществу, которая определяет людям разные чины, по разным заслугам или потребностям государства. Сохраняйте это равенство, дорожите таким великим сокровищем! Не допускайте никаких законов, никаких мер правительственных, никаких обычаев, которые могли бы разрывать братство. Во всех других землях ввелось такое злое начало, что иной считается благородным, иной низким по крови: «такой-то мне не равен», или «такой-то не может быть в нашем круге, потому что он низкого происхождения», или «такой-то не смеет свататься за мою дочь, потому что он неблагородного дома», и так далее. Из великой неправды возникает великое общественное зло: гордость мнимо высших, злоба и зависть мнимо низших и, следовательно, раздоры и слабость общественная. Пусть это зло остается при тех, у которых оно уже существует и проистекло из истории. Не прививайте себе болезни, от которой вас бог избавил! Не забывайте примера Польши, вам единокровной! Там немногие тысячи считали себя народом, а народ считали стадом, едва достойным имени человеческого; и вот, несмотря на все свои ратные подвиги, на все свое мужество, на свою славу, государство Польское пало. Не забывайте такого урока! Пусть судия судит, и правитель управляет, и князь княжит, как нужно обществу; но вне своей должности да будет всякий серб, ныне и всегда, равен своим братьям.

Многому еще должны вы учиться, братья, у тех народов, которым бог дал издавна свободу от внешнего угнетения, и возможность посвятить мысль и дни свои усовершенствованию наук и художеств. Сами вы видите, и не нужно вам доказывать, какие силы наука дает человеку и как покоряет она ему самую природу. Но наука дает еще более: она расширяет пределы богом данного нам разума, уясняет наши понятия, просветляет наши умственные взоры, раскры-

вает тайны мира божьего и чудеса его творческой премудрости. Приобретать науку не только необходимо для жизни общественной, но и обязательно, для исполнения воли божией, давшей нам разум, как поле многоплодное, которое не должно лежать в залежи и порастать терниями невежества и ложных мнений, но украшаться жатвою знания и истины. Итак, мы говорим, что много добрых и полезных знаний еще должны вы приобрести от других народов (будь они немцы или иные) для достижения той степени умственного развития, к которой вы призваны. Но знание не есть еще истинное просвещение. Знание есть расширение умственного богатства; просвещение же истинное, сверх знания, заключает в себе развитие высших начал нравственных и духовных. Приобретение знания не многотрудно, приобретение же высшего нравственного развития есть высшая задача для человека, и многие люди, лишенные по обстоятельствам жизни знания научного, но глубоко проникнутые нравственным светом, ближе к полному просвещению, чем многознающие, но лишенные силы жизни духовной.

Верьте нам, сербы, знающим и испытывающим над собою, и отчасти над самым отечеством нашим, болезни современного мира! Многие и лучшие люди в целой Европе завидуют вам, хотя и не вполне еще знают ваши преимущества. И эта зависть понятна: ибо в единстве веры, в законе и чувстве братского равенства, в цельности жизни и простоте нравов заключаются такие сокровища, которых уже не купят ни знание, ни усилия частные, ни сила и учреждения государственные. Вы приступаете к развитию умственных своих богатств и, конечно, еще многому должны научиться; но вы приходите не как убогие, а как богатые, не как низшие в обществе народов, а как высшие; ибо все то, что́ есть у других, вы можете приобрести с небольшим трудом, а что́ у вас собственного, богом данного, того они приобрести не могут. Храните свои сокровища и дорожите ими! Гордость есть великий и гибельный порок; но не менее гибельно и самоунижение, не знающее цены даров, полученных нами от бога. Пусть наши ошибки послужат вам предостережением и уроком.

И мы имели многие из тех преимуществ, которые вы имеете теперь, некоторые в меньшей степени, как, например, братское равенство и простоту жизни; некоторые даже в высшей, как, например, полноту и силу общинного устройства. И мы, так же как вы, вследствие происшествий исторических, пришли в соприкосновение с Европою и ее просвещением. С горестью увидели мы свое невежество, с удивлением чужое знание.

Мы полюбили это знание, мы старались усвоить себе его сокровища, и мы были правы: ибо такова обязанность человека. Но в слепом благоговении перед чужим богатством мы не умели распознать его злую примесь, а свое высшее богатство забыли. Нам казалось, что страны, более нас ученые, должны превосходить нас во всех отношениях и что всякий обычай их, всякое учреждение лучше наших собственных. Всему чужому стали мы не учиться только, как следовало, а подражать. Вместо смысла просвещения, вместо внутреннего зерна мысли, в нем проявляющейся, стали мы перенимать его формы и наружный вид: вместо того, чтобы возбудить в себе самодейственную силу разума, мы стали без разбора перенимать все выводы, сделанные умом чужим, и веровать в них безусловно, даже когда они были ложны, так что то самое, что́ должно было в нас пробуждать бодрственную деятельность мысли и духа, погрузило нас надолго в умственный сон. Суд принимали мы от немцев, с его тайною и с его формальностию, отстраняющею права человеческой совести; управление строили на немецкий лад, не соответствующий нашим собственным потребностям; чиноначалия гражданские и военные рядили в иностранные имена; войско обращали по-немецки в движущиеся машины, наперекор народному духу, и эти машины стягивали в уродливые наряды, как в цепи, уничтожающие всякое свободное движение членов; красивую и удобную одежду наших предков заменяли безобразными одеждами западных народов, о которых со временем без насмешки и вспомнить нельзя будет; все обычаи свои изменяли, чтобы принимать обычаи чужие, и снова беспрестанно меняли эти новые обычаи по указу иноземному; наконец (даже стыдно об этом вспомнить) самый язык свой, великое наречие речи славянской, древнейшего и лучшего изо всех слов человеческих, презирали мы и бросали на письме, в обществе, и даже в дружеской беседе, заменяя его жалким лепетом самого скудного из всех языков европейских. Таково было наше безумие; таковы были явления того времени, когда вещественная гордость государства сопровождалась самоунижением народа. Но это самоунижение было не в народе, а только в высшем сословии, оторвавшемся от народа. Оно хотело подражать всему иноземному, хотело казаться иноземным, и для народа оно сделалось иноземным. Исчезло всякое доверие, исчезло всякое духовное общение, всякий размен мысли. Разум миллионов оставался бесплодным для общества, добровольно заключившего себя в тесные пределы тех немногих тысяч, которые согласились отказаться от всех своих родных обычаев.

Эти немногие, под именем просвещения, гонялись только за его ложным призраком, гордясь тем, что в глазах народа они казались немцами; а народ удалялся от истинного знания, видя в нем как бы силу враждебную и гибельную для русского народа. Ошибка высших ввела низших в ошибку, ей противуположную, и наше слепое поклонение знанию и просвещению Европы остановило надолго развитие знания и просвещения в Русской земле.

Не нужно, братья, объяснять вам, как гибельны были последствия такого внутреннего разъединения, какое множество ошибок истекло из одной ошибки, какими неправдами и страданиями в жизни частной, какою бесплодностью в жизни общественной, каким бессилием в жизни государственной были мы наказаны за наше чужепоклонство. И теперь не избавились мы, и еще не скоро избавимся, от его горьких плодов. Для нас они видны и чувствительны везде и во всем. Для вас, живущих далеко, они не могут быть столько явными, и поэтому мы считаем необходимым представить вам хоть один пример, по которому вы могли бы судить о прочих.

Известно всем, что прежде императора Петра Первого берега Черного моря принадлежали Турции, и только одно устье Днепра было в руках русских казаков, наших братьев-запорожцев. Не было у них ни кораблей, ни возможности строить корабли. На легких челноках, часто на однодеревках и душегубках, пускались они в бурное море, исстари страшное мореплавателям, страшное даже и теперь при всех усовершенствованиях мореплавания, и тысячами налетали на берега вечных врагов имени христианского. От Батума до Цареграда гремела их гроза. Трапезунд и Синоп и самые зáмки Босфора дрожали перед ними. Турецкие флоты, смело гулявшие по Средиземному морю и нередко грозившие берегам Франции, Италии и Испании, прятались в пристани пред лодками запорожскими. Не из хвастливости, но по истинной правде говорим мы: свидетелями нам самые турецкие летописи и еще теперь незабытые предания. Не было в целой Европе ни одного народа, который мог бы похвалиться такими дивными подвигами мужества на морях,— и опять без хвастливости можем мы сказать, что люди северные ничем не уступали своим южным братьям. Не следовало ли думать, что с такими людьми русский флот далеко превзойдет флоты других народов, когда лодки заменятся могущими и сильно вооруженными судами? Такой успех был вероятен; смело скажем, он был несомненен. Но ожидания не сбылись: в этом

должны мы признаться, несмотря на бесспорное мужество наших моряков. Отчего же такая неудача? Отчего люди, далеко превосходившие на море всех своих соперников, стали едва равными им? Причина весьма проста. Они стали не теми людьми, которыми были прежде. Император Петр начал первый у нас строить большие корабли по образцу голландскому (и за это ему честь и слава!), но к разумному делу он примешал страшное неразумие. Названия всех частей корабельных, все слова, относящиеся до мореходства, все слова команды принял он также от голландцев. Какие же вышли последствия? Этих немецких слов, этих названий, вовсе бессмысленных для русского уха и не представляющих ничего русскому уму, набрались тысячи. Теперь поступает на корабль будущий моряк, человек, которого бог одарил и ловкостью, и смелостью необычайною, человек, подобный тем, которые в старые годы на узких лодках громили берега Черного моря, потрясали Царьград и уничтожали флоты турецкие; но он теперь поступает не в моряки, а в школьники. Ему надо твердить тысячи бессмысленных и дико звучащих слов, и в этом бессмысленном учении проходят года его горячей и живой молодости. Вместо любви к своему делу, вместо опытности моряка, он приобретает равнодушие и даже как бы отвращение от своего занятия, от своего корабля, от самого моря. Пройдут года, и морской богатырь обратится в полумертвый немецкий словарь. Правда, он будет исправлять свою обязанность, потому что он христианин и русский; но истинный моряк уже погиб в нем безвозвратно. По этому примеру, братья, судите и обо всем. Вся земля русская обратилась как бы в корабль, на котором слышатся только слова немецкой команды. По милости божией мы теперь начали образумливаться и возвращаться к своему языку, к своему собственному духу. Нас спасла вера, которой мы не изменили, нас спасла стойкость народа, который не обольстился примером высшего сословия; но не скоро излечивается болезнь, и потерянные года уже не возвратятся. Да будет наш пример уроком для вас! Учитесь у западных народов, это необходимо; но не подражайте им, не веруйте в них, как мы в своей слепоте им подражали и веровали. Да избавит вас бог от такой страшной напасти!

Чужой ум должен в вас пробуждать деятельность собственного ума, и этою деятельностию будете вы возвышаться более и более; но вы не должны прививать к себе чужой жизни, потому что с нею вы привьете к себе не чужое здоровье, а чужие болезни. Даже скажем более, то, что́ в дру-

гом народе не только безвредно, но даже и полезно, то в вас сделается началом зла и гибели. Всякое живое создание имеет свои законы бытия, свой строй и лад, на которых основано самое существо его и которые в свою очередь определяют свойства его проявлений и произведений. Но то, что́ в одном стройно и ладно (потому что согласно с его существом) делается началом нестройности и разладицы, когда оно привито к другому, которого существо основано на ином законе. Никто не может петь чужим голосом или красиво ходить чужою походкою.

Так и внутренняя жизнь народа приходит в нестройность и разлад, когда она позволяет струе жизни чужой влиться в ее жилы. Поэтому обсуживайте строго чужие мысли, прежде чем примете их, и не будьте спешны на нововведения, разве бы польза их была ясна и несомненна.

Много есть у вас единокровных за границею вашего княжества, и эти единокровные вам люди истинно желают вам добра и часто по своей образованности и знаниям могут принести вам много пользы. Принимайте их с любовию, выслушивайте их добрые советы, пользуйтесь их сердечною службою с сердечною же благодарностью; но и тут не откладывайте осторожности. Часто бывает, что они жили и образовались под сильным влиянием чужеземных начал, хоть бы, напр<имер>, немецких, и не остались чуждыми их прелести. Часто случается, что, по привычке, принятой из детства, они изменили бессознательно лад своей жизни внутренней и своего ума; научились, например, принимать умножение формальностей за правительственную мудрость, стеснительные меры за порядок, бумажную отчетливость за ручательство, которое будто бы лучше и вернее человеческой совести; чиновническое вмешательство во все и чиновническую опеку надо всем — за единственную охрану спокойствия и порядка общественного; наконец, вообще немецкую хитрость за образованность истинную, а славянскую простоту за остаток старинной дикости. Точно так же и многие обычаи иноземные привыкли они часто предпочитать своим, сербским. Конечно, их в этом винить нельзя, ибо самая их ошибка очень естественна; но вас просим мы оберегаться ее, а их просим мы не слишком доверять своей мнимой мудрости и помнить, что они приступают к вашему союзу не как чистейшие и безусловно лучшие, но напротив того, как люди, несколько искаженные и требующие, так сказать, внутреннего омовения от иноземной проказы. Простота есть степень высшая в общественной жизни, чем искусственность и хитрость, и всякое на-

чало, истекающее из духа и совести, далеко выше всякой формальности и бумажной административности. Одно живо и живит, другое мертво и мертвит. Предоставьте последнее Австрии!

Точно такое же слово обращаем мы и к вашим молодым согражданам, чадам православной Сербии, получившим свое научное воспитание вне пределов родной земли, в странах чужих, на Западе, а может быть даже и в нашей России. Без сомнения, много умственных сокровищ приобрели они для обогащения своего отечества, и иначе приобресть их не могли; но редкий из них, и едва ли кто-нибудь, остался свободным от всякого вредного влияния. Они сами не должны себе слишком много доверять. Живая связь с отечеством не прерывается на несколько лет вовсе безнаказанно: много замирает,— хотя на время,— чувств добрых и естественных, много закрадывается в душу соблазнов и неустройств. Пусть возвратившийся сам себя ставит как бы на искус! Пусть сживается он опять вполне с своей родиной, до тех пор, покуда сам почувствует себя опять истинным, простым сербом, только кое-чему научившимся в школе других народов! Пусть заслуживает он ваше доверие, прежде чем получит доверие к самому себе!

Ни строгостью, ни законами нельзя оградить обычаев от искажения. Строгие законы только обличают неуверенность общества в своей собственной твердости и, под их мнимой защитой, тайный источник нравственной порчи растет и наполняется мало-помалу скрытым наращением, до тех пор, покуда он осилит или изменит самый закон. Часто даже строгость закона переживает его самого и обращается на то, что́ он прежде ограждал. Так, например: у нас некогда уголовными и неразумными законами думали оградить обычаи русские от изменения иноземного; а потом император Петр стал наказывать смертию или ссылкою на каторгу не только тех, которые держались русского обычая в одежде, но даже и тех, которые такую одежду изготовляли для желающих носить ее. Трудно поверить такому безумному ожесточению против нравов отечественных, но мы не выдумываем, а свидетельствуемся собранием русских законов и признаем, что начало позднейшей жестокости заключалось в неразумии прежних, мнимо охранительных мер. Только внутреннее убеждение и чувство народное могут охранять обычай, который всегда истекает из внутренней жизни. Да будет же у вас ограждением сербского обычая не строгость законов, но презрение общественное к его нарушителям. Мы знаем, что обычаи не могут ос-

таваться навсегда неизменными и что требования жизни мало-помалу изменяют или приноравливают их согласно изменениям самой жизни. Внутреннее чувство народа само служит мерилом для законности и необходимости этих постепенных изменений. Так, например, самый язык принимает от других языков необходимый прилив чужих слов для выражения предметов или понятий, чуждых природе отдельной страны или жизненному строю ее жителей. Не нужно, конечно, сербу выдумывать свои названия для заморского тигра или крокодила, для английского пера, для французской моды или немецкой дипломатии; но к чему бы стали вы, подобно нам, искать чужих слов для тех предметов и понятий, которые точно так же могут получить названия из вашего собственного наречия? В таком приливе иноземных звуков, по-видимому, заключается только пустая ошибка; но это не так: в ней заключается прямой и страшный вред, которого последствия трудно исчислить. Начало его есть умственная лень и пренебрежение к своему собственному языку: последствие же его — оскудение самого языка, т. е. самой мысли народной, которая с языком нераздельна, гибельная примесь жизни чужой и часто разрушение самых священных начал народного быта. Дайте какой бы то ни было власти название иноземное, и все внутренние отношения ее к подвластным изменятся и получат иной характер, который не скоро исправится. Назовите святую веру религией, и вы обезобразите самое православие. Так важно, так многозначительно слово человеческое, богом данная ему сила и печать его разумного величия.

Мы уже показали вам, как вредно было для нас иноземное название всех предметов, принадлежащих к мореплаванию, и могли бы показать еще много и много других примеров; но что скажем мы о несчастной Польше? Рано вступила она в тот гибельный путь, на который мы попали поздно и, надеемся, только на время; рано исказила она свою жизнь этою словесною иноземщиною. Шляхта, кастеляны, маршалки, рыцари, войты[8] изуродовали ее славянский быт и славянскую простоту ее общественных отношений: народ разорвался пополам, и зародыш будущей гибели запал и разросся в самое время мнимой государственной силы. Польша гордилась тем, что в ней процветал язык римский (вместе с римскою религией); Польша гордилась тем, что во Франции ее паны удивляли самих французов изяществом слова; а слово народное, а мысль народная спали, как заброшенное поле, не приносящее никаких добрых плодов человеку. Последствия вам

известны. Горько нам говорить об ошибках и грехах Польши, но мы обязаны вам напоминать о несчастных примерах, уже представленных другими народами, и, как видите, непристрастно говорим о самих себе.

Обогащайте ум знанием языков, но у себя не допускайте чужеязычия. Пусть в Сербии добровольный чужеязычник пользуется только тем уважением, которое подобает попугаю. Предоставьте ему топырить хохол и охорашиваться на своей насести.

По-видимому, весь обычай состоит из мелочей, но он не мелочь. Что́ бы могло быть, например, важного в одежде? Не все ли равно, как человек одет и как сшиты лоскуты, которыми он прикрывается? Ведь это вещь вовсе мертвая и неспособная действовать на жизнь? Так и у нас толкуют, но вы этим толкам не верьте. Таково благородство души человеческой, что и мертвое получает от нее живое значение, в свою очередь действует на жизнь. Изменение одежды народной и предпочтение одежды западной происходят от злого источника, от презрения к своему и раболепства перед чужим. Совместно ли такое чувство с братолюбием и с тем почтением, которое всякий человек обязан питать к своей родине и к своему народу? Извинительно было бы изменение платья для бо́льшего удобства или даже для красоты; но судите сами: было ли что-нибудь удобного или красивого в одеждах западных, от шитого кафтана и пудры до теперешнего фрака и галстука? О женских одеждах и говорить нечего: они всегда были то уродливыми, то непристойными, а по большей части уродливыми и непристойными вместе. Западная одежда беспрестанно изменяется, и беспрестанно определяется так называемою модою; а что такое мода? Где-нибудь (по большей же части в Париже) известный кружок людей переменяет покрой платья или прическу по своей прихоти, и остальные французы, а за ними и другие народы, немедля принимают эту перемену, не смея даже сомневаться в ее красоте, как бы ни была она нелепа. Вдумайтесь беспристрастно в причины этого подражания, и вы убедитесь, что оно происходит из душевного холопства перед мнимо высшими; а где замешалось холопство, там душа теряет чистоту и благородство. Одежда народная есть свободный обычай народа; изменение ее ради удобства может отчасти показать некоторую свободу и даже разумность человека (ибо и самый обычай так созидался), но подражание западному наряду есть не что иное, как признанное холопство перед вкусом мнимо высшего общества. Пусть те, которым нравится такое признание,

пользуются уважением, которое они заслуживают, а именно тем самым, которое человек оказывает обезьяне.

Многому, как мы уже сказали, должны вы учиться у иноземцев, часто даже пользоваться их услугами. Умейте ценить их, награждайте их, любите их и благодарите за пользу, которую они вам принесут; но не включайте их в свое общественное братство, разве бы они были православные, а особенно православные славяне, ибо эти вам не иноземцы. Мы говорим: пользуйтесь их услугами и по мере услуг награждайте их, но все это говорим мы о делах торговли, наук и искусства: — в дело гражданственности вашей им вмешиваться не должно. Что же сказать о деле ратном? Честно и праведно сражаться за родину и братьев, честно и праведно сражаться за всякую правду человеческую; но есть люди, которые, не разбирая, за кого и за что сражаться будут, нанимаются биться за иноземцев и за чужие государства. За деньги продают они свою кровь и кровь тех, которых убивать будут; и есть цари и народы, которые покупают ее. И то и другое да будет чуждо вам, благородным и мужественным сербам. Предоставьте разным немцам продавать себя в убийцы, а храброму Неаполю, честной Англии и главе римской религии, папе, предоставьте покупать их. При них пусть и остается такая мерзость! Мы думаем, что нам не следовало бы вас и предостерегать в этом; но вы вступили в круг других народов, в котором понятие о честном и бесчестном весьма шатко и неопределенно, и поневоле должны мы вас предостерегать против такого зла, которое еще мало оглашено и осуждено и, следовательно, может соблазнить людей, не предупрежденных против него. И мы в старину нанимали немцев сражаться за нас; за то немало и поработали мы им впоследствии!

Не вдавайтесь в соблазн быть европейцами! Это слово употребляется теперь нередко, но какой же в нем смысл? Испанцы, шведы и французы одинаково европейцы; похожи ли они друг на друга? В них общего весьма мало. Или не означает ли это слово какого-нибудь высшего развития человеческого духа? Хорошо нравственное развитие обществ, защищающих себя руками продажных убийц и не понимающих даже гнусности своего греха; а эти общества тоже европейские. Хорошо нравственное развитие обществ, составивших союз для спасения народа, искони враждебного христианству и законам человечества; а это союз обществ европейских[9]. Хорошо развитие обществ, которых представители без стыда постоянно готовы брататься с такими отступниками, каков

Омер-паша[10]. Очень невысоко нравственное достоинство Европы. Еще недавно, при несчастном кораблекрушении, негр-африканец, чтобы спасти своих сотоварищей от голодной смерти, добровольно пожертвовал жизнию; а эти товарищи, немецкие европейцы, приняли жертву и съели его. Кто был выше перед людьми и перед богом? Черный ли африканец, отдавший жизнь свою для спасения братьев, или немцы, съевшие его, чтобы продлить свою жизнь? Где же честь европейского имени? И действительно, между собою народы полуримские и немецкие не хвалятся им: они или, лучше сказать, их хитрые посланцы, да наши братья, изменившие своему родному обычаю, употребляют это слово, как ловкую приманку для славян, чтобы привесть их в духовное рабство,— и к несчастию, часто еще поддаемся мы на их обман. Будьте глухи к этому жалкому соблазну! Ищите имени человеков, а еще более христиан, и всего того, чем такие имена оправдываются, и не думайте вовсе о том, какими путями, европейскими или иными, достигнете вы своей высокой цели. Не надевайте на свою умственную свободу щегольского ошейника с надписью «Европа».

Сохраняйте простоту своих нравов. В ней одной найдете вы залог общественной силы и общественного здоровья; в ней корень истинного мужества и способности к самопожертвованию. Пусть серб в своем отечестве не думает отличаться от своих братьев ничем, кроме услуги, оказанной своему отечеству или землям славянским. Если б даже он заслужил почести в иных землях, какое вам дело до них? Ему чваниться такими подвигами перед вами не прилично, и вам не следует дозволять такого тщеславия. Положим, что его уважают или ему благодарны за что ни было иноземные властители: пусть и выставляет он напоказ знаки этого уважения или благодарности вне Сербии; но в соборе сербов им места быть не должно. Всегда ли похвала английской королевы или австрийского императора будет похвалою и в ваших глазах? Не думаем. Пусть серб украшается только наградами, полученными им от народного мнения и от государства сербского. Если случится, что его труды даже в других землях послужили ко благу или чести его родине и братьям, пусть сама Сербия о том судит и награждает, а чужого суда и чужих наград вам допускать нельзя. В самых почестях и знаках отличия будьте осторожны. Да служат они воздаянием только за службу общественную! Кто служил отечеству, может получать от общества свидетельство своей службы; но не допускайте и отвергайте всякое внешнее отличие за те под-

виги, которые человек-христианин совершает в пользу ближнего или в исполнение закона христова. В них служит он уже не обществу людскому, а высшему судии, своей совести и тому, кто судит его совесть, богу. Всякая общественная награда, всякий знак отличия был бы оскорблением самого подвига и посягательством на такой суд, который выше вашего. Мы знаем, что другие народы позволяют себе такую незаконность, но вы удаляйтесь от нее с презрением. Рассудите сами: осмелились бы вы дать какую-нибудь золотую бляху на грудь апостолу Павлу за его апостольство? Так точно судите, хотя и в меньшей степени, обо всяком подвиге, совершенном ради совести и бога, будь то милостыня, или спасение людей с опасностию собственной жизни, или труд духовный. Что́ может быть, например, неразумнее и, скажем более, что́ может быть богопротивнее знаков отличия, данных людьми за дело проповеди, поучения или правления церковного? Почему же бы уже не давать наград за пост, за усердие к молитве и за дары исцеления? Общество отличает и награждает службу общественную, но это не должно подавать повода к тщеславию; и поэтому мы советовали бы вам отличать только старцев, уже кончивших свое служение, чтобы их всякий мог узнавать в соборе народном и радоваться, глядя на заслуженного старца; а тому, кто еще служит, пусть будет наградою его самая служба, его должность и ваше доверие к нему.

Презирайте роскошь; она сама по себе недостойна людей разумных, а вас она сделала бы данниками других народов. Не увлекайтесь их примером, не смешивайте предметов, служащих к истинному удобству жизни, с предметами роскоши. Одни улучшают мало-помалу жизнь даже бедняка (как, напр<имер>, лучшее освещение, крепкие и легкие ткани, огнеупорные сосуды и пр.), а другие служат только к неге богатых. Не смешивайте искусства, которое выражает лучшие стремления души человеческой и облагораживает ее, с щегольством или потехою, которые унижают ее. Во всем этом мы ни от кого не могли слышать предостережения и впадали, и часто еще и теперь впадаем, в ошибки, вредные для нашей общественной и частной жизни. И теперь мы еще готовы отличать почти одинаково великого песнопевца, прославляющего свое отечество, и театральную плясею, которой искусство ничего не заслуживает, кроме презрения. Теперь вы еще бедны, как недавно вышедшие из рабства; но земля ваша богата дарами божиими, и вы сами трудолюбивы, богатство ваше должно увеличиваться. Не употребляйте нового богатства

на пустой блеск, негу и роскошь! Пусть богатый употребляет лишки своего богатства на помощь бедным (разумеется, не поощряя тунеядства) или на дело общей пользы и общего просвещения. Пусть будет у земли сербской та святая роскошь, чтобы в ней не было нужды и лишений для человека трудолюбивого! Затем богатство и блеск да украшают храмы божии. Но в ваших частных жилищах должна быть простота так же, как и во всем вашем домашнем быту. Роскошь частного человека есть всегда похищение и ущерб для общества. Она должна внушать вам пренебрежение. Бархаты да парчи польских панов одели Польшу в рубище, да и нам нечем похвалиться. В самых общественных зданиях соблюдайте строгую простоту, которая, впрочем, не исключает красоты. И в них роскошь, щегольство и блеск всегда сопровождаются пожертвованием истинной пользы и, даже когда повидимому безвредны, уже вредны тем, что служат признаком общественной гордости и государственного самопоклонения, а ко всему этому бог не благоволит. Поистине, сербы, та земля велика, в которой нет ни нищеты у бедных, ни роскоши у богатых и в которой все просто и без блеска, кроме храма божия. Такая страна действительно сильна: она угодна богу и честна у людей.

По свету ходит об вас великая похвала, которую, как думаем, вы заслуживаете: это похвала чистоте ваших нравов. С нею связаны святость и крепость уз семейных, счастие и истинные радости жизни, здоровье народное и, прямо или косвенно, все начала общественного преуспеяния. Не умаляйте своей славы! Пусть будет без чести в обществе, кто не честен в своей жизни домашней! Тот, кто не имеет чистой совести или совести не слушается в своем деле личном, не послушается ее в деле общественном, и, следовательно, ему доверить нельзя; а показывая уважение к людям порочным, общество делается участником их пороков. Напрасно говорят иные, что должно допускать их до гражданских должностей за их умственные способности: это несправедливо. Удаляйте порочных, и из добрых найдутся люди с не меньшим умом и более заслуживающие доверия. Наконец, должно сказать, что та частная польза, которую мог бы принести ум человека порочного в должности общественной, гораздо ниже того соблазна, который истекает из его возвышения. Вы теперь больше прежнего будете находиться в сношениях с другими народами; не увлекайтесь примером их равнодушия к чистоте нравов, особенно же примером Франции и Германии. В этом отношении много выше всех других народов Англия,

и от чистоты ее домашнего быта зависит даже ее политическая сила. Также есть у многих народов нелепое и богопротивное мнение, что чистота нравов более прилична женщине, чем мужчине. Смотрите на такое мнение с презрением! От нравов мужеских зависит нравственность женщины; а мужчине, сосуду крепкому и главе создания божиего, требовать от сосуда слабого — женщины,— таких добродетелей, которых в нем самом нет, есть дело не только неразумное, но и нечестное.

Будьте строги в суде общественного мнения: без этого не убережетесь от постепенной порчи нравов. Но не давайте воли неразумным подозрениям и недоверию, а исправляющихся не отталкивайте и не оскорбляйте. В суде же законном и уголовном будьте милосердны: помните, что в каждом преступлении частном есть бо́льшая или меньшая вина общества, мало оберегающего своих членов от первоначального соблазна или не заботящегося о христианском образовании их с ранних лет. Не казните преступника смертью. Он уже не может защищаться, а мужественному народу стыдно убивать беззащитного, христианину же грешно лишать человека возможности покаяться. Издавна у нас на земле русской смертная казнь была отменена, и теперь она нам всем противна и в общем ходе уголовного суда не допускается. Такое милосердие есть слава православного племени славянского. От татар да ученых немцев появилась у нас жестокость в наказаниях, но скоро исчезнут и последние следы ее. Будьте, говорим мы, милосерды в наказаниях, но милосердие ваше да будет разумно! Лучше казнь по-видимому строгая, но поражающая истинного преступника, чем мнимо легкая, но падающая на его семью. В таком наказании более неправды, чем милосердия. Многие ищут того, чтобы наказание было не унизительно для преступника, и думают, что в этом они следуют духу человеколюбия. Это великая ошибка. Всякое наказание (кроме духовного назидания) унизительно по тому самому, что оно есть насилие над человеком; но честь его уже нарушена преступлением, и наказание, будучи последствием преступления, имеет своею целию исправление и не прибавляет ничего к бесчестию: ибо человек бесчестится не тем, что́ терпит поневоле, а тем, что́ делает по воле своей. Всякое другое понятие прилично только людям, не верующим в достоинство духа человеческого, и годно разве для немцев, от которых оно и пошло, а не для славян. Правда и милосердие в наказаниях заключаются в том, чтобы всякая ненужная жестокость была устранена и чтобы невинный нисколь-

ко не страдал за виновного. Например, не более ли правды в суде китайском (хотя, разумеется, мы и того не хвалим), по которому отцы отчасти наказываются за детей, которых они воспитали, чем в суде европейском, где дети отчасти наказываются за отцов, на которых они никогда не могли иметь влияния? Наказание, говорим мы, не может быть унизительным для преступника: оно может только быть унизительным для самого наказывающего; но и в этом должно сохранять здравое понятие. Человек не унижается, исполняя горькую обязанность, налагаемую на него обществом и охранением спокойствия и жизни братьев. Часовой, стоящий у темницы и, так сказать, связывающий преступника, делается уже орудием казни; но он этим не унижается. То же скажем и обо всех временных исполнителях суда военного или общинного. Унизительно ремесло постоянного казнителя, посвящающего жизнь свою совершению казней над братьями, ремесло палача; везде он в презрении, как лицо безнравственное и унижающее человеческую природу; но достойны ли уважения те общества, которые сами созидают ремесло, унижающее человека, и потом презирают его за то, чему сами виноваты? Это или лицемерие, или фарисейская неправда. Устройте уголовные законы так, чтобы у вас не было палача. Именем этого ремесла бесчестятся закон и общество, которым этот закон управляет. Наконец, дайте в суде более места совести, чем форме, и тогда суд сербский будет уважаться всеми народами. Так было исстари в племенах славянских; так теперь в Англии, и она этим славится.

Еще скажем: да не будет у вас никакой торжественности в наказаниях; ибо всякое частное преступление и его наказание есть уже общее горе.

Дайте совести место и в суде гражданском. Стыдно, когда законный обряд в обществе более имеет значения, чем правда и добрая совесть; а это часто случается у других народов. Не развивайте у себя сутяжничества: оно противно миру и братолюбию. Мы думаем, что хорошо бы было, если бы всякий спор шел сперва на третейский суд; затем, если третьи несогласны между собою, пусть спор решается общиною; а если он происходит между членами разных общин, пусть он идет на суд людей посторонних, чтобы не было раздора между общинами.

Более всего держитесь всякого учреждения и всякого суда общинного. В нем более правды, чем во всяком другом; да через него и люди привыкают искать доброго мнения у братий своих. Где сход сельский или городской решает дела,

там уже с ранних лет воспитывается в человеке здравое понятие о законности и справедливости, развивается разумное суждение и уничтожается гибельное и весьма обыкновенное у многих народов равнодушие к общему делу. Сход мирской есть для народа училище, которое выше всякого книжного воспитания и никакою книжною мудростию не заменяется. Мирскими сходами были спасены дух и разум русских крестьян, несмотря на рабство, в которое заковал их неправедный закон.

Желательно, чтобы сход решал дела приговором единогласным. Таков был издревле обычай славянский. От немцев перешел к славянам обычай считать голоса, как будто бы мудрость и правда всегда принадлежали большему числу голосов, тогда как действительно большинство зависит весьма часто от случая. Рассудите еще и о том, что где дела идут на решение большинством, в людях пропадает или, по крайней мере, слабеет желание убедить своих братьев, а следовательно, слабеет и самое стремление к согласию в совести и разуме. Если уже нельзя получить решение единогласное, лучше передать дело посреднику излюбленному от всего схода. Совесть и разум человека, почтенного общим доверием, надежнее, чем игра в счет голосов. У англичан в суде уголовном требуется единогласие присяжных для осуждения, и их суд уважается всем миром.

Вы христиане, вы православные: да будет же у вас правда выше всего! Не верьте, чтобы какому-нибудь народу могла служить неправда основою долговечного успеха и счастия; она восстановляет против него чувство злобы в других народах и окружает его врагами. Много на свете людей, которые думают, что доброй цели позволительно достигать и злыми путями. Таково, как известно, учение иезуитов; но оно строго осуждается святым апостолом. Всякая неправда от лжи и от темного духа; а его не заставишь служить свету божию, разве побеждая его правдою. И перехитрить его нельзя, ибо весь ум его в хитрости. Если когда и кажется, что добрая цель бывает достигнута злым путем, это только обман, которому не должно поддаваться. От злых средств остается в самом добре закваска, чрез которую видимое добро обращается в неожиданное зло, и люди неразумные удивляются потом такой перемене, не рассуждая путей божией правды, которая всегда неизменна. Мы смеем вас предостерегать в этом деле, братья наши сербы; потому что некоторые из вас, как известно, привыкая к жизни других народов, привыкают и к хитрости их, особенно в сношениях дипломатических, и ду-

мают через нее послужить своему отечеству. Обманчива такая надежда. В хитрости нельзя победить ни иезуита, ни австрийца; но хитрость его легко победить прямодушием и простотою: в них сила, и сила истинная.

Вы создали у себя власть. Повинуйтесь ей и укрепляйте ее, дабы не впасть в безначалие и бессилие; но охраняйте также у себя свободу, и особенно свободу мнения, как словесного, так и письменного. Она созидает силу духа, царство правды и жизнь разума в народе. Без нее глохнут и умирают все добрые начала, как видно из опыта многих народов, и отчасти из нашего собственного. Она нужна гражданам и, может быть, еще более нужна самой власти, которая без нее впадает в неисцельную слепоту и готовит гибель самой себе.

Мы говорим: охраняйте свободу мнений, и охраняйте ее не только от власти, но и от самих себя. Пусть высказывается всякое суждение, как бы оно ни было противно вам самим! Если оно справедливо, оно распространится к благу общему; если оно ложно, оно обличится также ко благу общему: ибо правда всегда разумнее лжи. Что же бывает там, где мнения не высказываются из страха? Справедливые пропадают, потому что они любят свет, а ложные, которые любят тьму, не будучи обличены, разрастаются, как скрытая язва, и заражают собою самые источники жизни. Выслушивайте все, обличайте неправду, и вы победите ее своею верою в силу истины, которая есть от бога.

Не говорите много о праве и правах и не очень слушайте тех, которые говорят о них, но слушайте охотно тех, которые говорят об обязанности, потому что обязанность есть единственный живой источник права. Знание собственного права в сильном ничего не значит, освящая только его волю, а в бессильном оно ничтожно, по самому его бессилию. Знание же обязанности связывает сильного, созидая и освящая права слабых. Себялюбие говорит о праве, братолюбие говорит об обязанности.

Уважайте своих пастырей духовных! На них лежит великая ответственность перед богом, и справедливо, чтобы они имели великий почет у людей; но не дозволяйте, чтобы они величали себя церковью отдельно от народа. Будьте в этом ревнивы к своей чести, ибо вы все члены церкви божией. Латинское духовенство называет себя церковью, отстраняя мирян или считая их стадом бессловесным; зато у них нет и церкви истинной. Патриарх и епископы восточные еще в недавнем времени обличили эту латинскую ложь и тем заслу-

жили великую и вечную благодарность от всего православного христианства, хотя, к сожалению, многие из них на деле остаются не совсем верными своему собственному учению, стесняя права народа, и через такую неверность дают сами против себя оружие иноверцам в Болгарии.

Наконец, всячески пекитесь об образовании и распространении знания во всем сербском народе. Старайтесь, чтобы оно могло быть доступно всем. Распространение всякого знания в народе требуется не только пользою общественною, но и самою справедливостью; ибо существование богатых и без того уже много имеет преимуществ перед жизнию бедных: справедливо ли, чтобы богатые одни удерживали у себя и это великое сокровище — знание? Любите и поощряйте науку не только ради прямой пользы, которую она приносит обществу и частным людям в жизни общественной, но гораздо более ради того, что ею расширяется и укрепляется разум, великий божий дар. Знайте и то, что там, где наука пользуется свободою и почетом ради самой себя, там она доброплодна и сильно содействует общественному благу; там же, где ее принимают как наемную работницу, там она бессильна и не приносит никаких плодов самому обществу. Это мы отчасти сами испытали и испытываем даже и теперь.

Сохраняйте же и развивайте у себя все добрые начала! Будьте верны православию и едины в просвещении духовном! Не изменяйте никогда братскому равенству и будьте едины в цельности народной! Стремитесь к образованности и правде и будьте едины в достижении всякого общественного блага и разумного совершенства!

Остальное, что справедливо и вам полезно, скажет вам собственный ваш ум; мы же сочли своим долгом сказать вам то, что узнали из опыта, и предостеречь вас от ошибок, в которые легко может впасть народ, входя в неизведанную им область умственных сношений с другими европейскими народами. Другие племена славянские ранее вас вступили в это общение; некому их было предостеречь от предстоящей опасности, и тяжела была судьба их. Чехи и поляки пали под власть чужую, мы спаслись, но и то теперь только начинаем оправляться от болезни, которая грозила нам духовною смертию. Нас спасли, как мы уже сказали, стойкость народа, святое православие и милость божия; но не скоро еще исчезнут следы болезни, не скоро еще будем мы истинно русскою землею, живущею в духе русской самобытности. Грех было бы и стыд, если бы наш опыт не послужил в пользу младшим братьям нашим, вступающим в новое поприще

жизни общественной, вам, и кого еще бог призовет: ибо мы надеемся, что день милости божией взойдет и для всех других.

Может быть, мы многого вам не досказали, или сказали неясно, или даже с ошибками. Вы, братья, пополните недосказанное, поймите сказанное неясно, исправьте ошибочное, а слова наши, слова от сердца и любви, примите с любовию и благоволением.

Да будет Сербия счастлива и сильна, радостью для всех славян и предметом уважения для всех народов!

Примите наш братский поклон.

В Москве, в 1860 году.

Алексей Хомяков
Михаил Погодин
Александр Кошелев
Иван Беляев
Николай Елагин
Юрий Самарин
Петр Бессонов
Константин Аксаков
Петр Бартенев
Федор Чижов
Иван Аксаков

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ ЦАРСТВОВАНИЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

Царствование Иоанна Грозного памятно России во всех отношениях: памятно по огромному расширению ее пределов, по ее страданиям и по необычайности добродетелей, вызванных самими страданиями.

Царь Иван Васильевич был сын царя и великого князя Василия Ивановича от его второй жены. Первая жена Василия Ивановича, женщина непорочная в глазах человеческих, была еще жива, когда он вступил в новый брачный союз; у нее детей не было, а Василий Иванович желал, чтобы его потомство сидело на русском престоле; — он решился с нею развестись, женился на княжне Глинской, и у него родился сын, царствовавший впоследствии под именем Ивана Васильевича Грозного.

Иван Васильевич был еще младенцем, когда умер его отец, и воспитание будущего царя, так же как и управление царством, были предоставлены вдовствующей великой княгине. Елена Глинская не отличалась нравственностью на престоле. Члены Боярской Думы, советники и любимцы великого князя Василия Ивановича, не отличались также ни совестливостью, ни благородством души. Двор сделался обителью разврата и кровопролития, и бедное младенчество Ивана Васильевича окружено было гибельными уроками и еще более гибельными примерами всех пороков. Так возрастал будущий правитель России: душа страстная, но развращенная с детства; ум необычайный, но, к несчастью, не освещенный знанием обязанностей человеческих. Так достиг он юношеского возраста и вступил в правление государством. Народ, утомленный крамолами бояр и негодующий на унижение России в последние годы их правления, встретил с радостною

надеждою своего молодого царя, одаренного красотою и величием, редкими способностями к делу государственному и удивительным красноречием, которого доказательства сохранились для потомства в его письмах; но надежды скоро обратились в уныние. Россия наполнилась слухом о жестоких казнях. Москва была облита кровью невинных жертв и приведена в ужас буйным развратом своего царя. Иван Васильевич начинал то страшное царствование, которое в продолжение нескольких десятков лет устрашало современников и губило в бесплодных страданиях силы государства.

Вдруг прошла радостная весть: «Грозный царь переменился».

Послушный до конца народ русский не только не восставал против государя, верховного правителя и представителя народного единства, но еще сознавал в себе высший долг,— долг любви. Царю-правителю обязан он был повиновением, царю-человеку — правдою; и во имя правды и любви христианской шли к царям люди русские, принося к ним стон народа и голос праведного обличения. Палачи окружали дворец, палачи ждали их во дворце, но они вступали спокойно, помолившись богу и приготовившись к расставанию с жизнью: мученическая жертва, жертва любви народа к государю. Большая часть из них погибла; иные спасли других невинных или целые области (как, напр<имер>, юродивый Саллос во Пскове).

Одним из первых обличителей, и самым счастливым, был Сильвестр: его самопожертвование дало несколько лет славы и благоденствия России.

Москва цепенела в ужасе перед свирепостью и буйством молодого царя Ивана Васильевича, и вдруг поразил ее новый ужас — бедствие неожиданное, кара божия, по мнению современников. Весною, в 1547 году, сгорела большая часть Китай-города, с гостиными казенными дворами, с богатыми лавками и множеством домов, от Ильинских ворот до Кремля и Москвы-реки; высокая башня, в которой хранился порох, взлетела на воздух, и часть городской стены упала в реку и запрудила ее. Через несколько дней все Заяузье было обращено в пепел; через два месяца, в начале лета, во время бури вспыхнул огонь на Арбате, быстро охватил Пречистенку и так называемое Черторье до Москвы-реки, перекинулся через высокую стену Кремля и охватил весь Кремль, потом неудержимо разлился по всем его окрестностям, захватывая все улицы до Яузы и до самого Всполья. Пламенный поток обнял гибнущую Москву; люди не успевали спасаться из домов

своих: быстрота пламени обгоняла их бегство и захватывала все дороги. Москва пылала как огромный костер, в котором стоны умирающих были заглушены воем бури, треском огня и громом взрывающихся пороховых запасов. Церкви, соборы, царские дворцы, каменные палаты исчезали в огненном вихре так же быстро, как деревянные хижины. Все гибло: древние памятники письменности, сокровища частных людей, богатые оружия, царская казна, святые иконы и даже мощи угодников. В ужасе бежал народ, скрываясь в окрестные леса; в ужасе бежал царь в свой загородный дворец в селе Воробьеве. Пожар потух, в погибнувшей Москве дымились развалины. Чернь, раздраженная несчастьем, искала и убивала мнимых зажигателей; власти духовные и светские молчали, окованные трепетом минувшей грозы. Тогда в Воробьевский дворец к грозному царю пришел священник, родом новгородец, именем Сильвестр, и обличил его словом правды и Писания, обличил его в преступлении и разврате, в нарушении законов божеских и человеческих, устрашил его гневом небесным и призвал к покаянию. Царь, внимая словам боголюбивого человека, словам любви и самопожертвования, увидел всю черноту своей жизни, ужаснулся самого себя, заплакал от глубины сердца и покаялся. Воля божия отсрочила на несколько лет будущее бедствие России.

Первым душевным движением Ивана Васильевича было отвращение от самого себя, вторым — негодование на раболепствующий двор, окруживший его сетями лести и неправды. Он искал для будущих своих чистых подвигов нового, чистого орудия; он искал человека, который бы сочувствовал с покаявшимся царем, так как другие царедворцы сочувствовали царю страстному и злому,— и он нашел его. Таков общий нравственный закон сочувствия людей между собою в добре и зле. Новый добрый советник для будущих подвигов добра, выбранный государем в толпе молодых сановников, принадлежал к роду неименитому и не был еще облечен в высокое звание. То был вечно памятный Алексей Феодорович Адашев.

Иван Васильевич вступил в новое поприще с тою же пылкостью, с которою он и прежде и после предавался дурным страстям. Его покаяние было всенародно, торжественно; оно совершилось на Лобном месте, в виду изумленной и обрадованной Москвы. Он просил прощения в прежних своих беззаконных делах, обвиняя в них,— и не без причины,— разврат двора, в котором он был воспитан; он обещал быть царем правды и мира и увещевал своих подданных, дабы и они, подобно ему, изменили злость сердец своих и полюбили

друг друга любовью христианского братства. В тот же день поручил он Адашеву разбор челобитных и сказал ему во всеуслышание: «Алексей! Я слышал о твоих добрых делах и взял тебя, человека молодого и нищего, и возвысил тебя на помощь душе моей. Ты не желал этого сана, но я пожелал тебя иметь, и не тебя только, но и других таких же, которые бы утолили печаль мою и призрели людей моих, богом мне врученных. Поручаю тебе принимать и разбирать челобитные от бедных и угнетенных. Не бойся сильных и славных — губителей немощи и бедности; не верь и ложным слезам и клеветам бедного, когда он будет обращать твое сострадание в орудие неправды. Все испытывай и приноси нам истину, страшася суда божиего».

Вскоре увидела Россия плоды советов Сильвестра и Адашева: злые вельможи были удалены и заменены лучшими, состав Думы царской был изменен, злоупотребление власти обуздано. Вслед за тем приступил царь к делу великому — к собранию и приведению в порядок государственных законов. Трудами мудрых советников, под надзором умного царя, составлен был Судебник — прекрасный памятник нашего древнего права, свод узаконений и судебных обычаев русской земли. Изменений было сделано немного, и то самых необходимых. Уважена была святыня старины, и мудрость прошедших веков, и неприкосновенность народного обычая, всегда возникающего из народной жизни. Но, кончив великий труд свой, Иван Васильевич отдал на суд избранным людям земли русской собрание законов, назначенных для нее, дабы таким образом утвердились и полнейшее разумение права, и полнейшее согласие между народом и царем. В Москве был созван собор знаменитейших людей из чина светского и духовного; Судебник был ими рассмотрен и утвержден. Государю полюбился голос народа, и новые уставные грамоты дали всем городам и волостям право избирать старост, целовальников или присяжных для суда по делам гражданским и уголовным вместе с царскими наместниками. В то же время земская исправа была поручена сотским и пятидесятникам, избранным также вольным выбором сельской общины. Так был восстановлен древний русский обычай, в то время измененный почти везде, за исключением Пскова и широкой области Новгородской.

И после этого собора не раз государями русскими, Иваном Васильевичем и его преемниками, созывалися выборные люди от русской земли в Земскую Думу, или в Земский Великий Собор,— для обсуждения самых важных дел по законодатель-

ству или по сношениям с иностранными державами. В этих Земских Думах, или Соборах, участвовали все чины, от высшего духовенства и боярства до мещан и людей посадских. И все чины пользовались равными правами, хотя и неравным почетом; приговор полагался единодушно, но писался от каждого чина особенно и утверждался подписями также по чинам. Возможность такого единодушия, удивительная по теперешним понятиям, объясняется весьма просто из тогдашнего быта. Основою мнения были не личные, шаткие и произвольные понятия, естественно склонные к разногласию, но древний обычай, который один для всех русских, и прямой закон божественный, который один для всех православных.

Земская Дума не имела никакой власти и была только выражением народного смысла, призванного на совет государем; по этому самому она не только не могла произвести никакого раздвоения власти, но утверждала ее, связуя воедино волю государя с обычаем и нравственным чувством народа. Когда после смерти Годунова наступили бедствия России, ни Самозванец, ни Шуйский, избранный противозаконно, не смели стать лицом к лицу с Земскою Думою; а во время сиротства государственного она отдала снова всю власть, в которую временно была облечена, новоизбранному царю Михаилу Феодоровичу Романову; и он, и его преемники любили совещаться с нею, скрепляя государственную силу любовью и смыслом народа. Так надобно понимать значение Земских Соборов, дабы яснее разуметь и пользу, принесенную ими, и многие явления древней русской истории.

После Земской думы и собрания светских законов в Судебнике Иван Васильевич Грозный созвал и собор духовных лиц, дабы привести в порядок некоторые церковные постановления, истребить некоторые остатки язычества и устранить случайно вкравшееся злоупотребление. Собор этот известен под именем Стоглавого, по числу статей, им утвержденных.

Таковы были первые плоды советов Сильвестра и Адашева: мир и тишина в государстве, кротость в правлении, усовершенствование законов и любовь народа. Но царю и его советникам известно было, что на поприще науки и вещественного просвещения Россия отстала далеко от государств западных. Иоанн понимал необходимость науки и потребовал из чуждых земель учителей для своей России. К несчастью, вражда соседей, поляков, ливонцев и шведов, полагала преграду благим намерениям царя: они останавливали и заключали в темницы иностранцев, отправлявшихся в Россию по его призыву, ибо понимали уже всю силу России и, в прес-

тупном себялюбии, думали оградить себя от будущей опасности, удерживая в невольном невежестве русских людей, просящих просвещения и науки. Все эти завистливые соседи получили впоследствии наказание свое. Первая же изо всех была наказана, еще при царе Иване Васильевиче, Ливония, дерзко нарушавшая народное право и нравственную обязанность. Благие намерения Иоанновы встретили преграду, почти непреодолимую, и весьма немногие из ученых людей могли проникнуть в Россию; но, к чести советников Иоанна, не должно забывать, что самое живое и ревностное стремление его к просвещению выказалось в то время, когда иерей Сильвестр руководил всеми его делами.

Много было сделано для внутреннего устройства России. Надобно еще было обезопасить ее пределы от внешних неприятелей. С северо-запада Швеция делала частые нападения на область Новогородскую; с запада немецкие рыцари, овладевшие берегами Балтийского моря, беспокоили и теснили Россию, не уважая ни святости договоров, ни обязанностей своих в отношении к мирному соседу. Польша и присоединенная к ней Литва беспрестанно грозили войною, отказывая русскому государю в царском имени и изъявляя неправые притязания на коренные области русские; наконец, с северо-востока, востока и юга кочевые и полукочевые царства татарские опустошали беспрестанными набегами или погромами бóльшую и лучшую половину России, разоряя самые окрестности Москвы, обращая города и села в пепел и уводя несчастных жителей в жестокое рабство. С этой стороны была величайшая опасность, следовательно, туда должны были быть обращены первые удары новой русской силы.

В конце XII столетия в средине Азии племена монголов (того самого народа, которого мы называем калмыками) окрепли и соединились в могучий союз под предводительством Темуджина, иначе называемого Чингисханом. Этот грозный завоеватель покорил почти всю Азию и основал недолговечное, но, бесспорно, самое обширное изо всех царств, которые когда-либо упоминались в истории. Вскоре после его смерти преемники его завоевали всю Россию, кроме ее северных областей (Новгорода и Пскова), опустошили большую часть Польши и разгромили Венгрию. С тех пор, в продолжение двух веков, Россия стонала под игом монголов и платила им тяжелую дань. Впрочем, действительно войско, покорившее и разграбившее Россию, состояло не из монголов. Из монголов были только предводители и часть отборной дружины; войско же состояло из турок, побежденных и увлеченных потоком мон-

гольских (т. е. калмыцких) племен. Русские же называли своих победителей не монголами, по имени властвующей семьи, и не турками, по имени народа, из которого составлено было войско, но татарами, по имени небольшого племени татаев, татаней или татар,— некогда жившего на границе Китая, потом захваченного в общем движении монголов на запад и случайно составившего их передовой отряд, во время нашествия на Россию. Эта ошибка в имени народа, который властвовал так долго в нашем отечестве и до сих пор в нем живет, доказывает, как осторожно надобно судить о действительном составе какого бы то ни было племени по имени, под которым оно является в истории, и как трудно исправить какую бы то ни было ошибку, вкравшуюся случайно в язык или обычай народный.

Россия была покорена и опустошена; племена, жившие по Волге, Дону, Кавказу и берегам Черного моря, были прогнаны, истреблены или обращены в рабство; на их месте в опустелой земле поселились победители — турки, известные русским под именем татар. Царство монгольское распалось на части; из его обломков в юго-восточной России составилось новое татарское царство, которому долго платили дань наши великие князья. Наконец и оно распалось; Россия освободилась от ига, но продолжала страдать от уцелевших остатков прежней татарской силы. На юге было сильное царство татар крымских, которые беспрестанными набегами опустошали всю область Орловскую и Курскую и нередко насылали свои многочисленные дружины на Калугу, Тулу, Рязань и на самые окрестности Москвы. На восток от крымских татар кочевали ногайцы, опустошавшие всю область придонскую; наконец, на северо-востоке основано было другое царство, от которого Россия еще более страдала, чем от своих южных неприятелей.

На берегах Волги некогда жило племя славянское, однокровное нам русским, мужественное и торговое племя болгар приволжских*. Большая часть этих болгар в течение VI и VII века после Р<ождества> Х<ристова> переселилась на Дунай, где они и теперь живут в числе нескольких миллионов. Те, которые осталися на старых жилищах, были побеждены и порабощены новыми пришельцами из Азии, воинственными семьями финно-турецкого корня, составлявшими союз уйгуров. Победители приняли от побежденных, вместе с

* Этот взгляд на историю Приволжья основан на сличении свидетельств европейских и азиатских писателей и согласен с догадкою Венелина, открывшего у нас новую эпоху для исторической критики.

именем болгар, многие обычаи и склонность к торговле, сохраняя, впрочем, воинственный характер и память о своей победе над славянами; ибо называли себя владыками саклабов (т. е. славян). Русским князьям пришлось бороться с этими новыми беспокойными соседями. После продолжительной войны Россия стала одолевать неприятелей, и так называемая Великая Болгария приходила в упадок. Чингисхановы татары докончили дело, начатое русскими, и приволжская Болгария исчезла с лица земли. В опустелой земле погибли почти все города, прекратилась торговля, и племена кочевых грабителей раскинулись широко и привольно по всем берегам Волги.

Наконец, и татары стали мало-помалу привыкать к торговле, и в начале XV столетия ордынские выходцы возобновили старый болгарский город Казань — на торговом перепутье, недалеко от развалин города болгар. Так началось новое царство, гибельное для России, по дикому нраву жителей и по близости его к самому средоточию государства русского в Москве. Много страдала Россия от Казанского царства: беспрестанно опустошаемы были берега Волги, окрестности Нижнего Новгорода, земля муромская, окрестности Владимира и нередко самая область Московская. В двухстах верстах от столицы крестьяне не смели выстроить себе удобного жилища, не смели надеяться собрать в житницы свои плоды своих полей: всякий день могла налететь татарская дружина, потоптать жатвы, испепелить деревни. Вся жизнь поселян проходила в тревоге, в войне, в беде. Русские князья терпели или откупались от нее деньгами. Но между тем Россия крепла. Дед царя Ивана Васильевича, великий князь Иван Васильевич III, властитель великий и строгий, утвердив навсегда первенство Москвы над остальными русскими городами, распространил далеко пределы государства. Он прекратил набеги казанцев, отнял у них значительную часть их области, обогнул Казанское царство, завоевав далеко на север Югорскую землю и часть теперешней северо-западной Сибири. Наконец, нанес он тяжелый удар самой Казани и наложил на нее временную дань и иго русской власти. В последствии казанцы снова освободились и возобновили свои нападения. Во время малолетства царя Ивана Васильевича и крамол боярских беспрестанные нашествия татар и их подручников черемисов обратили в пустыни все области, пограничные с Казанью, и это бедствие продолжалось еще тогда, когда молодой государь вступил уже во все свои царские права. Надобно было наказать безумие Казани, не знавшей ни бессилия своего,

ни силы России, ни святости договоров, ни взаимных обязанностей государств. Надобно было навек освободиться от вечно возобновляемого бедствия. Иван Васильевич и его добрые советники решились на великий подвиг войны.

Первый поход, предпринятый зимою, не имел успеха; второй, совершенный тоже зимою, в 1550 году, навел страх на Казань, и войска русские стояли под ее стенами; но и в этот раз быстрая перемена погоды принудила их к отступлению. При всем том в близком расстоянии от враждебной столицы основана была крепость Свияжск, на высокой горе, в месте, которое избрал верный взгляд самого Ивана Васильевича,— и стесненная Казань предузнала свое падение. В скором времени покорились России прежние подданные царства Казанского — чуваши, мордва и храбрые черемисы, народы племени финского, давно уже покоренные татарами. Испуганные казанцы, в то время управляемые царем малолетним, под опекою матери его Сюмбеки, и измученные внутренними мятежами, просили мира и обещали покорность. Царь Иван Васильевич дал им нового царя Шигалея, князя казанского, давно уже служившего в России. Новые завоевания по нагорной стороне Волги осталися в руках победителей; множество русских пленных было освобождено и возвращено в свое отечество; но этот мир был непродолжителен: казанцы выгнали своего царя, возмутились и возвели на престол Астраханского царевича Эдигер-Махмета. Война началась снова. В Свияжске свирепствовали болезни; войско и воеводы, которые стерегли Казань, предавались беспечности и разврату. Недавно покоренные жители горной стороны изменяли и нападали на русские отряды; ободренные казанцы в легких сшибках одерживали нередкие победы и новыми набегами уже начинали тревожить русскую границу. Следовало нанести решительный и окончательный удар. Новые воеводы были отправлены в Свияжск, прежние сменены; войско, стоящее около Свияжска, получило строгий выговор от царя и строгое наставление от московского духовенства. Отовсюду была собрана многочисленная рать на берегах Оки и Волги. Давно уже не видала Россия такого ополчения; весело стекалося войско к знаменам царя любимого, к делу войны законной и неизбежной. Но и Казань была не без союзников: в ее падении предвидели южные татары и свое будущее бедствие. Сперва ногайцы сделали нападение на область Рязанскую, но их дружины были разбиты и почти уничтожены царскими воеводами. Потом, когда должен был начаться поход против Казани, явилось на южной границе России многочисленное войско крым-

ских татар, усиленных отрядами янычар, присланных султаном. Хан крымский Девлет-Гирей, человек предприимчивый и смелый, вел эти полчища на Тулу, опустошая и разрушая все на своем пути. В Туле не было ратных людей, потому что она отправила всех своих ратников на службу государю, в поход Казанский; немногочисленно было и войско царское под Москвою, потому что главная рать уже была далеко на берегах Клязьмы и Свияги. Но тульские жители стали бодро на защиту своего города и отбили крымцев и янычар — тогдашнюю грозу всей Европы; а войско, собранное под Москвою, состоявшее из отборных детей боярских, из дворян, жильцов и всегда мужественных новгородцев, шло, по словам современников, на битву, как на потеху. Хан отступил, но русские настигли его и блистательною победою наказали за дерзкий набег.

Торжествующее войско шло на Казань. Труден был летний поход чрез области, перерезанные широкими реками, топкими болотами, непроходимыми лесами; но все войско русское, так же как и вся Россия, было исполнено надежд и любви. Воеводы служили всею душою царю, кроткому и справедливому; царь верил воеводам и войску; все препятствия были побеждены легко, все лишения перенесены охотно. Русские стали на последний бой перед стенами Казани; осада была кровопролитна. Татары не посрамили своей старой славы, приобретенной целым рядом побед и завоеваний: каждый шаг земли был куплен жестокою битвою, каждый день ознаменован отчаянною борьбою между народом, отстаивающим свою свободу, и народом, мстящим за долгие обиды и страдания. Казанцы не сдавались, а умирали с оружием в руке, и даже в последний час, когда уже пали стены и часть города была занята, они порывом отчаянной храбрости едва не вырвали победы из рук русского войска. Мужество отборной дружины и старых воевод, окружающих царя, решило участь сражения: пала Казань и ее царство.

Широко на восток раскинулась Россия, и через шестьдесят лет область, завоеванная Иваном Васильевичем в дни, когда он внимал доброму совету, спасала Москву и Россию. Царь был смиренен в победе, воздавая за нее хвалу богу; ласков к своим воинам, благодаря их за кровавый подвиг; милостив к побежденным, принимая живых под свое покровительство, сожалея о павших казанцах, как о людях, не знавших христианства, но созданных богом для братства человеческого. Подвиг войны был велик, торжество милосердно.

Через несколько месяцев после взятия Казани царь Иван

Васильевич заболел сильною горячкою. Болезнь была опасна, надежды на исцеление мало. Народ плакал о великом царе, но при дворе были смуты и почти явные мятежи. Царь завещал престол своему малолетнему сыну, но многие бояре отказывались от присяги и прочили царство близкому родственнику царскому — князю Владимиру Андреевичу. Иван Васильевич приказывал, просил со слезами, но его приказания и просьбы были бесполезны. Упрямство бояр и их мнимая неблагодарность к великому государю, недавно еще возвеличившему Россию законами и победами, были нередко предметом осуждения; но это осуждение едва ли справедливо. Со времени великого князя Святослава Игоревича первым малолетним государем на русском престоле был Иван Васильевич, и в дни его младенчества Россия много натерпелась унижения и беды. Этот опыт заставлял всех бояться новых боярских крамол при новом царе-младенце. Самое право царского сына на престол отца (несомненное для нас) казалося сомнительным, по понятиям тогдашнего времени. По древнему обычаю дома Рюрикова престол великокняжеский переходил не от отца к сыну, но от умершего великого князя к старшему из его родственников, и этот обычай был только отстранен частными договорами, а не отменен коренным законом. Еще при деде царя Ивана Васильевича, великом князе Иване Васильевиче III, порядок престолонаследия был несколько раз нарушен; следовательно, он не мог еще обратиться в священный обычай и быть вполне обязательным для совести бояр. Отказываясь от присяги, они поступали откровенно и добросовестно, хотя и ошибались в понятиях своих о пользе государственной. Так думал и царь Иван Васильевич, когда неожиданно выздоровел от тяжкой болезни. Он не мстил и не наказывал: он понимал разницу между злонамеренностью и ошибкою. Быть может, память об ослушании боярском и о правах князя Владимира Андреевича на престол подали ему повод к казням в то время, когда рассвирепевшие страсти его стали искать уже не причин, а предлога для жестокости; но мы не имеем никакого права обвинять его в лицемерии после выздоровления.

Царь Иван Васильевич, получив исцеление, пожелал выразить свою благодарность богу поклонением в монастыре святого Кирилла Белозерского. Во время этого путешествия (от которого бесполезно отговаривали его добрые советники и богоугодные люди, особенно же известный Максим Грек, муж святой, исправитель переводов Священного писания на славянский язык) царь пожелал видеться с коло-

менским епископом Вассияном Топорковым. Вассиян был некогда любимцем Василья Ивановича, но боярами был лишен епархии за лукавство и жестокосердие. Иван Васильевич просил его советов, и злой советник отца был злым советником для сына. Он сказал ему: «Если хочешь быть царем, то не держи советников умнее себя»,— и царь благодарил его за ядовитый совет, как будто бы слава советника не есть слава государя, ему внимающего, или как будто цари царствуют для своей славы, а не для счастья народа и для исполнения закона божиего. Свидание с Вассияном было, без сомнения, бедствием для Ивана Васильевича, но влияние злого совета оказалось не скоро.

В недавно покоренной области Казанской беспрестанно вспыхивали бунты на луговой стороне Волги; туда было послано войско с добрыми воеводами, князем Микулинским, Шереметевым, князем Курбским и Даниилом Феодоровичем Адашевым, братом любимца государева. Успехи оправдали царский выбор, и, после мужественного сопротивления, черемисы покорились навсегда. В Казани было учреждено архиепископство, и первый ее святитель Гурий, причисленный впоследствии к лику угодников, наполнил славою своих христианских добродетелей область, недавно прославленную великими подвигами военными.

На устье Волги был некогда город казарский, называемый Атель или Балангиар. В XIII веке он принадлежал другому племени и назывался Сумеркентом; впоследствии принадлежал татарам Золотой Орды и назывался, по нашим летописям, Астороканью; после падения Золотой Орды он сделался столицею особенных ханов из рода князей ногайских. При царе Иване Васильевиче неосторожный хан, обольщенный обещаниями султана и крымского хана Девлет-Гирея, оскорбил и заключил в темницу московского посла. Наказание последовало за оскорблением. В 1554 году была взята Астрахань, и новый хан возведен на место прежнего. Вскоре изменил и этот новый владыка, поставленный Россиею, и в 1557 году Астрахань была навсегда присоединена к царству Московскому. Завоевание было легкое (как и старая народная песнь говорит о царе Иване Васильевиче:

«Казань-город на славу взял,
Мимоходом город Астрахань»).

Но слава была велика. Россия взяла себе всю Волгу, охватила царства магометанские и подала руку своим единоверцам, христианам в Грузии и на скатах Кавказа.

Еще прежде завоевания двух татарских царств приобрел Иван Васильевич без войны новую силу, которая впоследствии верно служила его преемникам и бодро стояла в сражениях за святую Русь. Народы славянские вообще были народами мирными, или хлебопашцами, или торговцами; они не искали и не любили войны. Но их часто беспокоили воинственные соседи, и по границам земель славянских, вообще называемым Крайнами или Украйнами, селилися выходцы из славянских общин, удальцы, предпочитавшие войну мирному быту и охранявшие братьев от нашествия иноплеменного. Это явление принадлежало, собственно, только миру славянскому и повторялось почти на всех его пределах. В России воинственные защитники ее от татар приняли татарское же название казаков. Много было казаческих обществ по всей Южной Украйне, и все они были независимы, и все имели одну только цель — стоять за землю христианскую против мусульман и татар. Главные общины были на Днепре и на Дону: днепровские присоединились к Польше; донские, видя возрастающую Россию и славу ее царя, признали над собою ее верховную власть и с 1549 года, служа Ивану Васильевичу, стали подаваться все более и более на юг, завладели почти всем течением донским, громили ногаев, крымцев и даже турок и строили русские крепости на самых берегах Азовского моря, в стране, которая до тех пор считалась принадлежностью Оттоманской империи.

Громко стало имя России на Востоке: далекие земли Бохарская и Хивинская просили ее дружбы, Грузия и земли закавказские просили покровительства; ногайцы, смиряясь, обещали покорность; племена черкесские вступали к ней в подданство и просили священников для утверждения у себя слабеющего христианства; западная Сибирь присылала ей дани; гордый султан, самый могущественнейший изо всех современных государей, посылал к Ивану Васильевичу дружелюбные грамоты, писанные золотыми буквами, прося о мире и любви. Один только Крым еще грозил России. Побежденный Девлет-Гирей возобновил набеги, снова доходил до Тулы и снова бежал при слухе о намерении русских отрезать ему обратный путь. Вскоре и русские показались на границах Крыма. Ржевский взял несколько крепостей на берегу Черного моря. Князья черкесские, вступившие в подданство России, захватили Тамань и другие крепости на берегу Азовского моря; литовец князь Вишневецкий, вступивший в службу к царю-победителю, громил с казаками крымские и ногайские кочевья; наконец, Даниил Феодорович Адашев, бо-

лее всех других счастливый и отважный, построив корабли на низовьях Днепра, пристал к берегам самого Крыма и, в продолжение двух недель, опустошал села и города, обогатившиеся разбоем и набегами на Польшу и Россию. Его дружина была слишком малочисленна для завоевания, и он отступил, но отступил с добычею и славою победы. Крым в первый раз увидел над собою кару России; он дрожал, предчувствуя близкую гибель; Россия радовалась в ожидании законного и праведного торжества. Но другие заботы обратили внимание царя Ивана Васильевича на Запад и отсрочили надолго падение Крымского царства.

По мере возрастания России возрастала и зависть соседних держав. Ее завоевания были законны, ибо были только следствием законной обороны. Области, ею приобретенные, были отняты у народов магометанских, против которых беспрестанно проповедовалась война в Западной Европе. Казалось бы, и западным соседям России не следовало скорбеть об ее торжествах, но не так было на самом деле. Все они помнили, что воспользовались ее бедствиями во время татарского ига для того, чтобы похитить ее старые и лучшие области; все чувствовали, что были против ее виноваты, и ненавидели ее, боясь справедливого мщения или повинуясь общему закону, по которому ненависть обидчика против обиженного растет по мере того, как растет обида. Народ, так же как и каждый человек, наказывается своими же грехами.

В 1553 году Англия, окрепшая под державой рода Тюдоров и вступившая при них в то поприще всемирной торговли, на котором она дошла в наше время до высоты беспримерной в истории рода человеческого, захотела вступить в прямые сношения с Россиею и получить от нее товар, который до тех пор переходил в Европу через руки ливонцев и шведов. Берега Балтийского моря еще не принадлежали России; к ней был только один свободный доступ — через моря Ледовитое и Белое. Туда обратились англичане, и предприятие их увенчалось успехом. Начался торговый размен, выгодный для обоих государств; начались между правительствами сношения, исполненные дружелюбия и искреннего доброжелательства. Радушно принималися в России английские купцы, радушно и почетно приветствованы были английские посланники; еще с бóльшими почестями принималися в Англии посланники России. Так подали друг другу руки два великие народа, назначенные провидением занять высшее место в обществе всех народов. Так распространялась до Темзы и до западной оконечности Европы рус-

ская торговля, проникавшая в то же время до внутренней Азии и до горных преград, опоясывающих Индию с севера. Примеру Англии последовали голландцы и купцы брабантские.

Напрасно старалась Ливония преградить пути сообщений между Россиею и остальной Европою; напрасно Швеция просила англичан прекратить торговлю, увеличивающую богатства земли московской: Англия не хотела быть орудием чужих страстей. Не получив успеха посредством переговоров, Швеция прибегла к оружию. Ею правил государь великий и мудрый, ее освободитель от датчан, Густав Ваза. Он не хотел войны, но послушался дурных советов и опрометчивой храбрости своих богатых дворян. Недолго продолжалась война: скоро узнала Швеция свое бессилие и силу своего мирного соседа; побежденная и наказанная, она смирилась. Царь Иван Васильевич не требовал распространения государства; он утвердил прежние границы, но шведы были принуждены отпустить даром русских пленников, а своих выкупить, и король, получив строгий урок и выслушав строгий выговор, согласился уже не требовать прямых сношений с царем Москвы и всея Руси, а довольствоваться сношениями с наместником новогородским. Скоро кончилась война Шведская, но вслед за нею загорелась другая, более важная.

Издревле жили на берегах Балтийского моря мелкие племена финские и латышские, погруженные в невежество и идолопоклонство. В XI и XII веках священники русские уже начинали распространять между ними учение веры Христовой; но успехи были медленны и неудовлетворительны. Духовенство римско-католическое испросило у русских князей позволение содействовать благому делу, обращению идолопоклонников в христианскую веру, и русские князья согласились, разумея святость христианской обязанности. Но народы Западной церкви не всегда понимали проповедь христианскую так же, как и народы православные. Вместе с проповедниками, в начале XIII века, явилися и войны. То было страшное время в истории человечества, по ужасным войнам, опустошавшим мир, по ужасным преступлениям, совершаемым во имя Христово. Воинственное дворянство Запада (в то время называемое рыцарством) не всегда уважало обязанности человека и христианина, но всегда вменяла себе в обязанность распространять христианство по всей земле. Орудием была у него не проповедь слова и любви, данная Христом своим апостолам, но меч, оставленный древним Римом новому Риму. Рыцари считали себя вправе нападать на все народы языческие, магометанские и даже православные: резать, если защи-

щались, обращать в рабство, если покорялись. Войною, грабежом, убийством и насилием думали они служить богу милосердия и любви и, по ложному верованию, полагали прикрыть все свои грехи черным грехом убийства и порабощения своих братий. Епископ римский (папа), глава Западной церкви, одобрял, благословлял их и обещал им царство небесное. Эти вооруженные проповедники, называвщие себя крестоносцами, известные нам под именем крыжаков, завоевали север Германии и пришли завоевать берега Балтийского моря от Пруссии до устьев Невы. Племена финские и латышские были слишком слабы для сопротивления, а Россия порабощена монголами. Ужасны были страдания прибалтийской области, невероятны корыстолюбие и злоба крыжаков; но они были мужественны, привычны к войне и с головы до ног закованы в железные латы, и успех увенчал их беззаконное дело. Финны и латыши были или перерезаны, или обращены в рабство, и немецкие рыцари основали новое независимое государство. Правителями были немцы-завоеватели; народ состоял из побежденных финнов и латышей, но Европа признавала эту землю землею немецкою. Впоследствии она покорена была Россиею и вошла в состав Русского государства. Еще немногие знают, что собственно немцев в наших Остзейских губерниях весьма мало, не более чем русских, и что все народонаселение состоит из народа, не знающего немецкого языка. Вскоре после завоевания прибережного края рыцари, пользуясь несчастьями России, напали на ее пределы. Много из старых областей было ими покорено, много городов взято и переименовано в немецкие имена (напр<имер>, старый русский Юрьев назван Дерптом). Не без труда отбились Псков и область Новогородская. Но мало-помалу ослаб в рыцарях дух воинственный, и русские стали оттеснять их и наказывать за прежние обиды. Многие князья русские, особенно Александр Невский, князь мужественный и святой, прославились победами над ливонскими рыцарями. Наконец, дед царя Ивана Васильевича, победитель Казани, смирил гордость рыцарства и наложил на него дань в 1503 году. С тех пор уже не смело оно подымать руки против России, но и не скрывало своей глубокой ненависти, не исполняло договоров и безрассудно оскорбляло государство, которого величью завидовало. Последним оскорблением было заключение в темницу мирных путешественников, ученых, призванных из Германии царем Иваном Васильевичем. Казнь последовала за преступлением, и началась война, которая положила конец и независимости

ордена ливонских рыцарей, и самому его существованию.

Не все советники царские соглашались в пользе или в необходимости Ливонской войны. Многие полагали, что надобно воспользоваться удобным временем и уничтожить крымских грабителей, так же как уничтожили Казань. <...> Царь Иван Васильевич не послушался своих советников, боясь, может быть, нападением на Крым раздражить султана или надеясь приобрести бóльшую славу и бóльшую пользу завоеваниями на Западе, или чувствуя слишком глубоко обиды, наносимые беспрестанно Ливониею русской земле. Последствия оправдали совет, данный Сильвестром и Адашевым. Крымские татары через несколько лет опустошили Россию и сожгли Москву, а война Ливонская, начатая с кротостью и славою, продолженная с безрассудною жестокостью, кончилась величайшими бедствиями и стыдом.

За всем тем не только русские, но и иностранцы признавали справедливым наказание ливонского ордена, не исполнявшего мирных условий и нарушавшего самые простые и ясные обязанности в отношении к России. Иван Васильевич объявил войну. Ливонские рыцари, утратившие мужество своих предков и сохранившие от них только спесь, привычки к буйной жизни и враждебное презрение к покоренному народу, испугались и смирились. Они просили пощады и получили ее. Царь даровал им мир на условиях неотяготительных. Едва прощенные, они нарушили снова условия мира. Русские полки вступили в область Ливонскую, уже не для наказания, а для завоевания. Город за городом падал в их руки, победа за победою венчала их подвиги. Орден снова просил мира, получил перемирие и нагло нарушил святость договора, надеясь на покровительство польского короля. Но ни Польша, ни Швеция, ни император германский не могли своим заступничеством спасти виновных ливонцев. В последний раз орден рыцарский вступил в борьбу с Россиею, но борьба эта была уже невозможна. Бóльшая часть ливонской земли была покорена русскими; некоторые северные округи захвачены шведами и датчанами, которые рады были воспользоваться падением ордена и победами России; вся остальная область, видя неминуемую гибель, отдалась во власть короля польского и литовского и отказалась навсегда от своей свободы. Но совершенное падение ливонского ордена произошло в 1561 году; а за год ранее, в 1560, Россию постигло бедствие, за которым последовал длинный ряд несказанных страданий и унижений.

Семена зла, посеянные в душе царя воспитанием и злы-

ми примерами, окружавшими его детство, принесли ужасные плоды. Едва вступив в царские права, он уже показал, каково должно было быть его царствование. Брак его с прекрасною и кроткою Анастасиею из рода Захарьиных-Юрьевых или Романовых не мог его укротить. Россию спасло на время самопожертвование Сильвестра и выбор Адашева в ближние царские советники. Казалось, царь переменился. Кроток и милостив, незлопамятен, немстителен, правдолюбив, враг всякой неправды, правосуден к боярам и отец для своего народа,— таков был Иван Васильевич в продолжение 13 лет; и было на России благословение божие, и глубокая, искренняя, несказанная любовь народа платила царю за его добрые дела. Но душа царя не переменилась; его видимая перемена была только невольным обманом, следствием сильного потрясения, когда, еще будучи молодой и пылкий, он был поражен ужасом от бедствий московского пожара, поражен страхом от слов Сильвестра, говорящего именем божиим, и исполнен удивления при виде его святого мужества. Царь Иван Васильевич не мог любить: чувство любви человеческой, любви христианской было ему незнакомо; его страсти были злы. Но он мог понять все великое, мог пленяться и пленился великим образом царя-благодетеля, который представился для него в словах Сильвестра, в советах Адашева; он покаялся, но не запросто, не как христианин, не как грешник, убитый своею совестью и плачущий перед богом в чувстве своего духовного унижения; нет — самое его покаяние, пышное и всенародное, было окружено блеском торжества. Так и в продолжение 13 лет благодетельствовал он России не потому, что любил добро, но потому, что понимал славу и, так сказать, художественную красоту добра на престоле. Он был, по его же словам, *пленником* не насилия, которого даже и предполагать нельзя, не обмана, который был невозможен при его великом уме, но пленником понятия о великом христианском венценосце, которое ему представляли Сильвестр и Адашев и от которого долго он не мог освободиться. А между тем кипели его злые страсти, подавленные, но неискорененные; кипела злость, которая стыдилась самой себя, а все просилась на волю; а советники не злые, но неразумные, не понимавшие его души и завидовавшие Сильвестру и Адашеву, наговаривали ему слова лести и недоверчивости к этим двум хранителям народного счастья. Прошло 13 лет беспримерного благополучия, беспримерного величия для русской земли, беспримерной борьбы и тяжелого напряжения для Сильвестра и Адашева. По-прежнему Сильвестр был простым

священником, не просящим ни почести, ни власти; по-прежнему Алексей Феодорович Адашев, хотя возведенный в звание окольничего[1], был бедным слугою русского царства, отдающим все богатство, полученное от царя, неимущим и страдающим братьям, омывающий своими руками раны десяти прокаженных, которым дом его служил приютом. Но борьба с миром утомила двух великих борцов, и, уступая зависти царедворцев, они думали, что привычка к добру будет управлять царем не хуже их благого совета. Весною 1560 года священник Сильвестр просился на покой и, благословив государя, заключился в пустынном монастыре на Севере; а Адашев, служивший так долго царю мирным советником, просился на службу ратную в справедливой войне против ливонских рыцарей. Но в пустыне Сильвестр блистал славою своих христианских и иноческих добродетелей, а Адашев приобрел славу военную и содействовал взятию грозной крепости Феллина[2].

В июне месяце 1560 года снова вспыхнул пожар в Москве, и бо́льшая часть ее снова сделалась жертвою пламени; много людей погибло в этом бедствии. Кроткая царица Анастасия, уже страдающая тяжкою болезнью, была вынесена из Кремля через пылающие улицы Москвы; но ее здоровье не устояло против этого потрясения, и 7 августа кончила она свою богоугодную жизнь. Так разорвана была последняя цепь, связывавшая Ивана Васильевича; так разрушилась святыня семейного счастья, в котором его бурная душа находила успокоение. Первым делом его было возвращение к прежней буйной жизни; вторым — допущение бесстыдной клеветы на Сильвестра и Адашева, будто отравителей царицы. Они просили очной ставки с обвинителями; митрополит Московский и лучшие царедворцы признали справедливость этого требования; но завистники отвергли просьбу, говоря, что Сильвестр и Адашев снова очаруют царя. Они знали силу христианского красноречия, против которого был беззащитен разум Ивана Васильевича, как ни восставали его дурные страсти. Сильвестр и Адашев не были допущены в Москву: первый был сослан в Соловецкий монастырь, второй заключен в темницу в Юрьеве (нынче Дерпте), еще недавно покоренном русскими войсками; оба, по воле божией, умерли в течение года и не видали страшных бедствий России. Ливония была снова отнята у русских Литвою и ее великим королем Стефаном Баторием. Царь должен был слушать униженно наглые ругательства литовских послов. Крымцы, недавно ожидавшие конечной гибели от России, разграбили и сожгли Москву;

Новогород, Тверь, Торжок, Коломна были опустошены царем так, как никогда не были опустошены неприятелем. Россия была полита кровью, бояре ее перерезаны, народ измучен, Москва лишилась трех четвертей своих обывателей, а все тот же державный государь сидел на престоле.

Если спросят: чем же разнились 13 лет, с 1547 до 1560 года, от последующих, с 1560 до 1584 года? Чем разнилось это время великих побед и великого счастья, время, которого никогда не забывала Россия, благословляя царя Ивана Васильевича, от последовавшей ужасной годины? Историческая правда отвечает одним: «Это время было временем доброго совета».

ЦАРЬ ФЕОДОР ИОАННОВИЧ

Царь Феодор Иоаннович взошел на престол в 1584 году, скончался в 1598 году, царствовал около 14 лет. Его имени вы не услышите никогда в числе великих государей, прославивших Россию; об его жизнеописании никто и не подумал. Но если Россия обязана помнить времена благополучия, данные ей богом, если она должна помнить царей, при которых процветала в счастье и тишине, она должна помнить царя Феодора Иоанновича.

Отец его был царь всей земли русской, Иван Васильевич IV, которого снисходительный суд потомства прозвал Грозным; иностранцы-современники называли его кровопийцею; русские молились богу, чтобы он переменил его сердце. Со временем вы узнаете подробности его царствования, годины испытания для России. У него был старший сын, такой же умный, как отец, и такой же неукротимый. Царь Иван Васильевич воспитывал старшего сына своего для царствования над Россиею; он учил его и наукам, и знанию государственной мудрости, и делу воинскому; но своим примером он учил его также разврату, необузданным страстям и жестокости. Видно, богу было неугодно, чтобы преемник грозного царя был ему подобен. Один раз пробудилось в сыне чувство сострадания к невинным жертвам гневного отца, и отец убил его в припадке бешенства, о котором сам после сожалел. Об сыне своем Феодоре Иоанновиче мало думал державный

отец; он не прочил его на царство, не видал в нем блистательных качеств, которыми сам гордился, и давал ему волю расти и воспитываться в уединении, если только может быть уединение при царском дворе и для царских детей. Феодор Иоаннович был слабого сложения, невелик ростом, в лице худ и бледен; не было ничего величественного в его наружности, ничего отличного в его уме (как в отце его, Иване Васильевиче); но в нем были другие качества, которые лучше красоты наружной и лучше самого блистательного разума,— качества более угодные богу и более полезные для государств и для народов. С детских лет слышал он про славу своего отца, про великие дела его полководцев, про завоевания, сделанные русским войском в далекой стороне, в родине прежних угнетателей России — турков и монголов (которых мы по ошибке обыкновенно называем татарами). С ранних лет видел он необыкновенный блеск двора государева и необыкновенную роскошь, которой дивились иностранные послы; но видел также беспрерывные жестокие казни, и проливание невинной крови, и все ужасы грозного царствования. От природы Феодор Иоаннович был кроток и добр; воспитание, в то время поручаемое в России людям духовного звания, просветило ум его знанием обязанностей христианина. Пышность и гордость отца научили его смирению, беспрестанные и отвратительные казни — незлобию, страдания народные — любви к народу. Шурином его был Борис Феодорович Годунов, человек ума необычайного, величественной и прекрасной наружности, просвещения редкого в тот век, души благородной и высокой. Любимый царем Иваном Васильевичем за великий разум государственный, он непричастен был ни порокам двора, ни злодеяниям кровавого царствования. Часто заступался он за невинных или своими добрыми советами умягчал крутой нрав государя, подвергаясь не только немилости, но и смерти: когда царь Иван Васильевич убил своего старшего сына, Борис Феодорович бросился спасать наследника престола и сам упал, покрытый ранами, на тело молодого царевича. Таков был родственник и друг Феодора Иоанновича, Борис Феодорович Годунов, о котором современные летописцы сказали, что он «был одарен от бога возрастом, и человечеством, и умом паче всех человек».

В 1584 году скончался царь Иван Васильевич, и Феодор Иоаннович взошел на престол. В то время Россия была не то, что теперь: она была далеко не так велика и не так населена, а соседи ее были гораздо сильнее и опаснее, чем теперь. Крым и степи придонские принадлежали татарам;

теперешние Белоруссия и Малороссия были захвачены Польшею; Финляндия принадлежала шведам. В начале царствования своего, когда еще он не предался страстям своим и не помрачил разума жестокосердием, царь Иван Васильевич Грозный много завоевал земель. Конечно, не похвала была бы государю, что он силой взял чужое и посылал свое войско разбивать и грабить мирных соседей (от такой похвалы избави бог Россию: она до сих пор воевала только поневоле); но царь Иван Васильевич должен был, по желанию народа своего и бояр своих, идти войною против царств татарских, давнишних грабителей русской земли. С помощью божиею царское войско, мужественно служа в правом деле, покорило Казань и Астрахань, доходило до самого Крыма, где гнездились сильные орды татарские, а казаки завоевали Восточную Сибирь под начальством Ермака. Берега Балтийского моря, некогда принадлежавшие России, давно уже перешли в руки немцев и составляли отдельную область, в которой государями были рыцари, пришедшие из разных частей Германии, а старожилы финские были рабами. Царь Иван Васильевич задумал и эту землю возвратить России, и то, что было задумано государем, было исполнено народом и боярами, любившими своего государя. Но сам царь Иван Васильевич в это время переменил свой нрав; завоевания были помрачены бесполезным и беззаконным кровопролитием, убиением пленных, пожарами и разграблением мирных сел и городов. За то и подвиг, начатый со славою, кончился бесчестием. Покуда государь губил своих верных подданных и своих честных слуг, бог призвал на престол польский великого государя, Стефана Батория, родом седмиградца[1], но славянина так же, как и мы, русские и поляки. Войска царя Ивана Васильевича были побеждены, завоевания его на берегах Балтийского моря отняты поляками, и многие города и земли, принадлежащие России, перешли в руки неприятеля. По восшествии своем на престол царь Феодор Иоаннович решился прекратить многолетнюю войну и дать покой и отдых своему государству. Он начал переговоры добрым делом, отпустив без выкупа пленных поляков и лифляндцев. Кротость его имела благодетельное влияние на неприятелей, и вскоре, когда умер король Баторий, было заключено на 15 лет перемирие, не бесчестное для России, утомленной войною и много пострадавшей не столько от оружия польского, сколько от недоверчивости царя к своим подданным.

Искренней дружбы тогда не могло быть между Польшею и Россией: слишком жива была память о взаимных

оскорблениях и о долгих распрях; особенно же сильна была вражда со стороны поляков, беспрестанно поджигаемая властолюбивым духовенством римским. Но, заключив мир, царь Феодор Иоаннович понимал святость договора и строго соблюдал его. Крымский хан предлагал ему вечный союз, с тем только, чтобы вместе напасть на Польшу; но русский царь отказал ему в этом предложении и даже дал знать польским правителям о намерении крымцев напасть на Подольскую область, предпочитая вражду крымского хана его союзу, который надо было купить нарушением мирного договора и честного слова государева. Ему было известно, что временные выгоды, доставляемые иногда двуязычною политикою, ничтожны в сравнении с тою силою, которую доставляет государствам строгое исполнение нравственных обязанностей.

Шведы и крымцы надеялись воспользоваться невоинственным духом государя; они не раз нападали на русские области, но везде побеждала Россия. Шведы были принуждены просить мира и уступить несколько городов и Карельскую область. Многочисленное ополчение крымцев доходило до Москвы, но от стен ее бежало со стыдом, бросая обозы свои и даже оружие. Любовь народа к царю ограждала пределы России, пробуждая бесстрашие в воинах и воинскую доблесть в воеводах. Завоевания, сделанные при царе Иване Васильевиче в землях приволжских, были упрочены строением крепостей и городов и основанием русских поселений в области, дотоле принадлежавшей племенам финским и турецким. Западная Сибирь, покоренная Ермаком и его казаками, пыталась еще противиться русскому оружию. Бо́льшая часть казаков и сам Ермак погибли в сражениях или от измены туземцев, но царские воеводы отмстили за их смерть и утвердили навсегда русскую власть на берегах Иртыша и Оби.

Таковы были внешние торжества России при царе миролюбивом и кротком. Твердое и правдолюбивое правление внушало невольное уважение не только ближайшим соседям государства, но и далеким и сильным державам Европы и Востока. Империя Германская искала союза и дружбы русского государя. Англия уступала его справедливым требованиям в деле торговом. Персия, управляемая великим шахом Аббасом, просила его помощи против Турции. Турция, с своей стороны, искала его дружбы и в сношениях с ним отступалась от той оскорбительной гордости, с которой обращалась со всеми государствами тогдашнего времени. Но славнее побед и приобретений и самого почтения иноплеменных народов было духовное значение России при царе истинно богобоязненном и глу-

боко проникнутым святынею христианской веры. Римский епископ (иначе папа) просил вспоможения для всех христиан, страждущих под игом мусульманским; Грузия, несколько раз спасенная российскими войсками от нашествия горцев, присылала просить уже не о помощи оружием, которую может дать всякое воинственное государство и даже всякий дикий народ, но о помощи духовной, о художниках — для украшения храмов, о священниках — для восстановления благочиния церковного, об учителях — для утверждения христианского знания. Наконец, сам патриарх Константинопольский, признав умственную возмужалость и духовную самостоятельность России, назначил, на место прежнего митрополита, подчиненного цареградскому престолу, быть в ней патриарху независимому, равному с старыми патриархами восточного и западного христианства (с Константинопольским, Иерусалимским, Антиохийским, Александрийским и Римским), патриарху, избираемому свободным выбором русского духовенства и возводимому на престол русскими государями.

Почти столетнее страдание России, при жестоком Иване Васильевиче IV и отце его Василии Ивановиче, оставило глубокие и почти неизгладимые следы. Раны, нанесенные государству, исцеляются; пролитая кровь забывается последующими поколениями; но многолетняя неправда, правление, нарушающее законы божественные и человеческие; но власть, наказывающая смертью за невинность и награждающая милостями за преступления, подрывают на многие и многие лета народную нравственность. Низость духа, лесть, зависть, вражда к заслугам, страсть к крамолам, склонность к клеветам — таково наследство, оставляемое всякому народу правительствами или жестокими, или бессовестными; таков был завет царя Ивана Васильевича Грозного и отца его Василия Ивановича. Семена зла, посеянные в их царствования, взошли позже во время междоусобиц России, когда, лишенная государя, она пришла на край гибели и спасена была только милостию божиею. Уже и при Феодоре Иоанновиче злые страсти, подавленные мудрым правлением, возмущали спокойствие России и грозили будущими бедами. Местами вспыхивали частные возмущения; многочисленные злодеи, под предводительством людей из родов дворянских и княжеских, хотели зажечь Москву и разграбить церковные сокровища; зависть и крамолы боярские тревожили ум народный, мешали успеху самых лучших предприятий и противились мудрым распоряжениям правительства, восставая с особенным ожесточением против великого царского советника Бориса Фео-

доровича Годунова. Молва народная, обыкновенно справедливая, но легко обманываемая хитростью царедворцев, обвиняла шурина царского во всех несчастьях государства и в смерти частных лиц, заслуживших общее уважение или любовь. Сгорела значительная часть Москвы, и Годунов по приказанию царя раздал огромные пособия пострадавшим жителям: народ, подученный боярами, говорил, что Москву поджег Годунов. Татарское ополчение подходило к Москве и бежало, отбитое мудрыми распоряжениями Годунова: народ говорил, что Годунов призвал крымцев на Москву. Престарелый царь казанский Симеон ослеп; народ говорил, что он отравлен Годуновым. Меньшой брат царя, последний сын Ивана Васильевича Грозного от седьмого брака, погиб внезапно, по воле божией, назначившей прекратиться роду Ивана Васильевича на престоле: и народ обвинял в смерти его Годунова. Недоверие, подозрительность и скрытная вражда гнездилися глубоко в народе; безнравственность, обман и взаимная злоба гнездились в боярах и царедворцах и готовили страшные бедствия государству. Но, без сомнения, самое ясное свидетельство общего разврата представляется в предложении, сделанном боярами и даже некоторыми духовными лицами царю Феодору Иоанновичу, чтобы он развелся с женою, от которой у него не было детей, и женился на другой. Таково было следствие злого примера, данного его дедом, царем Василием Ивановичем, женившимся от живой жены на княжне Глинской. Сыном незаконного брака был царь Иван Васильевич, бич своего народа, а род Рюриков все-таки не остался на престоле. Феодор Иоаннович отверг с негодованием совет, внушенный враждою к Годунову и равнодушием к законам нравственным. Благоверный царь знал, что закон христианский один и тот же для царя и для подданного.

Многие горести постигали кроткого государя. Единственная дочь его, радость царя и народа, скончалась в младенчестве; брат его царевич Димитрий скончался также. Бояре ненавидели его ближайшего родственника и клеветали на него, народ верил клеветам и роптал. Ему служили утешением только голос чистой совести и счастье России, им возвеличенной и успокоенной.

Много новых городов основано было в России царем Феодором Иоанновичем (Белгород, Оскол[2] и другие); много крепостей, служивших впоследствии оплотом для России, было при нем выстроено (таковы крепости в Воронеже, Курске, Кромах, Смоленске и иные); много дано мудрых законов. Но самый

важный из этих законов, в то время необходимый, имел также для государства тяжелые последствия. В то время крестьяне были, по большей части, людьми вольными: они переходили от одного помещика к другому, приискивая себе привольного житья и легкой работы. По мере распространения России они переходили на пустопорожние новозавоеванные земли, строя новые поселения и деревни, не подведомственные никакой гражданской власти. Это неправильное кочеванье, уже само по себе вредное как для государства, так и для подданных, было в то время еще вреднее вследствие всеобщего расстройства, произведенного, без сомнения, упадком народной нравственности в царствование Ивана Васильевича Грозного.

Феодор Иоаннович запретил переход и кочеванье крестьян. Напрасно многие писатели позднейшего времени думали, что этот закон был издан единственно по желанию одного сословия мелкопоместных владельцев. Закон был очевидно необходим, и доказательством этой необходимости служит то, что он не был вполне отменен ни одним из позднейших государей, ни одной из партий, поочередно властвовавших в России во время междоусобиц.

Россия цвела и крепла, но бог положил предел жизни доброго царя. Феодор Иоаннович скончался в 1598 году, после почти 14-летнего царствования. Современники утверждали, что перед его кончиною являлись ему святители божии и невидимо для других присутствующих услаждали последние часы его жизни духовною беседою; другие утверждали, что умирающий царь, забывая себя, тепло и усердно молился за свое отечество и что эта молитва была услышана и спасла Россию в годину ее великих бедствий. Такие рассказы и предания свидетельствуют про глубокую любовь народа. Все историки согласны в том, что царствование Феодора Иоанновича было временем весьма счастливым для России, но все приписывают это счастье мудрости Годунова. Они в этом не правы. Конечно, нельзя сомневаться, что Годунов, облеченный в полную доверенность царскую, управлял всеми делами государства; но можно быть уверенным, что даже и без Годунова царствование Феодора Иоанновича было бы временем мира и славы для его подданных. Если государь правдолюбивый ищет доброго совета, добрый совет является всегда на его призвание. Если государь-христианин уважает достоинство человеческое,— престол его окружается людьми, ценящими в себе выше всего достоинство человеческое. Ум многих, пробужденный благодушием одного, совершает то,

чего не могла бы совершить мудрость одного лица, и предписания правительства, согретого любовью к народу, исполняются не страхом, а теплою любовью народною. Любовь же одна созидает и укрепляет царство. Поэтому не приписывайте всего царскому советнику Борису Феодоровичу Годунову и знайте, как много Россия была обязана царю Феодору Иоанновичу. Вспоминайте его имя с благодарностью и, когда пойдете в Кремль, в Архангельском соборе (с южной стороны в приделе) поклонитесь гробу доброго царя Феодора Иоанновича, последнего из венценосцев Рюрикова рода.

<Д. В. ВЕНЕВИТИНОВ>

Дмитрий Владимирович Веневитинов родился в Москве 14 сентября 1805 года и в ней провел всю свою молодость; скончался в С<анкт>-Петербурге 15 марта 1827 <г.>.

Хотя он умер очень молод и написал очень мало, значение его как поэта весьма замечательно; выражение его живописно и сильно, стих звучен и художественно отделан. Можно в нем иногда заметить неопытность молодости и даже неправильный оборот, но эти весьма редкие недостатки искуплены вполне необыкновенной ясностью и простотою, составляющею его отличительный характер; более же всего они искуплены определительностью и глубиною мысли, в которой ясно высказывается светлый и многообъемлющий разум. С Веневитиновым, бесспорно, начинается новая эпоха для русской поэзии, эпоха, в которой красота формы уступает первенство красоте и возвышенности содержания. Он умер в слишком ранней молодости и не совершив подвига, на который казался призванным; но его явление было утешительным признаком начинающегося более самобытного и зрелого просвещения в России, и самый успех его немногих стихотворений доказал, что великие требования его поэтической души были в ней поняты и оценены.

Веневитинов не был исключительно художником. Душа ясная и благородная, разум образованный, мыслящий и сильный соединялись в нем в полной и прекрасной гармонии. Первое его явление в обществе, первые шаги на поприще словесности пробудили много и много надежд, которым не суждено было осуществиться; но завет таких людей, как он,

никогда не пропадает, другие исполняют то, что Веневитинов обещал: таков ход человеческой мысли.

Д. А. ВАЛУЕВ

Основателем «Библиотеки для воспитания» и главным участником в издании ее был Дмитрий Александрович Валуев. 1845 года 23 ноября умер он, на 26-м году от рождения, не успев еще издать последних двух книжек предпринятого им годового издания. Имя Валуева получило уже известность в литературе и в науке, лицо его получило уже почетное место в общественном уважении; деятельность его внушала уже много ожиданий и надежд, но богу угодно было иное.

Д. А. Валуев был урожденец Симбирской губернии; родители его были Александр Дмитриевич Валуев и Александра Михайловна, урожденная Языкова, из семьи, заслужившей славу в нашей поэзии и известность в науке[1]. Рано, по 3-му году, лишился он матери, которой кроткий нрав, тихая веселость, любящее сердце и редкая красота были украшением семейства; рано осиротел он, и, кажется, это сиротство оставило в нем навсегда задумчивость, не переходившую никогда в грусть или в скуку, но дававшую какую-то особенную прелесть даже самым веселым его минутам. По 12-му году перевезен он был в Москву и поручен попечениям семьи, известной по великим литературным заслугам, по любви к просвещению и к художествам, по дружбе со многими и лучшими литераторами и особенно по теплому радушию, с которым она принимает всякое новоявляющееся дарование[2]. Приязнь и попечение такой семьи были для него счастием, и этим счастием он умел воспользоваться. В последний год своей жизни вспоминал он и говорил с пламенною благодарностью о первом пробуждении мысли своей и о первом благородном направлении, данном ей словом и дружбой этой почтенной семьи, особенно одного из ее членов, который, пройдя весь путь современного мышления, нашел наконец успокоение и цель, достойную себя, в разумной и теплой любви к началам нашей древней Руси, ее простого быта и ее чистой и высокой веры. По 13-му году поступил В<алуев> в пансион, в котором он оставался около

трех лет. Успехи его были не блистательны; ему трудно было покориться правильности общественного воспитания, и мысль его, перебегая от предмета к предмету, от одного стремления к другому, не могла еще ни отказаться от своего произвола, ни угадать пути, на котором она была призвана трудиться и действовать; за всем тем кротость нрава и добродушная откровенность привлекли к нему дружбу лучших товарищей, а жадная любовь к науке, выражавшаяся даже в беспорядке его занятий, обратила на себя внимание лучших его учителей. Он был любим и впоследствии вспоминал не без удовольствия и благодарности го́да своего пансионского учения, но признавался, что, чем более думает он об них, тем более убеждается в превосходстве домашнего или полудомашнего воспитания пред воспитанием общественным. Это мнение человека, в котором отрочество не оставило никакого горького воспоминания и, следовательно, никакого невольного пристрастия,— человека, соединявшего в высокой степени благородство души с ясным умом, любимого товарищами и любившего их, заслуживает, как кажется, некоторого внимания.

Из пансиона поступил он в университет под надзором и руководством профессора Шевырева, которого имя одно уже ручалось за верность направления, данного воспитанию Валуева. Курс университетский прошел он с успехом, но без особенного блеска. В Валуеве не было ни сочувствия с формализмом науки (вероятно, неизбежном во всяком учебном заведении), ни того жадного самолюбия, которое ищет похвал и отличия в науках, с которыми мысль нисколько не сочувствует и которое в учении видит только будущий экзамен. Наука была для него не средством к успехам, а целью самой жизни; но наука не мертвая, а живая, развивающая дух человеческий, не сковывающая его внутренней свободы. Кроме предметов, требуемых университетскими постановлениями, он в то же время выучился почти самоучкою английскому языку, знакомился с произведениями литературы немецкой, отыскивал нача́ла и, так сказать, самый дух искусства в творениях Гомера и во всех произведениях древней Эллады, приучался к строгой исторической критике чтением Нибура, Моверса, Миллера и других ученых современной Германии; изучал не философию, но строгую философскую методу в бессмертных творениях Бэкона и его ближайшего последователя Канта; более же всего старался проникнуть в тайну древней жизни России посредством изучения летописей и грамот. Рано постиг он ложь систематизма и ничтожность мертвой формальности в науке и жизни. Так, еще в продол-

жение университетского курса своего он писал рассуждение о статистике и доказывал ее бесплодность в том виде, как она вообще изучается и преподается, т. е. в отдельности от исторического движения и еще более в отдельности от изучения духовных сил, которыми одними зиждется вещественная сила народов. Это рассуждение, без сомнения, еще свидетельствующее о незрелости мысли, содержало уже многие новые истины и много залогов для будущего развития; оно не было кончено отчасти потому, что Валуев, быстро обогащаясь новыми познаниями, не мог никогда быть довольным своим собственным трудом, отчасти потому, что по характеру своему он не мог довольствоваться выводами чисто отрицательными. За всем тем, хотя он и отвергал излишнюю самонадеянность науки и восставал против ее формализма, он понимал необходимость узнать вполне все ее положительные данные и следил с напряженным вниманием за преподаванием университетским. Такая многосторонность и разнообразность занятий требовала от него беспрерывного труда, и день его был разочтен не по часам, а почти по минутам; короткий отдых посвящал он или прогулке и телесным упражнениям, необходимым для его здоровья, или беседе с лучшими товарищами по университету, или с людьми, которые, подобно ему, понимали все достоинство, всю важность жизни умственной и духовной. Но за всякое нарушение, хотя бы случайное, в порядке своих занятий наказывал он себя сокращением уже и так короткого отдыха, и, когда товарищи смеялись над его строгостию к самому себе, он сам вместе с ними, смеясь добродушно, говаривал: «Я чувствую, что во мне воля слаба, так же как, по несчастию, и во всех нас; дам себе повадку, да потом сам с собою и не справлюсь». Последние года университетского курса провел он в одном доме с тою семьею, которой был поручен при первом приезде в Москву, и сделался как бы членом ее. Тут, окруженный людьми с самыми блестящими дарованиями, отдавая им вполне справедливость и в то же время видя, как часто самые блестящие способности и прекрасные намерения остаются бесплодными, он стал мало-помалу яснее понимать свое призвание — сделаться нравственным двигателем этих разрозненных сил. К этому времени относится много его сочинений, оконченных и не оконченных им, и мысль о многих предприятиях, которые он впоследствии исполнил или только начал.

С удовольствием, но без нетерпения ожидал он последнего университетского экзамена, как минуты, с которой наступала возможность более свободного труда и более полезной деятель-

ности. Ясное и определенное сознание цели, которую он назначил себе в жизни, удаляло от него все пустые и бесплодные мечтания, в которых так часто тратятся силы и время ранней молодости; он жил всею пылкостию, всем жаром молодого сердца и всем спокойствием и твердостию совершеннолетнего разума, между тем как формы его жизни и привычки сохраняли еще отпечаток беспечного и веселого детства. Это соединение детских форм с юношеским сердцем и возмужалостию ума (отличительная черта многих замечательных людей) давала Валуеву какую-то необыкновенную прелесть и свидетельствовала о чистоте его духовной природы. Из университета вышел он кандидатом[3], но далеко не первым. Иначе и быть не могло при множестве его занятий, выходящих из круга университетского учения; впрочем, лучшие из наставников его отдавали ему полную справедливость, и в особенности профессор Крюков, который говаривал: «Валуев из кандидатов чуть-чуть не последний, но в жизни он станет едва ли не на первое место».

Новые труды сделались его отдохновением после трудов университетских; но эти труды были уже вполне свободными и зависели только от его внутренних требований: он готовился действовать. С особенным старанием и любовию стал он изучать исторические вопросы, не довольствуясь одним разбором фактов и сличением документов, не довольствуясь даже изучением мелких и случайных причин исторических происшествий, но стараясь проникнуть в самый смысл истории и в жизненные начала, которые ею управляют. Еще большее внимание, еще большие труды посвящал он тому высшему знанию, которое заключает в себе все остальные, — вере, и со всяким днем расширялся круг его мысли, со всяким днем выше и выше становилось его духовное существо. Редко посещал он блестящие и шумные общества света; ему в них было как-то неловко и пусто, но почти всякий день посвящал он несколько часов небольшим кружкам ученых или литераторов или умных товарищей и охотно следил за их беседами и горячими спорами о художестве, науке или жизни. Он чувствовал, что книги выражают только самую слабую часть мысли и что беседа часто важнее книги для хода современного просвещения. За спорами следил он со вниманием и с редким беспристрастием; сам же редко принимал в них деятельное участие, предпочитая вообще путь положительный, т. е. развитие истины, пути отрицательному, т. е. опровержению ложных мнений. В спорах ему были равно противны и страстные вспышки, и упорство недобросовест-

ного самолюбия, и даже та тонкость диалектического искусства, которая иногда удачно отстаивает неправое дело, но зато дает какой-то вид неправоты самой истине. Это чувство выражается в словах, сказанных им человеку, которого любил он всею душою: «К... спорит так, что всегда хотелось бы с ним согласиться, даже когда и согласиться нельзя; а вы спорите так, что хотелось бы с вами не соглашаться, когда и спорить нельзя». Сам он дорожил истиною более всего, отстаивал мнение свое с жаром, покуда не сознавал в нем ошибки, но зато признавал и ошибки свои так добродушно, так охотно и так скоро, что это признание часто заставляло всех его собеседников улыбнуться, но всегда оставлял он в них чувство глубокого и невольного уважения. Много ли тех людей, которые стоят так высоко над своею личностию? Он умел быть веселым, и когда был весел — был весел вполне.

Наконец наступило для него время литературной деятельности. Он продолжал еще ревностнее учиться, но чувствовал, что уже мог надеяться на свою мысль и на запас своего знания. Он мог многих пригласить к сотрудничеству, потому что многие его узнали и всякий, кто его знал, уже любил. Почти в одно время предпринял он два издания: издание «Библиотеки для воспитания» и «Симбирского сборника», заключающего в себе любопытные памятники древней русской истории, прежней грамотности, прежнего судопроизводства и быта, собранные им в Симбирской губернии. На эти издания не жалел <он> ни времени, ни труда, ни издержек; но и сотрудников явилось много по его приглашению. Никто не отказывался от участия. Старшие радовались, встречая такую высокую любовь к просвещению и согревались жаром его молодого сердца; сверстники не могли ни в чем отказать товарищу, который никогда ни с кем не соперничал и радовался всякому чужому успеху, как собственному приобретению; даже дети просились участвовать в его трудах, занимаясь сличениями, перепискою, а иногда и переводами: они хотели чем-нибудь доказать свою любовь человеку, который так детски всегда радовался их детским радостям и так охотно посвящал свой короткий досуг их детским забавам*.

---

* Валуев радовался этому рвению. Дело свое он считал делом общим, себя — слугою общего дела, а в общей готовности ему содействовать видел залог будущего успеха; но зато и сотрудники его никогда не забудут, какою любовью, какими попечениями он окружал их, и как глубоко мог быть благодарным, и как охотно освобождал сотрудника от данного обещания, когда узнавал, что обещавший намерен заняться более полезным трудом.

Сам он трудился неусыпно, переводя, сличая, поверяя письменные памятники, беспрестанно собирая новые, изучая не только их видимый смысл, но и невидимую связь с жизнию древней России, отыскивая новые начала исторические, готовя прекрасные статьи, которые он издал впоследствии, об местничестве и об истории Абиссинской церкви, занимаясь глубокими исследованиями о первоначальной церкви в областях кельтских народов и собирая беспрестанно материалы, мысли и намеки для будущих предприятий. В то же время продолжал он усовершенствоваться в познании языков, следил внимательно за ходом современной науки, не отказывался посещать общества, понимающие достоинство умственной жизни, и искал дружеской беседы с народом. Он знал, что в книгах и в обществе можно искать науки, но только от народа получить начало живого просвещения.

Среди такой прекрасной деятельности и таких высоких занятий постигла его тяжелая болезнь. Всю зиму с 42-го на 43-й год не мог он выходить из комнаты, страдая беспрестанною лихорадкою, изнурившею его силы; но труды его не прекращались и едва ли не увеличивались с каждым днем. К весне ему стало легче, и он решился, по настоятельному требованию медиков, ехать в чужие края. Там пробыл он с небольшим семь месяцев, из которых большую часть провел в Англии. На Западе умел он глубоко и сильно сочувствовать с жизнию Запада. Он умел удивляться его великим успехам в общественности, в науке и чудным произведениям в художестве. Все письма, писанные Валуевым в то время, свидетельствуют об его высокой христианской любви ко всем народам и об том добродушном смирении, которое так свойственно русскому человеку; но он также умел и беспристрастно оценить недостатки наших западных братий и надеяться еще лучшей будущности для нас. Путешествие, к несчастию слишком непродолжительное, поправило его здоровье. Оно было не совсем бесполезно даже и для его деятельности. В Англии свел он знакомство и вел переписку с некоторыми учеными, много читал и работал в народной библиотеке (едва ли не богатейшем собрании книг в целом мире); в Германии и землях славянских положил начало русской книжной торговле, вступил в дружеские сношения с людьми, заслужившими знаменитость в науке, каковы Ганка, Колар, Шафарик и др.; но этого для него было не довольно. Он спешил в Россию, он тосковал по друзьям, которые ему были так дороги, по трудам, которые были так чисты и полезны, по русскому слову и русскому народу, без которого жизнь казалась ему

изгнанием. В начале 44-го года возвратился он, едва ли не слишком рано для себя.

Он возвратился такой же, как и поехал: тот же светлый разум, вечно жаждущий просвещения, та же теплота молодого сердца, та же способность к детской веселости и те же полудетские привычки; но он окреп в тоске 7-месячного уединения на чужой земле. Он воротился с большею уверенностью в истине пути избранного и в возможности начатых им предприятий. Знакомые, давно уже высоко ценившие его, еще более узнали цену ему во время отсутствия, перервавшего его деятельность: они вполне поняли всю важность его личности и его высокие нравственные права. Обширная разнообразная ученость, свободный и сильный ум, искренняя и горячая любовь к правде, совершенное отсутствие эгоизма, полная преданность общему добру, теплота милосердия, всегда готовая облегчать и утешать всякое несчастие и сострадать всякому заблуждению; девственная чистота жизни и помыслов, которая не боялась никаких искушений, и твердость души, которая не отступила бы и не пала бы ни перед какою борьбою,— таковы были качества, которые всякий в нем видел или угадывал. Твердая и неуклонная воля сопровождалась в нем тихою, кроткою и почти женскою нежностью христианской любви. Не только сверстники, но даже старшие и бывшие его наставники дали ему уже почетное место в своем кругу. Все увлекались его живою деятельностью, слушались его совета и иногда даже его строгих упреков, потому что в упреках его слышалось не осуждение, но скорбь о чужом недостатке и всегдашняя готовность признаться в своих собственных. Личные страсти казались ему вовсе незнакомыми, и его присутствие укрощало их вспышки в других. В суждении о пороках он был строг и неумолимо строг; в суждении о людях — всегда снисходителен и готов к оправданию их; снисходителен к низшим, в которых так мало еще развито разумное сознание и на которых так сильно действуют злые примеры высших; снисходителен к высшим, которым так мало досуга для мысли и так много искушений. В направлении его выражалось стремление к просвещению истинному, к развитию не науки только, но и жизненному началу души человеческой, в спорах любил он не опровергать заблуждение, а открывать глубину истины. В исследованиях науки искал всегда начал органических, отвергая сухой и мертвящий формализм, в наставлениях не нападал на пороки, но старался развивать добрые качества души, с полною уверенностию, что они должны заглохнуть под преобладанием доб-

ра. Воспитанник строгой науки, он не остался заключенным в ее пределах, но жил полною, деятельною и прекрасною жизнию. Изредка он появлялся в так называемых светских кругах и даже там был замечен. Его прекрасные черты, высокий открытый лоб, лицо, на котором ни одна дурная страсть не оставила следов; светлые и задумчивые глаза, добродушная веселость, откровенная простота и даже какая-то благородная неловкость привлекали невольное внимание и сочувствие. Но за всем тем он редко посещал эти светские круги и хотел отстать от них совершенно. За прежние труды свои принялся он с большею ревностью, чем когда-либо. Деятельно продолжал он издание «Библиотеки для воспитания» и издал 1-й том «Симбирского сборника», в котором поместил разыскание о местничестве, едва ли не самое лучшее и строгое исследование частного, но весьма важного факта, какое когда-либо было сделано в нашей исторической науке. В то же время приступил он к изданию другого сборника, которым он еще более дорожил, «Сборника исторических и статистических сведений о России и народах единоплеменных и единоверных с нею». Материалов приготовлено было на несколько томов мелкой печати, но он успел напечатать только один том. В нем помещено несколько статей, им писанных, из которых особенно замечательны статьи о славянских городах и об Абиссинской церкви. Строгая критика может заметить недостатки в его изложении и слоге, но в то же время она должна заметить отличительную черту, дающую высокое значение его исследованиям,— именно способность понимать жизнь и сочувствовать ей. Так, в статье о местничестве, изучив строго его формализм, он понял и живое начало местничества и назвал формализм признаком омертвенья и паденья; так, в статье о городах славянских и в примечаниях к статье он указал на органическую болезнь Западно-Славянской области; так, в статье об Абиссинской церкви он показал, что ее внешняя форма — еретическая — была делом исторической случайности, а что ее жизненное содержание было вполне христианским, т. е. православным. Его труды были приняты с похвалою, и эта похвала радовала его приятелей, которым грустно бы было видеть недоброжелательство и несправедливость к этому чистому труженику добра. Он сам радовался ей добродушно и говорил: «Журналы похвалили, авось найдутся читатели». И теперь, после смерти его, весело вспомнить, что он прошел жизнь не только никого не оскорбивши, но и никем не оскорбленный. Друзья его осуждали видимое разнообразие его занятий. Они говаривали: «Издание для детей, разыскание

об местничестве, об Абиссинии, об кельтах,— где же единство, где последовательность?» Это единство, эта последовательность теперь явны. Вся духовная жизнь Валуева была посвящена России, нашей родине, славянам и чистому христианству — православию, полной и высшей истине на земле, лучшему и единственному залогу развития для будущего человечества. Много было задумано им и других предприятий, для которых он начал собирать материалы, предприятий, известных только тем, которые с ним жили душа в душу. Таковы были: издание русской истории для народного чтения, рассказанной подлинными словами летописцев; краткое изложение всего хода церковного служения, также для народа, и другие.

Но год с небольшим прошел после его возвращения из чужих краев, и его здоровье расстроилось безвозвратно: силы истощались, открылась чахотка; медики послали его снова за границу, но уж слишком поздно. Он доехал до колыбели нашей старой Руси — до Новгорода, и там, после нескольких дней страданья, кончил жизнь, как следует христианину, без ропота и даже без сожаления о неоконченных делах, зная, что все доброе должно совершиться. Друзья пожелали, чтобы тело его было перевезено в Москву, в тот город, где жил он и развился духовно.

Валуев умер на 26-м году. Деятельность его не продолжалась даже и трех лет, а между тем то, что сделано им в такой короткий срок, едва ли бы могло быть сделано другим, даже самым трудолюбивым, в течение более чем десятилетия. Как объяснить этот необыкновенный успех, особенно при общей недеятельности нашей русской современной мысли! Наука поступила к нам из чужой стороны и не сроднилась с нашею жизнию: между ними происходит тяжелая борьба, которая отзывается в каждом из нас. В Валуеве не было ни этой борьбы, ни даже следов ее. Казалось, он принадлежал к другому, будущему поколению: он усвоил себе науку, но сам жил полною жизнию веры. Он жил не в душу живу, которая есть эгоизм, но в дух животворящ, который есть любовь. Оттого-то воля его была так неуклонна, деятельность так неутомима и действие его так сильно и в то же время так кротко. Имя его не забудется. Наука будет его помнить. Друзья, скорбя об его потере, благодарят бога за то, что имели такого друга.

Дай бог всем быть так искренно любимыми в жизни, так горько оплаканными после смерти.

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ КИРЕЕВСКИЙ

Статья, нами напечатанная[1], «О необходимости и возможности новых начал для философии» составляла только первую половину или часть более полного рассуждения об этом предмете. Она содержит в себе критику исторического движения философской науки; следующая же часть должна была заключать в себе догматическое построение новых для нее начал. Таково было намерение автора, таковы были наши надежды; но бог судил иначе. Труд, временно прерванный поездкой Ивана Васильевича Киреевского в Петербург, прерван навсегда его неожиданною кончиною. Быстро и неудержимо развившаяся холера положила предел прекрасной и полезной жизни, только еще вступавшей в полную деятельность. Он умер на руках сына и двух друзей, Алексея Владимировича Веневитинова, друга его ранней молодости, и графа Комаровского, которому писал он всем известное письмо, напечатанное в «Московском сборнике»[2]. Неисповедимы судьбы господни!

Сердце, исполненное нежности и любви, ум, обогащенный всем просвещением современной нам эпохи; прозрачная чистота кроткой и беззлобной души; какая-то особенная мягкость чувства, дававшая особенную прелесть разговору; горячее стремление к истине, необычайная тонкость диалектики в споре, сопряженная с самою добросовестною уступчивостью, когда противник был прав, и с какою-то нежною пощадою, когда слабость противника была явною; тихая веселость, всегда готовая на безобидную шутку, врожденное отвращение от всего грубого и оскорбительного в жизни, <в> выражении мысли или в отношениях к другим людям; верность и преданность в дружбе, готовность всегда прощать врагам и мириться с ними искренно; глубокая ненависть к пороку и крайнее снисхождение в суде о порочных людях; наконец, безукоризненное благородство, не только не допускавшее ни пятна, ни подозрения на себя, но искренно страдавшее от всякого неблагородства, замеченного в других людях,— таковы были редкие и неоцененные качества, по которым Иван Васильевич Киреевский был любезен всем, сколько-нибудь знавшим его, и бесконечно дорог своим друзьям. Смерть его останется неисцелимою раною для многих.

Но потеря Ивана Васильевича Киреевского важна не для одних личных его знакомых и не для тесного круга его

друзей; нет, она важна и незаменима для всех его соотечественников, истинно любящих просвещение и самобытную жизнь русского ума. Немного оставил он памятников своей умственной деятельности; но все, что он сказал, было или будет плодотворным. Мы не говорим о замечательных, но незрелых произведениях его юности (хотя в них уже, среди многих ошибок, выражались глубокие мысли); мы говорим о том, что было им высказано во время полной возмужалости его ума. Несколько листов составляют весь итог его печатных трудов; но в этих немногих листах заключается богатство самостоятельной мысли, которое обогатит многим современных и будущих мыслителей и которое дает нам полное право думать, что в глубине его души таилось еще много невысказанных и, может быть, даже еще не вполне сознанных им сокровищ. Нашему убеждению будет, конечно, сочувствовать всякий, кто с разумом прочел или теперешнюю статью Ивана Васильевича Киреевского, или те, которые напечатаны в «Москвитянине»[3] и в «Московском сборнике».

Слишком рано писать его биографию; скажем только, что жизнь его украшена была с первой молодости приязнию Пушкина, горячею дружбою Жуковского, Баратынского, Языкова и (слишком рано увядшей надежды нашей словесности) Д. В. Веневитинова. О движении и развитии его умственной жизни и о литературной деятельности говорить также еще нельзя: они так много были в соприкосновении с современным или еще недавно минувшим, что невозможно говорить об них, как следует, вполне искренно и свободно. Постараемся обозначить то, чем он обогатил русское просвещение и чем он останется памятным в истории общего просвещения.

Иван Васильевич Киреевский принадлежал к числу людей, принявших на себя подвиг освобождения нашей мысли от суеверного поклонения мысли других народов, передавших нам начала общечеловеческого знания, и, может быть, более и яснее всех уразумел он шаткость и слабость тех мысленных основ, на которых стоит все современное строение европейского просвещения. Так как его время и его дела требовали по преимуществу разбора критического, на него и обратил он первые свои труды и путем строгого, глубокого и добросовестного анализа пришел к следующему выводу: «Рассудочность и раздвоенность составляют основной характер всего западного просвещения. Цельность и разумность составляют характер того просветительного начала, которое, по милости божией, было положено в основу нашей умственной жизни».

Можно не соглашаться с данными и взглядами, которые заключаются во второй половине письма к графу Комаровскому; но положение, приобретенное и высказанное И. В. Киреевским, останется неколебимым и будет точкою опоры и отправления для всего будущего развития нашего мышления. Строгое воспитание ума в школе немецкой философии и врожденная особенность созерцательного стремления обратили особенно внимание Киреевского на вопросы философии, и в них добыл он следующие выводы[4]. «Всякая жизнь практическая есть не что иное, как внешняя историческая оболочка скрытой философской системы, сознаваемой и выражаемой передовыми двигателями человеческого просвещения»; но «сама философия есть не что иное, как переходное движение разума человеческого из области веры в область многообразного приложения мысли бытовой». В этом выводе определяется в одно время и разумная, самостоятельная свобода философии, и ее законная, хотя несознаваемая (законная именно потому, что несознаваемая), подчиненность вере. Наконец, дальнейший труд критики философской привел его к следующему выводу: «Теперешняя философия, совершившая полное свое круговращение в области мысли, есть окончательное развитие аристотелизма и еще ранних школ; но она есть только отрицательная сторона знания, она обнимает законы возможности, но не законы действительности; она есть изучение диалектического отражения в нашей мысли логики явления, которая сама есть только отражение являемого, отражение крайне неполное, ибо оно не обнимает первоначальной свободы». Таким образом, философия Запада есть изучение повторенного отражения, явно самоуличающегося в неполноте, и ошибка тех, которые видят в ней науку разума во всем его объеме, так же безрассудна, как была бы ошибка человека, надеющегося найти в законах оптики закон исконного начала световой силы. «Правда этой философии (т. е. философии диалектического рассудка) имеет свои права в свойственных ей пределах и делается неправдою только вследствие непонимания этих пределов; но есть возможность более полной и глубокой философии, которой корни лежат в познании полной и чистой веры — православия. Западная наука приготовила ее возможность, и в этом состоит ее великая заслуга перед человеческою мыслию».

На этой точке развития смерть остановила И. В. Киреевского. Плоды, им добытые, по-видимому, заключаются в отрицаниях; но эти отрицания имеют характер вполне положительного знания. Этих плодов, этих новых выводов немного;

но такова участь тружеников философии: одну, две мысли добывают они трудом целой жизни, напряженною работою всех мыслящих способностей и, можно сказать, кровию сердца, алчущего истины; но каждая из этих мыслей есть шаг вперед для всего человеческого мышления. Два, три такие вывода записывают в истории науки еще одно великое имя и питают целые поколения своим разнообразным развитием, сосредоточивая в себе разумный труд поколений предшествовавших. Конечно, немногие еще оценят вполне И. В. Киреевского; но придет время, когда наука, очищенная строгим анализом и просветленная верою, оценит его достоинство и определит не только его место в поворотном движении русского просвещения, но еще и заслугу его перед жизнию и мыслию человеческою вообще. Выводы, им добытые, сделавшись общим достоянием, будут всем известны; но его немногие статьи останутся всегда предметом изучения по последовательности мысли, постоянно требовавшей от себя строгого отчета, по характеру теплой любви к истине и людям, которая везде в них просвечивает, по верному чувству изящного, по благоговейной признательности его к своим наставникам,— предшественникам в путях науки,— даже тогда, когда он принужден их осуждать, и особенно по какому-то глубокому сочувствию невысказанным требованиям всего человечества, алчущего живой и животворящей правды.

Память твоя будет с праведною похвалою, наш усопший брат!

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ АКСАКОВ

30-го апреля узнала Москва, что умер Сергей Тимофеевич Аксаков, и с горестью почувствовала, что лишилась великого художника. Об этом общем и для всех одинаково доступном вопросе скажем несколько слов, отстраняя все свои личные отношения к человеку, которого мы так глубоко и искренно любили и уважали.

Особенности художника принадлежат только ему: они составляют часть его собственной природы. Критический анализ может раскрывать их, оценивать, передавать их в общее сознание, но не может передавать их в пользование или собст-

венность кому-либо другому, точно так же как нельзя созидать другому звук голоса, взгляд и движения лица, составляющие чью-нибудь собственность. Всему этому можно отчасти подражать, под все это можно до некоторой степени подделываться; но к чему служат такие жалкие подделки? Разумеется, мы не думаем отрицать пользы художественного анализа; мы знаем, как много расширяет он область мысли, как он устраняет ложные понятия и усиливает самое художественное наслаждение; но полагаем, что наибольшая польза критики заключается не столько в разборе особенностей художника, сколько в ясном сознании его отношений к самому художеству. С этой стороны по преимуществу наставителен пример Сергея Тимофеевича Аксакова.

По-видимому, его поприще представляет какую-то странность, почти необъяснимую. Долгая жизнь и — очень короткий срок художественной деятельности. Эта деятельность не смолода, как часто бывает, но в летах уже близких к старости, и не мгновенно возбужденная (что также случалось), но мгновенно измененная и как будто чем-то оплодотворенная после долгих и бесплодных стремлений.

С самой ранней молодости Сергей Тимофеевич полюбил искусство, он искренно и с преданностью служил ему и при всем том ни одним произведением не мог занять место сколько-нибудь видное в рядах художников слова. На шестом десятке стал он великим, всеми признанным, всеми оцененным художником. Что же это? Неужели к старости развилось воображение, обыкновенный дар молодости? Быть не может. Или теплота сердечная? Опять невозможно, и, кроме того, все знавшие С. Т. Аксакова знают, что этим качеством он отличался всегда и всегда был именно за это качество всеми любим. Или знание языка приобретено им поздно? Такого предположения даже допускать нельзя в человеке, который с самой ранней молодости был исполнен любви к словесности и весь свой век радовался и любовался родным наречием, которое он освоил во всех его тонкостях. Чем же объяснить такое странное явление? Оно получает свою разгадку в самой последовательности произведений, которыми Сергей Тимофеевич приобрел свое литературное имя.

Первое из них: «Записки об ужении»; второе: «Записки оренбургского охотника»; за ними идут другие, по большей части автобиографические. Допустим, что новые анализы художества не остались бесплодными для восприимчивого чувства и светлого ума С. Т. Аксакова, что простота форм Пушкина в повестях, и особенно Гоголя, с которым С. Т. был так

дружен, подействовали на него; все это могло быть, все это было; но нет никакого сомнения, что ему не приходило и не могло прийти в мысль выбрать уроки, и серьезные уроки, рыболовства за предмет художественного произведения. Мысль о художестве была устранена: он от нее вовсе освободился. Страстный рыболов, лишенный случайностями жизни привычного наслаждения, он захотел вспомнить старые годы, прежние тихие радости, а вследствие в высшей степени общительного нрава он захотел передать их, объяснить их другим,— и написалась книга, книга, о которой автор и не мечтал, чтобы она доставила ему литературную известность. И читатель брал ее также добродушно, без ожидания художественного наслаждения, а просто в надежде узнать кое-что об искусстве ужения... и потом, вчитываясь, он с странным удивлением замечал, что ему все занимательнее становился предмет, заманчивее и красивее прихоти водяных потоков и разливы озер и прудов; милее самые рыбы, от пошлого пескаря до редкого лоха. Нашлись люди, которые догадались, что тут скрывалось искусство, и искусство истинное; большая же часть простых читателей, любителей рыболовства, почувствовала только глубокую благодарность к автору за полезные сведения и особенно за любовь его к общей охоте. Их благодарственные письма дышали этим чувством простодушной признательности; но литературная известность уже была приобретена С. Т. Аксаковым, который сам ей удивился. Его слушали, слушали с удовольствием, с увлечением; и сам он дал свободу своим воспоминаниям, сам стал увлекаться ими все более и более, чувствуя, что у него и, так сказать, перед ним — не просто холодные читатели, но невидимые и незнакомые, но уже сочувствующие друзья. Сравнительно тесный круг воспоминаний рыболова уступил место воспоминаниям охотника. В них природа русская раскинулась в чудной красоте, и русский писанный язык сделал шаг вперед, даже после Пушкина и Гоголя. Слава Сергея Тимофеевича была упрочена и утверждена навсегда. Потом другие предметы обратили на себя его деятельность; но он уже не терял того, что приобрел. Это бесконечно важное приобретение было — свобода от художественной преднамеренности.

Когда С. Т. Аксаков перешел от воспоминаний охотничьих к другим, биографическим, своим ли собственным или чужим, но воспринятым как будто собственные, он сохранил ту же простоту, ту же, можно сказать, прямоту в отношении к предметам, ту же добросовестность в воспоминаниях и в воссоздании прошедшего. Снова перечувствовать прошедшее и дру-

гим рассказать перечувствованное — вот его единственная задача; опять мысль о художестве остается вовсе в стороне. Правда, он уже знал, что таким путем достигается художественная цель, но это знание не управляет им: не к этой цели стремится он. Само воспоминание, оживающее в его душе, и люди, с которыми он этим воспоминанием делится,— вот его цель, и искусство дается ему свободно, как будто в награду за простоту стремлений. Оно приходит, как приходило к древним векам, неисканное и несознанное. В этом-то и состоит неподражаемая искренность произведений первоначальной поэзии и поэзии народной, искренность, скоро забытая даже миром античным, снова отысканная средними веками и забытая новым. Мысль о художестве уничтожает прямоту отношений между художником и предметом его, внося постороннее и отчасти рассудочное начало, разрушительное для внутренней их гармонии. Великая правда, сознанная Германиею о свободе художества, в Германии же породила великую ложь — учение о свободе художника. Напротив, художество потому только и свободно, что художник под неволею. Для него во всякое время только и может быть один предмет, и относится он к этому предмету всегда именно так, а не иначе. Беда, если вместо того, чтоб высказывать это свое искреннее отношение, он вздумает себя спрашивать: «Да хорошо ли, красиво ли то, что я именно так гляжу на свой предмет?» Тут уже холод, актерство, ложь. Просто и искренно вглядывался С. Т. Аксаков в свои воспоминания, и оттого-то и выступали они с такою светлою истиною, и люди в его биографических записках и рассказах являлись с такою же полною и неподдельною жизнию, с какою являлась природа в воспоминаниях охотника. Никогда не лгал С<ергей> Т<имофеевич> ни на внешние предметы, ни на свой внутренний мир, в котором они отражались. Вот великое наставление, оставленное им всем художникам.

Но в чем же состоят художественные стихии его произведений? Во-первых, в языке, в котором едва ли он имеет соперника по верности и отчетливости выражения и по обороту, вполне русскому и живому. Как нестерпимо чувствовать, что перепутываешь имена и называешь одно лицо именем другого, как невольно роешься в памяти, чтобы отыскать собственное название предмета, которое на время забыл, так для С<ергея> Т<имофеевича> было нестерпимо употребить неверное слово или прилагательное, несвойственное предмету, о котором он говорил, и не выражающее его. Он чувствовал неверность выражения как какую-то обиду, нанесен-

ную самому предмету, и как какую-то неправду в отношении к своему собственному впечатлению, и успокаивался только тогда, когда находил настоящее слово. Разумеется, он находил его легко, потому что самое требование возникало из ясности чувства и из сознания словесного богатства. Эта строгость к собственному слову, и следовательно к собственной мысли, давала всем его рассказам, всем его описаниям неподражаемую ясность и наглядность, а картинам природы такую верность красок и выпуклость очертаний, какой не встретишь ни у кого другого. Едва ли Гоголь не первый признал это достоинство и восхищался им, прослушав первые, еще ненапечатанные, охотничьи воспоминания Сергея Тимофеевича.

Другая художественная стихия заключается в его вымысле. Кажется, странно говорить о вымысле там, где пересказывалось все действительно бывшее; но это только кажется. Происшествие, чувства, речи остаются в памяти только отрывками. Воспоминание воссоздает целое из этих отрывков и восполняет все недостающее, все оставшееся в пробелах. Тут невозможно определить точные границы истины и вымысла, вымысла до того невольного и часто бессознательного, что сам повествователь усомнился бы его назвать вымыслом. Только глубоко художественное чувство может всегда придавать этой смеси совершенную гармонию и вносить в создание воображения, пополняющего отрывочные данные памяти, тот характер внутренней правды, который не допускает ни малейшую тень сомнения в читателе.

Наконец, последняя и главная стихия художества заключалась в самой душе художника. Без сомнения, он принадлежал к числу писателей, которых по преимуществу называют объективными; но полная объективность не принадлежит миру искусства: лучше сказать — она вовсе недоступна человеку. Объективен вполне фотографический станок, и никакой живописец с ним в этом смысле тягаться не может; но три живописца с равными дарованиями, списывая один и тот же вид, при совершенно одинаких обстоятельствах произведут три картины весьма различные между собою, и все они будут ниже фотографического снимка. Но фотография бедна в сравнении с природою, которой жизни она не передает, а картины достойны самой природы потому, что вносят в нее новую стихию жизни и, так сказать, новую жизнь. Это будет природа, прошедшая не через стекло и не через глаз человека, а через душу человека и принявшая в себе отблеск души. То самое во всяком искусстве. С. Т. Аксаков живет в своих

произведениях: говорит ли он о светлом дне, вы чувствуете радостную улыбку, отвечающую улыбающейся природе; говорит ли он о дружеской руке, протянутой к нему с приветом, вы чувствуете, что эта рука падает не в холодную руку равнодушного, а будет встречена теплым рукожатием. А между тем он этого не говорит, но он сам весь в своем слове, весь с своей крайней впечатлительностью и правдивою энергиею. Вы слышите речь старца, много пережившего; вы видите, что волнение жизни улеглось и что мысль и чувство лежат перед вами с своею полною прозрачностью, не возмущая очерка предметов, но облекая их каким-то чудным сиянием. Вы как будто слышите этот твердый, полнозвучный, мужественный голос, который так памятен его друзьям; видите этот почтенный образ мужественного старца, согнутого, но не сломленного годами и болезнями. Вы не можете знать его творений, не узнав в то же время его самого; не можете любить их, не полюбив его. Тайна его художества в тайне души, исполненной любви к миру божьему и человеческому. Poëtae nascuntur*.

Об С. Т. Аксакове было сказано в «Р<усской> беседе», что он первый из наших литераторов взглянул на нашу жизнь с положительной, а не с отрицательной точки зрения[1]. Это правда, да иначе оно и быть не могло. Жизнь развитого человека сопровождается беспрестанным отрицанием; но жизнь коренится и растет не в отрицании, начале относительном и бесплодном, а в началах положительных — благоволении и любви. Творения Сергея Тимофеевича — это сама жизнь, рассказывающая про себя. Ложные притязания на крепость в отрицании бросают охотно тень подозрения на изнеживающее преобладание чувств благоволения. Это обвинение ложно: нежность души не имеет ничего общего с изнеженностью; она принадлежит энергии, как истинная грация не существует без внутренней силы. Те, которые знали нашего умершего художника (а его знал всякий, кто прочел и понял), знают также, лишена ли была душа его истинной энергии; те, которые знали о нем еще более, скажут, лишено ли сочности, свежести и силы то, что росло и крепло под его влиянием. Но чувство благоволения и любви, любви, благодарной небу за каждый его светлый луч, жизни за каждую ее улыбку и всякому доброму человеку за всякий его добрый привет, любви, укреплявшей душу против долгих страданий и умирявшей ее во время этих страданий, любви, дошедшей в

* Поэтами рождаются *(лат.).— Ред.*

последние дни до духовной радости, высказанной им смиренно и вполголоса человеку, который его глубоко любил, но которого он не боялся испугать,— это чувство наложило на все произведения С. Т. Аксакова свою особую печать. Оно-то дает им их несказанную прелесть; оно делает их книгою, отрадною для всех возрастов, от юности, собирающей свои силы, чтобы схватиться с жизнию, до старости, ищущей душевного покоя, чтобы отдохнуть от нее.

Честь его имени, украшающему русскую словесность! Мир его праху, много и горько оплаканному!

КОММЕНТАРИИ

Сразу же после смерти Хомякова друзья стали готовить к изданию его труды. Первое Полное собрание сочинений (Москва; Прага, 1861—1873) состояло из четырех томов, из них второй том, богословский, не мог по цензурным условиям публиковаться в России, поэтому он и печатался в Праге, и распространялся за рубежом. Третий и четвертый тома содержали «Семирамиду», т. е. «Записки о всемирной истории», а первый том (М., 1861) включил большинство критических, публицистических, философских статей Хомякова. Этот том (как и собрание в целом) выходил под редакцией И. С. Аксакова и был довольно хорошо издан в текстологическом отношении: Аксаков сверил печатные варианты с рукописями, восстановил некоторые пропущенные места, впервые по рукописям и спискам опубликовал статьи, запрещенные при жизни Хомякова: «О старом и новом», «По поводу Гумбольдта», «По поводу статьи И. В. Киреевского „О характере просвещения Европы..."», а также ряд не изданных при жизни Хомякова статей. Надо сказать, что в последующих изданиях этого тома их редакторы П. И. Бартенев и Д. А. Хомяков (сын) не были столь внимательны, как Аксаков, допустили немало пропусков, опечаток, самовольных стилистических исправлений; правда, они добавили еще вновь найденные в печати или рукописях статьи Хомякова, в третье и четвертое издания Полного собрания сочинений (М., 1900. Т. 1—8; то же — 1904—1914) включили том стихотворений (4-й) и том писем (8-й), сопроводили издание ценными примечаниями.

В советское время публиковались поэтические произведения Хомякова (последнее издание: Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. Л., 1969. Большая серия «Библиотеки поэта»); из критических работ — статья «О возможности русской художественной школы» (в сб.: Русская эстетика и критика 40 — 50-х годов XIX века. М., 1982).

В настоящем томе печатается значительная часть публицистического и литературно-критического наследия Хомякова. Орфография и пунктуация

приближены к современным, особенно в случаях варьирования написания у самого автора (иногда варьирования в пределах одной статьи!): знание — знанье, остались — осталися, мыслью — мыслию, всякий — всякой, мужской — мужеский, материальный — матерьяльный, славянский — словенский, приготовительный — приуготовительный, Испания — Гишпания и т. п. Однако сохранены специфические для той эпохи или для индивидуальной манеры Хомякова написания вроде «одинакий», «фистул» (в мужском роде), «восстановляет».

Хомяков долго вынашивал идеи и планы своих статей, но писал их наскоро, его черновики содержат много пропусков слов и букв и описок; в них часто отсутствуют самые необходимые знаки препинания. Иностранные названия и фамилии Хомяков, как правило, воспроизводил по памяти, поэтому чаще всего — с неточностями или даже с искажениями: например, Штирнера он именовал Штирном, Блазиуса — Лазьюсом и т. п. В статьях, переписанных затем набело другими лицами, автор и — позднее — редакторы исправили многие ошибки, хотя некоторые ошибки при переписке возникли вновь.

Тексты печатаются по прижизненным или первым посмертным публикациям с исправлением ошибок и пропусков по сохранившимся рукописям. В начале примечаний к каждой статье указывается, где она была опубликована впервые.

Все подстрочные переводы с курсивным обозначением в скобках языка оригинала принадлежат составителю книги, остальные подстрочные примечания — А. С. Хомякову.

В ломаные скобки заключены вставленные составителем слова, необходимые по смыслу. Ломаные скобки в заголовках означают, что сам Хомяков статью не озаглавливал, а название придумано редакторами посмертных собраний сочинений и публикаций.

Фразы, взятые в квадратные скобки, отсутствовали в первопечатных публикациях и восстановлены по рукописям И. С. Аксаковым в издании 1861 г.

Даты приводятся по старому стилю.

Условные сокращения

ГИМ — Отдел письменных источников Государственного исторического музея в Москве

Изд. 1861 — Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1861. Т. 1

М — журнал «Москвитянин»

МСб — «Московский сборник»

РБ — журнал «Русская беседа»

ц. р. — цензурное разрешение

При ссылках на Полное собрание сочинений А. С. Хомякова в восьми томах (М., 1900) указываются только том и страница.

О СТАРОМ И НОВОМ
(С. 41)

Впервые — Изд. 1861. С. 359 — 377.

Статья написана в 1839 г. для прочтения и дискуссии на вечере у И. В. Киреевского. Вместе с последующим «Ответом А. С. Хомякову» Киреевского является самым ранним произведением, в котором были изложены славянофильские воззрения. Хомяков сознательно утрировал многие положения, желая вызвать дискуссию. Споры на вечерах были очень острыми. (Не соглашаясь с мнением Киреевского о «пустоте» Гоголя как собеседника, Е. М. Хомякова писала брату Н. М. Языкову: «У них кто не кричит, тот и глуп».— 8, 106). Впоследствии (в 1852 г.) Хомяков вослед новой статье Киреевского оспаривал некоторые мнения своего соратника («По поводу статьи И. В. Киреевского «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России»). Обе статьи Хомякова не были опубликованы при его жизни.

[1] *Ясак* (тат.) — сигнал, пароль, отзыв (не путать с ясаком — податью).

[2] Возможно, Хомяков смешал два события: 1) новгородский архиепископ Алексей в 1375 г. расправился с группой псковских еретиков (они были сброшены с моста в Волхов); 2) псковский архиепископ Макарий, активный противник восстания бедноты в 1650 г., был по решению мирского схода посажен в богадельню на цепь.

[3] Речь идет о смоленском митрополите Симеоне Милюкове (1670 — 1680-е гг.). Патриарх Иоаким преследовал его за роскошь; в 1685 — 1686 гг. Симеон четырежды призывался к патриаршему двору.

[4] *Собор Стоглавый* — всероссийский собор представителей духовенства и мирских лиц 1551 г., принявший много постановлений, записанных в количестве 100 глав в особый сборник, «стоглавник».

[5] *Вольчья голова* — знак опричника.

[6] В боярских распрях были ослеплены даже два внука Дмитрия Донского: Василий Темный (отец будущего Иоанна III) и его двоюродный брат Василий Косой.

[7] *Личности* — так до революции назывался оскорбительный намек (или даже клевета) на какое-либо конкретное лицо.

[8] Н. М. Языков, в 1830-х гг. подолгу находясь в Симбирской губ., активно собирал произведения народного творчества и исторические документы.

[9] П. М. Строев начиная с 1817 г. усердно занимался разысканиями в государственных и монастырских архивах и обнаружил тысячи ценнейших древних документов; многие из них он издал.

[10] Не исключено, что во всех изданиях статьи термин печатается с ошибкой: по смыслу вместо «суд словесный» следует читать «суд совестный», т. е. суд не по законам, а по совести судей; «неполным» Хомяков, вероятно, считает совестный суд XVIII — XIX вв. (введен при Екатерине II), в ко-

тором разбирательство не всегда носило общесословный характер (дворяне имели привилегии).

[11] Источник не обнаружен.

[12] *Холопий приказ* (холопий суд, т. е. суд, разбиравший дела крепостных) был отменен при Петре I (1704).

[13] *Тысяцкие* — выборные старшины.

[14] *Илот* — крестьянин в древней Спарте, находившийся на положении раба.

[15] *Протестантство* — имеется в виду не протест, а психологические черты человека религиозной культуры протестантства: индивидуализм, отказ от традиционализма и т. п.

[16] Хомяков не прав: многие русские города оказали мужественное сопротивление монголо-татарским войскам (Рязань, Владимир, Киев, Козельск и др.).

[17] *Скаты Алаунские* — древнее название Валдайской возвышенности.

ПИСЬМО В ПЕТЕРБУРГ О ВЫСТАВКЕ
(С. 56)

Впервые — М. 1843. № 7. С. 211—222.

Московская промышленная выставка очень привлекала Хомякова, как видно из его «конспекта» будущей статьи, содержащегося в письме к другу юности А. В. Веневитинову (брату поэта) от 21 июня 1843 г.: «Я там почти каждый день, и скупость моя не устояла против искушений. Много вздорного блеска, много мнимо русских (ваших питерских) изделий, которые только по какому-то условному предположению называются русскими, например, бронзы; много прекрасных вещей, которые вполне зависят от иностранцев по основному материалу (например, шелковые материи); но много вещей, сильно подвинувшихся вперед и составляющих истинное богатство. Таковы стальные изделия, которые почти равняются с лучшими английскими, таковы отчасти шерстяные материи, парчи, которых требование в России очень велико и которых красота удивительна, и много еще кое-чего. Всего неприятнее отсутствие изобретательности, полная зависимость от рисунков иностранных и преобладание предметов роскоши, не оживленной никаким художественным чувством, роскоши варварской, денежной, разрывающей общество, а не связывающей его в общем поклонении изящному. Есть роскошь искусства в виллах Италии, но там искусство сохраняет свободу свою; золотом купишь картину, но не создашь Рафаэля. Богач, купивший произведение Микеланджело, находится в зависимости от художника, которого никакие деньги не создадут; бедняк, любующийся картинною галереею, владеет ею, как сам владелец» (8, 66).

Статья писалась, наверное, в конце июня — июле, до отъезда автора в деревню в конце июля. М № 7 имеет ц. р. от 8 августа. Обращение к

другу в статье — условный жанровый прием, хотя А. В. Веневитинов может считаться прототипом адресата.

[1] Ср. в «Былом и думах» о М. Ф. Орлове: «Пробовал он и хрустальную фабрику заводить, на которой делались средневековые стекла с картинами, обходившиеся ему дороже, чем он их продавал» (Герцен А. И. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 8. М., 1956. С. 176).

[2] Статуя немецкого скульптора А. Кисса (1802 — 1865), выставленная в Берлине в 1839 г.

[3] Хомяков, очевидно, вспоминает эпизод во время русско-турецкой войны 1828 — 1829 гг. на территории Болгарии.

[4] Ср. в статье Ап. Григорьева «Русская изящная литература в 1852 году»: «...на нас крайне неприятно действует известное место в «Римских элегиях», где поэт выбивает стопы стихов на спине своей возлюбленной» (Григорьев Ап. Литературная критика. М., 1967. С. 103). Речь идет о пятой «Римской элегии» Гете.

[5] *Пиэтист* — мистик, фанатически благочестивый верующий.

[6] *Пастиччие* (пастиш) — художественная шутливая подделка.

[7] Имеются в виду Петр I и Ломоносов.

[8] Подразумевается Гоголь.

ОПЕРА ГЛИНКИ «ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ»
(С. 65)

Впервые — М. 1844. № 5. С. 98 — 103.

Опера Глинки «Иван Сусанин» (1836) по указанию Николая I была названа «Жизнь за царя». Казенные акценты, заметные и в либретто, написанном бароном Е. Ф. Розеном, и в постановке на сценах императорских театров в Петербурге и Москве, вызывали неприязнь славянофилов. Например, И. С. Аксаков так откликнулся на московскую постановку: «Официозность, которую дают этой опере, как-то опошляет и мысль о такой опере. Это очень жаль и мешает понимать эту прекрасную, вполне русскую оперу». Хомяков, восхищенный народностью оперы, усматривавший в ней воплощение славянофильских эстетических и этических идеалов, уклонился от негативных характеристик; зато 13 лет спустя в отзыве о драме Е. Ф. Розена «Царевич» он весьма невысоко отозвался о литературном таланте автора в целом.

Опера Глинки очень активно обсуждалась в периодике; положительные отзывы В. Ф. Одоевского, Я. М. Неверова, Н. А. Мельгунова противостояли реакционно сдержанным и даже негативным оценкам (например, Ф. В. Булгарина). Во время написания статьи Хомякова в журналах и газетах уже горячо дебатировалась постановка новой оперы Глинки «Руслан и Людмила» (1842).

[1] *Баварский лад* — см. статью «Письмо в Петербург о выставке».

[2] Имеются в виду космополитические и утопические взгляды западноевропейских теоретиков.

[3] Намек на бюрократические «петербургские» идеи о централизованном государстве, полностью подчиняющем себе самобытную личность.

[4] *Лисовщина* — бродячие отряды польского авантюриста А. Лисовского (ум. 1616), примкнувшие к Лжедмитрию II; разграбили несколько городов, особенно Коломну.

ПИСЬМО В ПЕТЕРБУРГ
(С. 70)

Впервые — М. 1845. № 2. С. 71 — 86.

Начиная с Изд. 1861 печаталось под произвольным заглавием «Письмо в Петербург по поводу железной дороги», данным редакторами, очевидно, для отличия от статьи «Письмо в Петербург о выставке».

Хомяков писал Ю. Ф. Самарину в январе 1845 г. о цензурных гонениях: «Статья моя о железных дорогах подверглась стольким мытарствам, что она не попадет в 1-й нумер, а отложена до второго и пропущена только по усильным стараниям и просьбам» (8, 250).

В статье речь идет о начале строительства железной дороги Петербург — Москва (движение было открыто в 1852 г.). Интересные технические мысли Хомякова о «возвратных силах» и об использовании энергии рек оказались реализованными позднее в двигателях внутреннего сгорания и в гидроэлектростанциях.

[1] Имеется в виду Гоголь.

[2] Имеется в виду Глинка.

[3] Речь идет о статье Н. А. Мельгунова «Русские музыкальные новости из-за границы» (М. 1844. № 10).

[4] Намек на А. А. Иванова; впоследствии Хомяков познакомился с художником и написал после его смерти статью «Картина Иванова» (РБ. 1858. № 3).

[5] Речь идет о бароне Августе Гакстгаузене, подготовлявшем тогда книгу об устройстве русской деревни и, очевидно, устно во время путешествия по России в 1843 г. высоко отозвавшемся об общине (1-й том его труда вышел лишь в 1847 г.). См. характеристики общины в русском издании его книги «Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России» (М., 1870. Т. 1. Гл. 6, 17).

МНЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ О РОССИИ
(С. 82)

Впервые — М. 1845. № 4. С. 21 — 48.

Своеобразной параллелью к статье является труд Хомякова «Мнение русских об иностранцах» (МСб. 1846). Некоторые идеи публикуемой статьи

будут позднее подробнее развиты автором; например, о женской эмансипации — в «Письме к издателю Т. И. Филиппову».

[1] *Вилени* — крестьяне (с уничижительным оттенком).

[2] *Норманец* — норманн, скандинав.

[3] Имеются в виду литераторы круга журнала «Библиотека для чтения» (О. И. Сенковский, А. Ф. Вельтман и др.), злоупотреблявшие окончаниями существительных мужского рода в родительном падеже на *у*, *ю*; Белинский много раз высмеивал эту тенденцию в своих статьях 1840-х гг.

[4] Намек на выпуски популяризирующих науку сборников для народа «Сельское чтение», издававшихся при ближайшем участии друга юности Хомякова князя В. Ф. Одоевского. Хомяков писал ему 9 июля 1845 г. в ответ на приглашение к сотрудничеству: «Если ты читал мою статью в 4-м № «Москвитянина», ты сам видел отчасти причину, почему я так решительно отказался от участия в «Сельском чтении». <...> Мне кажется все издание «Сельского чтения» крайне оскорбительным явлением и выражением глубокого, ничем не заслуженного и во всяком случае непозволительного презрения к просвещаемому» (Уч. зап. Тартуского ун-та. 1970. Вып. 251. С. 340). В ответном письме от 20 августа Одоевский резко полемизировал со статьей Хомякова и вообще со славянофильским учением (т а м ж е , с. 341 — 344).

[5] Имеется в виду книга: П о л е в о й Н. А. История князя Италийского, графа Суворова Рымникского, генералиссимуса российских войск (Спб., 1843), где есть такая фраза: «...разница была та, что Петр являлся в делах своих гением беспримерным, а Екатерина светилась умом необыкновенным» (с. 25).

[6] Подобный отзыв обнаружить не удалось.

[7] Владимир Мономах в своем «Поучении» призывал: «Ни правого, ни виноватого не убивайте»; при Елизавете Петровне была отменена смертная казнь.

[8] Имеется в виду Феодор Иоаннович (см. статью Хомякова о нем).

[9] Речь идет об украинских и белорусских крестьянах, находившихся под властью польских помещиков.

МНЕНИЕ РУССКИХ ОБ ИНОСТРАНЦАХ (С. 103)

Впервые — МСб. 1846. С. 145 — 198, с подзаголовком «Письмо к приятелю». Печатается по этому тексту с добавлением в квадратных скобках восстановленных в Изд. 1861 отрывков.

Статья и по заглавию и по смыслу тесно связана с предыдущей, развивает ее идеи. «Приятелем», к кому обращена статья, был, вероятно, кто-либо из петербургских друзей Хомякова: А. И. Кошелев или А. В. Веневитинов.

Хомяков был доволен своей статьей. В письме к Н. М. Языкову от

20 июня 1846 г. он сообщал: «Сборник идет в П<етербурге> с успехом; но моя статья возбуждает в обществе великое негодование: ее все называют дерзкою. На здоровье: пусть глядятся в зеркало на свою фигуру» (8, 117).

[1] Легендарные слова, которые произнес смертельно раненный Юлий Цезарь, увидевший среди убийц-заговорщиков своего любимца Марка Брута.

[2] И. Г. Блазиус путешествовал по России в 1840 — 1841 гг. и опубликовал на немецком языке книгу об этом: «Путешествие по европейской России» (Брауншвейг, 1844).

[3] Имеется в виду статья «Мнение иностранцев о России».

[4] *Партикуляризм* — метод, при котором главное внимание уделяется обособленным, частным фактам при пренебрежении к их обобщению, систематизации; партикуляризм явился одной из сторон распространившегося уже позитивизма, но Хомяков еще не знал этого термина.

[5] Речь идет об «Истории Французской революции» А. Тьера (1824 — 1827).

[6] Хомяков отрицательно относился к гегелевскому детерминизму (идея исторической обусловленности явлений), в котором в самом деле были заложены свойственные Гегелю корни оправдания «разумной» действительности: последующее как бы по железным законам истории выводилось из предыдущего; но Хомяков всю историческую концепцию Гегеля истолковывает как извращение причинно-следственных связей: якобы, по Гегелю, из будущего вытекает прошедшее; следует учесть, что диалектические построения Гегеля иногда давали повод к таким утрированным интерпретациям; например, о движении точки по кругу Гегеля пишет: «Истина времени состоит в том, что не будущее, а прошлое является ее целью» (Гегель. Соч. М.; Л., 1934. Т. 2. С. 59).

[7] Хомяков и в отношении к математическим и физическим примерам Гегеля допускает субъективное истолкование; в «Философии природы» Гегель неоднократно употребляет выражение «согласно закону...», но это не означает, что он закон делает причиной движения тела или точки, причинами он справедливо называет физические силы.

[8] Хомяков неточно излагает отдел «Учение о бытии» из гегелевской «Науки логики»: не существо (Daseyn; по современной терминологии переводится более точно как наличное бытие) обращает в ничто первоначальное бытие (Seyn), а бытие и ничто в своем единстве являются становлением, при котором они оба снимаются, а результатом становления оказывается наличное бытие (существо, по Хомякову). Понятно, почему Хомяков обращает пристальное внимание именно на этот раздел: славянофилы-философы опасались, что диалектический «панлогизм» Гегеля расшатывает и уничтожает фундаментальные основы бытия.

[9] *Прагматизм* (от греч. прагма — дело) — здесь в смысле «деятельность», «практика»; социально-философское понятие прагматизма, возникшее в буржуазной науке конца XIX в., было, разумеется, неизвестно Хомякову.

[10] Хомяков, наверное, имеет в виду лекции Д. Л. Крюкова в Московс-

ком университете по курсу древней истории, ибо в печатных работах Крюкова критические замечания по адресу Нибура не обнаружены.

[11] После смерти Юлия Цезаря (43 г. до н. э.) власть в Риме принадлежала триумвирату (Марк Антоний, Октавиан Август, Лепид), но фактически правителями были два первых триумвира, разделивших между собой Римскую империю (Антонию досталась Восточная часть).

[12] Подразумевается отделение Византии («Востока») от Западной Римской империи («Запада») в конце IV в.

[13] *Авары* — племя урало-алтайского происхождения, в VII в. активно действовавшее в области Дуная; о движении восточных (в том числе и славянских) племен в первом тысячелетии н. э. Хомяков подробно писал в своих исторических трудах.

[14] *Вест-готы* — западная ветвь германского племени готов; вест-готы основали в V в. государство на территории современных Испании и Южной Франции; в VIII в. оно было уничтожено нашествием арабов.

[15] В битве под Пуатье (732 г.) франки разбили арабское войско и остановили продвижение арабов в Европу.

[16] Западная Римская империя была разрушена северными варварскими племенами в V в.; Византия была завоевана турками в XV в.

[17] Здесь Хомяков неясно говорит о причинах переселения германских народов на Запад; во введении к «Сборнику исторических и статистических сведений...» Д. А. Валуева (1845) он более подробно излагает раннюю историю Европы: причиной явилось нашествие гуннов в IV — V вв., благодаря чему славянские племена Восточной и Южной Европы освободились от давления германских племен (см. 3, 130 — 132).

[18] *Меровинги* — франкское племя, господствовавшее во Франции в V — VIII вв.

[19] *Арианство* — христианская ересь IV в., названная по имени главы движения, александрийского священника Ария (утверждал неравенство Сына божия с Богом-отцом); Хомяков рассматривает арианство как предтечу протестантства, т. е. как реакцию на господствующее католичество.

[20] Подразумевается насильственное распространение католичества на севере Европы.

[21] Имеется в виду «История государства Российского» Н. М. Карамзина (1818 — 1826).

[22] Намек на стихотворение В. Гюго; см. начало статьи «Разговор в Подмосковной», где Хомяков цитирует эти строки по-французски.

[23] Имеется в виду творчество Гоголя.

[24] Неточная цитата из басни И. А. Крылова «Гуси» (1811).

[25] Ninon d'Enclos (правильно: de Lenclos) — знаменитая хозяйка парижского салона, отличавшаяся умом и красотой.

[26] Хомяков мог знать французских утопических коммунистов 1830 — 1840-х гг. (Дезами, Пийо и др.), в самом деле отвергавших семью и брак.

[27] Речь идет о последователях социалистов-утопистов (Сен-Симона, Фурье)

типа Жорж Санд и о немецких левогегельянцах, скорее всего — о Фейербахе.

[28] Понятие дружины Хомяков связывает с военно-племенным общественным строем, с насильственной организацией (чему противостоит добровольное объединение мирных крестьян в общину) и отождествляет с дружиной «ассоциацию» утопистов-соцалистов.

[29] Очевидно, намек на Р. Оуэна.

[30] Исторически известно, что Вольтер мальчиком был введен в дом мадам де Ланкло, которая завещала ему 2 000 ливров на покупку книг.

[31] Имеется в виду Великая французская революция 1789 — 1794 гг.

[32] Об этом Хомяков говорит в статье «Письмо в Петербург»: он осуждает приговор большинства, принятый во французском суде присяжных, и противопоставляет ему общинный принцип единодушия, нравственного единства (см. 3, 116).

[33] Жаркие споры о мерах по уничтожению чересполосицы в сельском хозяйстве велись в России в середине 1830-х гг.; Хомяков тоже принял в этом участие: см.: «Замечания на статью о чересполосном владении...» (3, 3 — 10).

[34] *Сказка* — перепись (ср.: «ревизская сказка» — перепись населения).

[35] *Дачи* — здесь в смысле «земельные угодья».

[36] *Крепости* — документы на владение недвижимым имуществом.

[37] *Поротник* — присягнувший (от поротиться — присягать, клясться).

[38] *Целовальник* — присягнувший на кресте.

[39] Имеется в виду статья 10 из цикла В. Г. Белинского «Сочинения Александра Пушкина» (Отечественные записки. 1845. № 11).

[40] Намек на М. П. Погодина, который во многих своих статьях стремился «реабилитировать» Бориса Годунова от упреков Карамзина.

[41] Имеется в виду статья «Мнение иностранцев о России».

[42] «Земледельческая газета» (Петербург, 1834 — 1905) — консервативный орган, защищавший интересы помещиков; Хомяков неоднократно полемизировал с этой газетой.

[43] Имеется в виду начало статьи 8 из цикла В. Г. Белинского «Сочинения Александра Пушкина» (Отечественные записки, 1844, № 12).

[44] Цитата из былины про Соловья Будимировича, известной Хомякову, вероятно, по книге «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым» (М., 1804; 2-е изд. М., 1818).

[45] Цитата из пародийной былины «Агафонушка» (там же).

[46] Имеется в виду цикл статей-рецензий В. Г. Белинского «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым...» (Отечественные записки. 1841. № 9 — 12), где иронически-пренебрежительно анализируются герои русских былин; Белинский ошибочно недооценивал художественное и идеологическое значение русского народного эпоса.

[47] *Чеви-Чес* — английская баллада XV в.

[48] *Оттербурн* — английская деревня, при которой в 1388 г. была битва между английской и шотландской армиями.

[49] *Нибелунги* — древнегерманские эпические сказания.

[50] *Дитрих Бернский* — герой древнегерманских эпических сказаний.

[51] Намек на повесть В. Ф. Одоевского «Сиротинка» (сб. Вчера и сегодня. Спб., 1845. Кн. 1.), героиня которой, получив образование в Петербурге, возвращается в деревню и учит крестьян. В МСб 1847 г. на эту повесть будет опубликована еще более резкая критика К. С. Аксакова («Три критические статьи г-на Имрек»).

[52] Имеются в виду романтики, воспитанные на немецкой философской «мистике» конца XVIII — начала XIX в. (Шлейермахер, ранний Шеллинг и др.). Хомяков фактически говорит о своих ровесниках, о своей поэтической молодости: «любомудры» воспитывались на немецком романтизме.

[53] Подразумеваются сторонники французских ученых и публицистов (Дидро, Даламбера и др.), создателей знаменитой «Энциклопедии» (1751 — 1772), духовно подготовившей Великую французскую революцию.

[54] *Совестный судья* — судья в совестном суде, организованном в XVIII в. для решения дел не по формальному закону, а по справедливости.

[55] Имеется в виду поэма А. Н. Майкова «Две судьбы» (1844).

[56] На самом деле пренебрежение к «славенщизне» Тредиаковский проявлял в ранний период своей деятельности (1730-е гг.), а затем он в корне изменил свое отношение, став традиционалистом и учителем «архаистов» конца XVIII — начала XIX в. (С. Боброва, А. Шишкова).

[57] Цикл из трех статей И. В. Киреевского «Обозрение современного состояния литературы» (М. 1845. № 1 — 3).

[58] *Несторианство* — византийская «еретическая» секта (V в.), по имени Нестория, константинопольского патриарха.

[59] Хомяков ошибается: «Румфордов суп», приготовлявшийся из костей, крови, требухи, не мог «ускорить голодную смерть» и был достаточно калорийным.

О ВОЗМОЖНОСТИ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ (С. 135)

Впервые — МСб. 1847. С. 319 — 358.

Статью Хомяков писал летом 1846 г. в деревне, о чем сообщал А. Н. Попову 28 июля: «Я готовлю последнюю свою статью. В предпоследней (см. примеч. 1.— *Б. Е.*) я уже сказал, кажется, почти все; теперь хочу досказать остальное и указать не только на болезнь, но и на единственное средство к ее лечению; но боюсь, чтоб напуганная цензура не положила препятствий; <...> тем более что, несмотря на ловкость, приобретенную мною в осторожном выражении своих мнений, многое из основных принципов будет по необходимости не только смело думано, но и смело выражено, без чего оно осталось бы совершенно непонятным» (8, 168). А когда МСб уже вышел, то Хомяков писал Попову 4 марта 1847 г.: «Об моей

статье только слышу, что ее Шевырев обвиняет в какой-то английской гордости. Этого я просто не понимаю. Где он находит гордость! Перечитывая, нахожу только строгое и последовательное изложение начал. <...> Кавелин, как слышно, очень разгневался; но мне досадно то, что я, стреляв по Кавелину, попал еще в другого противника, которого, конечно, я оскорбить не хотел, в Грановского. По-видимому, факт-то исторический дан Кавелину им. По крайней мере он отвечает статьею, которую обещал мне прочесть. Я буду его уговаривать не отвечать» (8, 170). Речь идет о том, что в статье Хомяков откликнулся на возражения, исходившие из лагеря западников, от Кавелина (см. примеч. 6), а этот отклик, в свою очередь, послужил толчком для дальнейшей полемики: Грановский, несмотря на уговоры Хомякова, все-таки отозвался на критику Хомякова «Письмом из Москвы» (Отечественные записки. 1847. № 4), Хомяков возразил и на эту статью (Московский городской листок. 1847. № 86), после чего Грановский и Хомяков написали еще по одной полемической заметке (Московские ведомости. 1847. № 50; Московский городской листок. 1847. № 97); все эти статьи обоих авторов перепечатаны (см. 3, 140 — 162). В этом долгом и обстоятельном споре проявилось глубокое различие методов: Грановский требовал точных исторических сведений, а Хомяков, прекрасно зная литературу вопроса, многое «придумывал», основываясь на догадках.

Следует учесть, что в 1840-х гг. в Москве на Мясницкой ул. была организована знаменитая Школа живописи, ваяния и зодчества, одним из учредителей которой был Хомяков.

[1] Речь идет о статье «Мнение русских об иностранцах» (МСб. 1846).

[2] *Устерсы* — устрицы.

[3] Хомяков здесь как бы конспективно излагает те мнения о народности в науке, которые будут подробно высказаны в жарких спорах 1856 г. между западниками (в журнале «Русский вестник») и славянофилами (РБ).

[4] Советским и французским историкам общественной мысли не удалось обнаружить источник.

[5] Jacques Bonhomme (Жак Боном) — обобщенное прозвище французского крестьянина.

[6] Речь идет об анонимной рецензии (Отечественные записки. 1846. № 7) на «Сборник исторических и статистических сведений о России и о народах, ей единоверных и единоплеменных» (М., 1845), введение к которому написано Хомяковым. Автором рецензии был, как догадывался Хомяков, К. Д. Кавелин.

[7] Имеются в виду труды немецких ученых на немецком языке, которые Хомяков по памяти, очень неточно, называет в переводе.

[8] Имеются в виду В. Гюго, который в речи при приеме Сент-Бёва в академию 27 февраля 1845 г. говорил об отсутствии в современной Франции «чистой религиозной мысли» и о существовании веры в интеллект, поэзию, свободу, и Луи Блан, только что опубликовавший свою знаменитую книгу «История десяти лет» (5 томов, 1842 — 1845).

[9] Жорж Санд резко отозвалась о речи Гюго в газетном отчете о заседании академии (Реформа. 1845. 3 марта). Фразу Хомякова не следует понимать как утверждение подобной же насмешки Жорж Санд над Луи Бланом. Наоборот, между историком и писательницей были дружеские отношения; Жорж Санд опубликовала весьма положительную рецензию на «Историю десяти лет» в своей газете «Эндрский просветитель» от 18 января 1845 г. (указано Ж. Любэном).

[10] Хомяков довольно смутно представлял все перипетии, эволюцию и сложные противоречия внутри лагеря немецких левогегельянцев, к которым примыкали Бруно Бауер и Штраус (Страус); Бруно Бауер, близкий в начале 1840-х гг. к Карлу Марксу, занимал радикальные общественно-политические позиции, в то время как Штраус был погружен в философские и богословские труды.

[11] В черновой рукописи (ГИМ) к этому месту было пояснение: «...ученый Неандер, посвятивший всю свою жизнь богословию и изучению Писания, не замечает, что он только переиначил и порастянул вопрос Пилата к Христу: «Что есть истина?»

[12] Имеются в виду сентиментальные персонажи многочисленных романов Августа Лафонтена: «Естественный человек» (1792), «Чудак» (1793) и др. Автор сам был полковым священником.

[13] В Англии еще в конце XVIII в. были введены пошлины на ввозимое в страну зерно; в некоторые годы принимались законы, вообще запрещавшие ввоз пшеницы; ограничения мешали развитию экономики и промышленности, и в 1846 г. правительством был принят билль об отмене хлебных законов.

[14] *Пузеизм* (пьюзеизм) — католическое движение в Англии в 1830-х гг. (по имени одного из инициаторов — Пьюзе), ограничивавшее личные свободы верующих.

[15] Имеются в виду молодые историки-западники, в первую очередь К. Д. Кавелин, который в рецензии на «Сборник исторических и статистических сведений о России...» (Отечественные записки. 1846. № 7) по поводу статей Д. А. Валуева и Хомякова высказывал мнение, что следует не фантазировать о будущей русской науке, а усердно изучать источники.

[16] О русском правописании в 1840-х гг. велись горячие споры в журналах, появлялись специальные статьи (см., например: Аксаков К. С. Несколько слов о нашем правописании// МСб. 1846) и книги (например: Кодинский К. М. Упрощение русской грамматики. Спб., 1842).

[17] Английский инженер Мак-Адам изобрел вид щебеночного покрытия дорог, получивший название «макадам».

[18] *Ассигнации* — бумажные деньги; в эпоху Николая I золотой рубль равнялся (в разные годы) трем-четырем рублям ассигнациями.

[19] *Сарачинское пшено* — рис.

[20] *Кабала* — средневековое еврейское мистическое учение.

[21] Славянофилы с симпатией относились к немецкому философу-идеалисту Г. Стеффенсу, близкому к Шеллингу; И. В. Киреевский опубликовал перевод автобиографии Стеффенса (М.1845. № 1 — 3), предварив его своей заметкой «Жизнь Стефенса».

[22] Хомяков неточно цитирует две заключительные строки из драмы Шиллера «Лагерь Валленштейна» (1798).

[23] Имеются в виду сторонники гегелевских идей о раздвоении как этапе любого развития, после чего должен наступить синтез разъединенных частей; в России в конце 1830 — начале 1840-х гг. эти принципы проводил В. Г. Белинский.

[24] Подразумевается буддийское учение о нирване, для деятельного и «земного» Хомякова равнозначное учению о смерти как идеале.

[25] Намек на немецких и французских романтиков, утверждавших культ художника-гения.

[26] Имеется в виду эпическая поэма Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1575).

[27] Имеются в виду французские ученые, авторы трудов, посвященных, наряду с другими народами, южным славянам (книги опубликованы на французском языке в Париже): Буэ А. Европейская Турция (1840); Бланки Ж.-А. Описание общественного устройства народностей Европейской Турции (1843).

[28] Речь идет о повести Ф. М. Достоевского «Бедные люди» (1846).

[29] Имеется в виду статья: Чихачев А. Мелкие опытные замечания по нравственной части сельского хозяйства (Земледельческая газета. 1846. № 13). Автор высокомерно-покровительственно говорит о крестьянах.

[30] В черновой рукописи (ГИМ) имеется примечание, которое, очевидно, относится именно к этому месту: «Можно бы показать, что просвещение латино-протестантское или романо-германское так же ограничено в нравственных, как и в умственных отношениях и что оно с своею человечностью еще нигде не доходило до идеи человека и поэтому далеко не соответствует нашим требованиям. Можно бы привести бесчисленные доказательства этому факту и между прочим весьма недавний пример, как англичанин весьма образованный и чуть-чуть не лорд, желая покороче узнать Абдель-Кадеровых аравитян, нашел лучшим средством отправиться их бить вместе с французами, как он бил бесщадно, не будучи увлекаем ни враждою, ни требованием долга, ни верою в правоту дела своих сподвижников, а так просто, на манер фазанов, как он напечатал в журнале рассказы о своем поступке, не подозревая его бесчеловечности, как другие журналы перевели и перепечатали рассказ, а публика прочла и никто ничего не заметил; но после того, что уже сказано, такие доказательства были бы бесполезны».

Речь идет о завоевании Алжира французами в 1840-х гг.

<О СЕЛЬСКОЙ ОБЩИНЕ>
(С. 159)

Впервые — Русский архив. 1884. № 4. С. 261 — 269. Заглавие произвольно придумано публикаторами Д. А. Хомяковым и П. И. Бартеневым.

Статья написана в форме ответа А. И. Кошелеву на его письмо Хомякову от 16 марта 1848 г. (см.: Колюпанов Н. Биография А. И. Кошелева. М., 1892. Т. 2. Приложения. С. 103 — 105). Между друзьями юности завязалась оживленная переписка по поводу общины и вообще по поводу положения в сельском хозяйстве. Кошелев тогда стоял на западнически-буржуазных позициях «личной инициативы» и поэтому очень холодно относился к общинным принципам, Хомяков пытался его переубедить; но лишь к середине 50-х гг. Кошелев примкнул к славянофилам.

Статья-письмо, очевидно, не предназначалась для печати, поэтому она содержит такие «вольные» мысли, совершенно без оглядки на грозную цензуру 1848 г. Хомяков знал о суровых цензурных придирках ко всем статьям по крестьянскому вопросу; знал, вероятно, о том письменном выговоре, который сделал министру народного просвещения гр. С. С. Уварову шеф жандармов граф А. Х. Бенкендорф по поводу опубликования статьи Хомякова «О сельских условиях» (1842). Бенкендорф, узнав об этой злободневной статье по поводу царского указа об «обязанных крестьянах», запросил Уварова: читал ли он ее? Уваров вынужден был отвечать незнанием и перенести всю ответственность на цензора; Бенкендорф потребовал, чтобы в дальнейшем министр все статьи, касающиеся распоряжений правительства, санкционировал сам лично (Центральный гос. исторический архив в Ленинграде, ф. 772, оп. 1, № 1551).

[1] *Померания* — область на берегу Балтийского моря (район современного польского города Щецина), где в средние века существовали славянские общины.

[2] Хомяков говорит о тех северных землях России, где не было крепостного права и где общины сохранялись в самостоятельном виде.

[3] Имеется в виду состояние не крепостных, а государственных крестьян, плативших немалые налоги. В 1837 г. было создано министерство государственных имуществ, управляющее «казенными» крестьянами, и во главе его поставлен граф П. Д. Киселев.

[4] *Торизм и вигизм* — понятия, образованные от названий английских политических партий XVII—XIX вв.: тори (консервативная) и виги (буржуазно-либеральная). Однако для Хомякова эти понятия значительно более широкие: уважаемый им торизм означает следование установившимся общественным обычаям, социально-историческую осторожность, неприязнь к буржуазно-меркантильному духу, а вигизм — радикальные преобразования, ломающие традицию, внимание к злободневности, сиюминутности, буржуазность.

[5] *Саровская пустынь* — известный монастырь в Тамбовской губ., основанный в XVII в. (ныне — Темниковский р-н Мордовской АССР).

[6] *Фалянстер* — фаланстер, сельско-промышленная артель, пропагандировавшаяся французским утопическим социалистом Ш. Фурье.

АНГЛИЯ
(С. 167)

Впервые — М. 1848. № 7. С. 1 — 38, с подзаголовком: «Письмо А. С. Хомякова». В собраниях сочинений статья была произвольно озаглавлена: «Письмо об Англии».

Используя английские наблюдения, автор хотел намеками выразить свое отношение к современной России, но это не ускользнуло от цензуры. Статья, как видно из писем Хомякова к М. П. Погодину, издателю М (Рукописный отдел Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина в Москве) и к А. Н. Попову (см. 8, 179 — 187), первоначально была вообще запрещена цензором В. Лешковым, затем, после многочисленных ходатайств Погодина, Шевырева и самого автора, была пропущена, но с купюрами, например: «Слова *низшие классы, рабочий народ* или *класс* запрещают решительно в статье об Англии» (8, 180). Хомяков всюду заменил эти выражения словами «бедные». Изъятия были восстановлены в Изд. 1861 (см. фразы, заключенные в квадратные скобки).

Ценно следующее примечание, высказанное Хомяковым в письме к А. П. Попову от 16 августа 1848 г.: «Насчет статьи об Англии я скажу вам, что я многого не сказал, потому только, что боялся излишнего многопредметства. Я хотел удержать внимание читателей только на том, что нужно. Оттого-то я не говорил об отношениях англичан к пластике (живописи.— *Б. Е.*) и музыке. Слабость их в первой зависит от двух противоположных причин: от протестантства, которое ведет к genre (жанру.— *Б. Е.*), и от высоких требований, которые им удовлетворяться не могут. Это оправдывается высокими достоинствами английских карикатур. Вопрос о музыке труднее и многосложнее; в моем мнении об нем много гадательного» (8, 187).

В статье отразились реальные впечатления автора от посещения Англии, где он пробыл около месяца (август 1847 г.). Согласно сведениям заграничного паспорта, подписанного министром внутренних дел Л. А. Перовским (ГИМ), Хомяков выехал с женой и двумя детьми (Дмитрием и Марией) «в Германию и Англию для излечения болезни». Маршрут и даты путешествия устанавливаются по штампам в паспорте и по письмам Хомякова: выехали из Петербурга морем 31 мая 1847 г. в Гамбург — Берлин — Дрезден — Прагу — Эмс — Брюссель — Остенде (прибыли 25 июля), затем Лондон — Париж — Берлин (прибыли 5 сентября) — Вержболово (прибыли 11 сентября) — Ковно — Петербург.

Этимологические разыскания Хомякова на основании звуковых соответствий (вплоть до выведения англичан из племени угличей), конечно, фантастичны.

Наблюдения Хомякова над системой английского образования отрази-

лись в его статье «Об общественном воспитании в России». См. также «Заметку об Англии и английском воспитании» (3, 469 — 471).

[1] До середины XVII в. голландские судовладельцы господствовали в области морских перевозок, в том числе и в английских портах; Англия приняла ограничительный закон 1651 г., приведший к войне с Голландией 1652 — 1654 гг., закончившейся поражением Голландии.

[2] *Гошпиталь Христа* (Приют Христа) был основан именно как приют (1552), но в XIX в. он являлся привилегированным средним учебным заведением.

[3] Чистая ирония, издевка над «светом»; недаром фраза не была пропущена цензором.

[4] *Мурмолка* — шапочка, народный головной убор, постоянно носимый Хомяковым и К. С. Аксаковым.

[5] Речь идет о первой поездке Хомякова в Европу в 1825 — 1826 гг.; сведения о ней чрезвычайно скудны; известно, что он долго жил в Париже, посетил славянские страны и Северную Италию; здесь же находим единственное упоминание о посещении Хомяковым Швейцарии и Вены.

[6] В Англии Хомяков не только изучал жизнь страны, но и налаживал связи с машиностроителями: он изобрел совершенно оригинальную паровую машину, некоторые детали которой ему позднее помогли изготовить англичане; в 1851 г. в Лондоне Хомяков издал на английском языке брошюру (перепечатана: 3, Приложения, 1 — 11 и 2 чертежа), заглавие которой в переводе гласит: «Описание «Московки», новой вращательной паровой машины, изобретенной и запатентованной Алексеем Хомяковым из Москвы».

[7] В 1843 г. в шотландской церкви произошел раскол: группа священников, ратующая за свободный выбор пресвитера прихожанами (а не волей землевладельца), отделилась от национальной церкви и образовала свободную пресвитерианскую церковь.

[8] Английский король Генрих V (XV в.) стал одновременно властителем Франции, получив регентство при сумасшедшем французском короле Карле VI.

[9] Опасаясь русского влияния в Афганистане, англичане захватили в 1842 г. его столицу Кабул, обратив город в развалины; в Китае английские войска в 1841 — 1842 гг. вели колониальную войну, заставив уступить себе Гонконг.

[10] В битве при Гастингсе (1066), на английском побережье Ла-Манша, нормандское войско Вильгельма I Завоевателя победило англичан (их король Гарольд был убит в бою).

[11] При Пуатье (1356) и при Азинкуре (1415) французские войска были разбиты английскими.

[12] *Линкольн* — главный город одноименного английского графства.

[13] Речь идет о гражданской войне в Англии 1455 — 1485 гг., так называемой войне двух Роз (символы на гербах): между Белой (королевский дом Йорка) и Алой (Ланкастер), закончившейся победой дома

Ланкастера и воцарением на английском престоле Генриха VII Тюдора.

[14] *Друидизм* — мистическое мировоззрение кельтских жрецов (друидов).

[15] *Октархия* — разделение Англии на восемь церковных округов.

[16] *Лолларды* — еретики XIV в., предводительствуемые В. Лоллардом (сожжен в Кельне в 1322 г.).

[17] Имеется в виду гувернантка детей Хомякова Эмма Гатфильд (см. 8, 172).

[18] *Креси* — французский город, при котором французское войско было разбито английским (1346).

[19] Намек на Россию, понятый, очевидно, цензором: фраза отсутствовала в журнальном тексте; Хомяков очень враждебно относился к русской аристократии не только по психологическому неприятию, но и по социальному прогнозированию: как он подчеркнет ниже (и эта фраза тоже была изъята цензором), аристократия расщепляет общество и приводит к созданию демократической идеологии на западный лад (с требованиями переворотов, насильственных мер и т. п.).

[20] Имеется в виду драма К. С. Аксакова «Освобождение Москвы в 1612 году» (1848).

[21] Подразумеваются письма Гоголя на эстетические темы, вошедшие в книгу «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847).

[22] Речь идет о письме Жуковского к Гоголю от 29 января 1848 г., посвященном 4-й главе «Выбранных мест...» («О том, что такое слово»).

[23] *Коллегия* — колледж, вид английской школы.

[24] *Бадинка* — тросточка.

[25] *Суд третьями* — третейский суд.

[26] Так алхимики называли нерастворимый осадок после реакции (фигурально: тело, лишенное разума, духа).

[27] См. примеч. 5 к статье «О возможности русской художественной школы».

[28] *Авлические* — дворцовые, придворные (от лат. aula — двор, дворец).

[29] *Камеральность* — административность.

<ПО ПОВОДУ ГУМБОЛЬДТА>
(С. 196)

Впервые — Изд. 1861. С. 141 — 174. Заглавие дано произвольно И. С. Аксаковым, издателем тома.

В М (1848. № 7) Хомяков опубликовал статью «Англия» и вслед за ней принялся за данную статью, развивающую идеи предыдущей. Статья писалась, очевидно, в октябре — ноябре 1848 г. (упоминается статья А. Н. Егунова из октябрьского номера «Современника»). 23 ноября Хомяков отправляет статью для М: «Посылаю тебе, любезный Погодин, статью под названием «Несколько слов по случаю Гумбольдта». Постарайся ее втиснуть в журнал твой, то есть протиснуть сквозь цензуру» (Отдел рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина).

В письме к графине А. Д. Блудовой от 26 ноября 1848 г., посылая для ознакомления рукопись данной статьи, Хомяков излагает главные идеи обеих своих статей, недостаточно четко высказанные из-за цензурных опасений (впрочем, автор несколько насторожен и к мало знакомой ему графине, поэтому он стремится обезопасить статьи подчеркиванием своей «аполитичности»): «Я хотел, я должен был высказать заветную мысль, которую носил в себе от самого детства и которая долго казалась странною и дикою даже моим близким приятелям. Эта мысль состоит в том, что, как бы каждый из нас ни любил Россию, мы все, как общество, постоянные враги ее, разумеется, бессознательно. Мы враги ее, потому что мы иностранцы, потому что мы господа крепостных соотечественников, потому что одуряем народ и в то же время себя лишаем возможности истинного просвещения, и так далее. Вопросы политические не имеют для меня никакого интереса; одно только важно, это вопросы общественные. Напр<имер>, у нас правительство самодержавно, это прекрасно, но у нас общество деспотическое: это уж никуда не годится. Вот приблизительно перечень того, что я хотел сказать в статьях своих, разумеется, во сколько это возможно при цензуре, которая сама зависит столько же от общества, сколько от правительства. На пути моем Англия, кроме собственного интереса, послужила мне удобною притчею, и к ней привязал я последнюю свою статью» (8, 391).

То, что и Гумбольдт с его фундаментальным «Космосом» был лишь «привязкой» для выражения заветных мыслей, Хомяков писал позднее, уже во второй половине 1850-х гг., И. С. Аксакову: «Статья, писанная о Космосе, есть не что иное, как та, которая была и в наборе; но в наборе есть выпуски для тогдашней цензуры. Тут Космос отчасти придирка» (8, 378).

Хомяков имел основание опасаться цензуры. Посылая статью своему другу А. Н. Попову для передачи А. Д. Блудовой, он пишет: «Желаю душевно, чтобы цензура милостиво поступила со мною; но боюсь крепко, что ей все покажется манихейской ересью от первого слова до последнего» (8, 193). И в самом деле, московская цензура не решилась брать на себя ответственность, переслала статью в Главное управление цензуры, которое и запретило статью окончательно (Центральный гос. исторический архив в Ленинграде).

[1] Возможно, Хомяков слышал о каком-то частном высказывании, но в многотомном «Космосе» А. Гумбольдт с уважением относится к философским попыткам найти законы и необходимость в духовном мире, подобно тому как физики ищут материальные закономерности (см.: Humboldt A. Kosmos. Stuttgart; Tübingen, 1845. Bd. 1. S. 21).

[2] *Партикуляризм* — см. примеч. 4 к статье «Мнение русских об иностранцах». Хомяков явно преувеличивает «партикуляризм» Гумбольдта, ратовавшего за изучение взаимосвязей и за обобщения.

[3] Принцип «Все, что действительно — разумно» был сформулирован Гегелем в предисловии к «Философии права» (1821) и в самом деле означал признание исторической необходимости, т. е. закономерной обусловленности всего совершающегося всем бывшим. Хомяков верно уловил дух сис-

темы Гегеля, но он утрировал оттенок фатализма, присущий гегелевскому методу, и истолковал принцип как полное извращение причинно-следственных связей: якобы, по Гегелю, причины объясняются следствиями и выводятся из следствий.

[4] *Телеологическая* — от слова «телеология», означающего учение о заранее определенных (богом или природой) целях, поэтому все явления обусловливаются этой волевой целенаправленностью.

[5] *Святой Петр* — знаменитый католический храм в Риме (XVI в.).

[6] Имеются в виду радикальные младогегельянцы.

[7] См. примеч. 7 к статье «Мнение русских об иностранцах».

[8] Речь идет о развязке второй части «Фауста» со странными фигурами святых и с гимном в честь Вечной женственности.

[9] Хомяков перечисляет мелкобуржуазных радикальных деятелей периода французской революции 1848 г.

[10] Намек на возмущение революционными событиями со стороны реакционных аристократических кругов, опасающихся за свой «комфорт».

[11] Хомяков хочет сказать, что буржуазно-демократический строй США по своим недостаткам сопоставим с деспотическими режимами Порты (т. е. Турции) и Испании периода господства инквизиции.

[12] Намек на европейские революции 1848 г.

[13] Прусское протестантское правительство притесняло кельнского католического архиепископа Клементия-Августа и заключило его в 1837 г. в крепость; это событие вызвало длительную печатную полемику между католиками и протестантами.

[14] Хомяков считал, что латинство (католичество) и протестантство (в основном — лютеранство), каждое учение по-своему, сузило и извратило заветы раннего христианства: католицизм культивирует принцип единства в ущерб свободе; протестанты, наоборот, пренебрегли единством ради свободы; лишь православие соединяет в себе оба главенствующих принципа.

[15] Имеются в виду латинство и протестантство.

[16] Хомяков знал лишь утопические учения социалистов и коммунистов.

[17] Имеется в виду христианский социализм (Пьер Леру, Консидеран, Жорж Санд и др.), широко популярный во Франции в 40-е гг.

[18] Хомяков неточно называет книгу Макса Штирнера (псевдоним немецкого философа и публициста Каспара Шмидта): ее заглавие не «Der Einzelne...» («Отдельный»), а «Der Einzige und sein Eigenthum» («Единственный и его достояние»). Книга Макса Штирнера (Лейпциг, 1845) проповедовала крайние формы индивидуализма и анархизма; была подвергнута критике К. Марксом и Ф. Энгельсом в «Святом семействе» и других работах.

[19] Макс Штирнер примыкал ранее к младогегельянцам, которые по выходе его книги «отступились» от бывшего соратника.

[20] В черновике (ГИМ) Хомяков говорит точнее: «...как я уже сказал в статье об опере «Жизнь за царя». См. также статью «О возможности русской художественной школы».

[21] В черновике статьи (ГИМ) вместо слов «с нашим просвещением» было: «таково ли общество, поставленное судьбою передовым деятелем умственного движения русской земли? Ответ так явно отрицателен, что его, кажется иному, и подсказывать не нужно, даже и тем, которые прикидываются, будто бы не понимают этого отрицания: следует только понять всю важность этого отрицания, его историческую причину и его значение в будущем».

[22] Цитата из статьи «Англия» (1, 127 — 128).

[23] В известных новгородских летописях не обнаружены ссылки на немецкие сказания о Нибелунгах.

[24] *Флорентинский собор* — собрание католических и православных (византийских) иерархов в 1439 г., принявшее решение об объединении (унии) церквей; решение оказалось непрочным, оно было затем в Константинополе отменено.

[25] Г. К. Котошихин, подьячий посольского приказа в середине XVII в., стал за вознаграждение шведским шпионом, затем бежал в Польшу и Швецию; за убийство (из ревности) был казнен в Стокгольме; написал, будучи в Швеции, очерк русской жизни, очень критический.

[26] Имеется в виду князь И. А. Хворостинин, перешедший в лагерь Лжедмитрия I; впоследствии прощенный, он жил в Москве, высокомерно относился к быту соотечественников, глумился над обрядами и т. п.

[27] Перечислены основные парижские газеты либерального или консервативного толка.

[28] См. примеч. 8 к статье «Мнение русских об иностранцах».

[29] Очевидно, воспоминания о собственных ночных спорах в кружке «любомудров»: их описывал и В. Ф. Одоевский в «Русских ночах», и А. И. Кошелев в воспоминаниях о Хомякове (см. 8, 125).

[30] Подобное выражение не обнаружено в «Горе от ума».

[31] Имеется в виду статья: Погодин М. П. Параллель русской истории с историей западных европейских государств относительно начала// М. 1845. № 1.

[32] Речь идет о статье В. Г. Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 года» (Современник. 1847. № 1). Но Белинский отнюдь не утверждает, что «взаимная вражда» так же «годится» для «основания общества», как и любовь: он лишь перечисляет жестокие, трагические события в истории России.

[33] Хомяков имеет в виду свои статьи.

[34] См. примеч. 32 к статье «Мнение русских об иностранцах».

[35] *Пластика* — Хомяков употребляет это слово для обозначения всех изобразительных искусств.

[36] Речь идет о подражаниях народной поэзии и о П. П. Ершове, авторе «Конька-Горбунка».

[37] Знаменитая картина Рафаэля, хранящаяся в Ватиканском музее в Риме.

[38] Имеется в виду Камбасерес (в статье «О старом и новом» Хомяков приводит более полную цитату с указанием автора).

[39] Очевидно, намек на Дизраэли (см. аналогичное место в статье «Мнение русских об иностранцах»).

[40] Имеются в виду народные исторические песни об обороне Пскова в 1581 г. от войска польского короля Стефана Батория (одним из участников обороны называется Борис Петрович Шереметев, в действительности — военачальник Петровской эпохи и герой народных песен этой поры) и многочисленные песни про Карамышева, объединившие в одном образе нескольких представителей рода (один из Карамышевых упоминается в песне о защите города Волока Ламского при осаде польским королем Сигизмундом в начале XVII в.; реальный Иван Константинович Карамышев был тогда воеводой города).

[41] Имеется в виду статья К. Д. Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России» (Современник. 1847. № 1).

[42] Имеется в виду статья К. Д. Кавелина «Ответ „Москвитянину"» (Современник. 1847, № 12).

[43] Хомяков подробно писал об этих проблемах в статье «Англия» (М. 1848. № 7).

[44] Подразумевается ренегатская статья бывшего западника А. А. Краевского, испугавшегося цензурных репрессий в связи с французской революцией 1848 г.: «Россия и Запад в настоящую минуту» (Отечественные записки. 1848. № 7).

[45] Имеется в виду творчество М. И. Глинки.

[46] Намек на Гоголя.

[47] Имеются в виду А. А. Иванов, которому Хомяков посвятит статью «Картина Иванова» (1858), и его отец А. И. Иванов, академик живописи, известный и как иконописец. В середине 1840-х гг. сведения о многолетней работе А. А. Иванова над его знаменитой картиной уже широко распространились по России; в МСб 1846 г. была опубликована большая статья Ф. В. Чижова «О работе русских художников в Риме», значительная часть которой посвящена картине Иванова.

[48] См. примеч. 41. Однако Кавелин считает, что в Древней Руси община существовала и лишь затем пришла в упадок.

[49] Имеется в виду статья ученика Кавелина А. Н. Егунова «Взгляд на торговлю древнейшей Руси» (Современник. 1848. № 8 — 10).

[50] Подразумевается рецензия В. Г. Белинского на МСб 1847 г. (Современник. 1847. № 6). Рецензия была опубликована без подписи, но, возможно, Хомякову был известен автор. Следует, однако, учесть, что Белинский говорит об «оппозиции» бояр и народа Иоанну Грозному, а не об их «мерзостях».

[51] Имеются в виду докторская диссертация С. М. Соловьева «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома» (М., 1847) и вторая часть рецензии К. Д. Кавелина на эту книгу в «Современнике» (1847, № 12). Вторая часть рецензии была опубликована анонимно, поэтому, возможно, Хомяков приписывал ее Белинскому.

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ В РОССИИ

(С. 222)

Впервые в сокращении (с небольшими изъятиями цензурного и фактического характера) — День. 1861. № 1. С. 3 — 7 (ц. р. 10 ноября 1861 г.). Впервые полностью: Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1900. Т. 1. С. 351 — 374 (здесь она ошибочно отнесена к 1858 г.).

Замысел статьи относится еще, вероятно, к весне 1849 г.: в письме к графине А. Д. Блудовой от 16 мая Хомяков в связи с арестами петрашевцев подробно размышляет о воспитании молодежи, о необходимости семейного воспитания (см. 8, 393 — 394); эти идеи, возможно, и вызвали желание А. Д. Блудовой получить на эту тему особый труд. Во всяком случае, статья была написана осенью 1850 г. в тульском имении Богучарово по прямому заданию А. Д. Блудовой для передачи то ли наследнику царя (будущему Александру II), то ли Я. И. Ростовцеву, тогдашнему начальнику военно-учебных заведений: сведения об этом противоречивы (ср. 8, 203 и 8, 400, примечания П. И. Бартенева); в письме к А. Д. Блудовой от 19 ноября 1850 г. Хомяков спрашивал: «Получили ли вы, графиня, работу, сделанную по вашему приказанию, и довольны ли вы ею?» (8, 400). Ценные сведения о статье содержатся в письме Хомякова к А. Н. Попову от 6 ноября 1850 г.: «Не знаю, одобрите ли вы это окончание статьи и особенно довольно резкую форму нападения на современную цензуру. Я хотел бы, но не решился, примерами доказать, что теперешняя цензура вредна и религии, и даже правительству. Это бы было дурно принято и восставило бы против меня и Ширинского (министра народного просвещения.—*Б. Е.*) и, может быть, Протасова (обер-прокурора св. Синода. — *Б. Е.*). Поэтому я держался общих доводов» (8, 202).

В статье Хомяков использовал наблюдения над системой английского образования; в письме от 27 марта 1851 г. к лингвисту К. А. Коссовичу, находившемуся в командировке в Англии (и, кстати, помогшему Хомякову запатентовать изобретенную паровую машину и выпустить в Лондоне ее описание), Хомяков сообщал: «Из Лондона пишете вы мне про мою статью. Думаю, что вы не случайно вспомнили об ней. Хотя в ней не говорено почти об Англии, хотя предлагаемый мною план не похож на английский университет, но характер кажется мне очень похожим на общий характер английского воспитания, именно на строгое и сосредоточенное развитие мысли, которое лежит в основе этих островитян, которых нельзя не любить и не уважать, несмотря на то, что в общей политике мира много великих грехов на их душе» (Русский архив. 1911. № 3. С. 490).

Мнения об общеобразовательном характере университетов, видимо, были типичны для английской интеллигенции. Ср. суждения лорда Маколея, высказанные в беседе с русским историком: «...университет должен только развивать ум и вкус человека <...> Пусть потом он изберет какую угодно дорогу <...> Он, конечно, не сделался специалистом, но зато лучше пригото-

вился к специальности, потому что разработал свой ум и вкус» (Каченовский Д. И. Воспоминания о Маколэ// Русское слово. 1860. № 7. с. 80).

[1] Таково было намерение самого Николая I после европейских революций 1848 г.; правда, в конце концов университеты не были уничтожены, но были приняты весьма строгие меры для изоляции высших учебных заведений от западной «заразы»: уничтожены кафедры философии, сокращено количество студентов и т. д.

[2] Прежде в университетах был трехлетний курс обучения.

[3] Намек на французского математика Лагранжа, который в «Теории аналитических функций» (1797) пытался чисто алгебраическими методами заменить принципы дифференциального исчисления Ньютона — Лейбница, но его построения оказались более громоздкими.

[4] В черновой рукописи Хомякова (ГИМ) далее следовала фраза: «Должно однако же и в этом случае заметить, что экзаменатор по каждой отрасли должен быть не тот, кто читает об ней лекции в университете».

[5] Речь идет о жестоких репрессиях, которым подвергал восставших итальянцев и венгров австрийский фельдмаршал барон Гайнау (1848 — 1849 гг.).

[6] «Revue étrangère» — полное название: «Revue étrangère de la litterature, des sciences et des arts» («Иностранное обозрение литературы, наук и искусств»), журнал на французском языке, издававшийся в Петербурге (1832 — 1863) и перепечатывавший статьи и очерки из западноевропейской периодики.

[7] Далее в черновой рукописи (ГИМ) Хомяков другими чернилами (т. е., очевидно, позднее) приписал еще следующий абзац: «В заключение скажем, что неограниченная свобода книгопечатания может иметь последствия вредные, но временные, а безрассудная строгость цензуры готовит разрушение общества и падение власти, которую она берется охранять». Ни один из дореволюционных издателей сочинений Хомякова не решился опубликовать это заключение статьи.

<ПРЕДИСЛОВИЕ К «РУССКИМ НАРОДНЫМ ПЕСНЯМ»> (С. 239)

Впервые — МСб. 1852. С. 319 — 331, без заглавия (общее заглавие публикации: «Русские народные песни (из приготовляемого к изданию собрания П. В. Киреевского) и предисловие к ним А. С. Хомякова»); в собраниях сочинений Хомякова статья произвольно именовалась «Предисловие к Русским песням».

Предисловие предпослано публикации двух былин и двух лирических песен. Славянофилы глубоко интересовались русским фольклором. Еще до всех программных славянофильских статей в «Симбирских губернских ведомостях» (14 апреля 1838 г.) была напечатана заметка: Киреевский П., Языков Н., Хомяков А. О собирании русских народных песен и стихов. (Заметка воспроизведена: Лит. наследство. 1968. Т. 79. С. 49.) Авто-

ры заметки призывали соотечественников записывать произведения народной поэзии.

[1] *Труверы* — трубадуры, средневековые провансальские поэты.

[2] Речь идет о художественных миниатюрах на средневековых рукописях.

[3] Древнеанглийские барды.

[4] *Васки* — баски.

[5] *Вандея* — область на западе Франции.

[6] *Миннезингеры* — немецкие средневековые поэты.

[7] *Ниневия* — древняя столица Ассирии.

[8] *Палимпсест* — рукопись на пергаменте со смытым или соскобленным старым текстом.

[9] В черновой рукописи Хомякова (ГИМ) вместо фразы «Вообще язык поэзии лучше прозы» было: «Пушкин и Языков учились у русской песни».

[10] По современной жанровой классификации эти произведения не сказки, а былины; в середине XIX в. «былина» еще не стала научным термином.

[11] Имеется в виду уникальный рукописный сборник былин и песен XVIII в., по предположению составленный Киршей (Кириллом) Даниловым (впервые издан в 1804 г.).

[12] Козары (хазары) частично исповедовали иудейскую религию, частично — ислам, частично — христианство.

[13] Хомяков неточно цитирует анализируемую былину (вместо «не так... не так» нужно «не ладно... не ладно»).

<ПРЕДИСЛОВИЕ К «РУССКОЙ БЕСЕДЕ»>
(С. 247)

Впервые — РБ. 1856. № 1. С. I — VI особой пагинации (в начале тома), без заглавия. Статья была произвольно озаглавлена в собраниях сочинений Хомякова.

Получив после многомесячных хлопот право на издание своего журнала, славянофилы в течение пяти лет (1856 — 1860) выпускали РБ. Издателями и редакторами журнала были А. И. Кошелев и Т. И. Филиппов (затем замененный И. С. Аксаковым); Хомяков, не желая брать на себя техническую редакторскую обузу, остался как бы идеологическим руководителем журнала и активным сотрудником.

РАЗГОВОР В ПОДМОСКОВНОЙ
(С. 252)

Впервые — РБ. 1856. № 2. Отд. 5 («Смесь»). С. 107 — 138, без подписи. Рукопись статьи хранится в рукописном отделе Института русской литературы АН СССР (Пушкинского дома) в Ленинграде. В ней содержится еще две страницы продолжения разговора, впервые публикуемые в настоящем издании (это продолжение заключено в квадратные скобки). Судя по содержа-

нию, и это еще не конец, спор должен был по смыслу продолжаться дальше.

В РБ обозначение произносящих реплики было более громоздко: имена женщин печатались полностью, мужчин — с инициалами при фамилиях, и все имена вынесены в отдельные строки над произносимым текстом.

Хомяков дал мужчинам значащие фамилии: Запутин — путаник, колеблющийся, а Тульнев, креатура автора, рупор его мыслей — очевидно, из Тулы (под Тулой находилось Богучарово — основное имение Хомякова).

[1] В стихотворных сборниках В. Гюго и в его собраниях сочинений данный отрывок не обнаружен.

[2] Неточная цитата из 3-го стиха из цикла О. Барбье «Идол», посвященного Наполеону (сб. стихотворений О. Барбье «Ямбы». Париж. 1831).

[3] Источник цитаты не найден; возможно, текст принадлежит самому Хомякову.

[4] В начале 1856 г. в «Московских ведомостях» было опубликовано объявление о выходе нового журнала РБ, с приложением идеологической программы издания; западническая редакция «Московских ведомостей» критически отозвалась о программе, особенно о требовании «русского воззрения на науки и искусства», и возразила: «...ведь наука и искусства допускают лишь одно воззрение — просвещенное, следовательно, общечеловеческое» (1856. 3 марта. С. 106). После этого редакторы РБ А. И. Кошелев и Т. И. Филиппов прислали в редакцию «Московских ведомостей» письмо с защитой славянофильской программы, а редакция (очевидно, сам редактор В. Ф. Корш) снова изложила западническую точку зрения (8 марта. С. 114 — 115).

[5] С. Т. Аксаков.

[6] В самом деле, в конце XVIII в. Германия «открыла» для себя Шекспира благодаря статьям Гердера и Гете.

[7] Имеется в виду знаменитый сборник И. Г. Гердера «Голоса народов в песнях» (1778 — 1779).

[8] Неточная цитата из элегии Д. В. Веневитинова «Поэт и друг» (1827).

[9] Неточная цитата из «Послания к Римлянам святого апостола Павла» (IX, 3).

[10] Имеется в виду легендарное вознесение гроба с телом Магомета.

[11] Персонаж одноименной комедии К. С. Аксакова (1856).

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ Т. И. ФИЛИППОВУ
(С. 277)

Впервые — РБ. 1856. № 4. Отд. 4 («Смесь»). С. 92 — 107, без подписи. Печаталось во всех собраниях сочинений Хомякова с пропуском обращения и первого абзаца текста и с изъятием в заглавии слова «издателю»: возможно, разногласия Т. И. Филиппова со славянофилами и его последующий уход из РБ (1857) повлияли на то, что И. С. Аксаков и П. И. Бартенев

не желали напоминать об издательском и редакторском участии Филиппова в журнале.

Письмо Хомякова было первым славянофильским коррективом, вежливым, но твердым, к идеям Филиппова. Поводом к письму явилась большая статья-рецензия Филиппова на драму А. Н. Островского «Не так живи, как хочется» (РБ. 1856, № 1. Отд. 3. С. 70 — 100). Находясь несравненно ближе славянофилов к официозной догматике православия, Филиппов всю статью строит на доказательстве того, что существуют строгие и нравственно высокие законы христианства, к исполнению которых должен стремиться человек, а для этого он должен постоянно «ставить границы» своим чувствам, смиряться и терпеть. Н. Г. Чернышевский в «Заметках о журналах. Май 1856 года» (Современник. 1856. № 6) резко критиковал статью Филиппова и, с уважением отзываясь о взглядах славянофилов, высоко оценивая РБ, отделял позицию Филиппова от программы РБ в целом. Хомяков в своем «Письме...» защищал «честь мундира», иронизировал над критикой «Современника» и как бы солидаризировался с Филипповым, но на самом деле вносил в концепции последнего много поправок: во-первых, вместо недосягаемого формального «закона» Хомяков утверждает идеал в собственной душе, «внутри» человека и считает эту норму вполне доступной и осуществимой; во-вторых, в противовес филипповскому «уничижению» личности подчеркивает высокое достоинство человека, его самоуважение, уважение к своим чувствам; в третьих, рыцарственно переносит вину за распущенность нравов на мужчин и ратует за нравственное воспитание обоих полов и т. д.

[1] Речь идет об указанной выше статье Чернышевского. Хомяков неточно излагает ее; см. подлинный текст: «...если «Русская беседа» действительно останется верна научной точке зрения г. Самарина, а не образу мыслей г. Филиппова, то действительно основанием спора окажутся взаимные недоразумения, а не существенное разномыслие, и спор в различии начал прекратится, как скоро мнимые противники объяснятся друг с другом. Объяснения с г. Филипповым, конечно, не приведут к согласию; тут различие, действительно, лежит в сущности понятий. Или нам (и г. Самарину) должно забыть то, что мы знаем, или г. Филиппову узнать многое, на что не обращал он внимания. Последнее и легче и лучше» (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. 3. М., 1947. С. 655).

[2] *«Le Nord»* — газета на французском языке, издававшаяся в Брюсселе (1855 — 1865, 1868 — 1871); субсидировалась русским правительством.

[3] На самом деле статья опубликована в номере от 21 марта 1856 г. под постоянной рубрикой «Courrier de St.-Petersbourg» («Корреспонденция из Петербурга») постоянного же сотрудника газеты Эдмона Винья (Vignat); автор в развязно-ироническом тоне сообщает о приезде известного славянофила в Петербург и о его беседах в аристократическом салоне: явно имеется в виду Хомяков, который приезжал в столицу в январе 1856 г.

[4] *Неумытная* — неподкупная.

[5] Филиппов в подтверждение своих взглядов цитировал народную пес-

ню, призывающую к смирению: «Потерпи, сестрица, потерпи, родная».

[6] См. примеч. 11 к предыдущей статье.

[7] Речь идет о статье Ю. Ф. Самарина «О народном образовании» (РБ. 1856. № 2) и о статье некоего Великосельцева «Заметки о связи между улучшенною жизнью, нравственностью и богатством в крестьянском быту» (Земледельческая газета. 1856. № 23, 24), анекдотически наивной по советам улучшить крестьянскую жизнь.

[8] У Филиппова нет ничего подобного: это идеи и слова самого Хомякова.

[9] *Мариона* (Марьон) — куртизанка, героиня драмы В. Гюго «Марьон Делорм» (1831).

[10] *Манона* (Манон) — героиня романа аббата Прево «Манон Леско» (1733).

[11] См. примеч. 25 к статье «Мнение русских об иностранцах».

[12] *Фаблио* — средневековая новелла в стихах; *труверы* — французские поэты XII — XIII вв.; *Ланселот, Тристан* — герои поэтических легенд о рыцарях короля Артура.

[13] *Сижисбеизм* — ухаживание за хозяйкой дома.

[14] Имеется в виду развод Наполеона с бездетной Жозефиной (1809), на который папа римский не давал своей санкции.

[15] *Реформатские* — протестантские (некоторые германские княжества, Швеция, Дания и др.).

[16] Перечисляются легендарные женщины, претерпевавшие тяжкие испытания, но отличавшиеся стойкостью, терпением, верностью.

[17] У Самарина содержатся мысли, которые Хомяков резюмирует в первой фразе псевдоцитаты, но совершенно отсутствуют идеи второй фразы — о самоуважении любви, вообще у Самарина нет понятия *уважение*.

[18] *Лукреция Флориани* — героиня одноименного романа Жорж Санд (1846).

[19] Источник цитаты не найден.

[20] Протестант Жан Калас был ложно обвинен католиками в убийстве сына (якобы из-за религиозного фанатизма), казнен, а затем посмертно реабилитирован благодаря блестящей публицистической защите Вольтера.

[21] Вольтер безуспешно протестовал против сожжения двух французских юношей (де Ла Барр и д'Эталонд), обвиненных в осквернении распятия.

РАЗБОР ТРАГЕДИИ БАРОНА Е. Ф. РОЗЕНА «ЦАРЕВИЧ» (С. 291)

Впервые — 3, 405 — 409 и — очевидно, независимо — Литературный вестник. 1901. № 7. С. 226 — 231 (публикация Б. Л. Модзалевского). Публикатор сообщает сведения о причинах создания отзыва: Е. Ф. Розен представил свою рукописную трагедию 29 апреля 1857 г. на объявленный Академией наук 1-й Уваровский конкурс; академия обратилась к Хомя-

кову с просьбой дать официальный отзыв; в письме к непременному секретарю Академии наук А. Ф. Миддендорфу от 9 августа 1857 г. Хомяков извиняется за задержку ответа (из-за смерти матери) и за краткость отзыва; на основании рецензии Хомякова трагедия не была удостоена награды; затем Розен подал на 2-й Уваровский конкурс печатную свою трагедию «Князья Курбские» (1857), и она тоже не получила искомой премии; оскорбленный автор разразился бранной статьей в «Северной пчеле» (1859. № 7).

Для понимания исторической концепции русского XVI в. у Хомякова следует учитывать его статьи «Тринадцать лет царствования Ивана Васильевича» и «Царь Феодор Иоаннович».

<К СТАТЬЕ «О ВИЗАНТИЙСКОЙ ЖИВОПИСИ»>
(С. 295)

Впервые — РБ. 1859. № 4. Отд. 5 («Смесь»). С. 97 — 98, за подписью «От редакции» — как послесловие к статье Э. Д.-М. (Э. А. Дмитриева-Мамонова) «Значение византийской живописи в истории искусства». Автор статьи — художник и искусствовед, в 1840 — 1850-х гг. близкий к славянофилам (ему принадлежат несколько портретов Хомякова). Название послесловия произвольно придумано редакторами собраний сочинений Хомякова.

Заметка ценна своеобразной трактовкой страдания, расходящейся с официально-православной (см. вступительную статью).

[1] *Св. София* — знаменитый православный храм в Константинополе (Царьграде).

<О ДРАМЕ Г. ПИСЕМСКОГО «ГОРЬКАЯ СУДЬБИНА»>
(С. 296)

Впервые — Отчет о четвертом присуждении наград графа Уварова 25 сентября 1860 года. Спб., 1860. С. 50 — 52, под заглавием «Отзыв А. С. Хомякова о драме г. Писемского «Горькая судьбина». Как и в случае с трагедией Е. Ф. Розена «Царевич», Хомяков был избран Академией наук официальным рецензентом представленной на конкурс драмы. Кроме Хомякова драму Писемского рецензировали видный представитель теории «чистого искусства» Н. Д. Ахшарумов (давший почти полностью отрицательный отзыв) и академик П. А. Плетнев (давший еще более положительный отзыв, чем Хомяков). В результате Писемскому была присуждена Большая премия (одновременно с Писемским, по отзывам И. А. Гончарова и А. Д. Галахова, Большую премию получил А. Н. Островский за драму «Гроза»).

Отзыв содержит интересные эстетические суждения Хомякова, особенно об объективистских и натуралистических чертах в творчестве Писемского.

<ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕСНЯМ, ПОМЕЩЕННЫМ В СТАТЬЕ Г-ЖИ КОХАНОВСКОЙ>
(С. 299)

Впервые — РБ. 1860. № 1. С. 42 — 43, 44 — 46, 99 — 100; два первых примечания за подписью «Прим. ред.», третье — «Прим. А. Х.» Заглавие дано произвольно редакторами собраний сочинений Хомякова. Примечания включены в статью-публикацию: Кохановская. Несколько русских песен. Автор публикации сообщает, что она приводит песни, записанные, главным образом, в Старо-Оскольском уезде Курской губ.

[1] *Рутрен и Сати* — персонажи древнеиндийских мифов; в современной транскрипции *Рудра*, а не Рутрен.

[2] *«Голубиная книга»* — стих о Голубиной (Глубинной) книге, популярное произведение русской народной поэзии космогонического, религиозного, этического содержания.

<ПИСЬМО В ЧУЖИЕ КРАЯ О РАСКРЕПОЩЕНИИ ПОМЕЩИЧЬИХ КРЕСТЬЯН>
(С. 302)

Впервые — Русский архив. 1899. № 2. С. 361 — 364 (французский текст и перевод) под заглавием: «Письмо А. С. Хомякова в чужие края. По поводу раскрепощения помещичьих крестьян». Заглавие и это, и в собраниях сочинений — редакторские. Рукопись (ГИМ) — неоконченный карандашный набросок на французском языке. Хомяков, очевидно желая ознакомить европейскую публику с общественными настроениями в России перед освобождением крепостных крестьян, задумал обратиться в редакцию какого-то периодического органа печати («Le Nord»? «Times»?).

<РЕЧИ, ПРОИЗНЕСЕННЫЕ В ОБЩЕСТВЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ>
(С. 304)

Впервые Речи I — VI — РБ. 1860. № 1. С. 1 — 40; VII — IX — Изд. 1861. С. 711 — 721. Общество было открыто в 1811 г. при Московском университете; при первом председателе А. А. Прокоповиче-Антонском (до 1826 г.) очень активно функционировало, затем фактически распалось. Хомяков, один из старейших членов общества, способствовал его возрождению в 1858 г.

[1] Речь идет о протесте либеральных литераторов в 1858 г. против антисемитских статей журнала В. Р. Зотова «Иллюстрация»; интересно некоторое сходство позиций Хомякова и Добролюбова, который отнесся к протесту иронически как к безрезультатной либеральной шумихе.

[2] Не удалось установить, о какой повести идет речь.

[3] Намек на «Письмо к издателю Т. И. Филиппову».

[4] По предложению К. С. Аксакова 28 января 1859 г. общество избрало своими членами Л. Н. Толстого и И. С. Тургенева; Толстой произнес в заседании 4 февраля «вступительную» речь (см. ее текст: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 5. М., 1931. С. 271 — 273), где он под влиянием своей тогдашней идеи «чистого искусства» проповедовал «изящную» литературу, в то же время подчеркивая, что русская литература — «серьезное сознание серьезного народа».

[5] Имеется в виду рассказ Л. Н. Толстого «Три смерти» (1856).

[6] Намек на духовную атмосферу, на цензурные гонения николаевской эпохи.

[7] Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Бородинская годовщина» (1831).

[8] *«Дух журналов»* — консервативный петербургский журнал (1815 — 1820).

[9] Намек на П. А. Кулиша, который в своих статьях 1850-х гг. пытался доказывать, что Гоголь плохо знает украинский быт.

[10] Источник цитаты не обнаружен.

[11] *Фавна* — фауна, животный мир.

[12] Хомяков несколько утрированно излагает идеи «Философического письма» П. Я. Чаадаева.

[13] Ломоносов узаконивал «московское наречие» как основу литературного языка в «Российской грамматике» (1755—1757).

[14] Такое высказывание Карамзина не обнаружено.

[15] Находясь во время Крымской войны в осажденном Севастополе, Н. В. Берг поместил затем в русских журналах (1855 — 1856) много очерков о войне.

[16] Крылатое выражение из поэмы Лукана «Фарсалия» (середина I в. н. э.).

[17] Речь идет о книге: Лешков В. Н. Русский народ и государство: История русского общественного права до XVIII в. М., 1858.

[18] Имеются в виду новые, после 1855 г., журналы, обсуждавшие вопросы освобождения крепостных крестьян: «Русская беседа» (с особым приложением «Сельское благоустройство») и «Русский вестник».

[19] В 1858 — 1859 гг. по всей деревенской России стали организовываться общества трезвости; см. статью Н. А. Добролюбова «Народное дело: Распространение обществ трезвости» (Современник. 1859. № 9).

[20] Очевидно, имеется в виду строка 112 из Песни IV поэмы Данте «Ад»: «Genti v'eran con occhi tardi e gravi» («Люди там были со взглядом медленным и важным»).

[21] В 1858 — 1859 гг. Кохановская (Н. С. Соханская) опубликовала несколько повестей, статью «Степной цветок на могилу Пушкина» (РБ. 1859. № 5) и ответ на критику Н. П. Гилярова-Платонова (РБ. 1859. № 6).

[22] Имеется в виду «Дополнение» А. Х. Востокова к его более раннему труду: «Опыт областного великорусского языка» (Спб., 1858).

[23] Книга А. Ф. Гильфердинга «Босния, Герцеговина и Старая Сербия» (Спб., 1859).

[24] Магистерская диссертация В. И. Ламанского «О славянах в Малой Азии, Африке и Испании» (Спб., 1859).

[25] Речь идет о VII и VIII томах «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева.

[26] Книга М. П. Погодина «Норманнский период русской истории» (М., 1859).

[27] Книги Н. И. Костомарова «Богдан Хмельницкий» (Спб., 1859) и «Бунт Стеньки Разина» (Спб., 1859).

[28] 6-й том книги Н. Г. Устрялова «История царствования Петра Великого» (Спб., 1859).

[29] В качестве особого приложения к РБ за 1859 г. была напечатана рукопись, открытая П. А. Бессоновым: «Русское государство в половине XVII в. Рукопись времен царя Алексея Михайловича».

[30] В 1859 г. «Русское слово» издавалось графом Г. А. Кушелевым-Безбородко; в первой половине года ведущую роль в журнале играл Ап. Григорьев.

[31] Намек на славянофильскую газету «Парус» (редактор И. С. Аксаков), запрещенную на 2-м номере за требования свободного слова и за скептические отзывы о правительственных реформах.

[32] Намек на фактическое запрещение приложения к «Русской беседе» — «Сельского благоустройства» — за статьи об освобождении крепостных крестьян.

[33] Намеки на общественную борьбу в губерниях за освобождение крестьян с землею.

[34] Начало стих. Н. М. Языкова «Катеньке Мойер» (1827).

[35] «Песни, собранные П. В. Киреевским» стараниями друзей и учеников начали выходить отдельными выпусками с 1860 г., закончилась же их публикация более ста лет спустя, в наши дни.

[36] Имеется в виду книга: Аксаков К. С. Опыт русской грамматики. М., 1860. Ч. 1.

[37] Подобная статья в «Московских ведомостях» не обнаружена.

[38] *Дофин* — старший сын французского короля, наследник престола.

[39] Точно такая фраза у римских писателей не обнаружена. Близкие мысли высказывает Проперций («Элегии», кн. II, 10) и Овидий («Письма с Понта», кн. III, 4).

[40] Ср. письмо Хомякова к М. И. Семевскому по поводу статьи адресата о царевиче Алексее: «Вот к каким убеждениям пришел я после повторенного чтения: 1) Петр в продолжение нескольких лет сознательно доводил сына до какой-нибудь крайности, чтобы иметь случай от него окончательно отделаться. (Могу только допустить, что причина вражды была не совсем личная, а основывалась отчасти на убеждениях или направлениях государственных.) 2) Петр ловил не одного сына, а готовил общий удар против целой партии, и суд над сыном дол-

жен был служить поводом к общей расправе: так и видится мне облава. <...> 4) Алексей нам мало известен и оклеветан с намерением; но сожалеть об нем можно только как о человеке, а не как о могшем быть государе. 5) Вообще вся история представляет один из ужаснейших эпизодов человеческой летописи». (Рукоп. отдел Института русской литературы АН СССР).

К СЕРБАМ. ПОСЛАНИЕ ИЗ МОСКВЫ
(С. 341)

Обращение русских славянофилов к сербам, написанное Хомяковым, было напечатано (параллельно на русском и сербском языках) отдельной брошюрой в Лейпциге (1860). Печатается по этому изданию.

Это послание можно рассматривать как духовное завещание Хомякова. Несмотря на типичные славянофильские заблуждения (идеализация православной церкви, сельской общины), оно ценно стихийным демократизмом, пафосом честности, нравственности, мирной трудовой жизни, сохранения народных традиций. Характерна национальная самокритика, также типичная для Хомякова: резкое отрицание крепостного права, преклонения перед иностранными культурами и т. п. Подробнее об этом труде см.: Гольберг М. Я. К истории полемики вокруг славянофильского послания «К сербам» // Вопросы первоначального накопления капитала и национальные движения в славянских странах. М., 1972. С. 197—209.

1 Сербия получила под нажимом России автономию внутри Оттоманской империи (1833), но самостоятельным национальным государством стала в 1878 г.

2 Имеется в виду Александр Карагеоргиевич (1806 — 1885), правивший Сербией в 1842 — 1858 гг.; в результате всеобщего возмущения народа, недовольного тяжелыми податями и уступчивостью князя по отношению к Турции и Австрии, он был изгнан с престола, на который вступил престарелый Милош I Обренович (1780 — 1860).

3 Имеется в виду Восточная война 1853 — 1856 гг., начатая между Россией и Турцией; затем в войну на стороне Турции вступили Англия и Франция, вынудившие Россию заключить унизительный мир.

4 Болгария получила независимость в результате русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг.

5 Чехи (вместе со словаками) находились под игом Австрии; национальную самостоятельность получили после 1-й мировой войны (1918).

6 *Папист* — католик.

7 *Реформат* — протестант (протестанты — лютеране, кальвинисты и т. п.— откололись от католицизма в результате Реформации XVI в.).

8 *Шляхта* — польское дворянство; *маршáлок* (по-польски: маршáлек) — придворный чин или министр в королевской Польше; *кастелян* (по-польски: каштелян) — комендант замка; *войт* — староста или старшина.

[9] Намек на помощь Англии и Франции, оказанную Турции в Восточной войне.

[10] *Омер-паша* (1806 — 1871) — славянин Михаил Латош, принявший ислам, видный турецкий военачальник, усмиритель восстаний славянских народов в Боснии и Герцеговине, участник Восточной войны.

ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ ЦАРСТВОВАНИЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

(С. 369)

Впервые — Библиотека для воспитания. 1845. Отд. 1. Ч. 1. С. 131 — 189.

Сборники под этим названием (имея в виду воспитание детей) задумал и издавал племянник жены Хомякова Д. А. Валуев, и Хомяков принял в них, наряду с другими писателями и учеными, активное участие, поместив несколько популярных исторических статей.

В письме к А. В. Веневитинову от 21 мая 1845 г. Хомяков рекомендует прочесть эту статью: «Цензура урезала кое-что; но я надеюсь, что я разгадал характер этот и сказал много нового и еще не сказанного даже в отношении к общей истории» (8, 80).

В данной статье и в очерке «Царь Феодор Иоаннович» наиболее подробно изложены взгляды Хомякова на историю допетровской России, а также достаточно ясно выражены идеалы государственные, общественные, религиозные. Интересно, что автор всюду Грозного называет более «низким» именем *Иван,* а его сына торжественно: *Феодор Иоаннович.*

[1] *Окольничий* — один из высших придворных чинов в Древней Руси.

[2] *Феллин* — ныне Вильянди (Эстония).

ЦАРЬ ФЕОДОР ИОАННОВИЧ

(С. 388)

Впервые — Библиотека для воспитания. 1844. Отд. 1. Ч. 1. С. 217 — 238.

[1] *Седмиградец* — житель Седмиградия, иначе — Трансильвании (ныне — северные области Румынии).

[2] *Оскол* — имеется в виду современный Старый Оскол.

<Д. В. ВЕНЕВИТИНОВ>

(С. 395)

Впервые — Библиотека для воспитания. 1844. Отд. 1. Ч. 1. С. I—II (особая пагинация), в качестве введения к 10 избранным стихотворениям поэта, без заглавия, за подписью «А. Х.» Заглавие произвольно придумано редактором при первой публикации в собрании сочинений — 3, 393).

Д. А. ВАЛУЕВ
(С. 396)

Впервые — Библиотека для воспитания. 1846. Отд. 1. Ч. 6. С. 242 — 269 (2-й пагинации).

Хомяков любил Валуева как родного сына, очень тяжело переживал его раннюю смерть.

[1] Один дядя Валуева — поэт Н. М. Языков, другой — геолог и географ П. М. Языков.

[2] Д. А. Валуев жил в доме Авдотьи Петровны Елагиной, матери братьев Киреевских; далее Хомяков говорит об особом значении для Валуева личности И. В. Киреевского; младший сын Елагиной Василий Алексеевич Елагин был университетским товарищем Валуева.

[3] *Кандидат* — высшее звание, которое давалось лучшим выпускникам университета.

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ КИРЕЕВСКИЙ
(С. 405)

Впервые — РБ. 1856. № 2. С. 3 — 8 (особой пагинации в конце тома), за подписью «Русская беседа». Автограф статьи хранится в ГИМ.

[1] Статья была напечатана в том же номере РБ.

[2] Речь идет о программной статье И. В. Киреевского «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России. (Письмо к г. Е. Е. Комаровскому)» (МСб. 1852. С. 1 — 68).

[3] Имеется в виду М, выходивший под редакцией И. В. Киреевского (1845. № 1 — 3): там было опубликовано свыше десяти его статей.

[4] Далее излагается содержание последнего философского труда Киреевского (см. примеч. 1).

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ АКСАКОВ
(С. 408)

Впервые — РБ. 1859. № 3. С. I — VIII (особой пагинации в начале тома). Данная статья, одна из последних, написанных Хомяковым, особенно ценна четким изложением эстетических концепций автора.

[1] Имеется в виду программная статья Н. П. Гилярова-Платонова «Семейная хроника и воспоминания, С. Аксакова...» (РБ. 1856. № 1); см. также статью А. М. Иванцова-Платонова «О положительном и отрицательном направлении в жизни и литературе» (РБ. 1859. № 1).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

Алексей Степанович Хомяков

О СТАРОМ И НОВОМ

Статьи и очерки

Редакторы С. Ростунова, Т. Танакова
Художник В. Лукашов.
Художественный редактор В. Покатов
Технический редактор Л. Демьянова
Корректоры В. Лыкова, Г. Голубкова

ИБ № 5232
Сдано в набор 17.09.87. Подписано к печати 10.08.88. Формат 60х84/16. Гарнитура школьн. Печать высокая. Бумага офст. №2. Усл. печ. л. 26,97. Усл. кр.-отт. 53,94. Уч.-изд. л. 29,22. Тираж 20 000 экз. Заказ 632. Цена 2 р. 30 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30

Хомяков А. С.

X76 О старом и новом: Статьи и очерки /Вступ. статья и коммент. Б. Ф. Егорова.— М.: Современник, 1988.— 462 с., портр.— (Б-ка «Любителям российской словесности». Из литературного наследия).

Сборник составили литературно-критические и публицистические статьи известного деятеля русской культуры XIX века, поэта, философа и публициста Алексея Степановича Хомякова (1804 — 1860). Лучшие его работы — о народности искусства, о воспитании, о других важных общественных и эстетических проблемах — с историко-литературной точки зрения не утратили интереса для широкого круга читателей.

Вступительная статья и комментарии доктора филологических наук, профессора Б. Ф. Егорова дают современную оценку эстетической и философской концепции А. С. Хомякова, его места в литературно-общественном контексте эпохи.

X $\frac{4603010101 — 143}{М\ 106(03) — 88}$ КБ—42—23—87 **ББК 83.3Р1**

ISBN 5—270—00316—3